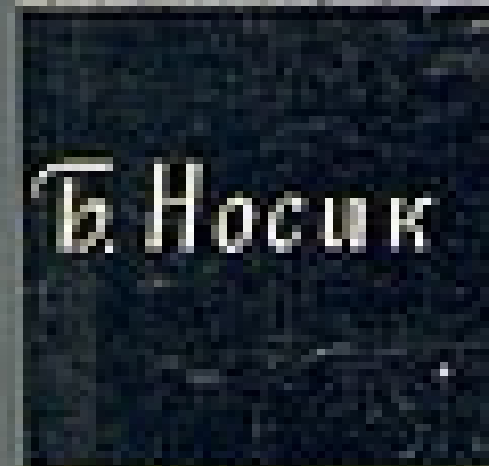
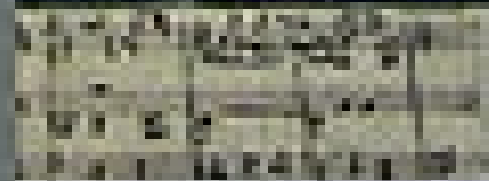
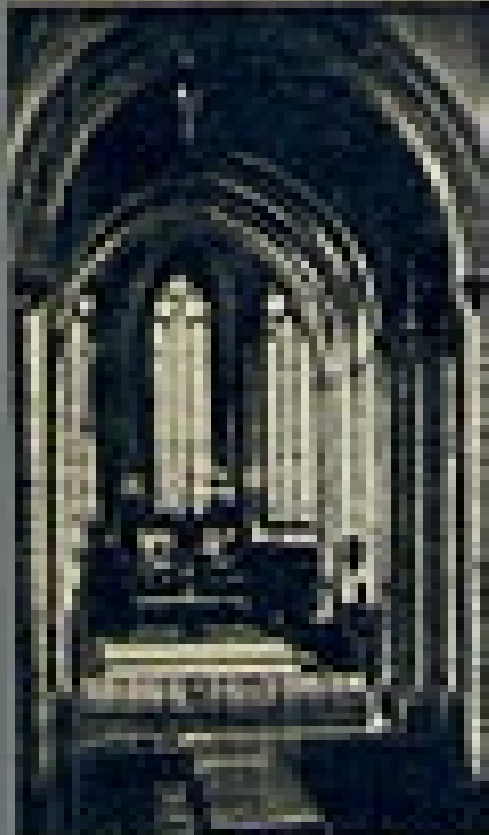


ШВЕЙЦЕР



Т. Носик

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Читателю, который раскроет эту книгу, предстоит познакомиться с воистину замечательным сыном XX века.

Доктор философии и приват-доцент теологии одного из старейших европейских университетов, музыкант-органист, видный музыковед и органичный мастер в пору творческого расцвета и взлета своей известности сразу в нескольких гуманитарных сферах вдруг поступил учиться на врача, чтобы потом уехать в глухие дебри Центральной Африки и там на протяжении полстолетия строить больничные корпуса на свои с трудом заработанные деньги, без вознаграждения и без отдыха лечить прокаженных, врачевать язвы, принимать роды.

И при этом он не оставил музыку, не бросил философию, а, напротив, поднялся и в той и в другой области доеще более высокого уровня.

- [Швейцер](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Глава вступительная](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)

- [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)
 - [Основные даты жизни и деятельности Альберта Швейцера](#)
 - [Краткая библиография](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
-

Швейцер

*Посвящается маме,
Доброму Человеку*

Предисловие

Читателю, который раскроет эту книгу, предстоит познакомиться с воистину замечательным сыном нашего века.

Доктор философии и приват-доцент теологии одного из старейших европейских университетов, музыкант-органист, видный музыковед и органичный мастер в пору творческого расцвета и взлета своей известности сразу в нескольких гуманитарных сферах вдруг поступил учиться на врача, чтобы потом уехать в глухие дебри Центральной Африки и там на протяжении полстолетия строить больничные корпуса на свои с трудом заработанные деньги, без вознаграждения и без отдыха лечить прокаженных, врачевать язвы, принимать роды. И при том он не оставил музыку, не бросил философию а, напротив, поднялся и в той и в другой области до еще более высокого уровня.

Человек этот стоял и стоит особняком в буржуазном мире стяжательства и насилия, итак же особняком, вне теоретических систем и школ, стоит самобытная мысль Альберта Швейцера. Нельзя сказать, что он был недостаточно знаком с философской традицией. Его основная работа «Культура и этика» (вторая часть задуманного в четырех книгах, но осуществленного лишь наполовину труда «Философия культуры») содержит обстоятельный разбор этических учений от древних греков до Бергсона. Но ни одно из них он не может принять безоговорочно. Ближе других ему Кант с его этикой абсолютного долга. Но кенигсбергскому мыслителю Швейцер ставит в вину то, «что у него было так много системы, но так мало сострадания»; сформулированный Кантом категорический императив был слишком формален. Не удалось, по мнению Швейцера, наполнить подлинным содержанием этику и Гегелю, пытавшемуся как раз решить эту задачу. «Гегель стоит на капитанском мостике океанского парохода и растолковывает пассажирам чудесное устройство двигателя и секрет вычисления курса. Но он не заботится о том, чтобы под котлами надлежащим образом горел огонь. Поэтому его корабль постепенно снижает скорость. В конце концов он останавливается, теряет управление и делается игрушкой в руках стихии».

Швейцер глубоко (и совершенно справедливо) был убежден в том, что «от теоретико-познавательного идеализма этика не может ожидать ничего хорошего и должна его всячески опасаться. Недооценка реальности эмпирического мира не помогает, а вредит нравственному мировоззрению.

У этики – материалистический инстинкт. Она намеревается действовать среди эмпирических событий и преобразовать отношения эмпирического мира».

Эмпирическое, реальное содержание этики – гуманизм, любовь к человеку. В этой истине нет ничего нового, но Швейцер и не собирается открывать Америку. Свою задачу он видит прежде всего в том, чтобы показать, как мудрствует лукаво над вещами простыми и очевидными профессиональная философия буржуазного Запада. Она выясняет (или, скорее, запутывает) отношение человека к себе подобным, между тем как, по Швейцеру, задача ясна: надо просто объявить священной и неприкосновенной не только любую человеческую, но вообще всякую жизнь. «Благоговение перед жизнью» – такова формула «универсальной этики» Швейцера. Конечно, он знает, что жизнь оплачивается ценой другой жизни.

Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы.

Все это верно, но животный мир не претендует на мораль. Последняя, по Швейцеру, начинается там, где в отношении чужого стремления к жизни возникает то же уважение, что и в отношении собственного, а необходимость сохранять свою жизнь за счет другой жизни осознается как зло. «Этика – это безграничная ответственность по отношению ко всему, что живет». Швейцер считает, что только тогда, когда люди смогут обходиться без ущерба каким бы то ни было живым существам, они станут нравственными.

Ригоризм этики Швейцера возник из неприятия империалистического века, до предела обесценивавшего человеческую жизнь. Швейцер не добрался до экономических причин и классового смысла происходивших на его глазах событий, но он сумел тем не менее уловить зловещую дисгармонию капиталистической эпохи. Немало страниц посвятил он критике распада буржуазной культуры. Запад чванится достижениями науки и техники. Но разве в этом культура? «Она представляет собой совокупность всех прогрессов человека и человечества во всех областях и в любом отношении, но только в том случае, если все это служит духовному совершенству отдельного индивида». А как раз этого не хватает буржуазному западному миру. Развитие капиталистической цивилизации (в узком смысле это слово обозначает материальные блага, их производство и

потребление) влечет здесь за собой крушение мира духовных ценностей.

Строго говоря, и здесь Швейцер не особенно оригинален: и до него находились авторы, которые критиковали окружавшее их варварство не менее беспощадно. Своеобразие Швейцера как буржуазного моралиста в другом – в единстве слова и дела. История этики знает немало кричащих несоответствий между проповедью и поведением. Шопенгауэр, призывавший к аскетизму, сам был заурядным бонвиваном. Ницше, бредивший «сверхчеловеком», явно страдал комплексом неполноценности. У Швейцера требования к миру и к самому себе полностью совпадают. Раньше, чем идея «благоговения перед жизнью» вылилась в литературные формы, она воплотилась в поступке. И нам близки и практический склад его ума, и его увлеченность деятельностью. «Спокойная совесть – изобретение дьявола», – любил повторять Швейцер, и с ним нельзя не согласиться в том смысле, что человек никогда не должен удовлетворяться достигнутым.

Критиковать слабые стороны мировоззрения Швейцера не составляет труда. Мы имеем в виду не только его религиозно-мистические искания. Марксист вправе бросить ему справедливый упрек в непонимании классовой структуры современных социальных, в том числе и нравственных, отношений. Призыв Швейцера оберегать любую форму жизни слишком абстрактен. Когда речь заходит о жизни смертоносных бактерий, то он вообще становится абсурдным. К счастью, у доктора из Ламбарене хватило здравого смысла быть непоследовательным и решительно уничтожать все то, что угрожало здоровью его пациентов. В литературном наследии Швейцера можно обнаружить и другие уязвимые места.

Однако гораздо важнее другое – увидеть, понять и использовать все ценное, что есть в опыте этого человека, указавшего, что и сегодня возможности буржуазного гуманизма еще не исчерпаны до конца. Показательным в этом отношении является письмо Вальтера Ульбрихта Швейцеру, в котором говорится: «В нашем социалистическом государстве, в Германской Демократической Республике, мы стараемся благоговение перед жизнью воплотить со всеми его общественными последствиями... Я думаю, мы действуем в одном направлении с Вашими устремлениями, а именно – сохранения и защиты жизни...» В том же письме Вальтер Ульбрихт отмечает главную черту Швейцера-ученого и Швейцера-человека – цельность его натуры. «В течение десятилетий беззаветной деятельности, – пишет Ульбрихт, – Вы не только призывали к осуществлению провозглашенной Вами этики благоговения перед жизнью, но и ежедневно

сами претворяли ее в действительность».

Любимым изречением Швейцера было гётевское: «Вначале было Дело». К этому он прибавил свое: «Этика начинается там, где кончаются разговоры». Любопытно проследить, как неумолимая логика этой деятельной этики повлияла на некоторые из его, довольно устойчивых поначалу, воззрений. Наиболее ярким примером является эволюция отношения ламбаренского философа к политическим судьбам мира.

Еще в начале нашего века отвращение к пропагандистскому и политическому обману, к лживости буржуазных правительств, горестные наблюдения над поведением «толпы», легко становящейся игрушкой в руках безответственных демагогов, породили у Швейцера недоверие к логике общественного процесса, к бюрократическим буржуазным организациям и к политике вообще. Он решил ограничить свое вмешательство в судьбы мира личным, индивидуальным действием в избранной им сфере. Точкой приложения сил стали для него затерянное в джунглях Ламбарене и страдающие обитатели долины габонской реки Огове. Этой позицией объясняется то непостижимое на первый взгляд молчание, которое хранил Швейцер в связи с величайшими событиями нашего века. Мы не находим откликов Швейцера ни на Великую Октябрьскую революцию, ни на победу советского народа в Великой Отечественной войне. И только во второй половине нашего века – точнее, в начале пятидесятых годов – Альберт Швейцер нарушил молчание. Он решил, что больше не может стоять в стороне, что этика уважения к жизни побуждает его к активному вмешательству в одну из главных проблем мировой политики – в проблему атомной угрозы, испытаний ядерного оружия и разоружения. И показательно, что симпатии ламбаренского доктора оказались не на стороне стран, с которыми он был связан давней традицией, а на стороне Советского Союза. Империалистическая пресса открыла тогда настоящую кампанию против «старика из джунглей». Журнал «Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт» заявил, что Швейцер, сам того не ведая, играет на руку коммунистам. Посетивший Ламбарене английский журналист Дж. Макнайт сообщал, что Швейцер во всех разговорах «подчеркивает более человеческое и вообще более достойное дело Советской России по сравнению с Западом», чью политику он называет «воинственной» и «опасной». Швейцер приветствовал шаги Советского Союза, направленные на разоружение: «То, что Советский Союз, начиная с этого момента, прекращает испытания, имеет большое значение. Если бы Англия и Америка присоединились к этому разумному, соответствующему международному праву решению, люди освободились бы от страха перед

экспериментальными взрывами, ведущими к радиоактивному загрязнению воздуха в почвы, что угрожает существованию человечества». А когда был подписан Московский договор о частичном запрещении атомных испытаний, он назвал его «самым крупным событием мировой истории» и высказал благодарность Советскому правительству за то, что оно так неуклонно идет по пути к миру. От сдержанности и невмешательства не осталось и следа.

Швейцер подписал декларацию против американской агрессии во Вьетнаме и в последней своей беседе с журналистом из ГДР еще раз осудил эту агрессию. Вообще последние годы его жизни отмечены живейшим интересом к жизни ГДР и других социалистических стран. Нынешний Председатель Народной палаты ГДР Геральд Геттинг, дважды посетивший Ламбарене, передает следующее высказывание Швейцера: «Ваши слова о том, что мое требование благоговения перед жизнью все чаще находит отклик в социалистическом мире, вселили в меня надежду – придет время, когда самое человеческое из всех требований, какие существуют на земле, станет явью в обновленном обществе».

Так логика универсальной этики Швейцера, несмотря на всю его либерально-буржуазную ограниченность, привела великого гуманиста XX века к активному вмешательству в движение за мир, к бескомпромиссной позиции в самых актуальных политических проблемах современности.

Доктор философских наук А. Гулыга

Глава вступительная

Это было совсем недавно. В Черной Африке, в самом сердце джунглей, умер старый доктор. Он был очень стар и умер от старости и усталости, умер тихо, как уснул. Как опадают листья, как умели умирать его пациенты, африканцы. Он очень устал. Больше полсотни лет назад он приехал в душные, нестерпимо жаркие джунгли Габона лечить народ, брошенный богом и людьми.

И вот он умер. На площадке, выжженной солнцем, под его окнами сидели на земле африканцы и белые. Ритмично пели габонцы. И тамтамы стучали по деревьям, возвещая смерть Великого Белого Доктора. И мигали костры в ночи. И сколько стариков подумало в эту ночь о нем и о себе, ворочаясь без сна на голой земле: «Он умер, бедный старик, а кто вылечит мои язвы?» И сколько молодых матерей подумали, что старый колдун Оганга лучше всех мог принимать роды. Он разрешил бы назвать мальчика в свою честь – Месье-Альбер или еще лучше Доктор-Швейцер. Это принесло бы удачу малышу, который шевелится под сердцем.

Умер Старый Доктор из джунглей. Прокаженные сколотили грубый гроб без крышки и накрыли Доктора пальмовыми ветвями. Черные и белые руки понесли его к могиле. И белые сестры запели «Ah, bleib mit deiner Gnade», старый гимн, который он так любил, который пели еще дома его отец-пастор, и его дед-пастор, и все виноградари Мюнстерской долины. Детишки из деревни прокаженных стройно запели по-своему, и плакальщики заголосили на галоа: «Леани инина кенде кенде».

Многие говорили в тот день те же пять слов, на галоа и пахуан, на французском и немецком языках, на голландском, чешском или английском – «Он был как отец нам».

И человек из правительства прилетел от самого президента. Он сказал, что умер самый старый и знаменитый габонец. Может быть, даже более знаменитый, чем сам президент. И еще он сказал, что умер самый уважаемый гражданин мира – человек, принадлежавший всему миру... И газеты всего мира писали, что это горе для всех.

Но бог с ними, с газетами. Сколько человеческих сердец сжалось при этой горестной вести, ощутив эту потерю как свою.

Когда-то, чуть не столетия тому назад, когда Старый Доктор подходил лишь к середине своей жизни, он написал о людях, которые много значили для него в детстве и юности и кого уже унесла смерть:

«Сколько раз с чувством стыда повторял я про себя над могилой слова, которые должен был бы сказать усопшим, когда знал их живыми».

Как много людей повторили про себя эти слова теперь, когда весть о смерти Старого Доктора облетела мир!

Во всем мире его называли Великим Человеком. В этом мнении сходились (может быть, впервые за свою жизнь) президенты и философы, поэты и врачи, ученые и священники, политики и музыканты. Австрийский писатель Стефан Цвейг писал о нем почти в таких же словах и с таким же пафосом, как Мариэтта Шагинян; Вальтер Ульбрихт – с таким же почтением, как Уинстон Черчилль; Альберт Эйнштейн – с таким же пиететом, как настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон или папа Павел VI; Ганди и Неру – с такой же нежностью, как Отто Нушке или Отто Гротеволь; Ромен Роллан – с такой же теплотой и дружбой, как Пабло Казальс.

Кого считают великими людьми? Не так-то просто ответить на этот простой вопрос. Того, кто умеет найти свой собственный путь и всегда последовательно идти своим путем? Того, кто умеет реализовать полностью заложенные в человеке потенции добра и таланта? Того, кто отдает себя без остатка служению людям и умеет преуспеть в этом бескорыстном служении? А вероятней, того, кто совмещает в своей личности и своем пути все это и еще многое...

Великие люди называли великим Старого Доктора из джунглей. Ну, а что говорили о нем невеликие, малые мира сего?

Американский прораб-дорожник сказал, что у человека этого хватило мужества сделать то, что каждый из нас сделал бы, если б у него хватило мужества. После мировой войны какой-то беженец, истрепанный голодом и тысячью смертей, написал, что это счастье – знать, что «в дни, когда вянет сердце, где-то существует Ламбарене».

Что же сделал Старый Доктор? Кто он был?

Американский математик и музыкант профессор Ирвинг Каплан рассказывал одному из биографов Швейцера, что однажды, сидя рядом со своим другом-физиком в кабинете Чикагского университета, он читал книжечку Швейцера об органах. Потом, оторвавшись от чтения, профессор заглянул в книгу, которую читал его друг, и увидел, что это «Философия культуры» и что на обложке философской книги стоит то же имя, что и на обложке его книжечки об органах, – Швейцер.

– Любопытно, – сказал профессор. – Мы читаем книги однофамильцев.

При разговоре этом присутствовал еще и третий профессор, биохимик,

специализировавшийся в области тропической медицины, – Табинхаузер.

– Это один и тот же Швейцер, – сказал он. – Тот самый, чьи отчеты о тропических болезнях я использую в своей работе.

Если бы мы захотели продолжить этот рассказ профессора Каплана, мы могли бы добавить, что если бы при этом присутствовал знаток органной музыки, он сказал бы, что это знаменитый музыкант-органист Альберт Швейцер, один из зачинателей баховского ренессанса в Европе и один из самых интересных исполнителей Баха. Музыковед не преминул бы добавить, что это знаменитый музыковед Швейцер, автор классического труда о Бахе. Философ добавил бы, что этот Швейцер – специалист по Канту, что он разрабатывал проблемы этики и выдвинул принцип абсолютной и универсальной этики, принцип «уважения к жизни». Если бы в кабинете оказался еще и теолог (что вполне могло случиться в американском университете), он непременно добавил бы (почтительно, а может быть, и с раздражением), что человек этот, Швейцер, – знаменитый теолог, что он бог знает что понаписал и о поисках «исторического Иисуса», и о тайной вечере, и об апостоле Павле, и о царстве божием, так как он теолог совершенно недогматический и непонятно вообще, что у него остается от христианства. Если бы в кабинет зашел индолог, он упомянул бы весьма любопытную, хотя и не бесспорную, книжку Швейцера об индийской философии. А если бы разговор этот случился в пятидесятые годы и в кабинет забрел журналист-международник, он попросил бы отметить, что это знаменитый лауреат Нобелевской премии мира, так сказать, борец за мир, который что-то слишком часто критикует американскую позицию и, похоже, довольно сочувственно относится к русским предложениям о прекращении ядерных испытаний, к Московскому соглашению, к плану польского министра Рапацкого... Профессор-африканист сказал бы, что все это не так важно, как роль Швейцера в истории отношений черной и белой расы, в критике колониализма, в истории африканского здравоохранения, в спорах о прошлом, настоящем и будущем Африки...

Разговор этот грозил бы затянуться надолго: одни специалисты говорили бы об огромных заслугах Швейцера, другие критиковали его просчеты в их узкой сфере.

И все это было бы правда: и то, что человек этот был огромен, универсален, талантлив, и то, что он был небезупречен. И все это было бы неполной правдой, потому что истинная заслуга его и отличие его от других людей заключались в другом, что сумел еще четыре десятилетия назад сформулировать профессор философии Оскар Краус: «В чем

значение Альберта Швейцера? Без сомнения, достижения его в области искусства, науки и религии интересны и ценны. Но еще более ценно и незыблемо то, чего он достиг силой своей личности и своей этической воли. Человечество богато людьми, которые сослужили ему великую службу в отдельных областях прогресса и специальных разделах человеческого знания. Но оно было и остается бедно великими беззаветными людьми, которые поднимают над землей путеводный свет, бедно людьми сильной этической воли. Таков Альберт Швейцер...»

Что же это была за деятельность? Что за жизнь прожил этот человек, если она могла на протяжении полвека волновать столь многих, зажигать людей примером?

Наш Пушкин сказал как-то, что следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Швейцер был человек мысли, и мысль его всегда неотделима была от его действий. Философия Швейцера оптимистична и плодотворна, призывает к добру и состраданию, к строительству лучшего мира. Сострадание Швейцера активно. Сострадание это побуждает к этическому поведению, к борьбе за мир. Прогрессивные организации всего мира (такие, например, как Немецкий совет мира и политические партии ГДР) все чаще говорят и пишут сейчас об учении Швейцера, обращаются к самым оптимистичным его сторонам. И Швейцер, отмечая это в последние годы своей жизни, с удовлетворением писал в ответном письме Вальтеру Ульбрихту: «Я сердечно благодарю Вас за Ваше дружеское письмо от 20 июля 1961 года. Из него я усматриваю, что Вы согласны с моими высказываниями о мире и относитесь с симпатией к идее уважения к жизни».

Универсальная этика Швейцера, воплощенная в его принципе уважения к жизни, имеет много в высшей степени продуктивных черт. В век, когда техника, вооруженная мощными средствами разрушения, эффективно вторгается в природу, крупнейшие ученые мира все чаще вспоминают о швейцеровском принципе уважения к живой природе. Проследив за последними выступлениями виднейших советских ученых в печати, можно заметить, что люди науки у нас все чаще и чаще говорят об удивительном и еще плохо познанном единстве механизма природы, о бережности в обращении с ним, об уважении к нему. И при этом все чаще и чаще ученые всего цивилизованного мира ссылаются на Швейцера.

Сфера действия человека расширяется. Человек вторгается в космос. И как верно отметил недавно молодой советский философ В. Петрицкий в своей диссертации, посвященной философии Швейцера, здесь человечеству тоже придется вспомнить принципы универсальной этики

Швейцера, потому что человек должен будет искать приемлемые принципы для своих новых отношений со всеми возможными обитателями космоса.

Воздействие Швейцера на современников объясняется прежде всего редкостным слиянием человеческой мысли и деяния, полнотой самоотдачи и самоотречения. Швейцер сказал как-то, что нет героев действия, а есть герои самоотречения. Он был героем действия, а действие это диктовало ему самоотречение...

И именно в силу этого слияния и этого действия Швейцер стал источником вдохновения для стольких поколений людей, посвящающих себя служению другим людям, их счастью и спокойствию, сохранению их жизни и мира на земле.

Ведь уже автор одной из первых книг о Швейцере, вышедшей в двадцатые годы (профессор Оскар Краус), отмечал, что Альберт Швейцер стал «силой, объединяющей нации и способствующей миру между ними, силой, постоянное и благотворное воздействие которой заключается в выполнении долга сохранения цивилизации».

И почти в те же годы знаменитый австрийский писатель Стефан Цвейг писал о жизни Швейцера:

«Эта жизнь стоит того, чтобы стать когда-нибудь объектом героической биографии. Хотя не героической в старом, военном смысле, но в новом смысле морального героизма...»

Еще через четверть века американский публицист Норман Казинс, отмечая самодовольство, отупление и утрату свободы, грозящие Америке, писал, что именно Швейцер нужен американцам, изнывающим от духовного голода; что величие Швейцера даже не в том, как много сделал он для других, «а в том, как много другие сделали и сделают, движимые силой его примера...».

...Тех, кто исполнился решимости пройти вместе с нами по следам жизни и мысли этого удивительнейшего человека современности, автор приглашает открыть первую страницу этой жизни и перенестись в Вогезы.

Глава 1

«Я сосна Вогезских гор».

Напрасно вы будете искать эту строку у немецких или французских поэтов. Так сказал о себе однажды философ и врач Альберт Швейцер, и в этом высказывании, похожем по своей образной афористичности на стихотворную строку, слились пантеистическое гётевское ощущение природы, столь характерное для Швейцера, и нежная привязанность к живописному уголку старой Европы, привязанность, которую он не переставал чувствовать и тогда, когда посвятил себя новой, африканской родине.

Швейцер родился в маленьком городке Кайзерсберге, что среди Вогезских гор, в Верхнем Эльзасе. Он был эльзасец. Как сообщают энциклопедии, авторитетные источники мудрости, эльзасцы – это маленькая народность, основное население многострадальной французской провинции Эльзас. Когда Швейцер появился на свет, Эльзас был немецким (пруссаки захватили его во время франко-прусской войны), и полжизни у Швейцера был немецкий паспорт, за который в первую мировую войну его посадили во французский лагерь. При жизни Швейцера Эльзас успел еще дважды перейти из рук в руки и сейчас снова является французской провинцией. Как сообщают те же энциклопедии, более чем полутораmillionное население Эльзаса двуязычно. Семейство Швейцеров не представляло в этом смысле исключения. Сам Альберт Швейцер говорил по-французски и на эльзасском диалекте немецкого языка, письма писал на французском и немецком языках, молился по-немецки, книгу о Бахе впервые написал по-французски, остальные книги – по-немецки. По-французски он говорил со многими друзьями, с пациентами, с африканской администрацией. И все же родным языком он считал немецкий, настаивая на том, что «у человека не может быть двух родных языков».

Французская провинция, Эльзас впитал в себя две культуры – французскую и немецкую. Сын Эльзаса, Альберт Швейцер учился в Страсбурге, Париже и Берлине, был поклонником Гёте, Канта и Баха, французской школы игры на органе и органостроения, французских и немецких просветителей. Сын Эльзаса, он был озабочен бедами всего человечества и не раз говорил: «Корни мои уходят в землю Вогезов. Но я прежде всего занят тем, что я могу как человек сделать для человечества».

Эльзас был захвачен пруссаками за несколько лет до рождения

Швейцера. Жан Поль Сартр вспоминает о ненависти к пруссакам в тогдашнем Эльзасе, о патриотических и даже националистических настроениях, царивших тогда во многих эльзасских семьях. В дом, где рос Альберт Швейцер, эти страсти, кажется, не проникали. Напротив, описывая Эльзас своего детства и отчий дом, Швейцер неоднократно упоминает о терпимости: терпимости национальной и религиозной.

Мы не случайно упомянули Жана Поля Сартра. Он ведь тоже из Эльзаса и притом довольно близкий родственник Альберта Швейцера. В своих «Словах» Сартр даже начертал верхушку генеалогического древа Швейцеров. Альберт Швейцер, который, по собственному признанию, был «не силен в генеалогии» почему-то никак не мог разобраться, кем ему приходится Сартр – кузенком или племянником. Западные биографы Швейцера, вероятно опасаясь повредить серьезному и возвышенному настрою своего повествования, избегают цитировать насмешника Сартра. И напрасно. Вот она, эта удивительная страничка из «Слов» Сартра:

«В конце сороковых годов прошлого века многодетный школьный учитель-эльзасец с горя пошел в бакалейщики. Но расстрига-ментор мечтал о реванше: он пожертвовал правом пестовать умы – пусть один из его сыновей пестует души. В семье будет пастырь. Станет им Шарль. Однако Шарль предпочел удрать из дому, пустившись вдогонку за цирковой наездницей. Отец приказал повернуть портрет сына лицом к стене и запретил произносить его имя. Кто следующий? Огюст поспешил заклать себя по примеру отца, он стал коммерсантом и преуспел. У младшего, Луи, выраженных склонностей не было. Отец занялся судьбой этого невозмутимого парня и, недолго думая, сделал его пастором. Впоследствии Луи простер сыновнюю покорность до того, что в свой черед произвел на свет пастыря – Альберта Швейцера, жизненный путь которого всем известен».

Вот вам групповой портрет Швейцеров, нарисованный изящной и злой кистью Сартра. Вероятно, не очень точно, без сомнения, иронично и гротескно. Шарль, тот самый, что, не догнав наездницу, стал учителем французского языка и дедом писателя, любил, по утверждению внука, повторять: «Луи у нас самый благочестивый, Огюст самый богатый, я самый умный».

Сартр мимоходом описывает «шум, страсти, восторженность – все грубое бытие Швейцеров, земное и театральное»: «Плотоугодники и пуритане – сочетание добродетелей, куда более распространенное, чем это принято считать, – Швейцеры любили крепкое словцо, которое, принижая плоть, как это приличествует христианскому благочестию, в то же время

свидетельствует о широкой терпимости к ее естественным проявлениям...»

Вы, наверное, обратили внимание на концовку сартровской родословной, произнесенную скороговоркой («Альберта Швейцера, жизненный путь которого всем известен»). В самом деле: к моменту написания «Слов» в Европе вышли уже десятки биографий Швейцера.

Биографы зачастую ведут себя как детективы: делают вид, что им известно более того, что они знают на самом деле. Однако в случае со Швейцером большинство биографов жалуется, что истинный Швейцер от них все-таки ускользает, что он не раскрывает себя даже в своих автобиографических книгах. Это правда. Сдержанность Швейцера была врожденной, а позднее и принципиальной. Он не верил в то, что один человек может познать другого, даже если живет с ним бок о бок много лет. «Мы бредем по жизни рядом в полумраке и не можем с ясностью разглядеть черты ближнего...»

Более того, Швейцер считал, что попытки влезть в чужую душу, скрытую от нас потемками нашей слепоты, вообще неправомерны: «Знать друг друга не значит знать друг о друге все; это значит относиться друг к другу с симпатией и доверием, верить друг другу. Человек не должен вторгаться в чужую личность». Швейцер считал, что и открываться другому человек должен только в той степени, в какой это естественно для него. И пусть уж другие судят о нем как хотят.

«Существенно лишь стремление зажечь в себе внутренний свет, – писал Швейцер, – ...когда в людях зажжется этот свет, он будет виден. Только тогда мы узнаем друг друга, идя в темноте, и ни к чему будет шарить рукой по чужому лицу или вторгаться в чужое сердце».

Приведенные выше слова могут без труда объяснить, почему Швейцер отвергал притязания психоаналитиков. Парадокс заключается в том, что именно психоаналитику мы обязаны появлением на свет одной из интереснейших книжек Швейцера – «Воспоминания о детстве и юности».

Это случилось так. Летом 1923 года, незадолго до второй поездки в Африку, Швейцер, путешествуя по Швейцарии, был вынужден в ожидании поезда задержаться в Цюрихе и навестил своего друга – доктора О. Пфистера, известного швейцарского специалиста по психоанализу. Друг, рассказывает Швейцер, «утолил его жажду и дал возможность простереть усталое тело» на кушетке. Тогда-то доктор Пфистер и попросил, чтобы Швейцер рассказал ему несколько эпизодов из своего детства и юности – так, как они будут приходить ему в голову. Пфистер сказал, что ему это нужно для какого-то молодежного журнала.

А вскоре Швейцер получил по почте из Цюриха стенограмму своего

двухчасового рассказа. Швейцер попросил не печатать материал без его послесловия, и вот накануне отъезда в Африку, в ненастное воскресенье, когда за окном дождь сменялся мокрым снегом, а снег снова дождем, доктор Швейцер написал эпилог, который мы только что обильно цитировали. Впрочем, ни сдержанное отношение к психоаналитикам, ни честное признание в собственной сдержанности и даже скрытности не меняют того факта, что «Воспоминания о детстве и юности» самая откровенная и раскованная автобиография Швейцера. К ней мы и будем чаще всего обращаться, рассказывая о молодых годах доктора Швейцера из Эльзаса, который более известен миру как Великий Доктор из Габона.

Рассказывая, что он родился в Кайзерсберге 14 января 1875 года, Швейцер с гордостью отмечает при этом, что, во-первых, он родился в городе, где жил знаменитый проповедник средневековья Гайлер фон Кайзерсберг, и что, во-вторых, он родился в год, когда урожай винограда был небывалым и вино было на редкость хорошо. Обе эти подробности казались существенными для Швейцера. Может, именно оттуда шли его проповеднический дух и стремление возделывать виноградники господа бога в прямом и в переносном смысле. И если Швейцер припомнил эту сельскохозяйственную подробность в пятидесятилетнем возрасте, когда у него еще не было обширных больничных плантаций, то уж, наверно, он не раз обращался к этим воспоминаниям детства в свою семидесятую, восьмидесятую, а может, и девяностую годовщину, когда фруктовые плантации стали одним из его главных увлечений в далекой Африке.

Отец Альберта Швейцера Луи Швейцер был бедный и благочестивый пастор. Лихая фраза Сартра насчет отцовской «мечты о реванше» и «сыновней покорности» Луи мало что объясняет: Швейцеры из поколения в поколение были священники, учителя, органисты – многие поколения грамотеев, музыкантов, богословов. Предки по материнской линии тоже внесли свою лепту в продолжение семейной традиции. Мать Альберта Швейцера, урожденная Адель Шиллингер, была дочерью пастора из городка Мюльбаха, лежавшего в долине Мюнстер, чуть повыше Гюнсбаха.

Пастор Шиллингер был лицо весьма известное в Мюнстерской долине, где люди неплохо знают друг друга. В окрестностях ходило много неуклюже-галантных, наивных анекдотов об этом странноватом, всеми уважаемом и довольно властном человеке, и даже полстолетия спустя, как отмечал его внук, эти анекдоты о дедушке еще рассказывали в застолье, а слушатели все еще вежливо смеялись при этом. Среди историй этих был рассказ о большом пожаре, когда протестантский приход оказался в опасности, и католический патер, живший в большой дружбе с

протестантским пастором, предложил ему перенести вещи в дом католического прихода. Так очутились бабушкины юбки в спальней безбрачного католического патера.

Этот старомодный анекдот отражал одну немаловажную деталь быта этой мирной долины: католики не испытывали здесь вражды к протестантам, а пастыри жили в таком же мире, как их паства, и отличались при этом терпимостью и широтой взглядов. Что до пастора Шиллингера, то это и вообще был человек эпохи Просвещения, поклонник минувшего века. Прихожане поджидали его у церкви после службы, чтобы услышать восторженный рассказ о новейших достижениях науки или анализ политических новостей за истекшую неделю. Если же на небе появлялось что-либо чрезвычайное, то пастор отдавал небу и вечерние, и сверхурочные часы. На улице перед своим домом он устанавливал телескоп и обслуживал прохожих, движимый неукротимой жаждой просветительства.

Была у пастора и еще одна страсть – органы. Приезжая в новый город, он прежде всего отправлялся в местную церковь: его интересовало изготовление и устройство величественного инструмента, и однажды он специально совершил путешествие в Люцерн, где устанавливали в это время знаменитый орган. Пастор сам был великолепный органист и славился среди жителей долины своими импровизациями. Однажды, уже в старости, советуя режиссеру Эрике Андерсон не спешить со съемками, Швейцер вдруг вспомнил деда Шиллингера: «Мой дедушка, бывало, говорил, наблюдая за изготовлением органа: «Пока людям разрешают работать не спеша, как им хочется, они будут строить замечательные органы. А когда они начнут фабриковать их, экономя силы и время, то и уровень этих великих творений упадет». Мой дедушка был прав...»

Альберту Швейцеру не довелось видеть деда Шиллингера. Он слышал рассказы о нем от матери. И бережно записал, обнаружив уже в зрелом возрасте, как много перешло в его кровь от знаменитого мюльбахского пастора.

В ряду легендарных предков и родственников Швейцера выделялась также фигура дяди Альберта, сводного брата матери, оставившего свое имя знаменитому племяннику. Дядя был пастором церкви св. Николая в Страсбурге. Это был человек удивительной доброты и чувствительной совести. В франко-прусскую войну во время осады Страсбурга, когда не хватало молока, он регулярно относил свою порцию одной старушке, которая через несколько лет рассказала об этом матери Швейцера. После сражения под Вейсенбургом в 1870 году пастор был послан по просьбе

страсбургских врачей в Париж за медикаментами. Здесь его гоняли из одного ведомства в другое. Наконец, добыв лишь ничтожную долю того, что ему было нужно, пастор бросился в обратный путь и обнаружил, что Страсбург обложен противником со всех сторон. Генерал, командовавший пруссаками, разрешил пастору передать медикаменты, но задержал его самого в качестве заложника. Вот тогда-то дядя Альберт и надорвал свое больное сердце раздумьями о том, что он покинул в беде своих прихожан и не разделяет их страдания. Он прожил меньше года после этого события – однажды, разговаривая с друзьями, упал замертво на страсбургской площади.

Мысль о том, что он должен быть достоин любимого маминого брата, не раз смущала маленького Альберта.

Из Кайзерсберга, где большинство населения составляли католики, а протестантскому пастору и учителю почти нечего было делать, семейство Швейцеров переехало в долину Мюнстер, где протекали некогда детские и юные годы Адели Шиллингер. Пастор Луи Швейцер получил приход в деревушке Гюнсбах.

Конечно, в эльзасской деревушке – каменная мостовая, каменные дома и церковь с органом. И все же это деревушка, потому что живут здесь крестьяне, и возделывают поля, и пасут коров. Потому что здесь все знают друг друга, а на урок в маленькую школу собирается десяток полуголодных сорванцов разных возрастов.

На церемонии введения в должность нового пастора пасторским женам из соседних сел был продемонстрирован новый отпрыск преподобного Швейцера. Это был совсем крошечный и до того неприглядный заморыш, что вежливые гости так и не смогли выдавить из себя ни одного искреннего комплимента. Бедная мать, схватив свое празднично повязанное ленточками сокровище, убежала с ним в спальню и там разрыдалась.

Ребенок был желтолицый, болезненный и хилый. Однажды бедной матери показалось, что он вообще перестал дышать, и ее потом еле успокоили. Если бы кто-нибудь сказал в то время Адели Швейцер, что хилое ее дитя вырастет стройным, как вогезская сосна, и могучим, как горный дуб, она сочла бы это неуместной шуткой. Впрочем, прошло всего несколько лет, и ребенок заметно выправился. Сам он приписывает эту разительную перемену напоенному сосной воздуху Мюнстерской долины и жирному молоку соседской коровы. В доме пастора Швейцера были в это время уже два мальчика и три девочки.

Это был счастливый и шумный дом.

Конечно, трудно биографу пробиться к ранним детским впечатлениям своего героя: в «Воспоминаниях» Швейцера тоже ведь все перемешано – и поздние его ощущения, и материнские рассказы, и семейные предания, и обрывки воспоминаний, и традиционные симпатии.

И все же мы решимся утверждать, что это был счастливый дом, насколько вообще счастье достижимо в этом лучшем, но несовершеннейшем из миров. Отец был строг, но никогда не злоупотреблял строгостью. Мать была любящей и нежно любимой.

К тому моменту, когда семейство пастора Луи Швейцера вселилось в пасторский дом, стесненный другими каменными строениями, почетное здание это могло уже отмечать столетие. Дом был сыроватый, что печально сказалось на здоровье самого пастора. Однако для детишек в Гюнсбахе было раздолье – рядом зеленая гора, прозрачная речушка, в лесу зверье и птицы, в деревне собаки, кошки, куры, лошади, ослы.

На деревенской улице – шумные игры с мальчишками. И наконец, дорога. Дорога уходила в неведомые дали – в Гиршбах, в Вайерим-Таль, в Мюльбах, где родилась мама, в Мюльхаузен, где жила тетя Софи, в Кольмар, где был памятник адмиралу, в Страсбург, где служил когда-то дядя Альберт и была осада, в Париж, где жили дядя Огюст и тетя Матильда, и еще дальше – в Африку, где черные люди, где джунгли, где дикие слоны. Кто мог знать, что именно пасторский Альберт протопчет эту дорогу – из Гюнсбаха в Габон, что стольких обитателей долины он уведет за собою для служения людям... Дорога всегда интересна в детстве. Вон проехали какие-то странные люди верхом на высоком колесе, взрослые люди в коротеньких штанишках – первые велосипедисты. За ними с воем несется орава ребятишек. И Альберт, конечно, тоже. Вон прогнали телят, и ризничий Егле, как всегда, бежит за своим любимым теленком. А завтра отец, может быть, заберет их всех в горы на целый день...

Отец все разрешает. Он разрешает приводить в дом сколько хочешь мальчишек, играть и шуметь, а мама накормит гостей: они ведь пасторские дети, так что они, наверно, богатые. Отец возьмет Альберта в церковь, на вечернюю службу, потому что сегодня первое воскресенье месяца, и отец будет, как обычно, рассказывать про путешественников-миссионеров. А там, в специальном приделе церкви, есть чужой, католический алтарь, который так любит Альберт, – в нем золоченая дева Мария и золоченый Иосиф, а сверху льется свет через высокие окна, а в окно видны крыши, и дерево, и облака, и небо, бесконечное синее небо...

Уже совсем взрослым Швейцер приходил в отстроенную после бомбежки гюнсбахскую церковь и с ностальгической тоской вспоминал

золоченого Иосифа, чужой алтарь, дерево за окном и кусок синего неба, все это сочетание реального с бесконечным, запредельным, и таинственными свои детские мысли...

Конечно же, церковь занимала много места в жизни мечтательного ребенка. Именно с церковью было связано одно из самых ранних воспоминаний детства – запах льняной перчатки во рту. Не знаю уж, как истолковал это с точки зрения психоанализа цюрихский доктор О. Пфистер, но у самого Швейцера это объясняется просто. Во время богослужения малыш Альберт то зевал во весь рот, то вдруг начинал петь слишком громко, и молоденькая няня закрывала ему рот рукой в перчатке. Позднее серьезность присутствующих, их сосредоточенность производили на него глубокое впечатление.

Как видите, маленький Альберт рос в атмосфере религии. Вечерние проповеди отца с их искренностью и простотой, с их скорбью об ушедшем празднике, с беззаветностью его простой веры Альберт, без сомнения, запомнил на всю жизнь и пронес через сложные свои искания. И потому, когда исчез из жизни маленького Альберта лохматый дьявол, а потом из жизни взрослого Швейцера ушел и богочеловек с непорочным зачатием, чудесами, искуплением и воскресением из мертвых, все же оставалась ему простая вера предков, преображенная ученым философом в учение о царстве божием внутри нас.

Тут, конечно, не последнюю роль сыграл и сам образ отца, в чьем богословии, как верно отметил один из биографов, было больше солнца, чем громов и молний. Другой исследователь Швейцера ставит отца первым в ряду его идеалов: «Отец, Иисус, Бах, Гёте».

Сартр писал о себе, что «официальная доктрина отбила у него охоту искать свою собственную веру», что, «убежденный материалист», он «пришел к неверию». Швейцера тоже не удовлетворила официальная доктрина. Исследователи отмечают уже в детских воспоминаниях эту швейцеровскую склонность к беспощадным рационалистическим поискам, желание найти реалистические объяснения везде, где это возможно, но отступить перед «бездной непознанного и непознаваемого, не боясь признать ее бездонной».

Однажды дождливым летом отец имел неосторожность рассказать маленькому Альберту библейскую легенду о всемирном потопе, и мальчишка тут же озадачил отца вопросом: «А почему вот уже сорок дней и сорок ночей, наверно, льет дождик, а вода до крыш не поднялась, а уж до вершины гор и вовсе?»

В восемь лет отец дал ему Новый завет, и здесь маленького читателя

смutila история о волхвах с Востока, принесших дорогие дары младенцу Христу:

«А что сделали родители Иисуса, спрашивал я себя, с золотом и ценностями, которые принесли эти люди? Почему же они после этого остались бедными? Отчего эти волхвы больше никогда не заботились о Христе, тоже казалось мне непостижимым. Потрясло меня и то, что не было никаких сведений о вифлеемских пастухах, которые стали учениками Христа».

Норвежский исследователь Лангфельдт отмечал «безусловное стремление к правде и к объективности мысли» в очень раннем поведении Швейцера; в юности оно привело молодого теолога к разрыву с христианской догмой.

Знакомство с библейскими легендами и притчами дало Альберту и первый толчок к чтению. Впрочем, это пришло уже позднее. А пока были первые детские радости, первые горести, первые детские страхи и первые впечатления от окружающего мира. Этим миром была долина Мюнстера, родная деревня и ее обитатели.

Мальчика пугали невозмутимые шутки церковного ризничего Егле, который по совместительству был могильщиком. Заходя по воскресеньям к пастору, Егле ощупывал лоб маленького Альберта и говорил: «Ага, рога все-таки растут!» На лбу у Альберта было две шишки, и с тех пор, как он увидел на библейской картинке Моисея с рожками, шишки эти его сильно тревожили. Пронюхав об этом, шутник-ризничий продолжал с невозмутимостью справляться о состоянии рогов. И точно кролик, зачарованный взглядом удава, маленький Альберт каждый раз подходил к ризничему, давал ощупать себе лоб и обреченно выслушивал известие о том, что «они все растут!». Только через год отец избавил его от этого наваждения, авторитетно разъяснив, что из всех людей рога были только у Моисея.

Но тогда ризничий придумал новую шутку:

– Теперь мы принадлежим Пруссии, а в Пруссии всех берут в солдаты, а все солдаты носят железную одежду, так что скоро уж тебя поведут к кузнецу, и он снимет с тебя мерку для железной одежды.

Сколько раз после этого бедняжка Альберт прятался у кузницы, со страхом ожидая увидеть солдата, закованного в железо. И только позднее, когда в книжке ему попала картинка с изображением кирасира, мать разъяснила Альберту, что он-то будет простым солдатом, а солдаты носят обычную одежду.

Старый солдат Егле хотел воспитать в мальчугане чувство юмора,

отсутствием которого не страдали жители Мюнстерской долины. Однако уроки его, вероятно, были преждевременны, Альберт был еще мал. В зрелые годы он не уступил бы в искусстве невозмутимой эльзасской шутки никому из обитателей долины.

О чуде Егле Швейцер сохранил долгую память и часто рассказывал друзьям, как в горячую пору сенокоса к могильщику Егле прибежал кто-то из жителей и сказал, что у него умер отец и нужно скорее копать могилу.

– Ну вот еще, – отозвался Егле. – Теперь всякий будет ходить и говорить, что у него умер отец!

А однажды летним воскресным днем Егле остановил проходивших мимо пастора Швейцера с сынишкой и стал со слезами на глазах рассказывать им про своего теленка. О, это был чудный теленок, красавчик, он так привязался к Егле и ходил за ним, как собака. А весной Егле послал его на пастбище, и теперь пожалуйста: пошел он сегодня в горы навестить теленка, а тот не обращает никакого внимания на хозяина. Разве не обидна такая неблагодарность? Уязвленный в самое сердце, ризничий вскоре продал неблагодарного теленка, забывшего о старой дружбе.

Рассказы о ризничем вводят нас в атмосферу доброго эльзасского юмора, крестьянских забот и трудов, в самую гущу сельского мира, в котором животные и растения занимают едва ли меньшее место, чем люди.

С животными связаны многие из ранних и очень существенных воспоминаний Швейцера, которые помогут нам впоследствии раскрыть движущие мотивы поступков Швейцера, существо его зрелой философии и поздние годы его жизни.

Вот эпизод с пчелами. Альберт еще совсем малюсенький, в платьице, и это едва ли не первое сознательное его воспоминание. Посадив малыша в саду, отец возится с пчелами. Красавица пчела садится на руку ребенку, и Альберт с любопытством ее разглядывает. И вдруг – страшный вопль. Пчела отомстила мальчугану за разорение, произведенное пастором у них в улье. На крик сбегаются домочадцы: служанка хватает малыша на руки и осыпает поцелуями, мать упрекает отца в неосторожности. Маленький Альберт – в центре внимания. Он удовлетворенно ревет, неожиданно замечая при этом, что боль давно прошла. И тут он сознает, что преувеличенно громкий рев его рассчитан на то, чтобы вызвать еще больше сочувствия. Остаток дня он чувствует себя негодяем, и воспоминание это не раз на протяжении жизни удерживало его от преувеличений и жалоб.

Еще удивительнее случай с собакой. Отцовская собака Фюлакс не любила людей в казенной форме. Однажды она бросилась на полицейского, и теперь ее приходилось держать всякий раз, когда приходил почтальон. И

вот маленькому Альберту, вооруженному хлыстом, поручают следить за Фюлаксом, пока не уйдет почтальон. Загнав собаку в угол, Альберт щелкает бичом, как настоящий укротитель. Когда Фюлакс рычит и скалится, Альберт бьет его кнутом, как могучий и гордый хозяин. Но потом радость власти уходит. Мир восстановлен, маленький Альберт сидит в обнимку с собакой и предается не совсем детским мыслям. Он думает, что, наверно, достаточно было бы держать собаку за ошейник и просто гладить ее.

Или вот еще. На каникулах маленькому Альберту позволили править соседской гнедой кобылой. Она еле тащится и страдает одышкой, и все же новоявленный кучер не удержался, чтобы не хлестнуть ее, не погнать рысью. А потом, когда дома они распрягали лошадь, Альберт увидел, как ходят ходуном бока у лошади, как слезятся ее усталые, старые глаза, и почувствовал...

Ну да, он умел это чувствовать еще в детские годы. То, к чему некоторые приходят позднее. А некоторые не приходят никогда. То, что упомянутый выше норвежский исследователь, комментируя детские воспоминания Швейцера, называет «чисто человеческим порывом сочувствовать и отождествлять себя с другим существом».

Еще в ранние годы детства он «был удручен количеством бед, которые видел вокруг себя». Именно поэтому он, по собственному признанию, никогда по-настоящему не знал безмятежной юной «joie de vivre» – радости жизни. А страдания животных особенно удручали его в эти детские годы.

Вот он видит, как крестьянин гонит на кольмарскую живодерню старую хромоую лошадь, подбадривая ее палкой. И несколько недель видение это преследует его. Несколько недель, а может и несколько десятков лет, потому что он смог оживить это зрелище перед мысленным взором на пороге пятидесятилетия. Когда взрослые научили его первой молитве, для него непонятным оставалось, почему в ней ничего не говорится о животных. И когда мать, помолившись вместе с ним и поцеловав его на ночь, уходила, он добавлял к их общей молитве еще одну, собственную: «Отец небесный, спаси и помилуй всех, которые дышат, охрани их от зла и пусть спят в мире».

Однажды, уже гимназистом, приехав домой на рождество, он правил санями, а соседская собака бросилась на лошадь. И тогда он хлестнул собаку с полным сознанием своего права, но по неловкости попал ей по глазам и долго не мог забыть отчаянный визг боли...

Он дважды ходил удить рыбу – и не смог. Не смог видеть, как извивается червяк на крючке, как ловит воздух рыба, задыхаясь на берегу.

И тогда в мире стало меньше одним удильщиком.

Конечно же, оно было счастливым, его детство, даже «исключительно счастливым», но, как вы могли отметить, он не был безмятежно счастлив даже тогда.

Вот воспоминание о весенней вылазке на гору Ребберг. У Альберта, которому шел восьмой год, и у его соседа Генриха Брэша, который был немногим старше, были рогатки – оружие, хорошо знакомое мальчишкам всего света. Генрих предложил пойти на Ребберг, пострелять птиц. Предложение показалось Альберту чуть страшноватым, но отказаться он стеснялся. Они пошли на гору. Была весна, стоял великий пост. Птицы захлеб распевали па голых еще ветвях и подпускали мальчишек совсем близко. А они шли, пригнувшись к земле, как краснокожие индейцы. Наконец, Генрих поднял камешек и дал команду заряжать. Альберт тоже прицелился, цепенея от ужаса. Но тут зазвонили колокола в долине, и Альберт понял, что ему нужно делать. Он спугнул птиц и убежал прочь.

Он думал над тем, что произошло, и отметил, что страх перед мнением товарища чуть не толкнул его на бессмысленную жестокость. «С тех пор, – вспоминает Швейцер, – я набрался смелости не бояться людского мнения, и, если речь шла о моем внутреннем убеждении, я меньше, чем раньше, обращал внимание на то, что подумают другие. Я пытался также избавиться от страха, что товарищи по школе будут надо мной смеяться.

Это первое впечатление, которое произвела на меня заповедь, запрещающая убивать и мучить другие существа, было одним из величайших переживаний моего детства и юности. По сравнению с ним все прочие кажутся незначительными».

Как видите, очень странное детство, где совершенно детские радости, детские горести и детские страхи существуют бок о бок с переживаниями, которые, по выражению того же Лангфельдта, свидетельствуют о «биологически заложенных этических реакциях» маленького Альберта.

Если не считать этих не очень заметных постороннему глазу переживаний, безмятежное детство его развивалось вполне обычно. Он не был вундеркиндом, не был блестящим ребенком: просто высокий и крепкий деревенский мальчишка, пасторский сын. Он был свободен, как и другие мальчишки. В его распоряжении были сад, и улица, и дорога, и гора Ребберг. Он вовсе не жаждал пойти в школу и проститься с этой свободой. Он не испытывал обычного возбуждения неопита, когда в один прекрасный осенний день отец сунул ему под мышку грифельную доску, взял его за руку и повел к деревенской учительнице. В ожидании этого события он проплакал весь день. Розовая дымка, в которой часто предстает перед нами

новая, незнакомая еще жизнь, по собственному признанию, не манила его: он «всегда вступал на порог неведомого без иллюзий».

Первое школьное впечатление связано было с визитом инспектора Штайнерта. Альберт заметил, что у бедной учительницы при этом тряслись руки, а старый учитель все время улыбался и кланялся. Но главное заключалось в том, что этот красноносый, пузатый и лысый человек по фамилии Штайнерт был Писателем, Автором, человеком, который написал учебник, и Альберт, кажется, мог различить сияние, окружавшее его лысый череп, потому что это был череп человека, написавшего книгу. Впрочем, к самым книгам маленький Альберт был в ту пору еще довольно равнодушен.

Кабинет отца казался ему самым неудобным местом на свете. Дыхание здесь спирало от затхлого запаха книг, а то, что отец вечно сидел, склонившись над столом, все время что-то читал и что-то писал, казалось маленькому Альберту в высшей степени противоестественным. В кабинет отца Альберт заходил только в случае крайней необходимости. И потому он с ужасом ждал рождества, традиционных рождественских подарков и того, что следовало непосредственно за рождеством: сочинения писем с благодарностью за подарки.

В деревенской школе Альберт испытал первое и очень острое разочарование: его предал друг. Рана, нанесенная этим бессмысленным детским предательством, долго не заживала.

С друзьями из деревенской школы связано и другое, наверно, еще более острое переживание маленького Альберта.

Надо сказать, что многодетный пастор Швейцер был беден. Дети не ощущали этого, и только позднее узнал Альберт, почему глаза его матери были так часто красны от слез. Семья была большая, жалованье маленькое, отец часто болел, и Адель Швейцер едва сводила концы с концами. Когда Альберт вырос, мать рассказала ему, какую строгую экономию ей приходилось вести в те годы. Она употребляла в пищу только грубо приготовленное растительное масло, от которого жестоко страдал животом болезненный пастор Швейцер.

И все же при общении с деревенскими мальчишками у Альберта создалось впечатление, что он из богачей. Более того, он страдал от сознания этого. Все началось с потасовки. Альберт никогда не нападал первым, но он любил эту щенячью возню и безобидные турниры, которыми без конца развлекаются деревенские мальчишки. И вот однажды, когда он неожиданно для самого себя оказался верхом на здоровенном верзиле Георге Ничельме, тот злобно крикнул:

– Да, если мне бульон два раза в неделю давать, как тебе, так я еще

сильней тебя буду!

Победитель брел домой как побитый. Георг прямо высказал ему то, что он ощущал и раньше: деревенские мальчишки не считали его своим. Он был пасторский сынок, из богатых, «из благородных», и мысль об этом его мучила.

С этого дня он не мог без отвращения видеть бульон. Потом он стал приглядываться к своей одежде. Ему перешили пальто из старенького отцовского.

Еще на примерке Альберт почувствовал, что надеть эту перелицованную роскошь он не сможет.

– Бог мой, Альберт, – сказал старый деревенский портной, – да ты настоящий господин!

Мальчик чуть не расплакался. Его друзья, деревенские мальчишки, бегали вообще без пальто, у них ведь и такого, перешитого, не было. В первое же воскресенье, когда мать велела ему переодеться к заутрене, Альберт наотрез отказался надеть новое пальто. Разыгралась безобразная сцена. Мирный пастор Швейцер в изумлении дал маленькому бунтарю оплеуху. Это не помогло. В церковь он пошел без пальто. Каждое воскресенье теперь повторялась та же история. Но Альберт твердо стоял на своем. Он носил только беспальные перчатки и деревянные башмаки. Каждый поход в гости превращался теперь в скандал, в результате которого он получал оплеухи и оставался дома, запертый в кладовке. Все потому, что он не хотел одеться как «порядочный». Он вел себя героически, но никто из деревенских мальчишек не знал об этом. И дома только любимая сестра Луиза его понимала.

Он, наверное, лучше относился к товарищам по школе, чем они к нему. Впоследствии он всегда рассказывал, как он рад тому, что начинал учиться в деревенской школе, ибо он смог убедиться там, что у этих ребят, которые ходили в грубых носках и деревянных башмаках, голова варила не хуже, чем у всякого, кто «из благородных», не хуже, чем его собственная. Через четыре десятка лет он написал:

«Даже сегодня, встречая своих старых школьных приятелей где-нибудь в деревне или на ферме, я сразу и с большой точностью вспоминаю, в чем я тогда не мог догнать их... До сих пор они стоят передо мной рядом с названиями предметов, по которым они успевали лучше моего».

Успевать на уроках лучше него было, впрочем, в ту пору нетрудно. Впоследствии, на восьмом десятке, он рассказывал американской кинематографистке Эрике Андерсон:

– Вы знаете, я ведь в душе лентяй. Именно поэтому я и должен так

упорно работать. А все думают, что это я по натуре такой трудолюбивый. Если б вы только знали, сколько у моего отца было со мной неприятностей. Не так-то легко было научить меня писать и читать. Отец мне всегда говорил: «Альберт, Альберт, ты бы хоть читать и писать научился, чтоб мы тебя могли в почтальоны отдать в Гюнсбахе».

Впрочем, был один предмет, в котором он шел не из последних в скромной сельской школе своего детства: речь идет о наследственной страсти всех Швейцеров и Шиллингеров – о музыке. Пастор Луи Швейцер не был великим знатоком музыки, но любил импровизировать на стареньком пианино, доставшемся ему в наследство от тестя Шиллингера. Играть на этом пианино он и учил своего старшего сына с пяти лет: не по нотам, а, как говорят, по слуху. Играть и, конечно, импровизировать. Вскоре мальчик уже играл одной рукой мелодии гимнов и песен, подбирая другой собственный аккомпанемент к ним.

Семи лет, уже в школе, Альберт увидел однажды на уроке пения, как учительница наигрывала мелодию одним пальцем, без всякого аккомпанемента. Сперва это просто резало слух маленькому Альберту, потом он стал удивляться, почему бы ей не играть нормально, двумя руками. Он даже спросил об этом учительницу и, поясняя свою мысль, сел за фисгармонию, взял несколько аккордов и стал что-то подбирать, демонстрируя ей аккомпанемент. Учительница посмотрела на него удивленно и с тех пор стала относиться к нему, пожалуй, даже лучше, чем раньше, только как-то странно. Играть она, впрочем, продолжала одним пальцем, и тогда Альберту пришло в голову, что она просто не умеет играть. И поскольку он был все-таки чудной мальчик, его охватило при этом открытии не торжество, а унижительное чувство стыда. Он подумал, что вот, она, наверно, решила тогда, что он выхвалялся перед нею, а ему просто и в голову не пришло, что можно играть иначе...

У него было очень острое ощущение музыки. В его воспоминаниях о детстве есть история, напоминающая легенду времен короля Людовика (сына Карла Великого), – о женщине, которая умерла от наслаждения, услышав в первый раз в жизни органную музыку. Как-то, еще во втором классе, то есть восьми лет от роду, он пришел на урок чистописания, а учитель чистописания еще не кончил в старшем классе урок музыки: по эльзасской традиции почти всякий школьный учитель играл на скрипке и на органе. И вот, подойдя к классной комнате во время урока пения, маленький Альберт услышал, как за дверью поет вокальный дуэт. Чистые юные голоса пропели: «У мельницы в раздумье сижу я над потоком», потом «Прекрасный лес, кто насадил тебя?». Маленького Альберта

охватило такое волнение, что ноги у него подкосились, и ему пришлось прислониться к стене. Все существо его пронзило острое наслаждение, когда он услышал, как сливаются в гармонии два голоса.

Его крестная, мадемуазель Жюли из Кольмара, давала ему фортепьянные уроки. Она до старости жаловалась, что пальцы у него были как деревянные, хотя еще мальчишкой он очень лихо играл на ее свадьбе, и пальцы его при этом с большой ловкостью выделявали все, что им положено. Может статься, она была и не очень даровитой учительницей.

Три года деревенской школы пролетели счастливо и незаметно. В последний год Альберт ходил уже не к фрейлейн Гогель, а в «старший класс», к папаше Ильтису. Папаша Ильтис был хороший учитель, и Альберт от него многое узнал играючи, без занудных штудий и перенапряжения. А главное – папаша Ильтис подпускал его к органу. Ноги у Альберта еще не доставали до педалей, но он уже умел наполнять гюнсбахскую церковь этим рокотанием, похожим на перекаты небесного грома и хор нечеловеческих, трубных голосов. Альберт был Швейцер, а для Швейцеров орган был родной инструмент.

Когда Альберту было девять лет, он начал ходить в «реальшколе» – «реальную школу», за три с лишним километра от Гюнсбаха, в Мюнстер. Школа эта была «нового типа», то есть в ней не заставляли учить греческий язык. Занимался там Альберт совсем недолго, но любопытно, что из всех воспоминаний об этой поре самым ярким у него было воспоминание о дороге до школы – три километра туда, три обратно, всегда пешком. И при этом он по большей части старался ходить один. Именно в эту пору определилась уже вполне ясно одна из главных привязанностей его жизни – любовь к природе. Дорога в Мюнстер шла через горы, и он не скучал. Ему не надоедало в одиночестве смотреть на зелень Шлосвальда, на развалины старого Шварценбургского замка под сенью леса. Ему не надоедало наблюдать увядание шлосвальдской листвы, когда дубы становились ржавыми, а клены кроваво-красными и только сосны густо зеленели на склонах. Ему не надоедало сверкание свежей зимы и весеннее пробуждение. Так же как потом за добрых полстолетия не надоело ему созерцание зеленых берегов Огове, экзотической африканской зелени, вид на которую открывался из окна его кабинета.

Он так привязался к пейзажам Мюнстерской долины, что весть о том, что после каникул его отдадут в гимназию в Мюльхаузен и что ему придется расстаться с долиной, с одинокими прогулками от школы до дому, он воспринял как весть о несчастье. Он убежал, спрятался от взрослых и долгие часы плакал тайком. Впрочем, это случилось позднее, в 1885 году,

когда ему было уже десять.

Из преподавателей «реальшколе» наибольшее впечатление произвел на него пастор Шефлер, преподаватель закона божьего. Это был незаурядный рассказчик, и Швейцер на всю жизнь запомнил, как пастор Шефлер излагал в классе библейскую историю об Иосифе.

В том месте этой трогательной истории, где Иосиф открывается своим злодеям-братьям, пастор, взволнованный собственным рассказом, начинал плакать за учительским столом. А мало-помалу и весь класс начинал всхлипывать, точно сборище одиноких зрительниц на роستانовском «Сирано».

Впрочем, сам Альберт при всей его чувствительности был довольно смешливым, и одноклассники пользовались этим. Рассмешив беднягу Альберта, они начинали кричать с места: «А Швейцер смеется!» Так появлялась в классном журнале возмущенная запись: «Швейцер смеялся на уроке».

Неконтролируемый смех этот вовсе не означал, что у маленького Альберта был веселый нрав. Скорее напротив – он был молчаливый, застенчивый, очень сдержанный и даже скрытный. Сдержанность, как упоминалось уже, он унаследовал от матери, которая не признавала открытых изъявлений нежности. Швейцер вспоминал, что они с матерью никогда не умели говорить о своих чувствах, и он вообще мог бы перечислить по пальцам случаи, когда им с матерью довелось говорить по душам,

От матери (и конечно, от деда, отца матери – пастора Шиллингера) унаследовал Альберт вспыльчивый, по временам просто бешеный, нрав. Еще в раннем детстве вспыльчивость эта давала о себе знать в ребячьих играх. Он увлекался, приходил в страшное возбуждение и начинал злиться, если кто-нибудь относился к игре с меньшей серьезностью, чем он сам. Однажды, обыгрывая сестру, он чуть не ударил ее за то, что она играла так вяло. Случай этот натолкнул необычного ребенка на размышления. И со временем он вовсе бросил игры, только потому, что, увлекаясь ими, мог утратить контроль над собой. Он никогда не прикасался из-за этого к картам. Уже в зрелом возрасте он, по собственному признанию, с чувством стыда вспоминал многие свои юношеские и даже детские вспышки дурного характера.

В обильной литературе, посвященной Швейцеру, не раз, конечно, встречается анализ «Воспоминаний о детстве». Первый их слушатель, специалист по психоанализу доктор Пфистер из Цюриха, как следовало ожидать, заметил здесь и «комплекс неполноценности», и «неизначальный

страх». Последнее заключение основано, вероятно, на описании детских страхов, хотя при внимательном чтении можно отметить и то, что ребенок каждый раз ведет себя очень мужественно. «Комплекс неполноценности» подразумевает, как видно, повышенную чувствительность к правде и красоте, сочувствие другому одушевленному существу. Другие исследователи (Краус, Лангфельдт, Кларк) отмечали в этих записках раннюю потребность принимать существование морального кодекса и сочувствовать другому – потребность, «вызывающую мгновенные моральные реакции».

Здесь нетрудно, конечно, установить также глубокое влияние семейной традиции и воспитания на будущего доктора из Ламбарене. Но при этом следует помнить, что все-таки ни один из этих добропорядочных протестантов, Швейцеров или Шиллингеров, не заходил так далеко в своем сочувствии человечеству.

Благодаря могучему физическому и душевному здоровью Альберта, детство его при всех описанных выше переживаниях оставалось счастливым. Любопытно и то, что ощущение здоровья и счастья не притупляло этой чувствительности Швейцера, а, напротив, усугубляло ее, что привело в конце концов к столь волнующему финалу.

Есть еще два впечатления детства, о которых уже пора сказать. Они, вероятно, имеют самое непосредственное отношение к той психологической реакции, которая завершилась отъездом Швейцера в Африку. Не исключено, что эти два компонента, именно эти две ретроспекции, о которых мы хотим рассказать, участвовали в процессе; сам Швейцер думает именно так, недаром он снова и снова повторяет в мемуарах эти случайные имена – Казалис и Бартольди. Оговорим сразу, что мы не отважимся тут добавить от себя ни одного предположения, ибо процесс принятия того или иного жизненного решения не менее сложен, чем процесс возникновения художественного образа или бессмертной стихотворной строки, и нужно обладать поистине самоуверенностью, чтобы расчленять этот процесс. Итак, Казалис и Бартольди.

В каждое первое воскресенье месяца пастор Луи Швейцер рассказывал своим прихожанам о жизни и трудах миссионеров. Однажды он специально перевел с французского для этих своих чтений записки миссионера Казалиса, жившего в Базутоленде, в Южной Африке. Пастор несколько месяцев читал в церкви эти мемуары, и они произвели на маленького Альберта неизгладимое впечатление. Не нужно, вероятно, придавать подобным впечатлениям решающего значения. У мальчика ведь был выбор: он знал к тому времени немало рассказов про славных

сыщиков, краснокожих индейцев, бесстрашных воинов, побеждавших в кровопролитных войнах, искателей кладов, изобретателей пороха, а также про удачливых рыцарей, женившихся на принцессах чрезвычайных физических достоинств и незаурядной материальной обеспеченности...

С произведениями скульптора Бартольди читатель отчасти знаком, наверно, по газетным карикатурам. Бартольди создал знаменитую статую Свободы, и она по иронии судьбы стоит у океанского входа в один из самых суматошных городов мира: ну да, та самая нью-йоркская «каменная баба Свобода».

Бартольди был уроженцем маленького Кольмара, где в детстве частенько бывал с родителями маленький Альберт, потому что от Гюнсбаха до Кольмара рукой подать. На Марсовом поле в Кольмаре стояла одна из работ Бартольди – памятник адмиралу Брюа. Швейцер и в зрелые годы считал этот памятник одним из самых выразительных произведений скульптуры и архитектуры. На постаменте памятника среди прочих была высечена фигура африканца, которую Швейцер описывает так:

«Это фигура человека поистине геркулесовских пропорций, но лицо его носит выражение задумчивой грусти, которое я не могу забыть; каждый раз, когда мы ездили в Кольмар, я всегда старался выкроить минуту, чтобы сходить к памятнику и полюбоваться на него. Лицо этого негра говорило мне о горестях Черного континента, и даже сегодня, попадая в Кольмар, я совершаю паломничество к этому памятнику».

Добавим, что копия головы бартольдовского африканца стояла позднее в кабинете Швейцера в Гюнсбахе, и Швейцер сам называл это творение Бартольди в ряду тех впечатлений, «которые обратили его ребячьи мысли к далеким землям».

Глава 2

Десяти лет Альберт простился с родной долиной и босоногим детством. Впрочем, босоное – это, наверное, из другой, лучше знакомой нам жизни, в которой орава мальчишек поднимает столбом мягкую пыль деревенской улицы. Гюнсбахские мальчишки отчаянно грохотали деревянными ботинками по древним мощеным площадям своей деревушки; постукивая ботинками по корням сосен и буков, карабкались к развалинам замка, бродили по душистому, нагретому солнцем Шлосвальду.

Родители решились, наконец, послать Альберта в Мюльхаузен, в гимназию. В гимназии было бесплатное место для пасторского сына, однако в конечном итоге отъезд Альберта в Мюльхаузен решило даже не это. Бездетные родственники Швейцеров, жившие в Мюльхаузене, предложили взять Альберта к себе на все время обучения совершенно бесплатно. Иначе многодетному пастору, дела которого были в то время еще не очень хороши, такую нагрузку на семейный бюджет было бы не осилить. Впрочем, как многим он обязан своим благодетелям, тете Софи и дяде Луи, Альберт понял только гораздо позже. Сейчас он заметил только, что вольная жизнь для него кончилась.

Дядя Луи всю жизнь был директором школы, всю жизнь воспитывал детей, но был при этом бездетен, и дома ему воспитывать было некого. Так что Альберт появился весьма кстати. Дядя был выдержан и педантичен. Тетя Софи не уступала мужу. В доме царили строгая регламентация и порядок. В Гюнсбахе тоже учили и бережливости, и благовоспитанности, и порядку, и благочестию, и трудолюбию. И все же гюнсбахский дом отца по сравнению с суровым дядиным домом был настоящей вольницей. В доме дяди все было строго расписано по часам; распорядок, разумный расчет и послушание были обязательны, и никому не пришло бы в голову их нарушить. Нужна, вероятно, кисть Диккенса, чтобы описать чопорный распорядок мюльхаузенского дома. Впрочем, нужна ли нам, читатель, еще одна сатира на то, что было столько раз высмеяно? Может, лучше повертеть эту медаль, рассмотреть повнимательней ее лицевую сторону.

Хотя многое уже определилось в десятилетнем мальчике, приехавшем в Мюльхаузен, хотя многие свои детские убеждения он стремился отстаивать, одни – из чувства противоречия, другие – из сознания своей правоты, все-таки мюльхаузенский дом не мог не оказать на него влияния, которое хочется назвать добрым. Может, именно здесь ему удалось

преодолеть природную лень, о которой он говорил больше полвека спустя Эрике Андерсон, может, именно здесь научили его работать за столом, научили простоте и бережливости.

В первые его гимназические годы материальное положение семьи все еще оставалось тяжелым. Альберт гордился тем, что умел сводить свои нужды до минимума, старался как можно меньше брать из дому, где оставалось еще четверо детей. Но однажды осенью мать заявила, что зимний костюм мал Альберту и что ему нужен новый. Альберт ответил, что неправда, он еще может носить старый. На самом деле ему уже давно приходилось бегать в светлом летнем костюме: старый был ему мал. Тетка поддержала Альберта: она считала, что лишения и закалка не повредят мальчику. Что до него самого, то его не мучил холод: ему было обидно, что многие мальчишки в школе косились на него, как на нищего. И все же он готов был перенести эти насмешки, чтобы помочь матери. В этой ситуации нетрудно понять всех троих. Но права была, вероятно, все-таки тетка Софи. Впрочем, даже поздний рассказ Швейцера об этом случае сохраняет привкус детской обиды.

Учеником он был в то время не блестящим. Настолько не блестящим, что однажды отца даже вызвали по этому поводу к директору школы. Поскольку Альберт занимал бесплатное место, предназначенное для сыновей небогатых пасторов, а успехи его были столь скромными, директор намекнул отцу, что, может, лучше было бы держать этого туповатого отпрыска дома, где в деревенской школе... Бедная мать все рождество ходила с красными от слез глазами, когда Альберт привез домой свой удручающий отчет об успеваемости. Сам же мальчик не замечал или почти не замечал этого. Он был в ту пору до крайности рассеянным и мечтательным. Правда, он подивился про себя, отчего отец его не ругает. Но добрый пастор молча переживал свой позор.

Еще более рассеянным Альберт бывал на уроках. Никому из учителей не удавалось его заинтересовать. Особенно скучными казались ему уроки литературы. Он ждал первого урока с нетерпением. И вот, наконец, учитель заговорил о любимом его стихотворении, которое он столько раз повторял по дороге из Мюнстера в Гюнсбах: «Сосна, зеленая сосна...» Однако то, как заговорил об этом учитель, показалось Альберту и оскорбительным, и глупым. Учитель пытался разъять красоту, и от этого чувство, которое раньше неизменно охватывало мальчика при первом же аккорде этой словесной музыки, стало пропадать. Альберт начал даже опасаться, что оно никогда больше не вернется к нему, и он отвернулся с возмущением от учительского «разбора». Он просто перестал слушать на уроке: «захлопнул

ставни, чтобы не слышать уличного шума». Он и в пятьдесят лет писал об этом уроке с возмущением: «Стихи, как мне казалось тогда и кажется до сих пор, не нуждаются в объяснениях; их нужно пережить, прочувствовать».

Невнимательность мюльхаузенского гимназиста грозила ему осложнениями. Спасло его появление учителя Вемана. Учитель Веман был хороший педагог. Он не только знал свой предмет, он еще и готовился к уроку. Он точно мог рассчитать, сколько он успеет рассказать за урок, и умел держать себя в руках. Он вовремя возвращал тетради, у него было высокое чувство ответственности. Просто поразительно, какое глубокое впечатление произвели эти добродетели на маленького гимназиста. Позднее Швейцер писал, что доктор Веман стал для него образцом выполнения долга. Ко всему прочему Веман был образованный и талантливый учитель. Ученик проснулся. Ученик стал подражать учителю. Он стал хорошо учиться. Когда он приехал домой на пасху, мать после рождественских неприятностей ждала худшего. Но в табеле у него вопреки ожиданиям, были хорошие оценки.

В Мюльхаузене он очень скучал по дому. Скучал по лесам, по Мюнстерской долине, по таинственным руинам замка.

День его, как и все в доме дяди, был подчинен строжайшему распорядку. Гимназия. Обед. После обеда занятия музыкой. Потом снова гимназия. Если удавалось закончить уроки пораньше – снова за пианино. Тетя тащила его к пианино силком. «Ты не знаешь, какую службу музыка может сослужить тебе в будущем», – говорила она.

Гимназия, уроки, музыка, уроки, гимназия...

Однажды в солнечный мартовский день, когда ручейками сбегали с гор последние сугробы, Альберт сидел над учебниками и тоскливо смотрел в окно. Тетя Софи гладила. Они только что покончили с послеобеденным кофе, и теперь ничего не предвиделось больше, кроме уроков, уроков, уроков... Солнечные блики играли на потолке, отражаясь от уличной лужи. Альберт не поверил собственным ушам, когда тетя Софи вдруг сказала:

– Собирайся. Пойдем с тобой погуляем...

Они перешли по мосту через канал, в котором еще плавали льдины, потом стали взбираться по склону горы Ребберг. Альберт со страхом ждал, что тетя Софи скажет; «Ну, хватит, пошли домой!» Но тетя молчала, и они все шли и шли, пока не стало темнеть. Они почти ни о чем не говорили, но что-то переменилось с этого дня в их отношениях. Альберт понял, что у тети, которая была к нему так непримиримо строга, было чуткое сердце, которое может понять многое.

В эпизодах, рассказанных на кушетке доктора Пфистера, неожиданно оживает множество даже не до конца осознанных обид свободолобивого ребячьего духа. В автобиографической книжке, написанной еще десятью годами позже, Швейцер формулирует свое позднее отношение к этому периоду жизни с жесткой четкостью взрослого: «Суровая дисциплина, которой я подчинялся в доме моего дяди и его жены... была для меня очень полезна».

Мало-помалу неуспевающий гимназист Швейцер входит в колею. Он приучается к ежедневным занятиям, приобретает упорство. Более того, он приобретает вкус к преодолению трудностей: ему даже нравится, если предмет поначалу ему не дается, если нужно применить упорство и силу.

Вдобавок им овладевает страсть к чтению. Воскресенье было в доме дяди днем отдыха. После утренней прогулки Альберту позволялось читать хоть до десяти вечера. Разрешил ему тетя Софи, он читал бы всю ночь напролет. Если книга ему нравилась, он уже не мог остановиться, пока не кончит. Вначале он должен был хотя бы просмотреть книгу до конца и, если понравится, перечитать ее раз, другой, третий. В «Воспоминаниях» почти пятидесятилетний и вполне самостоятельный Швейцер отстаивает свою манеру чтения. Противницей ее была, конечно, тетушка Софи. По ее мнению, это было просто ужасно: то, что он глотает книги. Она считала, что здесь, как на городских магистралях, должно существовать ограничение скорости. Тетушка сама была любительницей чтения и, как бывшая учительница, считала себя специалистом в этой сфере. По ее собственному заявлению, читала она «для того, чтобы насладиться стилем, который играет весьма важную роль». В чтении она придерживалась обычных своих сугубо педантических правил. Читала она один час до ужина и два часа после ужина: ни минуты дольше. Она вязала, держа перед собой открытую книгу, и если достоинства стиля были особенно высокими, тетушкины пальцы, сжимавшие спицы, замедляли свой бег, как лошади, заметившие, что кучер замечтался (сравнение это принадлежит, по всей вероятности, зрелому Швейцеру, который был большой мастер по части сравнений и метафор). По временам тетушка невольно восклицала: «Ох, уж этот Доде!», «Ах, что за стиль у этого Терьо!» Читая «Семью Бухгольц» Юлиуса Штинде, тетушка смеялась так, что слезы текли у нее по щекам, но в положенный срок она захлопывала книгу, ни разу не опоздав даже на четверть часа, чем совершенно изумляла внучатого племянника.

Тетушка, конечно, пыталась воздействовать на его манеру чтения, пуская в ход то ласку, то сарказм, то власть. Все было напрасно. Альберт был убежден, что, «глотаю» книгу, он имеет полную возможность

разобраться в ее стиле, и, если он испытывал побуждение перескакивать через целые страницы, он приписывал это дурному стилю автора. И наоборот. Впрочем, он не высказывал этих своих мыслей при тетушке, потому что от нее зависело, разрешить ему читать еще пятнадцать минут или не разрешить.

Только через три с лишним десятилетия он высказал свою точку зрения и подчеркнул при этом, что не так легко поколебать человека в его внутренней природе и характере. Что ж, и десяти- и двенадцатилетний человек, без сомнения, имеет свою «внутреннюю природу» и сложившийся характер, что бы ни думали о нем педагоги и родственники.

Независимо от своих гимназических успехов, Альберт стремительно растет в эти годы. Книги, новые знакомства, новые впечатления и главное – размышления над всем прочитанным, увиденным, услышанным. В доме у дяди жила фрейлейн Анна Шефер, учительница женской школы, тоже пасторская дочка, существо очень разумное и доброе. По признанию Швейцера, она больше сделала для его воспитания, чем сама предполагала.

Он бывал в доме у своего одноклассника Эдварда Остье.

Мать Эдварда, фрау Остье, была женщина незаурядного ума и такта. Исключительно начитанным и образованным человеком был пастор Матью, отец другого одноклассника, в доме которого Альберт тоже часто бывал. Хотя тетя Софи не любила, чтоб мальчик «околачивался без толку» по гостям, в эти два дома она ему разрешала ходить. Позднее, когда по средам и субботам Альберта стали отпускать одного на прогулки, он уходил в горы. Оттуда, из прекрасного горного одиночества, он с тоской смотрел на знакомые вершины родной Мюнстерской долины. Во время этих прогулок Альберт часто встречал пожилого человека, энергично шагавшего по дороге. Человек держал за спиной шляпу, и его седые волосы развевались по ветру. Альберт видел его на кафедре во время проповеди и потому сразу узнал в нем мюльхаузенского пастора и довольно известного эльзасского поэта Адольфа Штребера. Они стали раскланиваться и однажды даже разговорились. С тех пор они часто возвращались вместе, и сердце Альберта переполнялось гордостью, потому что он шагал рядом с настоящим, живым поэтом.

Среди самых сильных и самых поздних гимназических впечатлений Швейцера надо отметить влияние нового директора гимназии Вильгельма Дееке. Это был настоящий ученый, знаток ранних греческих надписей и археологических находок. Он был выходцем из Любека, манеры его были несколько чопорны, и гимназисты не сразу к нему привыкли, но, привыкнув, прониклись огромным уважением. Фигура нового директора

была окутана тайной. Говорили, что мюльхаузенская гимназия была для него ссылкой, что он вызвал неудовольствие самого губернатора смелыми высказываниями, что он был личным другом поэта Гейбеля и историка Моммзена. Директорские уроки латыни и греческого были очень интересными.

Латынь поначалу причинила Альберту немало хлопот в гимназии. Он брал частные уроки латыни в Мюнстере, но к пятому классу классической гимназии оказался подготовленным слабо. Впрочем, уже под влиянием доктора Вемана он догнал одноклассников, а теперь еще появился Вильгельм Дееке, чьи лекции были одухотворены собственными идеями. До глубокой старости Швейцер не мог забыть его уроков, посвященных Платону. Герр Дееке хотел не только учить, но и воспитывать. Это был мыслящий, чувствующий, высокообразованный человек. Если считать труд учителя творческим, то всем известный Альберт Швейцер был одним из творений всеми забытого Вильгельма Дееке. Впрочем, его ученик Альберт Швейцер не забыл никого. В эпилоге к «Воспоминаниям о детстве и юности» Швейцер писал, что его волнует тот факт, что столькие люди дали ему в то время так много или были для него столь многим. Благодарность всегда была одной из наиболее высоко ценимых им добродетелей. Впрочем, среди людей, оказавших на него влияние, были люди, которых он никогда не знал лично, о которых только читал или слышал. Люди эти, конечно, и не подозревавшие о его существовании, имели на него «решающее влияние», вошли в его жизнь, «стали в ней силой»:

«Многое из того, чего я бы никогда не прочувствовал с такой ясностью и никогда бы не сделал, я сделал и прочувствовал только оттого, что находился под влиянием этих людей. И потому я твердо убежден, что в смысле духовном все мы живы тем, что другие дали нам в решительные часы жизни... Многими чертами характера, которые уже стали нашими собственными, нежностью, добротой, скромностью, готовностью прощать, правдивостью, верностью или самоотречением, мы обязаны людям, которые продемонстрировали нам в действии эти добродетели, порою в великом, а порою в малом. Мысль, которая стала делом, запала в нас, как искорка, и разожгла новое пламя».

Правда, для того чтобы вспыхнуло пламя, недостаточно просто искры извне, просто благородной идеи и благородного влияния, – оговаривает Швейцер. В самом человеке должно быть для этого топливо мыслей и добра. Но чтобы топливо это вспыхнуло, нужна искра извне, от другого человека. Зачастую потом и наше собственное пламя помогает зажечься другим. Как и когда – этого мы можем и не узнать. И все же «нам

открывается иногда, что частичка нашего есть в других, и это помогает нам не впадать в отчаяние». О людях же, которые зажгли наше пламя, мы помним с благодарностью.

Среди учителей юности Швейцера, которые зажгли его пламя и к которым он испытывал особую благодарность, был, конечно, и органист церкви св. Стефана, учитель музыки Эуген Мюнх. Надо сказать, что поначалу, несмотря на ранние музыкальные успехи, гимназист Швейцер был довольно трудным учеником для Мюнха. Молодой органист и учитель, сам только что вернувшийся из Берлинской высшей музыкальной школы, очень эмоционально высказывался о своем ученике: «Этот Альберт Швейцер, он у меня вот где сидит!» Беда Альберта была в том, что он любил импровизировать. И в те часы, когда тетя Софи затаскивала его за пианино, он вместо скучного урока брался за свои импровизации или играл с листа. К тому же он стеснялся играть в присутствии учителя. Он стеснялся выражать в чужом присутствии чувства, его волновавшие, и тут из всех людей скорее всего поняла бы его Адель Швейцер, урожденная Шиллингер. Как выражалась некогда его крестная, руки у него в эти минуты становились что деревянные.

И вот однажды, после такого деревянного исполнения моцартовской сонаты, учитель распахнул томик Мендельсона и сказал сердито:

– Вот вам. Вы, конечно, не заслужили такой прекрасной музыки. И вы, конечно, испортите мне эту «Песню без слов», как портите все остальное. Если уж в парне нет истинного чувства, то своего я ему не вложу.

«Ах, так? – подумал Альберт. – Я вам еще покажу, есть у меня чувство или нет!»

Всю неделю он упорно работал над произведением, которое столько раз исполнял раньше для себя. Он сделал то, чего раньше никто, даже тетя Софи, не мог заставить его сделать: он нашел наилучшее расположение пальцев и записал над нотами. А когда подошел урок, он сыграл учителю «Песню без слов» так, как он чувствовал ее.

Эуген Мюнх выслушал молча. Потом так же молча взял его за плечо железными пальцами пианиста и поставил рядом со стулом. А сам сел за рояль и сыграл ученику еще одну божественно прекрасную «Песню без слов». Потом он дал ему сонату Бетховена, а через несколько уроков счел его достойным войти в святилище Баха. Вскоре после открытия Баха произошло и второе великое событие: учитель сказал Альберту, что после конфирмации ему будет позволено учиться играть на органе.

Орган, как мы уже рассказывали, был наследственной страстью Швейцеров и Шиллингеров. Альберт уже в девять лет заменял папашу

Ильтиса в Гюнсбахе во время богослужения. Но Швейцеры плохо знали Баха. И кроме того, орган гюнсбахской церкви не мог сравниться с великолепным валькеровским органом церкви св. Стефана – органом с тремя клавиатурами, с шестьюдесятью двумя клавишами. Альберту предстояло теперь учиться под руководством замечательного органиста, и он счел это огромной удачей, настоящим подарком судьбы.

Альберт Швейцер всю жизнь вспоминал потом простой каменный трехэтажный дом возле церкви св. Стефана, где на втором этаже жил Эуген Мюнх, его незабвенный учитель. Учитель прожил недолго. Он умер, когда Альберт учился в университете. В этот год и вышла первая из многочисленных книг Швейцера – маленькая книжонка, посвященная Эугену Мюнху. Швейцер отдал высокую дань учителю и позднее, написав в своей баховской монографии:

«Некоторые фразы сошли с кончика моего пера уже готовыми, и я понял, что я только повторяю слова и образы, которыми мой первый учитель-органист обращал мой разум к баховской музыке...»

Одним из самых сильных музыкальных впечатлений гимназических лет был концерт Мари Жозефа Эрба, на который повели двенадцатилетнего Альберта дядя и тетя. Впоследствии в статье, написанной для сборника «Великие французские музыканты», Швейцер очень живо описал этот концерт:

«Меня поразило, что вокруг было так много людей в вечерних костюмах, и я подумал о том, как выгляжу я сам в своем воскресном костюмчике, из которого давно вырос. Женщины грызли конфеты. Шум в зале вдруг стих. На сцену вышел человек, который показался мне очень высоким, и зал встретил его аплодисментами.

Это был месье Эрб, который, с блеском закончив ученье, только недавно вернулся из Парижа. Он сел за рояль и, пока не воцарилась тишина, играл вступление, после чего с воодушевлением приступил к первому номеру. Тут я понял, что значит виртуоз. Я был просто в изумлении, глядя, как летают над клавишами его руки. И все наизусть, без запинок и ошибок! Я просто оторопел, слыша эту игру. Напрягши все свое знание фортепьяно, я пытался представить себе, как рождается весь этот каскад арпеджио и эти вспышки метеоритов, выливающиеся в такую ясную мелодию, как достигает он этих пианиссимо, не теряя ни единой ноты...

Передо мной вдруг открылись возможности фортепьяно. Домой я брел как во сне.

Назавтра я отрабатывал свои гаммы и упражнения для пальцев и бился над этюдами Черни с неслыханным пылом, даже когда этюды эти пестрели

диземами и двойными диземами, которые я так ненавидел раньше.

Впоследствии я слышал самых прославленных пианистов-виртуозов. Но ни один из них не привел меня в такой восторг и не дал столько вдохновения, как Эрб, когда я... был еще маленьким школьником».

В эту же пору Альберт впервые услышал в театре оперу Вагнера. Он был потрясен, и он не пропускал с тех пор в Мюльхаузене ни одной вагнеровской оперы, на всю жизнь сделавшись горячим поклонником «этого гения немецкой музыки».

Так мало-помалу обременительные и нудные уроки музыки обретали смысл для Альберта и меньше его мучили. Он вообще привыкал понемногу к строгому распорядку дядино дома, отвоевывая для себя мелкие уступки и права. Так было, например, с газетами.

Мать Альберта обожала читать газеты, которые они в Гюнсбахе получали во множестве. Мать очень страдала по праздникам, когда газеты читать было не положено. Альберт тоже пристрастился дома к чтению газет, но тете Софи его привычка набрасываться на свежие газеты показалась отвратительным проявлением несносной его манеры глотать всякое чтиво. Когда начинали накрывать на стол, Альберт получал возможность прервать занятия на пятнадцать минут. В эти пятнадцать минут он и читал «Страсбургскую почту», «Мюльхаузенскую ежедневную почту» и «Мюльхаузенские известия». Тетя заявила, что он интересуется только литературными приложениями, и попыталась наложить полный запрет на все газеты. Ее неорганизованный племянник отрицал это обвинение, доказывая, что читает политические новости, потому что это то же самое, что новейшая история (а к истории он питал особую слабость). Конфликт разгорался, и дядя сам взялся за его разрешение.

– Что ж, сейчас посмотрим, – сказал он, – читает ли этот паршивец политические новости!

Он начал экзаменовывать племянника, выясняя у него, какие царственные особы правят сейчас на Балканах и кто у них там премьер-министр. Когда Альберт справился с первым тестом, ему пришлось еще перечислять состав трех последних французских кабинетов. А в заключение дядя потребовал даже, чтобы он пересказал последнюю речь Эугена Рихтера в рейхстаге. Однако все завершилось полной победой племянника, салатом и печеной картошкой. Альберт получил разрешение читать газеты и даже злоупотреблял им, развлекая себя время от времени чтением литературных приложений. Более того, дядя стал относиться к нему почти как к взрослому и достаивал разговором на политические темы.

Годам к четырнадцати у юного Швейцера стал что-то портиться характер. У каждого по-своему протекает процесс ломки и созревания: Альберт, такой сдержанный раньше, стал вдруг заядлым спорщиком. Всякому встречному и поперечному он готов был теперь излагать свои взгляды, докапываться до корня чужих ошибок, развенчивать предрассудки и заблуждения, доказывая самую правильную и самую современную точку зрения. Для обычной застольной беседы все это бывало слишком глубокомысленно. Кроме того, взрослые вовсе не желали, чтобы кто-либо нарушал их послеобеденный покой, заставлял их спорить о вещах, которые они считали для себя давно решенными, да при этом еще спорить с мальчишкой. Сколько раз и в Мюльхаузене и в Гюнсбахе Альберт превращал мирную застольную беседу в шумную, изнурительную дискуссию. От его былой выдержанности и застенчивости не осталось следа: точно какой-то бес вселился в него. Тетя Софи была этим крайне недовольна и часто ругала Альберта за его невоспитанность. Но больше всех, конечно, терпел отец: и теперь, отправляясь в гости с Альбертом, он заранее брал с него обещание, что «он не будет портить людям настроение дурацкими спорами». Впрочем, отец умел быть снисходительным и здесь. Вообще, отношения между детьми и родителями в пасторском доме были, как писал впоследствии Швейцер, «идеальными благодаря мудрому пониманию, с которым родители относились к детям, даже когда дети вели себя глупо... Они приучили нас к свободе. Никогда, с тех самых пор, как я забросил свою несчастную привычку спорить, не бывало у нас в доме натянутых отношений между отцом и взрослым сыном, что мешает счастью столь многих семей... Мой отец был моим самым дорогим другом».

Что же до самой «несчастной привычки спорить», то это, по мнению Швейцера, не было просто каким-то временным наваждением или издержками роста. Вероятно, в мальчике пробудился «дух дедушки Шиллингера, любившего добиваться истины». Ведь в исканиях его внука, какими бы неприятными и назойливыми они ни казались взрослым, не было никаких эгоистических мотивов: они были рождены «страстной потребностью мыслить и отыскивать с помощью собеседника истинное и полезное». Альбертом овладело убеждение, что «на место расхожих мнений, недомыслия и предрассудков должны прийти выношенные мысли» и что только в этом случае будет возможен прогресс человечества. Это и побуждало его к мальчишески горячим, пускай даже и не всегда уместным, спорам.

В «Воспоминаниях», прибегая к выразительным сравнениям,

навеянными опытами эльзасской жизни, Швейцер пишет, что, конечно, процесс брожения был малоприятным, но вино после этого оставалось чистым. Защищая свое мятежное отрочество, он пишет, что ощущал уже в те годы, что, отступись он в пользу общепринятых взглядов от убеждений, которые защищал с таким рвением, он отступился бы от самого себя. Позднее природная сдержанность помогала ему соблюдать условности, и он старался поддерживать даже ничего не значащие, бессмысленные разговоры, так широко распространенные в современном обществе, просто чтобы не раздражать и не обижать людей. Но и позднее он при этом бунтовал внутренне и «страдал, потому что мы тратим столько времени бесполезно, вместо того чтобы серьезно и разумно говорить о серьезных предметах и глубже узнавать друг друга, как подобает человеческим существам, которые надеются и верят, жаждут и страдают».

Уступая правилам благовоспитанности, он часто размышлял о том, как далеко может распространяться это подчинение правилам, не нанося ущерба истине.

В этом настроении встретил Швейцер обряд конфирмации – позднего крещения, которое, по убеждениям протестантской религии, должно совершаться уже в сознательный период жизни и которому протестантская церковь придает большое значение.

Пастор Веннагель, который должен был подготовить Альберта к обряду, конечно, ни за что не согласился бы со многими теперешними его убеждениями. И главным в их ряду было яростное убеждение внука просветителя Шиллингера, что все на свете, в том числе и важнейшие принципы христианства, должно быть выверено оружием мысли. Пастор Веннагель считал, что, предавая себя вере, верующие должны смирать голос разума. Юный Альберт верил только в этот голос: «Разум, говорил я себе, дан нам для того, чтобы мы поверяли им все, что ему достижимо, даже самые возвышенные религиозные идеи. И эта уверенность наполняла меня радостью».

Альберт уже знал, что мысль эта окажется неприемлемой для пастора, и на личном собеседовании уклончиво отвечал на все вопросы. В результате этой беседы пастор с сожалением сообщил тетушке, что к конфирмации Альберт подходит в числе равнодушных к религии...

После конфирмации, как и было обещано, Эуген Мюнх стал давать Альберту органные уроки в церкви св. Стефана, а в шестнадцать лет ученик впервые стал заменять своего учителя за органом. Тогда-то на органном концерте учитель и доверил ему однажды аккомпанемент к «Реквиему» Брамса, который исполнял церковный хор, и Альберт познал

эту радость – сплетать удивительное пенье органных труб с голосами хора и оркестра.

К этому периоду относятся и некоторые перемены в семье пастора Швейцера. Из старинного дома семейству удалось переехать в новый, более теплый и сухой, окруженный веселым садиком. Мать получила в это время небольшое наследство от какого-то бездетного дальнего родственника. Стало поправляться здоровье отца.

Семейный небосклон был безоблачным.

У Альберта дела в гимназии шли теперь совсем неплохо. Он не выказал каких-либо исключительных способностей к языкам или точным наукам, но зато он научился упорному труду. Легко ему давалась, пожалуй, только история. Он много читал и впоследствии при выборе книг стал отдавать предпочтение исторической литературе. В старших классах его учитель истории профессор Кауфман стал относиться к нему скорее как к другу, чем ученику.

Наряду с историей наибольший интерес у Альберта вызывали физика и химия. У него было впечатление, что в гимназии им дают слишком мало сведений из области естественных и точных наук. Кроме того, он часто замечал, что учебник их отстает от новейших достижений науки. Надо сказать, что оба наблюдения его были правильными.

Уроки физики и химии вызывали у него в душе противоречивые ощущения. Альберту казалось, что школа умалчивает, как, в сущности, мало понятны еще людям процессы, происходящие в природе. Учебники не только не удовлетворяли его, они его попросту раздражали своими гладенькими, округлыми формулировками, рассчитанными на зубрежку. Он скептически улыбался, следя, как тщится его учебник дать исчерпывающее объяснение и дождю, и снегу, и образованию облаков, и ветрам, и течениям. Он всегда испытывал склонность к тайне. Его волновало рождение снежных хлопьев, дождевых капель или градин. Ему даже причиняла боль мысль о том, «что мы не признаем абсолютно таинственного характера Природы, но всегда с такой уверенностью беремся ее объяснять, и при этом всего-навсего даем более полные и сложные описания явлений, которые делают загадочное и таинственное еще более загадочным и таинственным, чем раньше». Это напоминало ему попытки препарировать грубыми средствами чудо поэзии, делая его при этом и менее поэтическим и более сложным, лишенным и поэзии и чудес.

«Даже в этом возрасте мне было уже ясно, что то, что мы именуем „Сила“ или „Жизнь“, остается для нас в сущности своей навеки необъяснимым».

История, которую он так любил, была для него тоже полна необъяснимых загадок, и мало-помалу он пришел к мысли, что единственное, что могут сделать историки, – это дать более или менее полное описание каких-то событий. При этом все равно остается многое, причем, вероятно, самое существенное, чего нельзя, по мнению Швейцера, ни постигнуть, ни объяснить: дух другой эпохи, дух человека другой эпохи. Не признавая этого, говорил Швейцер, историки по-прежнему будут мерять своими мерками жизнь прошлого. Впоследствии Швейцер подробно развивал эти мысли, но зародились они у него уже в гимназические годы.

Одной из вечно волновавших его тайн было загадочное рождение в человеческой душе идеи, иногда вдруг меняющей его жизнь, а иногда и проходящей для него бесследно. Вот кончается твое детство и прорастают в душе ростки благородных идей. Ты охвачен юношеским взволнованным стремлением к добру и правде. Набухают почки, и расцветает цветок, завязывается завязь плода. Продолжается развитие личности, и здесь одно очень важно: что станет с плодом, почки которого так многообещающе набухали на дереве жизни в весеннюю пору юности? Так представлялось Швейцеру зарождение идей, и он до конца жизни сохранял убеждение, что в более поздние годы жизни человек должен чувствовать так же глубоко, как чувствовал в юные годы. Убеждение это сопровождало его, «как верный советчик на дороге жизни»: «Повинуясь инстинкту, я опасался стать тем, что обычно обозначают термином „зрелый человек“».

Сама идея «зрелости» угнетала Швейцера. Она звучала для него «музыкальным диссонансом», сопровождающим такие слова, как обнищание, замедление роста, притупление чувств. Этим эпитетом люди награждают обычно человека, живущего исключительно по законам рассуждения и логики, пришедшего к этому путем подражания другим людям и постепенной утраты всех своих юношеских убеждений, одного за другим. Когда-то вы верили в победу правды, и вот вы не верите в нее больше. Вы верили в людей – и больше не верите в них. Вы жаждали правосудия, но больше не жаждете. Вы верили в силы доброты и миролюбия, но больше не верите. Вы были способны на порыв, не то теперь. Чтобы пройти через бури и мели жизни, вы облегчили ношу корабля, сбросив за борт то, без чего надеялись обойтись. Но оказалось, что этот груз были ваша насущная еда и питье; да, груз ваш стал легче, но сами вы угасаете.

Слушая в юности разговоры взрослых о закономерной и неизбежной утрате юношеского идеализма, Швейцер еще тогда решил ни за что не поддаваться господству «рассуждения и логики». Это решение, принятое в

горячие юношеские годы, он всю жизнь старался проводить в жизнь. Он мечтал о другой зрелости. О той, которая «делает нас проще, правдивей, чище, добрее, сострадательней...». И сам он проходил «процесс, где железо юношеского идеализма закаляется в сталь идеализма зрелого, который никогда не будет утрачен».

«Поэтому, – писал Швейцер, – знание жизни, которое мы, взрослые, хотим передать молодому поколению, должно выражаться не обещанием: „Действительность скоро отступит перед вашим идеализмом“, а советом: „Врастайте в ваши идеалы, так чтобы жизнь никогда не смогла отнять их у вас“. Если бы все мы могли стать тем, кем мы были в четырнадцать, как изменился бы мир!»

Глава 3

Альберту исполнилось восемнадцать. Он кончал гимназию и должен был поступить в университет. Впрочем, собираясь покинуть суровый дом дяди, он мечтал не просто о вольной жизни студента. Студенческое будущее волновало его возможностью по горло влезть в избранные им науки, в несколько наук сразу. У него были фантастические в своей дерзости планы: он хотел изучать все сразу – и теологию, и философию, и музыку. Он знал, что на это понадобится очень много времени, но, в конце концов, он мог занять нужные часы у ночи. Здоровье у него железное, и когда же было испытать его, как не сейчас.

Отважные планы будоражили его, ища осуществления. Но сперва нужно было разделаться с гимназией. И первым препятствием на пути были выпускные экзамены.

Экзамены он сдал неплохо, но все же гораздо слабее, чем ожидали его учителя. Причина была самая неожиданная – черные брюки... Черный сюртук достался ему в наследство от какого-то старика родственника по материнской линии. Так что для торжественного костюма, в котором можно было пойти на экзамены, не хватало только брюк. Он решил не тратить денег на брюки и договорился, что дядя одолжит ему на экзамены свои. Дядя был намного ниже Альберта и, конечно, намного толще стройного восемнадцатилетнего парня. Альберт решил, что сойдет и так – подумаешь, брюки. И только перед тем, как идти на экзамен, он со смятением обнаружил, что дядины брюки сверху не достигают талии, а снизу спускаются чуть ниже колен. Он ввел нехитрое усовершенствование: подвязал к подтяжкам веревочки. Теперь брюки не достигали ботинок снизу и не доходили до жилета сверху, оставляя в этом месте весьма неприятный зияющий пробел. «Как они сидели на мне, не берусь описывать!» – восклицает Швейцер в своих воспоминаниях.

Появление его на экзамене вызвало безудержное веселье среди одноклассников. Они долго вертели его из стороны в сторону и потешались, забыв недавний страх перед экзаменом, а потом гурьбой вошли в экзаменационную комнату, давась от смеха. Членов экзаменационной комиссии вид выпускника Швейцера тоже немало позабавил, но председатель комиссии, суровый инспектор по фамилии Альбрехт, не нашел во всем этом ничего смешного. Более того, он счел веселье непристойным и неуместным, а виновника происшествия, этого

шута Швейцера, пожелал экзаменовать лично по всем предметам, кроме незнакомой ему математики. И хотя директор гимназии благороднейший Вильгельм Дееке подбадривал Альберта взглядом, ему пришлось в тот день туго. Инспектор сурово качал головой и хмурился, а когда он убедился, что выпускники, в том числе и Швейцер, даже не знают, каким способом швартовались к берегу корабли гомеровских героев, он заклеил их невежество и недостаток общего развития. (У его жертвы было на этот счет свое собственное мнение: Альберт считал, что гораздо более важным недостатком их общего развития является то, что они не изучали в школе ни геологии, ни астрономии.)

Последний предмет была история, которую инспектор и выпускник любили и знали почти одинаково; и тут уж они отвели душу, по-дружески обсуждая различия между греческими и римскими колониями. В результате довольно скромный аттестат Альберта украсило специальное упоминание о том удовольствии, которое доставил экзаменатору его ответ до истории.

Так что, в конце концов, все окончилось благополучно, юному Швейцеру была открыта дорога в университет.

В конце октября он стал студентом Страсбургского университета. Однако еще раньше, в ту же осень счастливых свершений, ему выпала другая удача – знакомство с Видором в Париже.

Это было подарком дяди Огюста, того самого отцовского брата, который «поспешил заклать себя» и стал в Париже преуспевающим коммерсантом (пользуюсь сартровской характеристикой дяди только потому, что другой не осталось). Дядя Огюст пригласил племянника в Париж, а жена его, тетка Матильда, договорилась о встрече с замечательным органистом Шарлем Мари Видором. Известно было, что сам метр редко кого учит, кроме учеников своего органного класса в консерватории, но он был согласен выслушать юношу и помочь советом.

Итак, восемнадцатилетний Альберт, стройный, красивый, полный юношеского энтузиазма, – в Париже.

Увы, читатель, не жди здесь описания Елисейских полей, романтических встреч на Монмартре и в Латинском квартале. Не жди прогулок по прекрасным улочкам Парижа: их не будет, как не будет в этой книге красочного описания путешествий, хотя жизнь эта была богата путешествиями. Здесь действительно пройдет перед вами одиссея, но, как метко сказал кто-то об автобиографии Швейцера, это будет одиссея духа.

Итак, в Париже целеустремленного юношу волновала прежде всего встреча с Видором. Великий мастер органной музыки, сам по происхождению эльзасец из Кольмара, приготовился слушать юного

провинциала.

– А что сыграете? – спросил Видор и услышал почти возмущенный ответ юноши:

– Баха, конечно!

Альберт играл так хорошо («Мой мюльхаузенский учитель так хорошо подготовил меня», – пишет он скромно), что растроганный Видор согласился учить его лично.

И вот теперь Альберт спешил на первый урок к Видору. Выдался солнечный октябрьский денек, веселый Париж был, как на пейзажах Писсарро, и улицы были радостны и людны. В центре Альберт вдруг попал в толпу и никак не мог пробиться через нее...

...Альберт опоздал на первый урок, но великий мастер благоволил к земляку из окрестностей Кольмара, к деревенскому ученику, в котором было столько упорства и спокойной силы, столько благоговения перед искусством.

«Видор вел меня к фундаментальному усовершенствованию моей техники, – рассказывает Швейцер, – он заставил меня стремиться к достижению абсолютной пластичности в игре... благодаря ему, мне стало приоткрываться значение архитектоники в музыке».

Это было счастливое время для Альберта – время открывать, время пожинать золотые плоды культуры, время черпать полную горсть. Время для себя...

Осенью того же 1893 года у него начались занятия в Страсбургском университете. Лаконичная фраза в автобиографической книжке говорит лишь, что «студенческие годы летели быстро». За этой фразой – счастливое десятилетие, когда он пил взахлеб радость познания, не поступаясь ничем: ни теологией, ни философией, ни музыкой, ни теорией музыки, ни компанией друзей и единомышленников, ни загородной прогулкой, ни дружеской беседой и спорами, настоящими разговорами по существу, без дурацких условностей и светских пустяков.

В первые год-полтора теология чуть не вытеснила все остальное. Генрих Юлиус Хольцман покорила его своими лекциями о синоптических (первых трех – от Матфея, Луки и Марка) евангелиях Нового завета: наконец-то Альберту было позволено выверять оружием исторической науки знакомые с детства книги, к которым, по мнению пастора Веннагеля и других взрослых наставников, лучше было не подходить со скальпелем мысли, – только со светлым настроением доверия и восторга.

Подобно большинству преподавателей тогдашнего Страсбурга, Хольцман был молодой и блестящий профессор. Вообще, с университетом

Альберту повезло. Страсбургский университет был основан в XVI веке и хранил древние традиции. Он был возрожден совсем недавно, после окончания франко-прусской войны, когда Германия послала в университет эльзасской столицы свои лучшие молодые силы. Поднять этот новый университет на германской окраине считалось делом чести для патриотически настроенных немецких ученых, и в университет приехали тогда многие столичные профессора. Среди них был видный берлинский историк Гарри Бреслау, ставший на время ректором Страсбургского университета.

В Страсбурге не было мертвых традиций и жестких устаревших правил. Древний университет был молод духом и предоставлял своим студентам максимальную свободу. В отличие от большинства древних университетов Европы здесь не цеплялись за рутину обязательных правил, за бесконечную череду зачетов и экзаменов, не осуществляли надзора за складом мысли и приверженностью школе. «Не скованные традициями, преподаватели, – вспоминал Швейцер, – вместе со студентами стремились воплотить здесь идеал современного университета. Среди преподавателей едва ли был хоть один человек преклонного возраста. Свежий ветер юности проникал всюду».

Альберт Швейцер не был блестящим школьником, не был блестящим гимназистом, блестящим студентом. Слово «блестящий» к нему вообще, пожалуй, не подходило. (Не случайно идеалом явился для него в гимназии доктор Веман, научивший его высокому представлению о долге и упорному труду.) Зато он поражал преподавателей серьезным, совсем не детским углублением в предмет и пытливостью мысли, стремящейся к самостоятельным выводам. Позднее он стал находить радость в преодолении препятствий. Ему не давалась латынь, он преодолел это препятствие. Из гимназии он знал латынь и греческий, а также начатки древнееврейского. В университете ему недостаточно было начатков: он должен был как следует изучить язык галилейских пастухов, язык Иисуса и евангелистов. Подхлестываемый сопротивлением языка, он с жаром взялся за древнееврейский и почти угробил на него первый семестр. Он сдал «хебрациум», первый экзамен по древнееврейскому, в середине февраля, и, хотя на подготовку к экзамену уходило у него так много времени, он не пропускал при этом лекций Виндельбанда и Циглера по истории философии, а также занятий с Якобшталем по теории музыки.

Весной, в апреле, сбылась угроза деревенского ризничего Егле: кайзер забрал своего подданного на солдатскую службу, на год. Впрочем, все было не так страшно: его не заковали в железные латы, не оболванили, как

положено, и даже не обратили к размышлениям о величии германского оружия.

От военной службы Швейцер, судя по его записям, сохранил воспоминания только о капитане Круле, о комментариях Хольцмана и деревушке Гугенхайм, что возле Хохфельдена в Нижнем Эльзасе. Что это может значить? Что после суровой дисциплины тетушки Софи требования прусского фельдфебеля показались ему весьма умеренным вторжением в личную жизнь? Или что для здорового, выросшего в деревне парня трудности всех этих упражнений на свежем воздухе были нипочем? Способность к отрешенности, к выключению, к погружению в себя была у Швейцера почти буддийская; всегда и всюду – от гимназического класса до больничной столовой и аптеки в Африке.

Все лето он читал комментарии профессора Хольцмана: каждую свободную минуту, за счет сна и «перекуров». Стояли они первое время в Страсбурге, и добрый капитан Круль отпускал солдатика почти ежедневно к одиннадцати часам на лекции Виндельбанда по философии. Осенью они ушли на маневры в Нижний Эльзас, в окрестности Хохфельдена, и солдат, задумчивый здоровяк из роты капитана Круля, взял с собой в походный ранец, кроме портянок, мыла и прочего скудного скарба, который положено вытряхивать по первому требованию па поверке, Новый завет на древнегреческом. По окончании маневров ему предстоял экзамен. Он и так уж в связи с военной службой был освобожден от двух экзаменов, необходимых для получения стипендии. Оставалось сдать только один, и он выбрал экзамен по синоптическим евангелиям. Он не хотел ударить лицом в грязь, сдавая экзамен профессору Хольцману, которого глубоко уважал, и потому, тщательно проштудировав его комментарии, он решил пройти еще раз по древнегреческому тексту евангелий. Он решил проверить во время чтения, насколько хорошо запомнил он лекции профессора Хольцмана. Он убедился, что прекрасно помнит и лекции и комментарии, но... Пытливым первокурсником с каждым днем все больше овладевали сомнения.

События, изложенные в X главе Евангелия от Матфея, смущали его. По легенде, отсылая своих учеников в города израильские с вестью о грядущем конце света, Иисус предсказывает им великие беды и испытания. Более того, он не надеется больше встретить их в этой жизни, а лишь в сверхъестественном царстве божием. Внимательно штудировав евангелия, Швейцер все больше убеждался в том, что Иисус евангелий ждал этого конца в самое ближайшее время. И это не удивительно: эсхатологические (связанные с предсказанием конца света) воззрения были широко

распространены в ту пору среди иудеев. Подобное реалистическое предположение помогает Швейцеру понять и многие другие темные места евангелий. Однако... Однако все эти гипотезы шли вразрез и с теориями Хольцмана, и с воззрениями либеральной теологии, в лоне которой вырос сам Альберт. Либеральная теология создала фигуру этического просветителя Иисуса, близкого идеалам ее времени. Этот модернизированный Иисус вообще не предвещал сверхъестественного царствия божия, он звал к моральному совершенствованию, к созданию царства божия на земле, царства божия в нашем сердце. В своем поиске исторической истины молодой Швейцер приходит к противоречию с этой близкой ему с детства фигурой и не останавливается перед мучительной ломкой привычного. Он приносит в теологию задатки настоящего ученого, достоинство которого, как известно, состоит не в том, чтобы защищать из последних сил существующую теорию, а в том, чтобы суметь отказаться от нее, когда она окажется ложной.

Однако этим противоречием с господствующей доктриной либеральной теологии не ограничивались трудности, которые стояли перед новой гипотезой. Ведь конец света, предсказанный Иисусом, не наступил, апостолы вернулись к нему невредимыми. А это значит, что главное пророчество Иисуса оказалось ложным. Как же так? Профессор Хольцман объяснял, что пророчество это и вообще поздняя интерполяция. Но зачем, рассуждает Швейцер, верующие стали бы вкладывать в уста своего Иисуса пророчество, которое оказалось ложным? Подобное объяснение не казалось больше Швейцеру правдоподобным и убедительным.

Конечно, нам эти еретические гипотезы о погрязшем в заблуждениях своего времени Иисусе не покажутся столь же неожиданными и удивительными, как показались они читателю, выросшему в идеалы протестантской теологии или какой-либо теологии вообще.

Нас тут может удивить другое: отсутствие всякого страха перед священным текстом, который Швейцер анализирует, как анализировал бы любой исторический текст. И еще то, что эту главную тему своих теологических исследований Швейцер находит так рано. Один из исследователей Швейцера, Вернер Пихт, рассказывая о том, как «девятнадцатилетний рекрут... находит золотой ключик к „эсхатологической интерпретации“, говорит, что это, наверное, „самый редкий пример столь раннего определения темы и главного тезиса пожизненной научной работы во всей истории моральных наук“.

Уже по этим ранним поискам можно отметить, что перед нами если и христианин (а это оспаривало впоследствии множество теологов), то очень

странный христианин. Вот что он говорит о христианстве в связи с подтверждением своей столь рано выдвинутой концепции:

«Наше христианство основано на иллюзии, поскольку эсхатологические ожидания не сбылись. На основе вполне недвусмысленных высказываний, содержащихся в двух древнейших евангелиях, я даю свое объяснение жизни Иисуса, выдвигая его в противовес тому, которое было принято у нас до сих пор и оказалось несостоятельным: а именно, даю то объяснение, что во всех его мыслях, молитвах и деяниях Иисуса воодушевляло ожидание того, что мир в скором времени придет к концу и будет основано сверхъестественное мессианское царствие. Это эсхатологическое объяснение, и оно названо так, ибо под эсхатологией („эсхатос“ по-гречески – „последний“) мы по традиции понимаем еврейско-христианскую доктрину о том, что должно случиться в конце нашего мира».

Итак, он нащупал свою тему и свой тезис, твердо решил разрабатывать их дальше и разрабатывал с упорством. И если бы мы писали просто биографию видного европейского теолога, то в этом месте наше повествование достигло бы кульминационной точки. Блистательная теологическая карьера этого человека наметилась вполне, основные идеи требовали только доказательства и развития. Но суть нашей книги в ином, и потому последуем дальше.

Экзамен у профессора Хольцмана прошел вполне благополучно, хотя у студента было беспокойно на душе. Он знал все, что нужно говорить, и он ни за что не решился бы высказать сейчас, на основе своих первых находок, сомнение в признанной всеми теологами точке зрения профессора. И все же он рад был, что у него не было случая высказать что бы то ни было. Добрейший профессор Хольцман, экзаменуя студента, вернувшегося после военной муштры, был еще более снисходителен, чем обычно. Поговорив с Альбертом минут двадцать, выслушав лишь краткую сравнительную характеристику трех синоптических евангелий, профессор отпустил его победителем и стипендиатом.

До следующего экзамена было не близко, и Альберт без нависающих над ним «задолженностей», без всякого понукания снова с головой ушел в теологию, философию и музыкальную теорию.

Жил он все это время (не считая времени службы и маневров) в помещении теологической семинарии св. Фомы, в так называемом Коллегиуме Вильгельмитануме.

Альберт довольно часто ездил домой. Пастор Луи Швейцер поражался неистовому рвению сына-студента. В детстве ничто не предвещало этого

рвения. В детство Альберт сам удивлялся, что отец столько времени проводит за столом, и с неприязнью косился на пропахший книгами кабинет. Что изменило его – страсть к избранным им предметам, возраст или суровая школа тети Софи? Вероятно, и то, и другое, и третье. Узнав, что сын занялся эсхатологией, пастор покачал головой:

– Мне жаль тебя, сын мой. Никто никогда не поймет ни слова в том, что ты пишешь.

Добрый пастор был не так уж далек от истины...

А еще была музыка. Много-много музыки – рояль, теория музыки, орган, органний аккомпанемент, Бах, Вагнер. Старый профессор Якобшталь, ученик Беллермана, не признавал композиторов, живших позднее Бетховена. Но зато он не жалел сил, преподавая своему упорному ученику чистый контрапункт.

Органистом церкви св. Вильгельма в Страсбурге был родной брат Эугена Мюнха Эрнст Мюнх. Это он начал в Страсбурге серию баховских концертов и сам дирижировал ими. В этих концертах участвовал хор церкви святого Вильгельма, а за органом сидел обычно сам Эуген Мюнх, любимый учитель Альберта.

Конец века ознаменовался в Германии, да и в других европейских странах зарождением баховского культа, и церковь святого Вильгельма в Страсбурге была прославленной колыбелью этого культа. Эрнст Мюнх, новый наставник Альберта, отличался поразительным знанием Баха. В конце прошлого века еще бытовала, и притом почти повсеместно, модернизированная интерпретация баховских кантат и «Страстей». Эрнст Мюнх, его небольшой хор, а также знаменитый страсбургский оркестр стремились к простой, истинно артистической передаче подлинного Баха. Немало вечеров Эрнст Мюнх и юный Швейцер провели над нотами «Страстей» и кантат.

На всех репетициях баховских концертов за органом сидел студент Швейцер, и голос великолепного старинного органа сплетался с голосами других оркестровых инструментов и голосами певцов. В день концерта обычно приезжал учитель, Эуген Мюнх, и Альберт благоговейно уступал ему место. Но он уже знал, что не осрамится и сам, и Эрнст Мюнх знал это тоже. И вскоре стало так, что всякий раз, когда не мог приехать учитель, играл его ученик. Уже в девятнадцать лет Швейцер играл своего возлюбленного Баха с одним из лучших европейских оркестров в городе, который был колыбелью баховского культа, где знали и любили орган. Таким образом, в музыке, как и в науке, очень рано и счастливо определились увлечения всей его жизни, очень рано стало

совершенствоваться его высокопрофессиональное мастерство.

И еще одно пристрастие сохранил он с детства – Рихард Вагнер. Первое, еще гимназическое впечатление от вагнеровского «Тангейзера», конечно же, не было им забыто. В Страсбурге он по многу раз слушал все оперы Вагнера, кроме «Парсифаля». «Парсифаль» в то время ставили только в Байрейте. И вот в 1896 году в Байрейте была впервые после двадцатилетнего перерыва повторена знаменитая постановка «Тетралогии». Парижские друзья прислали ему билет на спектакль, но проезд до Байрейта пришлось оплачивать самому и соответственно сократить питание до одного раза в день. Однако на сей раз искусство стоило жертв. Оркестром в Байрейте, как и раньше, при Вагнере, дирижировал Ганс Рихтер, а партию Логе, которая произвела на Швейцера особенно сильное впечатление, исполнял все тот же Генрих Фогль, удивительный певец и актер. Как зачарованный смотрел страсбургский студент на красный плащ Логе, перекинутый через плечо. на его независимую фигуру, противостоящую «мятежной силе разрушения», воплощенной в марше богов. Логе – Фогль только перебрасывал тревожно-красный плащ с одного плеча на другое, неколебимый, независимый и гордый, лицом к лицу со страшным шествием. А сила разрушения приближалась...

Сила разрушения приближалась. Она надвигалась на Германию и Европу, неумолимо, изнутри подтачивая незыблемые опоры веков, разрушая самое ценное в человеке. И юный студент, поглощенный теологией, музыкой, философией, не мог не ощущать этого. Он не раз говорил об этом с друзьями. Как противостоять «мятежной силе разрушения»? Как выстоять на позиции правды и добра?

У них было нечто, спасавшее их сейчас от тревоги, – их философские искания, мир музыки, дружба, живописные окрестности Страсбурга, зеленые холмы и леса. И все же иногда, в минуты прозрения, им становилось не по себе перед шествием «мятежной силы».

Альберт встретил как-то на улице школьного дружка из Гюнсбаха, того самого. Карла Бегнера, который был когда-то сильнее его в арифметике на уроках папаша Ильтиса. Карл выглядел как настоящий джентльмен. Он торговал бакалейными товарами, уже был женат и весьма изысканно одет. Друзья были рады встрече и поговорили немножко о том, о сем, о политике, о положении в мире, о соседях и союзниках. Бегнер считал, что давно пора навести порядок – щелкнуть по носу одних и приструнить других, которые распустились. Иначе не будет порядка в стране и международного авторитета, а ради столь высокой цели каждый, конечно, готов на многие жертвы.

Потом они простились, потому что Альберту нужно было бежать на репетицию. И уже в церкви святого Вильгельма он с неприятным чувством вспоминал о недавней беседе, пока мощные раскаты баховской кантаты не смыли начисто политические соображения школьного друга. Вернувшись поздно вечером к себе в Коллегиум Вильгельмитанум, Альберт еще уселся в своей комнате за философию и этику. Он всегда прихватывал часть ночи, сокращая сон то до шести, то до пяти, до четырех, а то и до трех часов. Альберт раскрыл Платона, и тут он вспомнил вдруг сегодняшнюю встречу с Карлом. Карл обходился без этики и философии. Философия и этика обходились без Карла. Карл был вполне доволен своим умственным уровнем, он даже рассуждал, а газеты подносили ему облегченную пищу для рассуждений – точнее, для добросовестного повторения. Вот он и говорил сегодня об остроте положения, создавшегося в стране, о необходимости щелкнуть кого-то там по носу, то ли сербов, то ли французов, то ли, наоборот, «австрияков».

В рассуждениях Карла не было и намека на этику или право. Но откуда им было взяться, много ли занималась даже гимназия этой стороной его воспитания: впихнуть знания – и хватит. Однако он мог бы додуматься, дойти до чего-то сам. А как? Ведь он не мыслит. Его не научили мыслить. Обществу удобнее, чтобы он не мыслил, а получал все в готовом виде из газет, чтобы он поручил думать за себя кому-нибудь. И он идет на это с огромной готовностью... Альберт ощутил странное, двойственное чувство. Этот Карл был симпатичен ему, встреча с ним пробуждала школьные воспоминания – стук деревянных башмаков по мощеной улице, виноградники на склонах Ребберга... Но было обидно, что этот Карл, человек из их школы, такой близкий и знакомый, идет где-то рядом, но совершенно в другой плоскости, не соприкасаясь с миром, где все эти прекрасные мысли, рожденные людьми и для людей; обидно, что он так доволен собой, так неколебимо уверен в том, что все прекрасно в мире, все идет к лучшему – для процветания его лавочки... Нет, он, Альберт, несправедлив к Карлу. Обиднее другое – то, что и философия устранилась от Карла. Она занимается теорией познания, ее не интересуют ни человечество, ни культура, ни народ. Ей претит простота и глубина. Философия презирает всякую популярность и доступность. А Карловы газеты обходятся без Канта и без этики. Они не имеют представления о праве. У них свой, вполне неандертальский уровень философствования: когда я съел тигра – это охота, когда тигр съест меня – это будет кровожадное людоедство.

Альберт поближе придвинул к столу старинное кресло, раскрыл

Платона и снова забыл про друга Карла... Читать это – все равно что слушать орган: величественная и добрая музыка мысли, контрапункт идей, сложный мелодический ход; и ощущение простора, и громовые голоса небожителей.

До конца жизни Швейцер повторял, что философия греческих и римских стоиков – это величайшая философия мира. Как стремится она удовлетворить человеческую потребность во внутренней, устойчивой философии жизни! Как глубока и доступна! Как одержима духом искренности и простоты! Она побуждает к внутренней собранности и напоминает человеку о чувстве ответственности. Человек должен войти в духовные отношения с миром и ощутить единство с ним.

У стоиков Швейцер находил фундаментальное мышление, берущее за отправную точку самые существенные вопросы об отношении человека к вселенной, о смысле жизни, о природе добра, даже если на пути развития этики они не пошли дальше самоотречения. Последующие философы ушли в сторону от фундаментального мышления стоиков. А жаль...

Альберт берет за очередной том «Жизни, учений и изречений мужей, прославившихся в философии», труда, написанного еще в III веке нашей эры Диогеном Лаэртским. Здесь сохранились точки зрения древнейших и забытых философов. Здесь в основном тексты и мало критики. Вот и отлично. Альберт любит получать все из первых рук.

До рассвета оставалось немного... Укладываясь, он подумал вдруг о философе и поэте, который был особенно дорог ему. Альберт часто вспоминал его, проходя мимо дома на Старом Рыбном Рынке, на Фишмаркте, где жил этот человек – Гёте. Как все-таки странно, что Гёте, переживший могучее влияние и Канта, и Фихте, и Гегеля, остался в кругу натурфилософии, которую преподали ему стоики и Спиноза! Скромная натурфилософия самому Альберту тоже все больше начинала казаться и фундаментальной и непреходящей: она оставляла в неприкосновенности мир и природу и заставляла человека искать в них свое место, утверждать себя в них как торжествующий и творящий дух. А какое удивительное ощущение природы было у Гёте, у этого поэта, естествоиспытателя, философа!

Альберт босиком подходит к полке, хватая томик Гёте и бежит к постели. Уже три часа ночи. Вот задала бы ему тетя Софи! Он улыбается: свобода! Он открывает знаменитый гётевский «Гимн природе»:

«Природа! Мы ею окружены и объята – бессильные выйти из нее, бессильные глубже в нее проникнуть... Она изменяется вечно, не зная ни единой минуты покоя... Жизнь – прекраснейшая из ее выдумок. Смерть –

художественный прием для создания новых жизней...»

Уже засыпая, Альберт вспоминает слова Гёте: «Во мне бушует царство растений». Сам Альберт тоже часто ощущает себя растением, деревом, сосной, буком, дубом. Ему бывает почти больно, когда при нем сломят ветку...

Надо спать. Утром они собирались с друзьями в лес на велосипедах. Ведь завтра суббота.

Он засыпает счастливый. Четырех часов сна ему хватит, чтоб встать бодрым и сильным, чтобы снова засесть за книги.

Ему двадцать один год.

Глава 4

Ему двадцать один год, и он совершенно счастлив. Он здоров, трудолюбив, у него хороший дом, любящие родители, сестры; его любят друзья и родные, у него прекрасные преподаватели и наставники, которые тоже любят его. Ему дается все, чего он хочет. Может быть, в этом есть отчасти и его заслуга: в конце концов, он ведь не требует ничего несбыточного – ни царства, ни полцарства, ни даже коня.

Теплым весенним днем Альберт и его друзья катят на велосипедах за город. Прекрасное изобретение велосипед, величайшее изобретение! Одно из немногих изобретений века, не отнимающее у современного человека общения с природой.

Еще гимназистом Альберт купил себе подержанный велосипед, заработав деньги уроками математики. Может, конечно, пасторскому сыну и не полагалось разъезжать на этом новомодном приспособлении, но пастор Швейцер был терпимым во всем. Когда на первом курсе Альберт вкатил на велосипеде во двор Коллегиума, преподобный Эриксон, пожуриив его для проформы, рассказал про покойного доктора Рейсса. Вот профессор Рейсс, известный теолог, ни за что не разрешил бы молодому богослову мчаться на двух колесах. Но преподобный Рейсс умер, так что ладно, бог с тобой, сын мой, катайся! И Альберт катался. Сегодня, в весенний день, выехав за город, он отстал от друзей, положил велосипед в кусты и сам лег на траву. Что ощущал он в это мгновение? Может быть, то же, что ощутил однажды русский дворянин Дмитрий Оленин, когда «отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова».

«...Вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не выдавший человека... „около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров... и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам“... И ему стало ясно, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а

просто такой же комар... или олень, как те, которые живут теперь вокруг него».

У Швейцера нет описаний могучего чувства единения с природой, подобных приведенному выше отрывку из толстовских «Казачков» (вообще, где ж еще сыщешь такое?), но то, что говорит Швейцер о себе, об окружающем мире, все его мироощущение, вся система его собственных метафор очень близки тому, что находим мы у Толстого, которого он читал в то время с таким восторгом. Швейцер, правда, не постиг толстовской илиады народной войны, но зато он прикоснулся к великой толстовской одиссее духа и воспринял ее всем сердцем. Так что мы не вкладываем толстовскую цитату в уста Швейцеру, а просто берем ее как гипотезу возможного ощущения.

Подобно самому Толстому, подобно его кумиру Гёте, Швейцер много раз писал о единстве жизни. И конечно же, его удивительное умение сострадать и сочувствовать было связано (как и у Толстого) с этим единством жизни, с этой способностью отождествлять себя с другим существом и другими существами. Прекрасно написал о Толстом в этой же связи Иван Бунин: «...чрезмерность страданий его совести зависела больше всего от его одержимости чувством „Единства Жизни“. Однажды, когда Толстой сидел и читал, костяной разрезной нож скользнул с его колен, „совсем как что-то живое“, и он „весь вздрогнул от ощущения настоящей жизни этого ножа“. Что ж дивиться его слезам, его стыду, его ужасу перед нищей бабой?!»

«Что ж дивиться», – говорит Бунин, но многие дивились и не могли понять, что двигало этим человеком. Так же как многие друзья Швейцера и даже самые близкие ему люди удивились бы, если бы узнали, о чем думал в ту весну счастья этот могучий, спокойный, цветущий студент, наделенный всем, о чем мог мечтать человек. А думал он о том, что растет его долг за это счастье перед природой и перед людьми, что в мире столько страданий и столько боли и что не может же он, как нормальный этический человек, только все брать, брать, брать...

Именно в эту пору, когда перед ним «открылись горизонты» новых, немалых свершений и в музыке, и в теологии, и в других науках, принял он свое решение, раздумывая о человеческом «праве на счастье».

В «Воспоминаниях о детстве» Швейцер рассказывает, как он проснулся однажды дома, в Гюнсбахе, на троицу от птичьего щебета за окном. Проснулся с томительным ощущением счастья. И с неизменной мыслью о том, что ему много дано и много с него спросится в этом мире. Мысль об эгоизме этого счастья омрачала его. Он подумал тогда, что,

сберегая для себя одну эту прекрасную жизнь, можно только потерять ее. И только теряя ее для других, можно обрести ее. Так говорила древняя бескорыстная мудрость. В то утро он и дал клятву о будущем.

Позднее он так сформулировал суть своих тогдашних размышлений:

«Мысль о том, что мне дана такая исключительно счастливая юность, всегда присутствовала в моем сознании; я ощущал ее даже как нечто угнетающее; и все с большей отчетливостью вставал передо мной вопрос, должен ли я принимать это счастье как нечто само собой разумеющееся. И это, а именно размышление о праве на счастье, было вторым величайшим переживанием моей жизни. И как переживание оно соединилось с первым, преследовавшим меня с самого детства; я имею в виду мое глубочайшее сострадание боли, которая царит в окружающем нас мире. Эти два переживания мало-помалу слились в одно и придали определенность моему толкованию жизни как целого, и, в частности, моей решимости в отношении своего будущего.

Для меня становилось все более очевидным, что я не имею внутреннего права принимать как должное и свою счастливую юность, и свое здоровье, и свою работоспособность».

В Альберте росло, поднимаясь «из глубин счастья», ощущение, что он не может считать, что жизнь его принадлежит только ему. Он ощущал уже, что «человек принадлежит человеку», что «человек имеет права на человека»:

«Всякий, кто избавлен сам от боли, должен ощущать себя должным помочь утолению чужой боли. Все мы должны нести свою долю горя, выпавшего нашему миру. Смутно и неясно эта мысль зарождалась во мне и по временам оставляла меня, после чего я дышал свободно, снова воображая себя полным хозяином своей жизни. Но маленькое облачко уже поднялось над горизонтом. Порой я, конечно, мог отвернуться, чтобы не видеть его, но оно продолжало расти; медленно, но неуклонно росло оно и в конце концов закрыло все небо.

Решение я принял, когда мне был двадцать один год. В тот год, будучи еще студентом, решил я до тридцатилетнего возраста посвящать свою жизнь службе проповедника, науке и музыке. И если к тому времени достигну я того, чего хотел, в науке и в музыке, то встану на путь непосредственного служения своим ближним как человек человеку. Каким будет этот путь, подскажут обстоятельства жизни в эти последующие годы».

Забегаая вперед, можно отметить, что обстоятельства, подказавшие ему путь, оказались скорее внутренними, чем внешними. И еще то, что для

всякого другого человека, не похожего на Альберта Швейцера, решение, принятое в раннюю пору юности, оказалось бы сугубо необязательным в пору зрелости и уж вовсе не таило бы неотвратимости облака, закрывающего небо. Но ведь для Швейцера главным условием зрелости было сохранение юношеского энтузиазма...

Итак, он принял решение, и в запасе у него оставалось так много (а может, так мало) – девять лет. Он упорно и спокойно шел вперед в каждой из облюбованных им областей, расширяя и углубляя в них свои познания. В сфере философии его все больше интересовали просветители XVIII века, все больше волновали вопросы этики и морали, все сильнее привлекала фигура Канта. Гёте по-прежнему стоял для него особняком, как могучая, величественная, но очень близкая ему личность. Что касается музыки, то он продолжал упорно изучать теорию, постигал контрапункт, участвовал в концертах. Он понес одну из первых утрат: умер Эуген Мюнх, его учитель. Именно по этому грустному поводу была написана и выпущена Альбертом его первая книжка, первая из многих. Написанная с любовью и благодарностью, она посвящена была памяти учителя и называлась «Эуген Мюнх».

В начале мая 1898 года Швейцер сдал государственный экзамен по теологии.

Профессор Хольцман был доволен Альбертом – его знаниями и его поисками. Страсбургских профессоров не смущали самостоятельные взгляды студентов, даже если эти взгляды противоречили их собственным. По ходатайству Хольцмана Альберту Швейцеру в результате экзаменов была отдана стипендия Голла. Это было нечто вроде шестилетней аспирантуры, дающей 1200 марок в год на занятия наукой при университете.

Сдав экзамен по теологии, Швейцер с жадностью набросился на философию. Жил он теперь не в Коллегиуме, а в обыкновенном жилом доме, доме № 36 по Старому Рыбному Рынку – Фишмаркту. Впрочем, дом этот был не совсем обыкновенный для всякого страсбуржца и уж совсем необыкновенный для Швейцера: когда Гёте поступил в Страсбургский университет, он жил в маленькой комнатке в этом вот самом доме 36. Гёте было в то время столько же лет, сколько Швейцеру. «Нет, покуда мы молоды, мы не собираемся идти по среднему пути!.. – восклицал Гёте в эту пору. – Мы все еще будем ничем, но уже захотим стать всем! А самое главное – мы никогда не остановимся, если только нас не принудит к этому усталый дух и тело...»

Что касается молодого Швейцера, то ему далеко до усталости – это на

редкость сильный и здоровый юноша. Ему словно мало напряженных занятий богословием, философией, теорией музыки. Он увлекается старинными органами, разгадывает секреты их устройства, реставрирует их. Без него но обходится ни один баховский концерт.

Он настойчиво ищет в эти заполненные занятиями годы какую-нибудь сферу, в которой он мог бы быть полезным людям. Просто как человек, предлагающий им себя, свое время, руки, сердце.

Священник церкви св. Фомы устроил приют для бродяг и бывших преступников, вышедших из тюрьмы. Альберт вызвался помогать в сборе средств. Это был тяжкий труд. Приходилось объезжать на велосипеде знакомых и незнакомых людей, тратить на это золотые часы дня. Альберту трудно было просить, он никогда не просил для себя и впервые просил для других.

Были и еще менее приятные задания. Среди обращавшихся за помощью были разные люди, и, прежде чем помогать, пастор должен был выяснить истинные обстоятельства жизни просителя. Тогда Альберту приходилось выступать в нелегкой роли инспектора, и он снова колесил по городу на велосипеде. В своих долгих поездках он думает о раскрытом философском томе на столе, об отложенной репетиции, о недописанном философском рассуждении, которое предыдущей ночью пришло ему в голову. Этой щедрой растраты дневного и вечернего времени ему не покрыть будет ночью. Сомнения начинают терзать его, и тогда он вспоминает своего кумира Гёте, его записки о путешествии по Гарцу. В тумане, под струями ноябрьского дождя брел этот олимпиец навестить пасторского сына, переживавшего тяжкий душевный кризис и нуждавшегося в помощи. «Вот твое путешествие по Гарцу», – повторяет про себя Альберт на обратном пути, устало нажимая на педали. Он возвращается не с пустыми руками, хотя и не уверен еще, что именно так надо было бы браться за помощь этим беднякам. Может, надо было бы получше организовать все это. А может, и наоборот. Не нужно никакой организации, делать все самому – от человека к человеку.

Он часто выезжал за город на своем велосипеде. Он был по-настоящему влюблен в природу, не менее сильно, чем в музыку, в книги, в мудрые науки. Был ли он тогда влюблен в женщину? К сожалению, мы ничего не знаем об этом, потому что сам он никогда ничего не писал об интимной стороне своей жизни (он ведь был очень сдержан, весь в мать) и потому что даже у самых любопытствующих из его биографов нет об этом ни слова. Об эльзасской природе он вспоминает часто. Правда, в его книгах не сохранилось описаний прекрасных долин и гор, и объяснение этому

можно, пожалуй, найти в «Воспоминаниях о детстве». Говоря о том, как волновала его природа и как он брался то за кисть, то за перо, чтобы излить это свое волнение, Швейцер признается, что он оказался неспособен к художественному творчеству (исключение, конечно, представляли его фортепьянные и органные импровизации, музыка).

Зато кумир Швейцера, Гёте, всего за какое-нибудь столетие до него, находясь в том же возрасте, выезжал – правда, на лошади, а не на велосипеде – в окрестности Страсбурга и еще дальше, в горы, и оставил нам дневниковые записи:

«Вчера мы целый день ехали верхом, но только-только Добрались до Лотарингских гор... Я посмотрел направо и увидел зеленую глубь и тихо плывущую седоватую реку. Слева надо мной нависла темная тень, тень горы, поросшей буковым лесом... И в сердце моем наступила такая же тишина, как та, что царила вокруг. Какое счастье, когда на душе у нас легко и свободно! Мужество гонит нас навстречу препятствиям и опасности... Большую радость можно завоевать лишь в большом труде, и, вероятно, в этом кроется мое самое большое возражение против любви... Когда сердце наше мягко, оно слабеет...»

Может, у поглощенного трудами Швейцера были против любви такие же возражения, как и у свободного в ту пору любвеобильного Гёте. Этого нам знать не дано. В чем его взгляды и ощущения почти наверняка совпадали с ощущениями Гёте тех лет – это в пантеистическом, радостном, но с примесью горечи, отношении к природе:

«Вся природа, – писал Гёте, – мелодия, полная глубокой гармонии. Я весел, я счастлив. И все же моя радость – это только бурная тоска по чему-то, чего у меня нет, по чему-то, чего я не знаю».

Швейцер тоже ощущал эту тоску по непостижимому и недостижимому, но чему-то недостающему. Этим недостающим для него даже в эту пору изредка омрачаемого счастья было стремление оправдать свое существование как этической личности посредством труда, посвященного материальному и духовному прогрессу общества и отдельных людей. Это и было то смутное облако, о котором он писал.

Безмятежность его счастья в эти годы омрачали размышления над положением современного человека, над парадоксами того, что называли «прогрессом».

Он начал постигать странный дисгармонический шум своего века, его диссонансы. Он часто думал об этом на загородной прогулке в горах или в ночной тишине старинного дома на Фишмаркте.

Вот все говорят о прогрессе, о его невиданных достижениях в этот

непривычно долгий период мира. Запад ликует, упивается своим прогрессом, не налюбуется на него. А так ли уж велик этот прогресс культуры, да и что нужно понимать под культурой, под тем, что обозначается немецким словом «культур» или английским «сайвилайзэйшн»?

Для молодого философа несомненно, что под культурой надо понимать главенство разума, во-первых, над силами природы, а во-вторых, над склонностями, предрасположением человека. Второе скрыто от нашего взгляда, но именно второе отражает истинный прогресс. Ибо достижения первого могут служить в конечном счете как прогрессу, так и варварству, могут быть как полезны человеку, так и враждебны ему, могут ввергнуть людей в борьбу за существование еще более ужасную, чем борьба с силами природы. Так что без второго первый может оказаться даже опаснее, чем вообще отсутствие прогресса. Конечно, оба эти вида прогресса основываются на духовной деятельности человека, но все-таки первый следует, видимо, назвать прогрессом материальным, а второй – прогрессом духовным. Что означает этот духовный прогресс? То, что воля и действия индивида и массы определяются благом общества и индивидов, то есть действия их являются этическими.

Альберт хмурится, вспоминая недавнюю встречу с Карлом, разговоры в поездах о политике, brave армейские песни, нынешние газеты, измелчание театра. Что-то не заметно в мире этического прогресса или роста гуманизма. Напротив, можно отметить дегуманизацию современного человека. Бесчеловечные, противные всякому гуманизму мысли свободно высказываются теперь в печати и с любой трибуны, даже объявляются высокими принципами. О войне говорят с таким легкомыслием, как будто это шахматы, а о людях – как о сырье, о подсобном материале политики.

Где философия, которая проповедовала этические законы? Где борьба идей и дух дискуссий, символом которого служит для Швейцера его возлюбленный XVIII век? Люди больше не могут думать индивидуально, боятся общественного мнения больше, чем недомыслия и безмыслия. В XVIII веке каждая идея должна была доказать свое право на существование каждому отдельному человеку, должна была выдержать суд его разума. (Так, во всяком случае, хочется думать Швейцеру.)

Здесь, оставив Швейцера наедине с его размышлениями, мы хотели бы заметить, что все эти наблюдения молодого философа были не просто «горестными заметками» его чувствительного, сердца. Этот весьма реальный процесс дегуманизации человека был отмечен еще Марксом и Энгельсом, которые за полвека до Швейцера писали о том, что

«консолидирование нашего собственного продукта в какую-то вещественную силу, господствующую над нами, вышедшую из-под нашего контроля, идущую вразрез с нашими ожиданиями и сводящую на нет наши расчеты, является одним из главных моментов в предшествующем историческом развитии»¹. Более того, Маркс отмечал «моральную деградацию» и интеллектуальный упадок человека в век империализма, относительность пресловутого прогресса: «Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того, как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости... Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы»².

...Да, странный, патологический надвигался век. И люди, не предчувствуя ничего и ничего не видя, кричали в упоении: «Прогресс! Прогресс!» Впрочем, не все люди. Там, на другом конце Европы, колоссом поднялся семидесятилетний русский, гениальный писатель, которым зачитывался сейчас молодой философ из Эльзаса. У этого писателя было собственное, вполне презрительное мнение о материальном прогрессе современного мира: «Восторги эти перед самим собою до такой степени часто повторяются, мы все до такой степени не можем достаточно нарадоваться на самих себя, что мы серьезно уверены, что наука и искусство никогда не делали таких успехов, как в наше время». Между тем, предупреждал он, самые хитрые изобретения техники направлены «пряло во вред народу» – пушки, торпеды, одиночные тюрьмы... В этот год, когда Альберт приехал в Париж, Толстой написал, что гнусный Карфаген безнравственности должен быть, наконец, разрушен («Carthago delenda est...»). Мир зашел в тупик, потому что общество мирится с любым нарушением морали: «О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде». Потому что просвещенные, добрые люди, неспособные убить животное, вдруг, когда преступления называются войной, не только признают должным и законным разорение, грабеж и убийство, но и сами участвуют в них. Потому что правительства «выдумывают недоразумения, если их нет, потому что только недоразумения с другими правительствами дают им возможность содержать то войско, на котором основана их власть». Потому что официальные лозунги национализма, или, по Толстому, «обман

патриотизма, всегда требующий преимущества одного государства или народности перед другими и потому всегда вовлекающий людей в бесполезные и губительные войны, уже слишком очевиден, чтобы разумные люди нашего времени не освобождались от него». Одна из статей русского писателя кончалась криком боли: «Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду».

Швейцер пришел к подобному же ощущению позднее, может быть, с меньшей мукой, более прямым путем. В ту пору он чаще вспоминал другие слова Толстого – о том, что главное и единственное дело человечества – это уяснение для себя нравственного закона, по которому оно живет. Швейцер тоже верил в силу нравственных законов. И он с жадностью погружается в это время в изучение философии и этики.

Профессор Теобальд Циглер был особенно близок ему сейчас. Воспитанник Тюбингена, Циглер был специалист в области религиозной философии и этики. Циглер и специалист по философии стоиков Виндельбанд прекрасно дополняли друг друга, и Альберт чувствовал, как все глубже входит он в толщу мировой мысли, в круг близких ему идей – от лекции к лекции, от месяца к месяцу, от одной бессонной ночи до другой. Это был год, когда философия возобладала в его жизни и над теологией, и над музыкой. Профессор Циглер посоветовал Альберту начать работу над докторской диссертацией по философии.

В конце того «философского» лета студент и профессор допоздна заговорились как-то в университете, а потом, спохватившись, вместе пошли домой. Когда они вышли на крыльцо старинного корпуса, моросил противный, почти осенний дождь. Профессор развернул большой, старомодный зонт, и они еще долго стояли так под зонтом, продолжая начатый разговор.

– А почему бы вам, коллега, не взять для диссертации религиозную философию Канта? – спросил профессор и с удовлетворением отметил, что он угадал. Впрочем, что значит угадал: он ведь совсем неплохо знал этого студента.

Стипендия Голла предоставляла Альберту довольно широкие возможности. В конце октября он уехал в Париж – изучать философию в Сорбонне и заниматься с Видором.

Париж был полон соблазнов для юного Швейцера. Соблазны эти, впрочем, хоть и были велики, не были ни в коей мере связаны с традиционными приманками, влекущими в этот Вавилон иностранцев со всего мира. Из последних небогатый студент мог бы назвать, наверное, только ресторан Фойо возле Люксембургского сада, где ему удалось

несколько раз наесться досыта. Он приходил туда с Видором после бессонной ночи (проведенной, увы, не с полной жизни девицей из «Фоли-Бержер», а с покойным стариком Иммануилом Кантом). Если во время урока добрейшему Видору случалось заметить, что ученик его, экономя свои скудные средства, опять воздержался от завтрака, знаменитый органист, закончив урок, немедленно тащил Альберта в ресторан Фойо. То, что ученик его к тому же еще и не сомкнул глаз в эту ночь, Видору было заметить труднее, потому что молодой Швейцер уже приучил себя спать совсем мало.

Через три с лишним десятилетия уже начинающий сесть, но все еще могучий Швейцер писал с ностальгической тоской о «времени, когда ему еще не нужно было экономить силы» и когда он «мог заниматься умственной и физической работой непрерывно». Впрочем, он и через полсотни лет после этого «жег свечу с двух концов».

Кроме органичных баховских штудий у Видора, Альберт брал также фортепьянные уроки у месье Филиппа, впоследствии преподавателя Парижской консерватории, очень хорошего педагога, придерживавшегося, однако, вполне традиционных методов обучения. Но и этого было мало ненасытному студенту. Втайне от месье Филиппа он договорился об уроках со знаменитой некогда пианисткой, ученицей и приятельницей великого Листа – Мари Яэйль Траутман. Эльзаска по происхождению, талантливая пианистка и педагог, она пережила шумную, но недолгую концертную славу и теперь всецело была поглощена исследованиями в области туше, которому она в соавторстве с физиологом месье Фере пыталась дать физиологическое обоснование. Швейцер, жадный до уроков и всякого рода научных экспериментов, согласился быть «подопытным кроликом» у мадам Яэйль Траутман. Суть ее теории состояла в том, что пальцы пианиста должны с сознательностью реагировать на соприкосновение с клавишами и пианист должен контролировать все сокращения мышц руки от плеча до кончиков пальцев, не допуская произвольных и неподвластных ему движений. Впоследствии, когда вышел во Франции первый том труда Мари Яэйль «Туше», Швейцер принимал участие в переводе его на немецкий язык. Он не поставил, впрочем, своего имени под переводом, может, оттого, что без полного доверия относился к широкой теории искусства, разработанной его учительницей, с которой он продолжал дружить до самой ее смерти (в 1925 году). Уроки мадам Мари были, по признанию Швейцера, исключительно благотворны для него. В то же время уроки месье Филиппа избавляли трудолюбивого эльзасца от крайностей, содержащихся в методе его землячки.

Кроме затруднений со временем, у этого ученика трех знаменитых педагогов были еще и затруднения чисто дипломатического характера. Мадам Яэйль и месье Филипп были весьма невысокого мнения друг о друге, так что Альберт скрывал от них свою разносторонность. Но с утреннего урока у мадам Яэйль ему часто приходилось бежать на дневной урок к месье Филиппу, и вот тут ему стоило немалых усилий продемонстрировать каждому из учителей благие плоды именно той методы, которая требовалась в данном случае. По утрам он играл а-ля Яэйль, а потом, перестраиваясь на бегу (в полном смысле), играл у месье Филиппа в манере а-ля Филипп.

В эти бурные полгода парижской жизни Альберт бывал и в гостях, так сказать, «в свете». Иногда его брала с собой в гости мадам Матильда Швейцер – жена старшего отцовского брата, дяди Огюста. Иногда Альберт заходил по вечерам к другому Швейцеру, дяде Шарлю, преподавателю современных языков, у которого встречался с его коллегами – лингвистами, профессорами, преподавателями университета. Сборища эти описаны (правда, весьма скептически) знаменитым внуком Шарля Швейцера Жаном Полем Сартром в его «Словах». Если на этих вечерах и встречались двадцатитрехлетний Альберт Швейцер с семилетним Пулу Сартром-Швейцером, то вряд ли сходились когда-нибудь два столь непохожих Швейцера. Во всяком случае, на молодого Швейцера эти исторические встречи не произвели тогда должного впечатления. А вот разговоры с лингвистами, вероятно, не прошли для него даром. Он в ту зиму стал весьма чувствительно относиться к слову.

Главным его занятием в эти полгода парижской жизни была работа над докторской диссертацией, посвященной Канту. А главным разочарованием – Сорбонна и Национальная библиотека. По сравнению с вольным Страсбургским университетом Сорбонна была архаичной и казарменной. Лекции читали здесь или строго по экзаменационной программе, или по узким предметам. Здесь не было великолепных обзорных страсбургских лекций, блиставших обобщениями. Здесь было много старомодных ограничений. Тот, кто работал в публичных библиотеках, знает, как привыкаешь к своей собственной, пусть даже и не очень удобной, библиотеке. Неудобства чужой библиотеки раздражают. Настолько, что Швейцер даже через три десятка лет с жаром клеймил правила Библиотэк Насьональ.

Кончилось тем, что он решил вообще не пользоваться «литературой по теме», а еще раз самым тщательным образом изучить «первоисточники» – самого Канта. Приняв это решение, он засел в своей комнатушке на рю

Сорбон. Вскоре он обнаружил некоторые любопытные особенности словоупотребления в ранних и поздних работах Канта, и ему удалось сделать собственное небольшое открытие, связанное с историей развития взглядов Канта, с его этическими исканиями.

В целом же Швейцер отмечал у Канта «страшный недостаток мысли, который сочетается с глубочайшим мышлением. Колоссальные новые истины появляются здесь. Схвачен абсолютный характер этического долга, но содержание его не исследовано». Отмечая эти поиски абсолютной этики у Канта, Швейцер не раз писал, что по своим целям философия Канта является и великой, и вечной. На закате жизни, рассказывая Н. Казинсу о своем отношении к Канту, Швейцер говорил:

«Это была такая гигантская фигура, что те, кому предстояло раздвинуть границы его философии, отступали и ограничивались бесконечными интерпретациями Канта и теоретизированием по его поводу... Поскольку Кант считался последним словом, последнее слово задерживалось в дороге. Я не виню в этом Канта. Однако ему можно поставить в вину то, что в нем было так много системы и так мало сострадания. Нельзя требовать, чтобы философы были романтичны, но важно помнить, что философ должен иметь дело не только с техникой мышления или материей, с космосом или звездами, но и с людьми тоже... Существует такой грех, как слишком большая отрешенность, слишком большая беспристрастность. Боюсь, что это можно отнести и к Канту».

Диссертация, которую Швейцер написал в Париже, составила солидный том в 325 страниц. Если прибавить этот труд к многочисленным, довольно интересным и плодотворным встречам, к упорным занятиям с Видором, с мадам Яэйль Траутман, с месье Филиппом, то можно будет констатировать, что парижские полгода не пропали для Швейцера даром.

И все же в своей автобиографии он вспоминает об этом, самом долгом, своем пребывании в Париже с некоторым разочарованием. И сама автобиография, и то, что он уже в то время писал об упадке буржуазной культуры, помогают нам понять это настроение. Большой, шумный город непривычно раздражал его: шум экипажей, шум уличной толпы, дым фабрик, отнимающих у простого человека последнюю свободу, последнюю надежду на творчество. Какое ужасающее духовное оскудение порождается развитием специализации! А город! А городская толпа! У людей тысячи встреч, широчайшие возможности для общения, и в результате они становятся чужими друг другу. Механическим стало общение горожан, формальной их вежливость. Сколько в пей, по существу, обыкновенной душевной грубости! Обстоятельства городской жизни огрубляют и душу

горожанина, и нравы всего общества. В этих городах, набитых жителями до отказа, в людях все меньше сочувствия друг к другу. Судьба отдельного индивида уже больше не занимает западное общество, оно мыслит сотнями, тысячами, сотнями тысяч, как будто речь идет не о людях, а о скотине или сырье. Альберт прочитал в газете, как в одном из парламентов обсуждали условия транспортировки негров, во время которой «был потерян» такой-то процент пассажиров: так и было написано – «потерян», бесстрастно и деловито, как о материалах, о скоте. Швейцер замечал, с каким высокомерием пишут о «цветных», о солдатах...

Швейцер писал, что Париж той зимы был разрываем распрями по поводу «дела Дрейфуса». Он с горечью отмечал торжество нового средневековья. Интеллигенты спорят о правительстве, о кабинетах, о государственных интересах и не замечают, что средневековье уже утвердилось в умах. Оно в отказе от попыток самосовершенствования. «Что же удивляться тому, что средневековые предрассудки так легко берут верх над людьми, согласившимися не думать самостоятельно?» – восклицал Швейцер. Да и здесь, в этих интеллигентских гостиных – прислушайтесь только к светскому разговору: люди словно договорились избегать в разговорах всякой мысли...

«Настоящее средневековье, – размышлял Швейцер. – И как люди не понимают, что освободиться от этого средневековья будет куда труднее, чем во времена, когда народы Европы освобождались от своего первого средневековья. Тогда шла борьба против внешнего авторитета и власти, установившихся в ходе истории. Сегодня массе индивидов придется освободиться от состояния духовной зависимости, в которую они сами себя поставили. Что может быть труднее?»

В смятении чувств покинул Швейцер Париж. Он поехал в Гюнсбах, в тихую Мюнстерскую долину, где люди, казалось, еще были не затронуты духовным упадком больших городов.

Рокотал орган папаша Ильтиса. Пастор Луи Швейцер доверительно читал свою послеобеденную проповедь – о честности, о сострадании, о доброте, о правде. И глухой как пень старый Мичи кивал каждому его слову, сидя в первом ряду. «Единение душ, – блаженно говорил он пастору. – Единение душ».

Альберт правил рукопись о Канте. В середине марта он отправился в Страсбург и прочитал свою работу профессору Циглеру. Все прошло великолепно. Циглер довольно потирал руки: он не обманулся в этом студенте, очень дельно, очень толково, а какие находки, какие наблюдения!

– В конце июля будете защищать, – сказал Циглер, – теперь готовьтесь

к экзамену.

Альберт решил поехать в Берлин, послушать лекции по философии, поработать в библиотеках.

Глава 5

В Берлине ему понравилось. Понравился и сам город – большой, но еще по-провинциальному неторопливый. Понравились лекции здешних философов. Понравилось спокойствие, отсутствие тревожных настроений и отчаянных политических споров в обществе, с одной стороны, гораздо реже встречавшийся пустой обмен вежливыми фразами – с другой. Здесь еще была провинция, в здешних гостиных не стеснялись брать быка за рога и говорить по существу – о самых фундаментальных вопросах жизни и смерти, о философии, о богословии, о своей профессии.

Благодаря унаследованному от деда Шиллингера неудержимому стремлению содействовать прогрессу науки молодой эльзасец снова стал ее «подопытным кроликом». Как и в Париже, он участвовал здесь в музыкальных экспериментах. Карл Штумпф исследовал психологическое воздействие музыкального тона и восприятие тона. Швейцер присоединился к Штумпфу. Увлекательные эксперименты часто заставляли его забывать даже о философии.

Конечно, он не оставил и занятий органом. Видор дал ему рекомендательное письмо к профессору Генриху Рейману, органисту церкви кайзера Вильгельма. Профессор не только разрешил ученику Видора упражняться на органе, но и разрешил замещать себя в выходные дни и по праздникам. Берлинские органисты и берлинские органы несколько разочаровали Альберта. Органисты стремились здесь к виртуозности, жертвуя истинной пластичностью стиля, которой большое значение придавал Видор. А звук берлинских органов показался Альберту и сухим, и скучным после творений Кавайе-Коля, после органов церкви св. Сульпиция и собора Парижской богородицы.

Зато профессор Рейман познакомил его со многими очень интересными музыкантами и художниками. Вообще, берлинское общество оказалось легкодоступным. Оно не было поделено перегородками всех видов, как парижское. И хотя в Берлине у Альберта не было двух влиятельных дядюшек и любящих тетушек, здесь оказалось легче знакомиться и легче входить в дома.

Друзья представили его знаменитому теологу Харнаку, чьей «Историей догмы» он восхищался еще в Страсбурге. Однако от робости двадцатичетырехлетний студент так и не смог ни разу поговорить с профессором Харнаком об интересовавших его проблемах. Впоследствии

профессор Харнак писал ему открытки, насыщенные всяческой информацией, – и в Страсбург, и в Гюнсбах, и в Ламбарене. Настоящей находкой для Альберта оказался в Берлине дом вдовы профессора Эрнста Куртиуса, известного эллиниста. Альберт был знаком в Кольмаре с Фридрихом Куртиусом, пасынком профессорской вдовы, и в берлинском доме Куртиусов его приняли с большой теплотой. Это был интереснейший дом, где собиралась берлинская духовная «элита» – самая умная и мыслящая, самая ищущая часть общества. Здесь не боялись оригинальных мыслей, не боялись говорить по существу о том, что интересует вас больше всего, а не о том, что может просто показаться забавным и позволит приятно провести вечер. Услышав от Альберта о его взглядах на четвертое Евангелие, как противоречащее трем предшествующим, выполз из своего угла Герман Гримм и яростной, блистательной речью стал отвращать эльзасца от «ереси». Альберт упорствовал, разворачивая давно продуманную систему доказательств, однако он с трудом противостоял учености и эмоциональному пылу противника. А в уголке, у кофейного стола спорили о цивилизации; и во время паузы, прислушавшись к разговору в углу, Гримм вдруг выпалил яростно и насмешливо:

– Да что вы будете говорить мне о прогрессе мысли. Все это мы взяли готовеньким и не продвинули ни на шаг. Мы нахлебнички. Только жуем, только перепеваем то, что добыли другие до нас. Одним словом, эпигоны. – И повторил, радуясь хлесткой и точной формулировке: – Wir Epigonen! (Мы эпигоны!)

Альберт возвращался пешком по пустынным берлинским улицам. Ему нужно было проветриться, прежде чем сесть за ночную работу. Дня ему все равно не хватало. Жаль было упустить и лекцию Харнака, и эксперименты со Штумпфом, и репетицию в церкви кайзера Вильгельма, и вечер у Куртиусов. А он еще должен был сегодня дочитать книгу о китайских философах.

Он шел и думал об этой фразе Гримма, которая задела его за живое, потому что он и сам уже не раз думал об этом. Мы эпигоны? Ну конечно. А что мы создали? Был XVIII век, «золотой век» философии, век разума и оптимизма. Правда, тогдашние философы недостаточно строго отнеслись к проблемам этики, не смогли дать убедительного синтеза веры и этики, так что критики из XIX века были в этой связи зачастую правы. Но, критикуя детали, рассуждал Швейцер, они разрушили все здание.

Мысль эта взволновала его. Он напишет книгу об упадке цивилизации. Можно так и назвать ее: «Мы эпигоны».

Днем он слышал в церкви кайзера Вильгельма, как два солидных

берлинца в ожидании начала службы обсуждали международное положение... Они говорили о долге Германии и «реальной политике». И кажется, эта «реальная политика» могла оправдать в их глазах любое действие. Модный термин в нынешнем Берлине – «реальполитик». Даже церковь, похоже, не чужда соображений о «реальной политике»...

Придя домой, он записал мысли, рожденные сегодняшним вечером, О том, что растут организации и с их ростом усугубляется духовное убожество человека. Что индивид начал брать в готовом виде взгляды, не подлежащие ни обсуждению, ни изменению...³

Швейцер думал о будущей книге. «Мы эпигоны!» – это будет ее первая часть: о том, как мы стали нахлебниками, как утратили мораль, пришли к упадку культуры. А дальше будет этическая и, вероятно, религиозная часть. Что ж, он не побоится сказать и о том, что церковь теряет моральную силу.

Из Берлина он вернулся полным новых идей и замыслов. В Страсбурге его ждал экзамен. Надо признать, что и Циглер и Виндельбанд, которым так понравилась его докторская диссертация, были несколько разочарованы его устным ответом. Сказалось увлечение музыкальными экспериментами Штумпфа: он не успел прочитать всего, что положено. К тому же из-за своего принципа – прежде всего тщательно перечитать все оригиналы – он почти не читал учебников, не знал всех точек зрения, всех критик, и критики критик, и критик критики критик.

Так или иначе, экзамен был сдан, и в мире стало больше одним доктором философии. Справедливость требует отметить, что это был талантливый молодой доктор, многообещающий доктор, как говорят, перспективный ученый. На него возлагали большие надежды, и он их оправдывал – шаг за шагом.

Известное издательство университетского города Тюбингена по рекомендации профессора Хольцмана издало объемистую, трехсотстраничную книгу никому не известного молодого автора «Религиозная философия Канта от „Критики чистого разума“ до „Религии в пределах только разума“.

После экзамена молодой доктор оказался перед выбором. Профессор Циглер намекнул, что у Альберта теперь есть возможность стать в ближайшее время приват-доцентом философского факультета. Однако Циглер предупредил любимого ученика, что вряд ли приват-доцент философии будет желанным проповедником в какой-либо церкви. А Швейцер мечтал о праве каждое воскресенье говорить с прихожанами о самых сокровенных вопросах бытия, о морали, о жизни и смерти. Дух многих поколений учителей и проповедников неукротимо вел его на

кафедру. И он отказался от заманчивого предложения учителя стать в двадцать четыре года приват-доцентом философии.

Студенческие годы кончились. По правилам нужно было освобождать привычную комнатку в семинарии святого Фомы, в Коллегиуме Вильгельмитануме. Он так привык к деревьям за окном, к садику, обнесенному высокой стеной... Он с радостью узнал, что ему разрешают остаться в своей комнатке в качестве платного постояльца.

Альберт правил корректуру своей философской книги, однако пора было уже садиться за теологию. Дело в том, что на отделении восточных языков учился некто Егер, очень способный парень. И Альберт понимал, что если он сдаст экзамены на звание лиценциата, то есть станет обладателем теологического диплома, то этот Егер сможет воспользоваться освободившейся стипендией Голла. Конечно, можно было бы и самому еще несколько лет пользоваться стипендией, можно было съездить в Англию, выучить язык, поучиться немного в английском университете. Но он не мог не думать о другом студенте. Всю жизнь потом ему было обидно из-за того, что он не поехал в Англию, а Егер не захотел учиться дальше, и в результате стипендией не воспользовался никто.

Второй, теологический, экзамен Альберт сдал без особого блеска. Точнее, он вообще еле сдал его. Он так увлекся своей лиценциатской диссертацией, что не удосужился освежить в памяти все многочисленные отрасли богословия и практической теологии, входившие в экзамен. Такой экзамен принимали, как правило, старые священники, и одного из них, отца Вилла, Альберт совершенно покорила своим знанием истории догмы. Поэтому, когда Альберт стал «засыпаться» на духовных поэтах и авторах гимнов, отец Вилл вмешался и настоял, чтоб его «отпустили с богом». А «засыпался» он по-настоящему. Особенно напряженным был момент, когда его спросили об авторе какого-то популярного духовного гимна. Автора он забыл, но надо было выбираться из тяжкого положения, и молодой доктор философии прибег к чисто студенческой уловке.

– А-а, этот гимн, – сказал он небрежно, – мне он показался настолько незначительным, что я даже не стал его запоминать.

Члены высокой комиссии переглянулись, а один из них заметно помрачнел. Это был профессор Фридрих Шпитта, и у него были свои основания для неудовольствия: гимн этот написал знаменитый духовный поэт Шпитта, который был ко всему еще отцом профессора Шпитты (и, к слову, любимым поэтом Швейцера).

Вот тут-то пастор Вилл и пришел на помощь Альберту, попросив членов высокой комиссии не губить способного и знающего юношу.

Экзамен кончился в общем-то благополучно, если не считать того, что он наверняка потом не раз снился Альберту Швейцеру.

После экзамена Альберт стал куратором церкви св. Николая, то есть помощником старенького герра Книттеля, некогда, еще до переезда Луи Швейцера с младенцем-сыном, служившего в Гюнсбахе, и старенького Герольда, который был когда-то большим другом дяди Альберта. Корни Швейцеров и Шиллингеров переплетались с корнями многих эльзасцев, все еще населявших эту многострадальную землю или покинувших ее для Парижа и Берлина, для Америки и Африки.

Молодой куратор взял на себя детские воскресные проповеди и подготовку детей к конфирмации; кроме того, он освободил своих престарелых коллег от послеобеденной, вечерней службы. Он робел перед большой аудиторией, а на вечерней службе народу бывало немного.

Большую радость доставляли ему занятия с детьми. Курс подготовки детей к конфирмации длится в Эльзасе два года, и молодой куратор старался сделать все, чтобы уроки его были необременительны. Как и кумир его, Гёте, он любил детей. И он очень хотел преподать им на всю жизнь простейшие этические истины и нормы. Он тем больше стремился к этому, чем меньше верил в современную ему западную школу. Общий упадок цивилизации прежде всего выразался, по мнению Швейцера, в деградации школы. Учитель становился все более узким специалистом; он не имел больше знаний и широты, которые позволяли бы ему расширять умственные горизонты ребенка, демонстрируя связи между науками. У школьного учителя оставалось все меньше свободы преподавания, он и сам был все больше и больше связан программой. И что еще более важно, идеалы человечности и добра были загнаны в школьных программах и школьных учебниках в такой дальний глухой угол, словно задача подготовки личности больше вообще не занимала человеческую расу. Швейцер с грустью обращал взгляд к временам, когда даже для приключенческой книжки обязателен был определенный этический уровень. Герой Дефо, небезызвестный Робинзон Крузо, постоянно размышлял о нормах человеческого поведения, и Швейцер не раз вспоминал, что, защищаясь от туземцев, Робинзон все время думает о том, чтобы защитить себя, причинив как можно меньший урон нападающим. Этот Робинзон со страниц старинной книжки, по верному замечанию Швейцера, являл собой живой и полнокровный характер, чего нельзя было сказать о доблестных шерифах, солдатах, индейцах, сыщиках и шпионах, стрелявших уже во времена Швейцера направо и налево, проливая реки крови.

Швейцер собирает материал для статьи «Философия и общественное образование в XIX веке», где высказывает некоторые идеи, развернутые впоследствии в большой философской книге. Швейцер развивает мысль об автономности наук в наш век, о разрозненности мысли, о недостатке философского образования:

«Мы живем в эпоху, начисто лишенную философской культуры. Отдельные науки высвободились. Они либо не чувствуют нужды в общем мировоззрении, либо каждая из них настаивает на создании своей собственной философии. Знание – сила: похоже, что лозунг этот правит нашей эпохой. Люди забывают добавить, однако, что знание – это еще не просвещение. Наш век свидетельствует о том, что, даже когда научное знание прогрессирует, количество по-настоящему просвещенных людей сокращается...»

Швейцер еще и еще раз утверждает в этой статье необходимость сформировать мировоззрение и подчеркивает огромную роль философии:

«Глубоко в человеческом сердце таится это стремление к мировоззрению. Науки как таковые никогда не могут удовлетворить его; только философия обладает этой возможностью. Она подытоживает истинное состояние наук и приводит полученную картину в гармонию с этическими интересами индивида и общества».

Швейцер с грустью взирал на развитие некоторых гуманитарных наук. Любимый его предмет, история, производил удручающее впечатление. Его современники в Германии и других странах Запада все чаще говорили в ту пору об успехах исторической науки, о «чувстве истории». Между тем это их чувство истории было «не чем иным, как современным практическим смыслом, обращенным в прошлое».

«В наше время не редкость, – с изумлением писал Швейцер, – встретить величайшую ученость, соединенную с сильнейшими предрассудками. В нашей исторической литературе самое высокое положение занимают труды, написанные с пропагандистскими целями».

Если вспомнить, что и Германия, и ее противники в это время уже думали о войне, станет совершенно ясно, что имел в виду Швейцер. Правительства готовили союзы для грядущей войны, а историки подыскивали обоснования для пропагандистских лозунгов.

Скромный курат церкви св. Николая связывал между собой неудачи теологической и философской мысли, открыто заявляя, что «хорошее образование невозможно без философии». И вот в рамках своих новых обязанностей молодой курат восполнял как мог недостатки современного ему образования и просвещения, осознавая при этом впервые, «как много

учительской крови унаследовал он от предков».

Он учил своих прихожан терпимости, внушая им, что, если бы и была какая-нибудь необходимость в том, чтобы все поступали и мыслили одинаково, наверняка было бы об этом сказано в евангелии.

Вряд ли кто из прихожан сознавал, что за необычный христианин достался им в кураты. Забегая вперед, отметим, что впоследствии теологи много спорили о том, христианин ли Альберт Швейцер вообще. Особенно яростны были эти споры в Скандинавских странах в двадцатые годы и позднее. Мнения расходились: одни говорили, что он вообще безбожник; другие, что он просто не христианин; третьи, что он очень странный христианин; четвертые, что он самый правоверный христианин.

Норвежский философ Габриель Лангфельдт считал, что Швейцер отбросил веру в бога как абстракцию. Пражский профессор Оскар Краус, один из первых философов, обратившихся к изучению творчества Швейцера, писал, что «вся его теология – это странная смесь агностицизма и анимистического пантеизма, который сам он называет этическим мистицизмом». При этом Краус тут же отмечает, что если это мистицизм, то он «построен на рационалистическом фундаменте». Швейцер написал письмо Краусу, пытаясь объяснить, почему он говорит о боге: «В философии я больше не говорю о боге, но об „универсальной воле к жизни“, которую ощущаю как волю к созиданию вне меня и как этическую волю в себе... С другой стороны, когда я говорю на традиционном языке религии, я употребляю слово „бог“ в его историческом определении, так же как в этике я говорю „любовь“ вместо „уважения к жизни“. Моя цель при этом – представить мысль в ее непосредственной жизненности и в соотношении с традиционной религиозностью». В письме Лангфельдту Швейцер писал как-то, что главное – это признать, что именно этическое определяет нашу человеческую натуру.

По мнению исследователей всех направлений⁴, трудно представить себе что-либо менее догматическое, чем верования и писания этого философа, отвергавшего догму о непорочном зачатии, о сыне божием и богочеловеке, об искуплении, о воскресении и вознесении, подвергавшего сомнению столь многое в книгах, которые считались неприкосновенным словом Божиим.

Когда Альберту удавалось скопить немного денег, он ездил в Байреит слушать Вагнера. Еще в Страсбурге его познакомили с вдовой композитора фрау Козимой Вагнер. Ее заинтересовали рассуждения молодого органиста о живописном характере баховской музыки: в Швейцере уже созрели тогда теории, через несколько лет увидевшие свет и наделавшие столько шуму.

Величественная пожилая дама попросила молодого органиста проиллюстрировать свою мысль, и он исполнил ей несколько прелюдий на великолепном органе в одной из новых страсбургских церквей. Она много рассказывала ему о себе. Он был совершенно покорен, и они стали друзьями.

Престарелые коллеги – пасторы, как правило, находили Альберту замену на время каникул или соглашались сами его заменять. Таким образом, во время весенних и осенних каникул он мог уезжать из Страсбурга. Весною он обычно отправлялся в Париж. Там он гостил у дяди Огюста и продолжал свои занятия с Видором. В эти годы он познакомился в Париже с Анри Лихтенбергером, тонким ценителем немецкой литературы. В Обществе иностранных языков в Париже Швейцер читал в эти годы лекции о немецкой литературе и философии.

Швейцер, уже делавший заметки для своей книги об упадке западной культуры, внимательно присматривался к Парижу тех лет. Однажды в солнечное весеннее утро у него произошла необычная встреча на узенькой улице Сен-Жак. Он опаздывал на свидание, и ему вопреки обыкновению пришлось взять экипаж. На одном из перекрестков образовалась пробка, так что им пришлось стоять довольно долго. И вот в соседнем открытом экипаже Швейцер увидел господина в цилиндре, вид которого чем-то поразил молодого эльзасца.

Сперва он почувствовал какую-то дисгармонию и понял, что ее рождает разительное несоответствие между высоким элегантным цилиндром и совершенно неэлегантной головой, на которой цилиндр выглядел так странно. Потом Альберт взгляделся в лицо – и уже не мог оторваться от него: на лице этом царил жуткое выражение полной бездуховности – точнее, даже чего-то противоположного всякой духовности. Это было страшное отражение нецивилизованной и некультуривированной человеческой природы, безрассудной и безжалостной воли. «Я никогда не видел такого в человеческом существе», – писал позднее Швейцер. В то утро ему удалось, в конце концов, вспомнить, кто был человек, который сидел в соседнем экипаже, озаренный безвинными лучами солнца и осененный человеческой славой. Это был один из тогдашних властителей мира и кумир французского обывателя – «тигр» Клемансо. Позднее, узнав, что Сезанн после трех сеансов отказался писать портрет Клемансо и заявил, что он «не может писать это», Швейцер «хорошо понял, что имел в виду Сезанн». Буржуазная толпа, кичившаяся необычайным прогрессом цивилизации, именно таким людям и их партиям передоверяла теперь решение вопросов морали, вынесение суждений, свое

мышление и свои действия, а с ними и судьбу современного мира⁵.

Если весной Швейцер ездил в Париж, то осенние каникулы он проводил дома, в Гюнсбахе. И по большей части его можно было видеть за письменным столом.

«Так, простейшим образом протекала моя жизнь в эти годы, которые были решающими для моей творческой работы, – писал Швейцер. – Я работал много и упорно, не отрываясь и не отвлекаясь, но и не торопясь».

Что же это была за работа? Один из исследователей, обобщая труды, написанные и напечатанные Швейцером до тридцатилетнего возраста, подсчитал, что объем их достигает двух тысяч страниц. Прежде всего это большая серия теологических исследований, над которыми Швейцер продолжал трудиться еще и через столетия. Занимаясь проблемами тайной вечери, он перешел от проблем, непосредственно связанных с жизнью Иисуса, к проблемам раннего христианства. Первую часть этой работы Швейцер завершил еще в 1900 году.

Небольшая книжечка с длинным названием – «Проблема тайной вечери, анализ, основанный на научных исследованиях девятнадцатого века и на исторических отчетах» – вышла у Мора в Тюбингене в следующем, 1901 году. В том же году в издательстве Мора вышла и еще одна книжка Швейцера – «Тайна мессианства и страстей. Очерк жизни Иисуса».

Как отмечают специалисты, Швейцер развенчивает в этих книгах многие общепринятые теологические теории, делая это с исключительной обстоятельностью и убедительностью. Человеку, никогда не слышавшему этих теорий, неинтересны в общем-то их разбор и опровержение. Основная идея здесь та же, что уже была намечена в самых ранних работах Швейцера и развита впоследствии. В отличие от современной ему либеральной теологии Швейцер вовсе не модернизирует Иисуса, приближая его идеалы и взгляды к системе взглядов современного человека. Напротив, он прочно связывает своего «исторического Иисуса» с обстановкой и мировоззрением, царившими в его время в Иудее: «Он приемлет позднеиудейское ожидание мессии и другие позднеиудейские воззрения во всем их наивном реализме, наполняя их при этом своей волей и своим этическим духом». Его Иисус, видя, что пророчество о конце света оказалось ложным, что ученики его не претерпели предсказанных бед, решает, что он должен погибнуть, ускорив приход царствия, что он может своей гибелью предотвратить предсказанные беды. И он смело предает себя своей участи во имя благородной цели, движимый этой вот самой «волей и этическим духом». Именно восприятие этой воли («от воли к воле») и этого духа ценно, по Швейцеру, для современного человека в

«житии Иисуса».

Швейцер подробно разбирал в своем труде мессианские ожидания Иисуса (опять-таки тесно связанные с позднеиудейскими ожиданиями), обстоятельства его деятельности, суда и, наконец, распятия.

Вторая теологическая работа Швейцера дала возможность профессору Хольцману рекомендовать своего ученика на должность приват-доцента теологии. Однако еще до этого он получил довольно высокое назначение здесь же в Страсбурге. Умер преподобный Эриксон, и Швейцера попросили временно стать главой богословской семинарии св. Фомы. Ко всем своим нагрузкам он получил еще и заботы о молодых теологах, живших с ним по соседству в Коллегиуме Вильгельмитануме. Теперь они приходили к нему на консультации в любой неурочный час, а он должен был следить, чтобы они приходили почаще.

Ему хотелось другой, еще более активной помощи людям, самым покинутым и самым страдающим. Он предложил свои услуги официальному бюро, занимавшемуся просвещением сирот и детей неимущих. Он предлагал бюро любую помощь, свою голову, свои руки и вдобавок еще просторные пустующие помещения Коллегиума Вильгельмитанума. За его предложение никто не ухватился. «Устав организации не предусматривал...» такого добровольного сотрудничества.

Швейцер даже не очень удивился. Он был философ и успел подметить некоторые законы современного ему западного общества. Страсть к организациям, овладевшая буржуазным Западом, давно уже удовлетворялась в ущерб всякой духовности. Швейцер отметил даже ход этого оскудения: вначале организация реализует накопленные ранее запасы человеческой энергии, а потом она становится губительной для всего оригинального и живого. И чем больше она расширяется, тем решительней подавляет она всякую созидательную и духовную деятельность. Швейцер видел, как «цивилизованные» государства буржуазного Запада начинали страдать и экономически и духовно от перецентрализации.

И все же он сделал еще одну попытку активной помощи людям в рамках организации. Когда сгорел сиротский приют в Страсбурге, он предложил сиротскому бюро разместить часть детей в Коллегиуме. Зачем? Все будет сделано в ведомственном порядке. А как? Когда? Это неважно. Важно, что все будет сделано с выполнением ведомственных требований. Он еще раз убедился, что, как только добрые дела попадают в ведомство, трудно уследить, что является истинным благом для чиновника⁶.

Швейцер понял, что, когда пробьет его час, он как от чумы будет бежать от могучего учрежденческого аппарата, где люди безлики и

холодны, как счетные машины и дверные дощечки.

В пору своего надзора за теологами семинарии Швейцер, разговарившись однажды со студентами, с удивлением убедился, что они совершенно не знакомы с историей исследований жизни Иисуса. Швейцер рассказал об этом профессору Хольцману. Признался, что он уже начал на досуге такое исследование, однако хотел бы услышать, что думает об этом профессор. Профессор Хольцман, как всегда, поддержал своего ученика, и Швейцер с жаром взялся за новую обширную работу.

В конце сентября семинария получила постоянного принципала, а Швейцер, переселившись в город, продолжал выполнять свои обязанности в церкви св. Николая и работать над новым исследованием. Зимой профессор Хольцман рекомендовал своего ученика на должность приват-доцента теологического факультета. Назначение его прошло не вполне гладко. Два факультетских преподавателя выступили против его методов исследования священных текстов и высказали опасение, что он запутает студентов. Вероятно, то, что он успел к этому времени написать, было слишком недогматичным даже для либеральных теологов Страсбургского университета. Впрочем, влияние Хольцмана оказалось достаточным, чтобы отстоять кандидатуру Швейцера. 1 марта 1902 года Альберт Швейцер прочел свою первую лекцию студентам теологического факультета.

Помимо работы над лекциями и над новой книгой по философии, помимо музыкальных занятий и весенних поездок в Париж, у него была теперь его главная работа – книга о поисках «исторического Иисуса», об истории этих поисков. Ведь для Швейцера Иисус был лицо реальное: он лишь желал отделить истинного, «исторического» Иисуса от Иисуса мифического, созданного легендой.

Ему повезло: Эдвард Рейсс и другие страсбургские теологи собрали в университетской библиотеке практически все «жизнеописания Иисуса», а также все полемические работы, по большей части вызванные к жизни нашумевшими теориями Штрауса и Ренана. Это была настоящая удача. Где еще удалось бы собрать столько книг по одной проблеме?

Швейцер решил начать обзорное исследование с книги гамбургского профессора Реймаруса, жившего в первой половине XVIII века, и кончить его книгой Вильяма Вреде, вышедшей всего несколько месяцев назад. Между этими теологами были и Вентурини, и Кайм, и Штраус, и Ренан, и Хазе, и Хольцман, и Харнак, и Колани, и другие.

Весь 1902-й и чуть не весь 1903 год ушли у Швейцера на это исследование «житий», написанных на протяжении двух веков: он рассмотрел первые робкие попытки поисков «исторического» Иисуса у

ранних теологов, теории либеральной теологии, опыт модернизации Иисуса у знаменитого Ренана. Новое, поистине монументальное исследование завершалось развитием собственной теории Швейцера, помещавшей реального Иисуса в мир позднееврейской эсхатологии – мировоззрения, предсказывавшего скорый конец света, и в атмосферу ожидания этого конца. При подобной трактовке воззрений и заблуждений «исторического Иисуса», по мнению многих исследователей, не оставалось места никаким разговорам о его «непогрешимости», «всезнании» или «неспособности ошибаться». Недаром один из теологов новейшего времени писал о концепции Швейцера, что «если все это так (а Швейцер доказывает это убедительно), то это кладет конец всякому простому следованию „учению Иисуса“».

Иисус, по Швейцеру, мыслил в терминах своего времени, и «переводить его идеи в наш способ выражения» нет смысла. Что же тогда важно? Важна воля, важна «этическая жизнеспособность и сила», существенны «энтузиазм и героизм, которые проистекают от воли и веры, сосредоточенных на идее царства божия...».

Почему же так существенны были, по мнению Швейцера, для человека конца столетия эти «воля» и «энтузиазм», это этическое стремление к «царству божью»? Да потому, отвечает он в своей книге, что «ничто в нашей культуре, не исключая и религии, не дает в достатке этических идеалов и энергии»:

«Культура утратила великую цель морального совершенствования человечества, окружила себя стеной национальных и сектантских идеалов, вместо того чтобы включить в свое поле зрения весь мир. Ее величие и ее доброта претендуют на то, чтобы быть самодовлеющими, тогда они должны поставить себя на службу тому этическому совершенствованию, которое в соответствии с учением Иисуса можно назвать царством божьим».

Здесь, видимо, следует еще раз напомнить, что швейцеровский Иисус, разделявший заблуждения современников, ждал катастрофы и прихода сверхъестественного царства божия в результате этой катастрофы. Когда приход царствия задержался в пути, Иисус, преодолев страх, колебания и искушения, предал себя своей страшной участи, чтобы ускорить приход царствия, приход нового, обновленного человечества и эпохи мира на земле, чтобы избавить по возможности своих учеников и других людей от страшных испытаний имук. То есть «исторический Иисус» Швейцера не считал, как считали жившие уже в XIX и XX веках либеральные протестантские теологи, что приход царствия божия – это просто

торжество этического идеала, которое и будет достигнуто путем совершенствования. Однако Иисус, по Швейцеру, обладал не останавливающейся ни перед какими испытаниями волей к достижению этого царствия, этого идеала, обладал «этической волей», могучим энтузиазмом самопожертвования. Торжество этического человека на земле, прекращение людских бед и распрей, приход эпохи мира были для швейцеровского Иисуса целью самоотверженного этического действия, и это стремление к великой цели как раз наиболее существенно для Швейцера в его собственном «Житии Иисуса»:

«Единственное, что существенно, – это то, что значение концепции царства божия для нашего мировоззрения таково же, каким оно было для него, и что точно так же, как и он, мы ощущаем силу этой концепции».

Идею эту Швейцер развивает впоследствии во многих своих работах, в том числе и в последнем, так и не изданном томе своего философского труда. Русскому же читателю при чтении этих страниц опять невольно вспоминаются воззрения Толстого, о которых Иван Бунин писал:

«Преклоняясь перед Христом, Толстой в нем бога не видел: я не раз от него самого слышал, что, если бы он считал Христа богом, Христос потерял бы для него все свое обаяние. Обычное воззрение неверующих. Толстой был человеком современным, позитивистом. Он был слишком умен, чтобы не понимать, что разум наш ограничен; но, признавая ограниченность разума, он не допускал и того, чтобы разум мог узнать абсолютную истину в порядке веры и откровения. Он любил употреблять слова – религия, бог, бессмертие... Но бог был для него – непонятная, начальная сила; бессмертие духа – простое признание факта, что наша духовная сила откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдет; а вера... есть не столько знание истины, сколько преданность ей. Все это очень далеко от учения церкви, и потому Толстой по своему мировоззрению истинный позитивист, сын нашего века. Однако вот что замечательно: он не говорил, подобно позитивистам, что проповедь Христа противоречит природе людей... при мирском мировоззрении он учил жить по-божьи... Еще в молодости говорил он: человек должен сознавать в себе свою личность не как нечто противоположное миру, а как малую частицу мира огромного и вечно живущего... Чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы цель ее выходила за пределы постижимого умом человеческим...»

В этой связи мы позволим себе также напомнить, как говорил о философии Толстого другой русский писатель, Леонид Леонов:

«Любому слову в философской терминологии Толстого, вплоть до столь далекого, казалось бы, от нашей современности царства божьего,

найдется надежный синоним и в нынешнем гуманистическом словаре».

Эти два высказывания приведены здесь вовсе не для того, чтобы поставить знак равенства между Толстым и Швейцером. Нет, это были разные люди, с разной судьбой, разным талантом и разной сферой проявления таланта. Однако параллель эта, может быть, сумеет облегчить понимание приведенного выше рассуждения о «столь далеком, казалось бы, от нашей современности царстве божьем».

Книга «От Реймаруса до Вреде» (в английском издании 1910 года – «Поиски исторического Иисуса») вышла в Тюбингене у того же Мора в 1906 году. Она привела в замешательство многих теологов. Однако чуть позднее, к удивлению самого Швейцера, у концепции даже нашлись сторонники – сперва в Англии, в Оксфорде (профессор Сэнди), потом в Кембридже (профессор Беркитт). Идеи молодого теолога приобретали мировую известность.

Прошло полсотни с лишним лет, и один из теологов (С. Баллард) так подытоживал результаты теологических трудов Швейцера:

«В целом теология ухитряется обходить выводы Швейцера... Либеральная теология, такая, какой Швейцер знал ее в годы своей юности, потеряла свою интеллектуальную респектабельность с выходом его „Поисков Иисуса“... Работа Швейцера привела его к полному отрицанию христианской ортодоксии. Он сохранил только эхо проповедей своего отца, подчеркивающих этические требования религии. Любая идея личного бога стала для него совершенно бессмысленной...»

Профессор Сэнди и профессор Беркитт да несколько теологов во Франции и Германии – это еще не так много, и, наверное, прав был пастор Луи Швейцер, высказываясь об эсхатологии столь скептически: «никто не поймет», сказал он, а в другой раз еще безнадежнее: «никто не поверит». И хотя популярность Швейцера в теологических кругах продолжала расти, гораздо большую популярность неожиданно для себя приобрел молодой теолог и философ в другой отрасли – в эстетике, в музыковедении, а уже – в баховедении. Но только это уже совсем другая история.

Глава 6

Каждую весну, а иногда также и осенью лохматый и черноусый молодой эльзасец по-прежнему появлялся в Париже. Он жил у дяди Огюста и ходил заниматься к Видору. Их дружба не остывала, так же как не остывала их страсть к Баху и к органу. Однажды Видор пожаловался своему ученику, что на французском языке нет ни одной приличной книжки, которая давала бы представление о музыке Баха, – одни только биографии. Между учеником и учителем произошел разговор, о котором учитель вспоминал так:

«Однажды, в 1899 году, когда мы штудировали хоральные прелюды, я признался ему, что многое в этих произведениях остается для меня загадочным. „Музыкальная логика Баха в прелюдах и фугах, – сказал я, – проста и ясна; но она становится непостижимой, как только он берется за хоральную мелодию. Откуда эти, по временам исключительно резкие, антитезы чувства? Почему он присовокупляет к хоральной мелодии контрапунктические мотивы, которые не имеют часто никакого отношения к настроению мелодии? Откуда все эти непонятные элементы в рисунке и развитии его фантазии? Чем больше я вчитываюсь в них, тем меньше понимаю“. „Вполне естественно, – сказал мой ученик, – что многое в хоралах Баха должно казаться вам непонятным по той простой причине, что объяснить их можно, только исходя из текстов, им приданных“.

«Я продемонстрировал ему отрывок, который смутил меня больше всего; он перевел стихи на французский по памяти. Тайна была раскрыта. В последующие вечера мы проиграли все хоральные прелюды. И когда Швейцер – а это был именно он – объяснил их мне один за другим, я познакомился с Бахом, о существовании которого я имел до того самое смутное представление».

Это удивительная сцена. Два знатока Баха открывают для себя новое в любимом композиторе. Учитель и ученик вечер за вечером проигрывают для себя все хоральные прелюды Баха. Двадцатичетырехлетний доктор философии переводит по памяти стихи к баховскому хоралу...

Подобно тому как совсем недавно молодой теолог «отыскал золотой ключик» к собственной концепции в эсхатологии, как здесь же, в Париже, молодой философ открыл весьма существенные закономерности работ Канта, так и теперь молодой органист и великолепный знаток Баха находит «золотой ключик» к некоторым проблемам баховедения. Во всем этом как

будто много случайностей: ему чертовски везет, этому молодому Швейцеру. Да он и сам все время смиренно говорит о своей удаче и о своем «исключительном счастье». Однако он ведь никогда ничего не брал с налету, все давалось ему большим трудом.

Позднее Видор неоднократно напоминал своему ученику о его обещании написать статью о природе искусства Баха для студентов Парижской консерватории. Однако Швейцер был в то время с головой погружен в свое научное исследование.

Он обещал Видору, что осенние каникулы 1902 года целиком посвятит Баху. Работа эта его волновала. Полтора десятилетия назад Эуген Мюнх начал знакомить Альберта с композитором, имя которого покойный учитель произносил с таким трепетом. Это было в Мюльхаузене, в городе, древние мостовые которого откликались на стук каблучков самого Баха, а каменные своды церкви св. Власия еще помнили рокот его органа. В Мюльхаузене, который стал потом колыбелью баховского культа. После Мюльхаузена Альберт Швейцер много лет изучав Баха под руководством Видора и Эрнста Мюнха, исполнял его творения на знаменитых органах Страсбурга, Парижа, Берлина. Он руководил баховским хором в церкви св. Вильгельма в Страсбурге, позднее был органистом Баховского общества в Париже и одним из создателей этого общества. Ему многое хотелось сказать о Бахе, который еще с гимназических лет прочно вошел в его жизнь не только как гениальный композитор, но и как духовный наставник, как очень близкий по духу человек.

Написать о Бахе! От одной мысли об этом молодой Швейцер приходил в необычайное волнение...

Отрываясь от очередного пятисотстраничного жития, он смотрел иногда на портрет кантора св. Фомы.

«Чем дольше смотришь на этот портрет, тем загадочнее становится выражение лица. Как это обыкновенное лицо превращалось в лицо художника? Как выглядел Бах, когда переносился в мир звуков? Как отражалась на его лице чудесная просветленность его музыки?»

В конце концов сам Бах для нас загадка, ибо внешний и внутренний человек в нем настолько разьединены и независимы, что один не имеет никакого отношения к другому...»

Это было написано еще до того, как он заявил о праве всякого человека оставаться загадкой для других. Он ведь и сам оставался загадкой для окружающих – и в двадцать семь, и в семьдесят, и в девяносто.

Осенние каникулы Швейцера прошли в напряженной работе. Он ощутил уже «сопротивление материала» и радость преодоления. Но он не

продвинулся пока дальше самой начальной стадии сбора материала. Конечно, того, что он знал о Бахе, хватило бы и тогда уже не на одну статью. Но он снова взялся за произведения Баха и вскоре, глядя на гору собранного материала, начал понимать, что статья для студентов-парижан разрастается в книгу о Бахе. Необычайное смирение всегда соединялось в нем с дерзанием. Блистательный знаток Баха, он в замешательстве говорил Видору, что он ведь, собственно, не музыковед. Но, взявшись за работу, он уже не отступался: «С мужеством я предал себя своей участи».

Все свободное время в последующих 1903 и 1904 годах он безраздельно отдавал Баху. Свободное время – это были выходные дни, весенние и осенние каникулы, а также ночи, главным образом ночи. Он довольствовался четырьмя и даже тремя часами сна.

Если бы не ночи, ему бы пришлось туго. У него на шее снова были юные семинаристы, потому что в октябре 1903 года он получил постоянное назначение и снова стал принципалом семинарии св. Фомы. Он занимал теперь квартиру с окнами на набережную св. Фомы, и оклад его равнялся двум тысячам марок. Но что это могло изменить в его жизни? Он сохранил себе прежнюю студенческую комнатку с окнами во двор – там он работал. Практически там он и проводил все время. У него не было ни времени на дорогостоящие увеселения, ни привычки к ним. А велосипед его не требовал ни овса, ни бензина. Он по-прежнему выезжал на велосипеде за город, чаще даже не один; они выезжали всей компанией: молодые страсбургские интеллектуалы – философы, музыканты, историки, теологи. По вечерам они иногда собирались у кого-нибудь дома – поговорить, поспорить, посмеяться. У него был дар, унаследованный от отца, – он уморительно рассказывал всякие деревенские истории. Впрочем, в его репертуаре были также истории из парижской и берлинской жизни, истории о Бахе, о Вагнере... Чаще всего они говорили по существу – о своем предмете, об истории, о науке, о современности. О смысле жизни. О тяжести человеческого жребия – видеть страдания ни в чем не повинных, маленьких, забытых людей своего века, оболваненных пропагандистскими воплями о процветании, о прогрессе, о цивилизации... Он не мог расстаться со своей кафедрой в старинной церкви св. Николая. Он верил, что там он может сделать что-то: внести хоть ничтожную лепту в одухотворение человека, сделать хоть ничтожную попытку остановить этический упадок, переживаемый буржуазной культурой. Однажды во время одной из вечерних проповедей, на которых бывало так мало прихожан, он заметил знакомое лицо. Это была Елена Бреслау, девушка из их компании, очень образованная, умная, деликатная. Ему всегда казалось, что она понимает

его: она так смотрела на него, когда он говорил... Впрочем, разве узнаешь в эти лета, почему смотрят на тебя девушки? Он был красив. Он сохранял свою осанку и потом, до глубокой старости, когда к Елене время было не так милостиво. На ранних фотографиях видно, что в юности она тоже была красива: высокая, стройная, с нежным и тонким профилем, с задумчивыми глазами.

Они танцевали однажды какой-то веселый вальс, который он совершенно забыл впоследствии, но вдруг вспомнил еще через сорок лет, в чужой стране, в Америке, – их первый вальс.

Он спросил ее, когда они прощались после вечера, какого она мнения о его проповеди, о той самой... Она смутилась, потом сказала, что она тоже часто так думала, как он сказал в тот раз: «Мы хотим верить и боимся неверия». Теперь пришла его очередь смутиться. Он сказал чуть грубовато, что его больше интересуют недостатки проповеди. Она как-никак была учительницей, гувернанткой, у нее хороший слог. Она помялась и сказала, что да, насчет слога она как раз думала. Кое-что звучало для нее странно, нет, очень мило, но странно. Его синтаксис – чисто эльзасский синтаксис немецкой фразы, с сильным влиянием французского, точь как в крестьянской речи Эльзаса. Он сказал, что подумает. Он вообще теперь несколько озабочен стилем. Он много пишет. И если так же звучит его письменная речь – это ведь недопустимо? Она согласилась, что это может иногда выглядеть странноватым. Она предложила просмотреть его рукопись. Он уже думал об этом, но не решался попросить ее.

Он стал чаще встречаться с Еленой. У них было много общего. Она любила детей и мечтала стать учительницей, даже училась одно время в учительском коллеже. Она увлекалась музыкой и училась в Страсбургской консерватории. Отец ее, профессор истории Гарри Бреслау, был одно время ректором университета. Он брал с собой Елену в Италию, где дочь его изучала живопись, пока он рылся с утра до вечера в архивах, выискивая материалы по германскому средневековью. В начале девятисотых годов социальные проблемы, проблемы страждущего человечества и жестокого, бесчеловечного мира все больше захватывают Елену. В их страсбургском кружке, где она познакомилась с Альбертом Швейцером, немало говорили о возможностях помочь человечеству и человеку. Здесь были идеалисты всех оттенков, и даже новый прогрессивный молодой мэр Страсбурга герр Швандер входил в этот кружок. В 1902 году Елена уехала гувернанткой в Англию. Промышленные города Англии с их трущобами побудили ее еще глубже уйти в проблемы социальной помощи. По возвращении она работала в сиротском приюте, потом уговорила Швандера построить в

Страсбурге дом для матерей-одинок. Она по подписке собирала деньги для сирот и добилась в этом немалых успехов. Искусство отступало теперь в ее жизни на второй план: в этом страшном мире человек не мог принадлежать только себе, жить для себя, как будто нет других, как будто ничего не происходит с другими.

Нет сомнения, что среди множества общих тем, объединявших ее и Альберта, эта сокровенная тема была не из последних.

Швейцер почти ничего не писал об их отношениях ни в автобиографиях, ни в письмах. Он был скрытен, когда речь заходила о его личных делах. Есть, впрочем, мгновение в жизни любого, самого скрытного человека, когда он пишет обо всем. Это момент, когда он пишет книгу.

Швейцер писал в главе о мюльхаузенском периоде Баха:

«...ему поставили в вину, что недавно в церкви он музицировал с посторонней девицей, не получив на то разрешения. Он оправдывался, говоря, что сообщал об этом священнику, магистру Утэ. Разумеется, речь шла о занятиях музыкой в свободное от службы время, а не об участии посторонней девицы в богослужении, что категорически запрещалось... 17 октября Бах женился на своей двоюродной сестре Марии Барбаре Бах... Возможно, что Мария Барбара и была той посторонней девицей, с которой Бах музицировал в церкви».

Развивая эту гипотезу, можно без особой натяжки предположить, что Елена ходила не только на проповеди Швейцера, но и на его органные репетиции. Она неплохо разбиралась в музыке, а он был беспощадно строг к себе. Можно представить себе, как он «музицировал с посторонней девицей», даже не испрашивая на то разрешения.

Ночами, работая над Бахом, он, вероятно, нередко вспоминал Елену. Его умиляла история второй женитьбы Баха. Анна Магдалена была не только заботливая хозяйка, но и музыкантша. Бах развивал музыкальное чувство своей молоденькой жены. Она щедро отплатила ему, переписывая ноты. С годами ее почерк стал так похож на почерк Баха, что их трудно отличать даже специалистам. Она приучала к переписке нот и сыновей. Швейцер трогательно описал эту сцену.

Есть фотография тех лет: Швейцер за столом, и Елена склоняется рядом. Елене был близок немецкий идеал женщины, самоотверженно преданной делам мужа.

Ночная работа над Бахом началась успешно. Ему повезло с нотами. Библиотеки не смогли бы обеспечить его нотами всех баховских произведений, необходимых ему для ночной работы, но однажды в

музыкальном магазинчике в Страсбурге ему сказали, что в Париже есть престарелая дама, которая, желая поддержать Баховское общество, подписалась некогда на полное собрание музыкальных произведений Баха, а теперь, кажется, не прочь была бы отделаться от длинных рядов томиков, занимающих ее книжные полки. Швейцер поехал по адресу, записанному в Страсбурге, и так обрадовал хозяйку своим энтузиазмом, что она уступила ему все сорок шесть томов за смехотворную, почти символическую сумму – за пять фунтов. Швейцер счел эту редкостную покупку добрым предзнаменованием.

Он уже начал писать, но все еще останавливался по временам в изумлении от своей дерзости. Однако, взявшись за работу, он не мог остановиться, трудился упорно и неторопливо. Его вдохновляла музыка, которую он столько раз слышал, столько раз исполнял сам и теперь переживал заново. Его вдохновляла сама фигура кантора св. Фомы, этого здоровяка, «на чьих губах мы видим чуть ли не самодовольную улыбку», и который в то же время «внутренне был отрешен от мира». Вдохновляла серьезность этого мастера органной и клавирной игры, который не считал себя гениальным композитором, да и вообще не думал об этом, а думал о том, чтобы со всей серьезностью служить музыке, которая тоже не была для него самоцелью. «Искусство было для него религией. Поэтому оно не имело ничего общего ни с миром, ни с успехом в мире». Там, где искусство не служит высшей славе и «освежению духа», там, по мнению Баха, нет настоящей музыки.

«Коричневые тома старого Баховского общества, – писал Швейцер, – говорят с нами потрясающим языком. Они повествуют о вечном, о том, что истинно и прекрасно, так как создано не для признания, а потому что не могло не быть создано. Кантаты и „Страсти“ Баха – детища не только музы, но и досуга, в благородном, глубоком смысле, – в том смысле, как понимали это слово древние: в те часы, когда человек живет для себя, и только для себя».

Внимательный читатель находил в этой новой книге молодого Швейцера самые сокровенные его мысли о жизни, о духе, о соприкосновении с вечностью, об этике, о культуре, о ее упадке и залогах ее восстановления. В финале книги, цитируя слова Мозевиуса об исполнении баховских кантат, требующих, чтобы «каждый певец хора... пребывал в постоянном духовном напряжении», Швейцер восклицает: «Если бы только распространилось это убеждение! Тогда Бах поможет нашему времени добиться столь необходимой для нас духовной собранности и глубины».

А в краткой вступительной главе об истоках баховского искусства, говоря о «Страстях» Баха, Швейцер отмечает, что и «по тексту, и по форме они находятся целиком в русле своего времени, но дух, который в них живет, преобразует их и из преходящего создает вечное».

«Бах – завершение, – продолжает Швейцер. – От него ничего не исходит, но все идет к нему... Этот гений был не единичным, обособленным духом, но универсальным. Века и поколения создали творение, перед величием которого мы в благоговении останавливаемся».

Таким образом, книга Швейцера о Бахе была не просто трудом музыковедческим, но и трудом, трактующим проблемы философии и этики.

Очень верно эту существеннейшую черту книги о Бахе отметил Шрэйд в своей работе «Эстетика Швейцера»: «...Швейцер стремится донести до своего времени творения Баха как движущую силу... Его эстетика, представленная через Баха, в основе своей этична. Она не существует ради самой себя. Она выполняет этический долг по отношению к человечеству. И возвестить этот долг для него может только один человек. Это Бах».

Книга Швейцера появилась на самом гребне новой волны баховского возрождения. Идеи о новом, углубленном подходе к Баху, о понимании его языка витали в воздухе. И Швейцер сумел верно подобрать ключ. Это то самое, о чем он говорил с Видором: изучение музыки кантат и хоралов Баха параллельно с их текстами давало возможность проникнуть в тайны музыкального языка Баха.

В своем серьезнейшем музыковедческом труде (который специалисты неизменно называют «классическим» трудом баховедения) Швейцер не только ставит задачу изучения баховского языка, но и сам отважно берется за выполнение этой задачи, выявляя в этом языке «символы», при помощи которых Бах выражал определенные чувства и настроения.

Чтобы не испугать этими «символами» наиболее робких читателей, автор хотел бы сослаться на разъяснения советского музыковеда М. Друскина, который пишет:

«Нас не должен пугать данный термин – зарубежные музыковеды вкладывают в него иной смысл, чем мы. По сути дела, „символ“ в их трактовке близок к „интонации“ в толковании Асафьева...» (Это из послесловия ко второму русскому изданию книги.)

В своих упорных и вдохновенных ночных трудах молодой Швейцер открыл миру нового Баха – музыканта-поэта и музыканта-живописца. Предшественников Швейцера отпугивала всякая мысль о таком изобразительном «музыкальном материализме». В борьбе с Вагнером

хранители «чистой» музыки нередко прибегали к ее незамутненному источнику – к Баху. И тут выступил Швейцер со своей защитой Вагнера и новыми суждениями о Бахе.

«Все, что есть в тексте и эмоционального и живописного, он стремится воспроизвести на языке музыки со всяческой возможной жизненностью и ясностью. Прежде всего он стремится передать звуками живописное. Он даже больше художник тона, чем поэт тона... Если в тексте говорится о кочующих туманах, о разгульных ветрах, о ревущих потоках, о набегающей и уходящей волне, о листьях, опадающих с веток, о колоколах, которые звонят по усопшему, об уверенных шагах твердой веры или о неуверенной поступи поколебленной веры, о посрамлении гордого и о вознесении смиренного, о восставшем сатане и ангелах, восседающих на облаке, – все это и видишь и слышишь в его музыке».

Так подытоживает Швейцер свои мысли в автобиографической книге. В «Бахе» же он развивает эти мысли с еще большей детальностью и убедительностью, начиная с общих эстетических проблем. Он обращается к проблеме взаимодействия искусств, начиная с размышления о привычном делении искусства по материалу: музыкант, говорим мы обычно, пользуется звуками, живописец – красками, поэт – словами. На самом деле, заявляет Швейцер, материал – это второстепенное. В настоящем художнике соединяются все трое, и различие лишь в том, что каждый творец выбирает себе тот язык, который ему более привычен. Швейцер приводит интересные факты о том, как в человеке, уже избравшем себе вид искусства, продолжает жить «другой художник». Конечно же, Швейцер начинает с Гёте, душа которого раздваивалась между поэзией и живописью, затем говорит о Гейне, о Шиллере, о Бетховене, о Вагнере, о Ламартине и, наконец, о Ницше, который в «Заратустре», по мнению Швейцера, соединяет свои идеи с помощью звуковой логики.

И дальше следует подробнейший анализ музыки Баха, профессиональный музыкально-методический и искусствоведческий разбор почти трехсот вокально-инструментальных произведений Лейпцигского кантора, тонкий анализ его «символов».

По мнению Швейцера, баховская музыка «поэтична и живописна, потому что тематика ее порождена поэтическими и живописными идеями. Исходя из этих тем, композиция разворачивается как законченное произведение архитектуры в нотных линейках звуков. То, что является по существу своему поэтической и живописной музыкой, находит воплощение в готической архитектуре, претворенной в звук».

Отмечая «архитектоническое чутье» Баха, Швейцер пишет, что «очень

часто вся пьеса со всем своим развитием уже заложена в теме; она вытекает из нее с определенной эстетико-математической необходимостью».

Швейцер увлеченно анализировал творения Баха, и статья, первоначально предназначавшаяся для студентов Парижской консерватории, превращалась под его пером в огромную книгу, охватывающую множество общеэстетических, музыковедческих и баховедческих вопросов.

Труд этот высоко оценили его первые читатели – французы. Ромен Роллан написал о книге Швейцера, что, «являясь плодом гармонического сочетания немецкого и французского духа, она обновляет изучение Баха и историю других классиков». Это же счастливое сочетание двух духовных культур отмечал позднее советский музыковед, так анализирувавший содержание и план книги: «...в расположении и последовательности глав ясно ощущается поэтический замысел автора. Немецкий склад мышления со склонностью к мечтательности и мистицизму своеобразно уживается здесь с французским трезвым рационализмом».

Вероятно, нет нужды подробно анализировать эту огромную книгу хотя бы потому, что эта книга – единственная пока из книг Швейцера – вышла на русском языке, даже двумя изданиями. И все же трудно удержаться от соблазна процитировать хоть небольшой отрывок из нее. Вот глава XII, где рассказывается о смерти Баха:

«В темной комнате, предчувствуя близкую смерть, он создал творение, выделяющееся даже среди его произведений, единственное в своем роде. Полифоническое искусство здесь так совершенно, что никакое описание не может дать о нем представление. Каждый раздел мелодии проводится в виде фуги, в которой обращение темы служит противосложением. При этом голоса текут столь естественно, что уже со второй строки не замечаешь контрапунктического мастерства, ибо находишься всецело во власти духа, говорящего в этих сольмажорных гармониях. Мировая суeta уже не проникала сквозь завешенные окна. Умиравший мастер слышал гармонию сфер. Поэтому в его музыке более не чувствуется страдание: спокойные восьмые движутся по ту сторону человеческих страстей; все проникнуто просветлением».

После этого трагического аккорда книги, почти следом – неожиданная разрядка, комический спад, как в заправски сделанной пьесе. Швейцер излагает содержание одноактной оперы, представлявшей собой как бы театрализованный оперный некролог, написанный на смерть Баха. В опере этой есть и партия самого усопшего, «прославленного».

«Прославленный»... утешает друзей, уверяя их, что на небе

музыкальные порядки еще лучше, чем в Лейпциге...»

Работая над этой книгой, Швейцер в большей, чем когда-либо, степени познал муки литературного творчества. Во-первых, это была книга по эстетике, книга, где он пытался передать словами не только ход своей мысли, но и тончайшие переживания, связанные с восприятием искусства, пытался с наибольшей выразительностью донести до читателя то, что было ему всего дороже в искусстве, – жизнь могучего духа, этический импульс, выраженный в музыке, причем не просто в музыке, а в органной музыке Баха.

Читатели и критики сходились в том, что Швейцер достиг своей цели: книга написана прекрасно.

Исследователи отмечали в книгах Швейцера удивительное богатство и выразительность метафор и сравнений. Первым об этом написал пражский профессор Краус, заметивший, что «у редкого философа встретишь такое обилие поразительных метафор». «В его сравнениях, – писал Краус, – заметно острое ощущение образа. Его артистический темперамент и богатое воображение в сочетании с его выдающимся музыкальным талантом позволили ему описать музыку Баха как живописную музыку и открыть новую эру в интерпретации Баха».

Позднее о стиле Швейцера писала его переводчица и друг Ч. Рассел, сетовавшая на то, что произведения Швейцера, как и произведения Гёте, трудно переводить на английский язык. Ч. Рассел считала даже, что стоит выучить немецкий для того, чтобы читать Швейцера в оригинале, потому что его богатейшие метафоры теряют свое очарование в переводе. Восклицание Швейцера о Гёте («Как прекрасны его метафоры!») Ч. Рассел с убежденностью относил к самому Швейцеру.

Впрочем, здесь речь идет уже о немецком «Бахе», а тогда, в 1903 и 1904 годах, Швейцер писал свою французскую книжку – для французского читателя и для Видора, не владевшего немецким. В этом заключалась для него немалая трудность. До сих пор он писал, читал лекции и проповеди только по-немецки. Конечно, он мог говорить по-французски так же свободно, как по-немецки. Но одно дело говорить, а другое – писать. К тому же родным языком он все-таки считал немецкий. Вот как он сам писал об этом, вспоминая о работе над французским «Бахом»:

«Я никогда не воспринимал французский, как родной язык, хотя письма домой я всегда писал по-французски, потому что так у нас было принято в семье. Немецкий язык – мой родной язык, потому что эльзасский диалект, который достался мне по рождению, относится к германским языкам.

Мой собственный опыт говорит мне, что человек, который считает, что у него два родных языка, занимается самообманом. Он может полагать, что в равной степени владеет обоими, но на самом деле он думает на одном и только этим одним владеет свободно и творчески».

И вот Швейцеру пришлось писать на втором языке. Они часто теперь разговаривали с Еленой и с коллегами о проблемах стиля. Высшим достижением немецкого стиля Швейцер считал лютеровский перевод библии и «По ту сторону добра и зла» Ницше. Вершиной французского стиля он считал «Общественный договор» Руссо. Впоследствии, рассказывая о своей баховской двуязычной эпопее и пытаясь охарактеризовать разницу между немецким и французским языками, Швейцер, конечно, не обошелся без метафор:

«Разницу между этими двумя языками можно, на мой взгляд, описать лучше всего, сказав, что во французском я словно прогуливаюсь по ухоженным дорожкам прекрасного парка, а в немецком брожу по великолепному лесу. В литературный немецкий язык все время вливается новая жизнь из диалектов, с которыми он был связан. Французский утратил свой освежающий контакт с почвой. Он уходит корнями в литературу, приобретая таким образом, и в хорошем и в плохом смысле слова, характер некой завершенности, в то время как немецкий носит в некотором смысле характер незавершенный. Совершенство французского языка состоит в способности выразить мысль самым ясным и сжатым образом: немецкий зато может представить ее во всем разнообразии аспектов».

Как человека пишущего и думающего, Швейцера не могли не волновать языковые проблемы, радость соприкосновения с которыми он ощутил еще в ту парижскую осень, работая над философией Канта. Продолжай его жизнь и за тридцатилетним перевалом течь по тому же руслу, как знать, может, он подарил бы нам еще научный труд по языкознанию или книгу о стиле Гёте.

Во всяком случае, работая над «Бахом», он с упорством овладевал стилем. Елена и друзья были рады прийти к нему на помощь. Коллега Гийо, читавший французскую словесность в университете, охотно делал ему замечания по стилю, особо подчеркивая, что во французской фразе ритм гораздо важнее, чем в немецкой. У Швейцера было хорошее ухо и смелое перо: он сумел овладеть ритмом. Впоследствии он отмечал, что, работая над французским «Бахом», он вырабатывал свой стиль, и в свои немецкие писания он перенес позднее это повышенное внимание к ритмике фразы, а также стремление к простоте и ясности выражения.

К осени 1904 года Швейцер почувствовал, что приближается к концу

книги, и написал об этом Видору, который, торопя друга, засыпал его в то время письмами из Венеции. Видор хотел написать предисловие к книге, и Швейцер сообщил учителю, что он может браться за эту работу.

Представляя читателю нового автора, Видор с большой теплотой писал о своем талантливом ученике. Сам артист, а не теоретик, Видор не преминул подчеркнуть важную, на его взгляд, черту новой книги:

«...Часто раздаются не вовсе уж безосновательные жалобы на то, что наши эстетики так редко сами бывают артистами-исполнителями и потому не могут увидеть предмет с точки зрения музыканта. Отсутствует общность ощущения у философа искусства, с одной стороны, и у творца, а также исполнителя – с другой. По этой причине труд практика, который сведущ в то же время в философской эстетике, всегда является событием в музыковедческой литературе. Прочитать „Баха“ Швейцера значит не только познакомиться с композитором и его творениями, но и проникнуть в дух музыки вообще, в существо искусства. Это книга с „перспективой“. Кто б мог подумать, что исследование великого мастера „эпохи парика с косичкой“ прольет свет на современные – и даже современнейшие – проблемы музыки, как это сделано у Швейцера в трех главах – „Поэтическая и живописная музыка“, „Слово и звук у Баха“, „Музыкальный язык Баха“, – которыми Швейцер предваряет дискуссию о кантатах и „Страстях“.

Это были счастливые для Швейцера месяцы, осенние месяцы 1904 года. Швейцер осилил, наконец, свою монографию; он написал то, что ему всю жизнь хотелось сказать о Бахе.

Он жил полной жизнью в эти годы. Учил семинаристов и читал лекции в университете: его любили студенты и коллеги, обожали друзья. В Париже они с Видором затевали создание Баховского общества: культ их возлюбленного Баха все больше захлестывал просвещенную Европу, и молодой Швейцер был на самом гребне этой волны. Он был свободен. Он по-прежнему щедро отдавал свои ночи книгам и литературному труду, а днем нередко вырывался в горы. А рядом почти всегда была Елена – девушка, которая понимала все, что понимал и чувствовал он. А порой чувствовала даже тоньше, чем он, и щедро делилась с ним и переживаниями и знанием. Это была его девушка, потому что, хотя его неизменное восхищение вызывали женщины из старинных аристократических родов, величественные аристократки с осанкой Козимы Вагнер или старой графини Эрлах, он знал, что, как Гёте, сходявший с ума от аристократок, женился на Христиане, он женится на Елене. Впрочем, в Елене доставало и аристократизма: не по рождению – по духу.

Он был счастлив в эти осенние месяцы 1904 года – счастлив в работе, в друзьях, в родных, окружен любовью, переполнен ощущением силы. И как всегда на вершине счастья, он еще яснее видел то самое «облако, закрывавшее небо»: все сильнее росло ощущение его человеческого долга перед другим человеком, перед страдающим человечеством.

В солнечное утро теплой эльзасской осени 1904 года он радостно вошел в свой рабочий кабинет в Коллегиуме Вильгельмитануме и обнаружил на столе зелененькую брошюрку – очередной выпуск журнала Парижского миссионерского общества. Еще с тех далеких времен, когда отец, переводя с французского письма миссионера Казалиса, читал их в церкви своим прихожанам, Альберта Швейцера волновали рассказы о деятельности людей, добровольно ушедших в дебри Черного континента. Одна из служащих коллежа, фрейлейн Шердлин, знала об этом пристрастии молодого доктора и неизменно клала ему на стол свежий номер журнала.

Он улыбнулся, увидев знакомую обложку, потом отодвинул журнал на край стола. Работа захватила его. Он дописывал последние страницы об исполнении баховских произведений, о том, что в них надо искать Баха, а не самого себя. О том, как с благоговением передать людям баховский дух, «нечто драгоценное не только для их художественного восприятия, но также для души...». У него был свой образ человека, соприкоснувшегося с Бахом, будь то музыкант, музыковед, эстетик или просто любитель музыки: «Только тот, кто погружается в мир чувства Баха, кто живет с ним и думает, тот вместе с ним стал простым и скромным...»

Он потер глаза, взглянул перед собой. Сорок шесть коричневых томиков, изданных старым Баховским обществом, стояли на полке. Еще не так давно он думал, что ему ни за что не осилить всего. Выручили бессонные ночи и крепкое здоровье.

Его взгляд упал на зелененькую тетрадку миссионерского общества. Он полистал ее и уже хотел отложить, взявшись снова за Баха. Но тут увидел заголовок, скучноватый и жалобный заголовок, какие часто бывают в подобных журналах: «Нужды миссии в Конго».

Автор статьи, президент Парижского общества, эльзасец по происхождению, перечисляя нужды миссии в северной провинции Конго, в Габоне, жаловался, что некому помочь, что миссионеры не справляются со своей работой.

По существу, статья эта была некрологом молодому швейцарцу-ремесленнику, миссионеру Генри Чапиусу, который жил на Огове, заразился там и вот теперь, двадцати восьми лет от роду, умер в Женеве.

Кто следующий?..

Кончал автор, как обычно кончают такие статьи или проповеди. Он выражал надежду, что кто-нибудь из тех, кто прочтет статью, отзовется на призыв, поможет в крайней нужде: «Маленькой армии, которая сражается на берегах Огове, нужны силы, нужна энергия... Может, этот призыв дойдет до сердец тех, кто прочтет эти слова...»

Швейцер отложил журнал. Что-то произошло в нем сейчас, как тогда весенним утром на троицу в отцовском доме, когда он принял решение и обрел вдруг душевный покой. Ему стало спокойно. Он снова пришел к решению. Он отдаст себя людям. Помощь нужна в Габоне – значит, он отдаст себя людям, которые в Габоне.

«Дочитав статью, я спокойно принялся за работу. Поиски были закончены».

Глава 7

Мы подошли к одному из самых существенных, если не самому существенному, моменту этой жизни, а следовательно, и нашего повествования.

Швейцер решил круто переменить все в своей жизни – сменить Европу, один из самых цивилизованных ее уголков, на дикие джунгли; сменить преподавание, концертную деятельность, проповеди, философию, литературную работу, реставрацию органов – на труд врача в джунглях. Переменить все настолько резко, что невольно напрашивается выражение «бросить все». Именно так он и думал: бросить все и уехать в джунгли.

Это похоже на бегство, и знакомые Альберта Швейцера, его друзья и родные, а также незнакомые люди, те, кто читал или слышал о нем позднее, – просто читатели, журналисты, исследователи его творчества, философы, богословы, эстетики, специалисты по этике, психоаналитики, – все эти люди не уставали ломать голову над тем, что же случилось с ним.

Швейцер вспоминает, что высказывались всяческие предположения, вплоть до подозрения о жестоком любовном разочаровании или неистовом стремлении к популярности.

Вероятно, это и правда не очень легко понять человеку, скованному традиционным «благоразумием» и «здравым смыслом». У Швейцера не было несчастной любви: любовь его была счастливой. Он был здоров, строен, красив и мог работать двадцать часов в сутки. У него была счастливая семья в Гюнсбахе, очень милая и умная девушка в Страсбурге и без счета любящих его друзей – в Страсбурге, Париже, Берлине, Кольмаре, Байрейте... В двадцать четыре года он был доктором философии, к тридцати – лицензиатом теологии, главой семинарии, видным органистом и видным музыковедом, известным специалистом в области органостроения, автором многих интересных книг по вопросам философии, богословия и музыки.

Он был достаточно знаменит в своей сфере – и в Эльзасе, и в Париже, и в Берлине, и за рубежом.

Все популярные объяснения отпадают, потому что он мог бы вслед за Толстым, также отметававшим подобные объяснения в своей «Исповеди», воскликнуть:

«...это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем... При этом я не только не был

телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую редко встречал в своих сверстниках...»

Причем у Швейцера речь даже не шла о кризисе и перемене мировоззрения, как у Толстого. Напротив, то, к чему он пришел, было развитием его взглядов. И все же импульсы тут были сходными и основание для некоторой аналогии у нас есть.

Швейцер читал в эти годы Толстого и думал о Толстом. У него не раз было побуждение написать Толстому, но если уж он, бывая дома у глубоко почитаемого им Харнака, так и не решился заговорить с Харнаком, то вряд ли он смог бы отважиться написать великому Толстому в далекую Россию. Похоже, что он даже обдумывал, что он сказал бы Толстому: духовные узы, их связывавшие, крепи с годами. Сперва их объединяло «стремление раскрыть понятие прекрасного в нас и во всем окружающем нас». Потом «простой и глубокий гуманизм», возврат к идеалам гуманизма и, наконец, интерес к проблемам раннего христианства: «Казалось, все побуждало меня установить отношения с этим почтенным старцем... я был слишком робок, чтобы решиться на это».

Швейцер написал эти слова, когда был уже сам «почтенным старцем», через полстолетия после смерти, Толстого.

В переломный для Швейцера год мысль о Толстом, без сомнения, не раз посещала его.

С принятием решения для Швейцера наступили нелегкие дни. Он вынужден был насиловать свою природную сдержанность, объясняя близким, друзьям и всем, кому вздумается, почему он решил поступить так, а не иначе. Он вынужден был для этого копаться в себе, подыскивая объяснения, и все равно никто не удовлетворился ими.

«Сколько я выстрадал оттого, что многие люди считали себя вправе распахивать настежь двери и ставни моей души!» – восклицает он. «Я чувствовал настоящую благодарность к тем, кто не залезал руками мне в сердце, а просто смотрел на меня, как на молодого выскочку, у которого не все дома, и соответственно относился ко мне с насмешливым добродушием».

Это началось в 1905 году и продолжалось в последующие годы, до самого его отъезда. Но и еще позднее, на протяжении полувека, все, кто хотел понять Швейцера, обращались именно к этим часам решения. При этом нередко приводили чисто религиозные мотивировки, встречаясь с которыми невольно вспоминаешь книгу Нормана Казинса о Швейцере. Казинс передает свой разговор со Швейцером в конце 1956 года:

«... он сказал, что ему не хотелось бы, чтобы кто-нибудь верил в то, что

он сделал это, потому что услышал глас божий или что-нибудь в этом роде. Решение, которое он принял, было совершенно рациональным и вытекало из всей его жизни.

Многие богословы говорили ему, что слышали свое слово прямо от бога. Он не спорил. Единственное, что он мог сказать им, – это что их слух был острее, чем его».

Конечно, первое, к чему следует обратиться, анализируя решение Швейцера, – это главные заповеди его этики, так сформулированные позднее в «Философии культуры»:

«В те мгновения, когда я должен был бы только испытывать безграничную радость, уважение к жизни будит во мне размышления о несчастьях, которые я вижу вокруг и о которых догадываюсь, и это не позволяет мне избавиться от беспокойства... Именно эту неудобную доктрину нашептала мне истинная этика. Ты счастлив, говорит она, поэтому ты должен отдать многое. Все, чем ты более других наделен, – здоровьем, природными дарами, работоспособностью, успехами, семейным благополучием – ты не должен принимать как должное. Ты должен платить за них. Ты в большей степени должен посвящать свою жизнь другой жизни».

Таким образом, как раз то, что, по мнению человека, одержимого «здравым смыслом», делало поступок Швейцера непонятным, являлось на самом деле единственным его объяснением: здоровье, счастье, успех и размышления о «праве на счастье».

Для Швейцера его действия являются результатом «неумолимой логики», они продиктованы «интеллектуальной потребностью».

Им движет могучее чувство сострадания, очень ярко обрисованное в «Воспоминаниях о детстве», где Швейцер говорит, что мы «должны чувствовать себя должными помочь утолению чужой боли. Все мы должны нести свою долю горя, выпавшего нашему миру».

Это сострадание рождает у него ощущение долга перед страдающим миром, перед людьми, перед самыми слабыми, самыми обездоленными. И в отношении африканцев это чувство было у Швейцера особенно острым.

Итак, высокое чувство этического долга, этическая воля, «гипертрофированная совесть» и глубокое сострадание. Это уже немало, до всего этого совершенно недостаточно для того, чтобы понять действия Швейцера (а равно и их успех). Потому что примеры даже самого глубокого сострадания встречаются в истории человечества гораздо чаще, чем такой пример служения, как эпопея Швейцера. Сострадание ведь зачастую ограничивается пассивным созерцанием и болью. Иногда оно

даже парализует волю. Один из исследователей называет сострадание Швейцера «теоретическим пессимизмом», который в сочетании со стремлением к самопожертвованию и желанием служить людям дает то, что этот философ называет «этическим оптимизмом».

Тут интересно сравнить двух философов – Швейцера и Шопенгауэра. Сострадание Шопенгауэра сводится к размышлению, и Швейцер пишет о нем: «Сострадание Шопенгауэра подобно состраданию брахманов и буддистов, потому что в основе своей это не более чем чисто теоретическое сострадание». Шопенгауэр говорит, что от того, кто проповедует святость, еще нельзя требовать святой жизни. И Швейцер очень остро комментирует это высказывание: «С этими словами философия Шопенгауэра совершает самоубийство». В отличие от Шопенгауэра Швейцер «живет своей философией». Много лет спустя он говорил американскому публицисту: «Вместо того чтобы пытаться в жестоких спорах добиться признания своих идей, я решил сделать свою жизнь своим аргументом. Я буду отстаивать то, во что верю, в терминах жизни, которой я живу, и тем, что я делаю. Вместо того чтобы провозглашать свою веру в существование бога внутри нас, я попытаюсь сделать так, чтобы сама моя жизнь и моя работа говорили то, во что я верю».

Итак, сострадание Швейцера активно. Он вообще за активное действие. В своем кумире Гёте он отмечает прежде всего, что это «одухотворенный человек, который в то же самое время является человеком действия».

Таким же человеком действия хотел стать Швейцер. Он принял решение стать врачом. Осуществить именно такую форму служения было для него трудной задачей: ведь до сих пор вся его деятельность протекала в сфере чисто гуманитарной; ему было уже тридцать, и надо было начинать все сначала – в совершенно новой сфере, в сфере естественных наук. Чтобы решиться на это, нужен был очень сильный импульс.

«Я хотел стать врачом, чтобы можно было работать, а не заниматься разговорами, – писал Швейцер позднее. – В течение многих лет я выражал себя в словах... Но, выбирая новую форму деятельности, я не мог даже представить себе, как я буду говорить о религии любви, а мог представить себе только, как я буду претворять ее в жизнь. Медицинские знания давали мне возможность наилучшим и самым полным образом осуществлять свое намерение, куда бы ни привело меня мое служение. Что же касается моего плана в отношении Экваториальной Африки, то приобретение таких знаний было просто подсказано мне, потому что район, в котором я собирался стать врачом, судя по миссионерским отчетам, больше всего на

свете нуждался именно во враче. Миссионеры постоянно жаловались, что туземцы, посещавшие их, испытывали физические страдания и не могли получить никакой помощи. Стать когда-нибудь врачом, в котором так нуждаются эти бедняки, имело большой смысл, и я почел за лучшее начать изучение медицины».

Он решил избрать медицинскую профессию, в которой, по мнению самих медиков и в полном соответствии с убеждениями Швейцера, «самое важное – это сострадание к пациенту», то есть помощь человеку, страдающему от боли, конкретное дело добра, помощь «от человека к человеку».

Узнав, что в Африке нужны врачи, Швейцер решил, что он станет врачом и поедет в Африку. И все-таки почему именно в Африку, ведь врачи нужны и здесь, в Европе? Это не так легко объяснить, хотя объяснений на этот счет приводилось немало. Сам Швейцер, смутно ощущая необходимость найти для себя истоки этого решения, говорит в своих «Воспоминаниях» о благородной голове страдающего негра с постамента Бартольди, о записках миссионера Казалиса. Он сам словно хочет разъять неясное, но неотвратимое взаимодействие мотивов, приведшее его именно в Африку. В то же время он сам с уважением относится ко всякой тайне и понимает, что этот момент решения, этот «звездный час» его жизни, как и всякой другой жизни, обусловлен множеством не очень ясных нам самим связей.

Многие биографы Швейцера пишут об «искуплении». Без сомнения, элемент искупления есть в действиях Швейцера, он и сам употреблял это слово: пожалуй, только не искупления в смысле религиозном (ибо он и как теолог не признавал искупления). «Какие блага ни дали бы мы жителям колоний, – пишет Швейцер, – это будут не благодеяния, а искупительная плата за те ужасные страдания, которые мы, белые, приносили им, начиная с того дня, когда первый наш корабль проложил дорогу к этим берегам».

Прогрессивный общественный деятель, ныне Председатель Народной палаты ГДР Геральд Геттинг, в своей книге «Встречи с Альбертом Швейцером» пишет: «Альберт Швейцер... направил свою деятельность на искупление того, что натворили в колониях буржуазия и христианские западные страны».

Синтез ранних воспоминаний, симпатий и антипатий, идей, устремлений и даже рациональных расчетов дал искомое решение – новую жизненную задачу, задачу фантастической трудности, требующую нечеловеческих усилий. Но как упрямый рационалист, как наследник рационалистического века, живущий в стране, потерявшей нить, он

твердит, что все очень здраво и рационально в его «здравой аванюре»:

«Как человек, требующий от идеалистов здравых взглядов, я сознавал, что каждый раз, выходя на нехоженую тропу, мы совершаем поступок рискованный, авантюру, которая может выглядеть разумной и может удалиться только в особых обстоятельствах. Я считал, что в моем случае предприятие должно удалиться, потому что я долгое время обдумывал его со всех точек зрения, я был наделен здоровьем, крепкими нервами, энергией, практическим здравым смыслом, упорством, благоразумием, у меня были скромные запросы и нужды и все прочее, чем должен обладать человек, идущий тропой, которую подсказала ему идея. К тому же я верил, что у меня найдется защитная броня моего темперамента, которая выдержит и в случае неудачи этого предприятия».

Это поистине удивительное сочетание, из которого он впоследствии создаст целую теорию, – сочетание необычайной дерзости и здравого расчета, восторженного идеализма и благоразумия, сочетание романтической приверженности тайне, веры в случай и трезвого раздумья, взвешивающего все «за» и «против».

Он говорит о здравом практическом смысле. Это не то же самое, что здравый смысл вообще, не тот здравый смысл, который Гегель считал собранием предрассудков своего времени.

Люди, ограниченные именно этим здравым смыслом, попросту заявили, что он спятил. Карл Бегнер из Гюнсбаха даже пустил такой слух среди однокашников. Карл Бегнер, так долго поглядывавший свысока на этого «вечного студента», а потом на этого профессора, который все учится да учится, так что неизвестно, сколько он будет учиться, когда люди уже обзавелись домом, и семьей, и детьми. Карл Бегнер, который недавно вдруг проникся к нему почтением, узнав, что он не только проповедник, но и герр приват-доцент, но и автор больших книжек (за них платят, о них говорят), но и глава семинарии, артист с хорошей репутацией (им тоже платят). И вот Карл узнает, что он не ошибался в этом сумасшедшем, который уже объявил, что бросает апартаменты главы семинарии и оклад в две с половиной тысячи марок, бросает все и будет теперь учиться на нищего врача из джунглей. Нет, напрасно Швейцер так настаивал на своем здравом смысле: с точки зрения настоящего «здравомыслящего», смысла в нем было не больше, чем в знаменитом испанском господине, который дрался с мельницами. Пусть он здоров, силен, образован и все прочее, но бросаться одному на мельницы мирового зла – это чистой воды донкихотство.

А он хотел бросаться на них в одиночку. Более того, он настаивал на этом. Он уже пробовал через организации, у него не вышло, и он не очень

верил в контакт с живым человеком через заслон посредников. Он хотел отдать себя всего без остатка людям, становясь сам в зависимость только от долга перед людьми, долга в своем понимании:

«Я хотел абсолютно личной и независимой деятельности. Хотя я и решил предложить свои услуги в распоряжение какой-нибудь организации, если это окажется по-настоящему необходимым, я тем не менее никогда не оставлял надежды найти сферу деятельности, в которой я бы мог посвятить себя людям как личность, и притом совершенно независимая».

Он не раз благодарил судьбу за то, что ему в конце концов удалось осуществить это свое желание, и не раз развивал в своих книгах или в беседе эту мысль. Так, он сказал одной из посетительниц Ламбарене:

«Все великое в Африке или в любом другом месте – это всегда труд одного человека. Действия коллектива могут иметь значение лишь как соучастие». Беседуя с другим гостем, он высказал еще большую веру в индивидуальное действие и этическую волю: «Мы содрогаемся, видя последствия духа времени, но, если бы в Европе нашлось хотя бы сто тысяч человек, рассеянных во всех сферах жизни – от принцев крови до подметальщиков улиц, – которые отважились бы проявить естественность в том смысле, в каком ее проявил Иисус, тогда за несколько лет произошло бы повсеместно изменение общественного мнения».

Это, по существу, призыв к массовому донкихотству, к тому, что, по сути своей, (и это в первую очередь отмечают советские исследователи Швейцера), возможно только в качестве индивидуального и единичного действия. Ведь именно по этой причине и остается Швейцер таким утесом над тихой заводью современной этики Запада.

Так что, читая о «здравом расчете» такого человека, как Швейцер, не следует воспринимать этот «расчет» вне швейцеровской благородной философии активного сострадания (так же как, читая о «разумном человеке» в публицистике Толстого, надо помнить, что речь идет еще и о благороднейшем человеке с «гипертрофированной совестью»).

То же можно сказать и о «благоразумии» Швейцера: это не то благоразумие, которое диктует нам наилучшие условия для процветания в обществе и восхождения по ступеням его лестницы, – короче говоря, не благоразумие в ординарном, обычном смысле слова. Это «благоразумие» скорее сродни благоразумию Дон-Кихота, разгоняющего стражу на дороге.

Швейцер сказал однажды, что «только когда все мы становимся менее разумными в обычном, ординарном смысле, только тогда этическое чувство начинает действовать в нас и позволяет находить решение проблемам,

которые до того казались неразрешимыми».

В удивительном решении Швейцера уехать в Африку есть еще весьма любопытные и довольно существенные нюансы, которые не ускользнули от друзей Швейцера и от некоторых внимательных его исследователей.

Один из биографов обращает наше внимание на тот факт, что из сердца цивилизации, с полей, дышащих историей, сам связанный тысячами нитей с этим средневропейским уголком земли, Швейцер попадает вдруг, точно по волшебству, в мир, который гораздо больше соответствует стремлению его души к первоначальному, к основному, к фундаментальному в мышления, больше соответствует независимости его мысли. Для него, который так ценит величественное и простое, этот мир очень близок, почти родствен. Биограф считает выбор Швейцера не эксцентрическим, а в высшей степени символичным:

«Воистину символичным является то, что Швейцер не остался в Европе, где достаточно неутоленных страданий, а предпочел избрать африканские джунгли. Отсутствие исторического фона, первобытность Африки больше соответствовали его новой интеллектуальной фазе, чем сверхисторический фон сверхрафинированной европейской атмосферы».

Таково же мнение другого биографа, который писал, что Швейцер хотел уйти от этой угасающей, рафинированной старческой атмосферы в ее полную противоположность – в джунгли.

Друг Швейцера Альберт Эйнштейн отмечал уже в середине нашего века, что «больница в Ламбарене – это в значительной степени результат бегства от наших нравственно окаменевших и бездушных традиций цивилизации – зла, против которого одиночка бессилён».

И тут опять-таки при всей обоснованности такого умозаключения, при том, что Швейцер острее других ощущал симптомы упадка европейской цивилизации, не следует принимать его слишком прямо, как указание на то, что Швейцеру было не по себе в цивилизованной (хотя цивилизация ее и была на ущербе) Европе. Напротив, он с болью оставлял все: и старинные органы эльзасских и парижских соборов, и кафедру Страсбургского университета, и молодых питомцев семинарии, и приход, где некогда служил еще дядя Альберт, и парижских друзей, и свой студенческий кабинет в Коллегиуме Вильгельмитануме. Он и через четверть века обходил стороной лекционный корпус Страсбургского университета потому, что он слишком мучительно напоминал ему то, о чем он так тосковал когда-то. Пристрастия его, пронесенные им через всю жизнь, были слишком сильны, чтобы он мог не тосковать по оставленному. И все-таки он никогда не говорил о жертве. Напротив, он говорил, что на его

долю выпала великая привилегия: осуществлять наилучшим образом служение людям. Потому что для человека этического найти такое служение – это не только огромная привилегия, это утешение и, наконец, счастье. Швейцер много раз говорил об этом и всегда именно в таких выражениях:

«Те, кому посчастливилось вступить на путь свободной индивидуальной деятельности, должны со смирением принять эту удачу. Они должны почаще думать о тех, кто при всем своем желании и способностях никогда не сможет сделать того же... Люди эти почти всегда обречены искать и ждать, пока не откроется путь для деятельности, которой они жаждут. Счастливы те, кому годы труда отпущены в большей мере, чем годы ожидания и поисков! Счастливы те, кто в конечном итоге сможет отдать себя по-настоящему и без остатка».

Можно вспомнить, как метался в поисках выхода Толстой, и представить себе, насколько трудней было бы осуществить перемену такого рода немолодому, обремененному семьей и привычками писателю, накрепко привязанному к Ясной Поляне. Можно вспомнить, наконец, трагическое бегство Толстого в конце жизни. Можно вспомнить имена десятков «героев отречения», которым не удалось их служение, которым помешали обстоятельства или здоровье (как было позднее с Еленой Бреслау). У Альберта Швейцера действительно были основания считать себя избранником судьбы и даже любимцем фортуны, хотя опять-таки удачу здесь следует измерять не с точки зрения «здравомыслящего», а совсем в другой системе ценностей.

Конечно, от человека, вставшего на этот путь, требуется самоотречение. Но зато он вступает в активный контакт с миром, ощущает теперь свое единство с ним, зато он ощущает как свои собственные различные проявления жизни, может способствовать этой жизни и получает величайшее счастье, какое только может выпасть на долю человека. «Жизнь, таким образом, станет для него во всех отношениях более трудной, чем когда он жил для себя, но в то же время она станет богаче, прекраснее и счастливее».

Самоотречение, однако, все-таки остается. И потому Швейцер говорит, что человек, который пускается в такого рода рискованное мероприятие, связанное с высокими идеалами, в «духовную авантюру», должен помнить, что от него потребуются выполнение долга, самопожертвование и самоотречение. Именно как сторонник активного этического действия Швейцер заявляет, что «нет героев действия, есть герои самоотречения».

А в год решения, 1905-й, все складывалось так, что искусу отказаться от

самоотречения должен был быть особенно велик. Это была и впрямь вершина деятельности Швейцера, вершина всех его тогдашних успехов.

Парижское издательство «Косталла» (совместно с Лейпцигским издательством «Брейткопф и Хэртель») выпустило его французского «Баха». Он писал эту книгу для французской публики, довольно слабо знакомой и с жизнью и с творчеством великого лейпцигского кантора. И книга очень тепло была встречена во Франции. О книге писали. Ее хвалил Ромен Роллан. Однако больше всего поразило Швейцера признание, которое снискала книга на родине Баха. Швейцер получил письмо из Лейпцига от дирижера Феликса Моттля, которым он давно восхищался. Знаменитый дирижер писал, что друзья в Мюнхене дали ему перед отъездом почитать книжку, и он не отрываясь читал ее всю дорогу, а потом еще в отеле, в Лейпциге. Прислал хорошее письмо берлинский дирижер Зигфрид Окс, тоже знаменитый исполнитель Баха. Румынская королева Кармен Сильва писала Швейцеру, что он сделал ее возлюбленного Баха еще дороже для нее, звала в гости, просила приехать на каникулы, поиграть ей Баха. И наконец, вышел номер журнала «Кунстварт», в котором сам знаменитый фон Люпке ставил вопрос о переводе книжки на немецкий язык. Осенью того же года Лейпцигское издательство «Брейткопф и Хэртель» (то самое, в которое Бетховен передал одно из своих произведений для печатания в пользу Сусанны Регины, последней оставшейся в живых дочери Баха) заключило со Швейцером договор на немецкое издание «Баха». Издатели имели в виду перевод его французской книжки на родной язык автора, на немецкий.

Выход французского «Баха» дал Альберту возможность выполнить долг благодарности: он посвятил книгу своей тетушке Матильде Швейцер, жене дяди Огюста, которая двенадцать лет тому назад впервые повела его к Видору.

Закончив книгу о Бахе, Швейцер с большим рвением берется за окончание книги о поисках «исторического Иисуса», которую намеревалось издать все то же издательство Мора в Тюбингене. Кроме того, Швейцер пишет книжечку об устройстве органов, и об игре на органе, логическое продолжение его работы о Бахе. Он, конечно, продолжает при этом читать курс в университете, занимается со своими питомцами в семинарии св. Фомы, читает проповеди в старой доброй церкви св. Николая, руководит баховским хором в церкви св. Вильгельма и все чаще выступает с органными концертами.

В этот заполненный работой счастливый 1905 год в нем независимо от внешних обстоятельств продолжалась огромная внутренняя работа: он

готовил себя к новому этапу жизни, переход к которому требовал от него чрезвычайного напряжения, самоотречения и решительных действий. В автобиографии Швейцера мы находим лишь намек на это состояние. Ада, дочь его доброй знакомой графини фон Эрлах (по своему обычаю он посвящает и этой величественной пожилой аристократке много прочувствованных строк), перенесла тяжелую и мучительную операцию, давшую ей временное облегчение в ходе неизлечимой болезни. Врач считал, что возвращение к занятиям живописью может даже принести выздоровление этой способной художнице. В своей обширной официальной резиденции в Коллегиуме Вильгельмитануме Швейцер выделил Аде комнату с прекрасным видом на север под студию. К тому же по просьбе старой графини, он позировал Аде, выкраивая для этого часы в своем перенасыщенном расписании. О чем думал он, сидя перед художницей?

«Она закончила портрет в день моего тридцатилетия, не подозревая даже, что творилось в моем мозгу во время этого последнего сеанса».

День своего тридцатилетия Швейцер провел, как тот человек из притчи, который, «задумав построить башню, сперва подсчитывает, хватит ли у него средств». Нелегко было подсчитать все, что понадобится для его аллегорической башни.

Он еще никому не сказал тогда о своем решении, «кроме одного надежного друга». Он не говорит о том, кто был этот надежный друг, но скорей всего это была Елена. Она понимала его побуждения, а ею самой идея служения владела уже давно. С первого дня 1904 года она стала ходить на курсы медицинских сестер. Можно предположить, что ее девичьим надеждам новое его решение наносило нелегкий удар. Потому что если она (или они оба) думала о браке, то теперь это должно было оттянуться на неопределенно долгий срок. Впрочем, она была тоже из одержимых. И тоже умела ждать. В дальнейшем большая часть ее жизни была омрачена ожиданием.

Осенью он окунулся в водоворот парижской жизни. Он приехал туда уже знаменитым органистом и автором знаменитой книги о Бахе.

В эту осень он вместе с коллегами – Бретом, Видором, Форе, Дюка и Д'Энди основал Баховское общество. Швейцеру на концертах общества неизменно доставалась роль органиста. Тогда же его представили Ромену Роллану. Они познакомились как музыканты. Роллан еще не написал тогда своего «Жана Кристофа», а Швейцер еще не сообщил друзьям о перемене в своей жизни. Они начали разговор с музыки: у них было много общих пристрастий. Потом перешли к политическим и философским вопросам и

тут обнаружили еще более широкое сходство.

Роллан мечтал о сближении немецкого и французского народов, о духовных контактах представителей двух древних культур. Он, как и Швейцер, немало сделал для этого. Ему близки были «светозарные гении мира», которые, как Толстой и Уитмен, «воспевают всеобщее братство в радости и в страдании». Может быть, Швейцер и Роллан говорили также об индийской философии – о ее огромном уважении к живому миру, о ее нежелании причинять зло, нежелании притеснять и, главное, принижать жизнь. Позднее Роллан написал о Рамакришне и Вивекананде, а Швейцер, обратившись к этим работам, назвал их глубокими и вдохновляющими. Они могли при встрече говорить о воззрениях Толстого, о его произведениях, которые были широко известны в Европе уже в восьмидесятые годы. Прочитав толстовское «Так что же нам делать?», юный Роллан написал письмо русскому писателю. Это было еще весной 1887 года. Позднее Роллан писал о Толстом: «Я никогда не забуду.. его душераздирающего „Что же нам делать?“». Он только что открыл все страдания мира и больше не мог их выносить; он порывал со спокойствием своей семейной жизни и с гордостью, которую давало ему искусство. Но я – мне было только семнадцать-восемнадцать лет, – я поклялся посвятить все мое искусство, все мои силы служению человечеству». Швейцера Толстой побудил к этическим исследованиям, и в своей философской книге Швейцер назвал его «великим вдохновителем». Сам Швейцер не решился завязать переписку с Толстым и впоследствии писал: «Мой друг Ромен Роллан сделал это и не мог нарадоваться такому знакомству».

Разговор с Ролланом укрепил Швейцера в его намерении: ведь Швейцер тоже порывал сейчас со счастьем труда по призванию, «с гордостью, которую давало ему искусство».

Они наверняка говорили и об окружавшем их мире. Оба отмечали симптомы духовного упадка. Мир катился в пропасть одичания и войны. Роллан видел, что «пожар, тлевший влосу Европы, начинал разгораться», но верил еще в возможность предотвратить войну силами общественных организаций, массовых движений. Швейцер не верил тогда в организации вообще.

Его скептицизм нашел для него подтверждение той же осенью, в Париже. Он начал переговоры с Парижским миссионерским обществом, к которому в семье Швейцеров издавна питали симпатию. Пастору Луи Швейцеру нравилось, что письма Казалиса и других миссионеров были написаны просто, душевно, искренне. Гюнсбахский пастор полагал даже, что в Парижском обществе должен, по его наблюдениям, царить

либеральный дух. Альберт Швейцер не питал иллюзий на этот счет. Хотя общество неоднократно заявляло, что африканцам нужна помощь, вряд ли оно так легко решилось бы допустить, чтобы паства услышала из уст проповедника что-либо хоть на йоту отклоняющееся от догмы.

Швейцер встретился с самим президентом общества, тем самым, кто написал статью, звавшую подвижников в Габон. Добрейший президент был растроган, что вот кто-то откликнулся. Правда, он уже был наслышан о каких-то странных воззрениях молодого теолога, но Швейцер заверил его, что он будет «только врачом», и никем больше. У президента гора свалилась с плеч. Он сказал, что доложит о его просьбе членам комитета и сообщит Швейцеру о результатах. Результаты превзошли даже то, чего опасался президент: многие из членов комитета возражали против услуг врача, добровольно едущего в джунгли, на том основании, что этот врач, хотя и «правильно понимал христианскую любовь», не имел «правильного понимания христианской веры». Доктор Швейцер со смирением, защищенным броней иронии, выразил надежду, что за долгие годы его ученья члены комитета приобретут «правильное христианское здравомыслие». Однако он был задет за живое. Он мог обратиться в более либеральную швейцарскую миссию. Но он хотел настоять на своем. Он хотел увидеть, с каким лицом эти святоши откажут ему наотрез, нарушив заповеди евангелия и оставив без помощи страдающих африканцев только из-за того, что врач оказался недостаточно ортодоксальным христианином. Ему предстояло сейчас много лет трудной учебы, и он не хотел больше воевать с миссией. Он надеялся, что совет образумится за эти годы, но надо сказать, что даже он, столько думавший и писавший об идиотизме сверхорганизованного Запада и его перецентрализованных организаций, недооценил организационный идиотизм.

В пятницу 13 октября 1905 года Альберт Швейцер подошел к почтовому ящику на парижском проспекте Великой армии. Он не верил в несчастливые дни и несчастливые числа: он был борцом против суеверий. Он не верил в величие враждующих армий, которые в это время активно готовились покрыть себя славой и вшами на полях мировой войны. Молодой доктор философии верил в человеческую доброту, в мораль этической личности, в личное действие и самоотречение. Он хотел отдать себя человечеству и помочь ему в страданиях: посредством конкретного добра, реальной помощи – от человека к человеку.

Он опустил в почтовый ящик несколько писем. Одно из них было адресовано в совет теологической семинарии св. Фомы: он просил принять его отставку, потому что у него не останется больше времени на

руководство студентами семинарии в связи с тем, что он сам начинает занятия в новом семестре. Друзей он известил, что поступает учиться на медицинский факультет университета, чтобы потом уехать в джунгли Экваториальной Африки.

В последующие месяцы его ждало испытание. Он не встретил ни поддержки, ни сочувствия среди близких людей, которым он писал. Мнений было множество, и все не в пользу его решения. Для его застенчивости, для его природной сдержанности это все было тяжким испытанием. Больше всего поразило его поведение друзей-теологов и тех, кого он считал убежденными христианами. Они попрекали его тем, что он не обратился к ним за советом, как будто не у своей совести он должен был прежде всего искать поддержки для такого решения. Они докапывались до причин его поступка, а когда он отговаривался, что это в общем-то никак не противоречит христианской заповеди любви, они обвиняли его в гордыне.

Швейцер писал в письме фон Люпке, прося понять его правильно: «Мы сидим здесь и изучаем теологию, а потом состязаемся в конкурсах на лучшие духовные должности, пишем толстые ученые книжки, чтобы стать профессорами теологии... Так что же, я должен посвятить свою жизнь новым критическим открытиям, чтобы стать знаменитым теологом и готовить новых пасторов, которые будут сидеть дома, а я не буду при этом иметь никакого права побудить их к активной работе? Я так не могу».

Друзья и родные говорили ему, что он поступает, как человек, зарывающий в землю таланты и решающий пустить вместо этого в оборот фальшивые деньги. Пусть те, у кого нет стольких талантов в сфере наук и искусств, едут к африканцам. Видор, любивший его, как сына, в своих увещеваниях даже сравнил его с полководцем, который, схватив винтовку, выбегает на поле боя («об окопах в то время еще не говорили», – иронически замечает Швейцер). Как всегда, в таких случаях ссылались на современную обстановку, на «наше время», на прогресс, говорили, что все эти подвижничества устарели и вообще все это наивно. Одна прогрессивная дама доказывала ему, что он больше поможет медицинскому обслуживанию африканцев, если будет выступать с лекциями в их защиту, чем если поедет лечить их сам. Он, как обычно, сослался на своего Гёте: «Вначале было Дело». Тогда она сказала, что Гёте со своим Делом давно устарел. «Сегодня пропаганда – мать всех деяний», – сказала эта дама. Всем этим людям непонятно было то, что так очевидно было в ту пору для Швейцера и о чем с такой страстью за два десятилетия до того писал Толстой. Нельзя думать, что из-за того, что ты философ и написал вдохновенный труд, из-за того, что ты музыкант и посвятил свою лиру тому

или другому, из-за того, что ты самый добросовестный чиновник, самый умный политик, – что из-за всего этого ты можешь считать себя вправе, ссылаясь на разделение труда или на Гегеля, выключить себя из жестокой борьбы за жизнь, которую ведут люди на земле. Нет и тысячу раз нет! Ведь «для того чтобы защищать и поучать людей и делать их жизнь более приятной, надо сохранять самую жизнь, а между тем мое неучастие в борьбе, поглощение чужих трудов есть уничтожение чужих жизней. И потому безумно служить жизни людей, уничтожая жизни людей, и нельзя говорить, что я служу людям, когда я своей жизнью очевидно врежу им».

Это было очевидно и для Швейцера. Его, как и Толстого, «никто не приставлял» к делу облегчения участи страдающих африканцев. И потому ему так понятны и дороги были рассуждения русского писателя:

«Главное же то, что меня никто не приставлял к делу прокормления сорока миллионов живущего в таких-то пределах народа, и я, очевидно, не могу достигнуть внешней цели прокормления и избавления от несчастий таких-то людей, а приставлен я к своей душе и к тому, чтобы свою жизнь провести как можно ближе к тому, что мне указывает моя совесть».

Впрочем, Швейцер был, наверно, в большей степени позитивистом и верил, что «внешняя цель» тоже достижима при реализации духовного идеала.

Глава 8

С начала зимнего семестра он сел на студенческую скамью.

Конечно, это был не очень обычный студент. Он не был новичком в университете: его знали и любили здесь. Когда он явился к декану медицинского факультета профессору Фехлингу и попросил зачислить его в группу первого курса, чувствовалось, отмечает Швейцер, что профессор с большим удовлетворением проводил бы его в психиатрическую клинику факультета. Но, в конце концов, этот приват-доцент с теологического, этот доктор философии имел право распоряжаться собой как хочет. И туманным утром в конце октября, после напряженной ночной работы над книгой, тридцатилетний студент побрел на свою первую лекцию.

До самой весны 1908 года значительная часть его времени еще уходила на завершение книги о поисках «исторического Иисуса». Только весной он сдал дела в семинарии, но это пока было единственное, от чего он отказался. Он не хотел отказываться от подготовки немецкого издания «Баха», не мог оставить неиспользованными новые материалы для научной книги или недописанную работу об органах. Гюстав Брет настаивал на том, чтобы он участвовал во всех концертах Баховского общества в Париже, и поэтому он всю зиму ездил в Париж. Спать ему теперь приходилось совсем мало, еще меньше, чем всегда.

Весной он должен был оставить свою официальную резиденцию в Коллегиуме Вильгельмитануме. Ему не жаль было обширной резиденции, но снова жаль было старого дома на набережной св. Фомы, студенческой комнатухи с окнами, выходящими во двор. Впрочем, все устроилось наилучшим образом. Фредерик Куртиус, глава лютеранских церквей Эльзаса, тоже располагал обширной резиденцией в этом доме, принадлежащем причту св. Фомы, и он предоставил в распоряжение Швейцера четыре комнатки в мансарде, под потолком со стропилами. В дождливый вторник, на масленицу, студенты перенесли пожитки своего бывшего принципала из одного подъезда в другой.

Семья Куртиус стала теперь для Швейцера вторым домом. Он часто играл Баха старой графине, о которой всегда вспоминал с благодарностью, утверждая, что она помогла ему «сгладить многие углы» его характера. Старая графиня уже лишена была возможности выйти из дому, так что играть для нее было делом милосердия. Она платила ему своей дружбой, уроками житейской мудрости и рассказами о старине.

Впрочем, он нередко играл также молодежи и детям в семье Куртиус, играл Баха, Бетховена, Шуберта. Он импровизировал колыбельные для Иоланты – куклы маленькой Герды. Импровизации удавались ему блестяще; к сожалению, он никогда их не записывал.

Весной он с жаром отдался учебе. Впервые после окончания гимназии он взялся за естественные науки. Это был интересный, но довольно резкий и нелегкий переход. Ему часто вспоминалось, что его кумир, Гёте, к образу которого он прибегал так часто в трудную минуту, «тоже оставил интеллектуальные занятия и обратился к естественным наукам». Швейцера «приводил в необычайное волнение тот факт, что в ту самую пору, когда Гёте придавал завершающую форму столь многим бродившим в нем идеям, он вдруг занялся естественными науками». Продолжая в этой связи свои размышления о Гёте, Швейцер пишет, что «для всякого вида мышления полезно в какой-то момент, когда оно больше не в силах иметь дело с воображаемым, найти свой путь к реальному».

В так называемый доклинический факультетский курс входили анатомия, физиология, химия, физика, зоология, ботаника. В дальнейшем Швейцеру предстояло еще изучать хирургию, гинекологию, психиатрию, бактериологию, патологическую анатомию, фармакологию.

Подход ко всем этим наукам был у него, конечно, не студенческий. Дело было не только в том, что он накапливал медицинские знания: для него это было переживание духовного порядка, нравственный эксперимент. В гуманитарных науках, которыми он до сих пор занимался, «не было истин, которые бы подтверждались как самоочевидные», а лишь «мнения, которые получали признание как истины». «Поиски истины в области истории и философии протекают в бесконечных поединках между чувством реальности одного и богатой силой воображения другого, – писал Швейцер в автобиографии. – Аргументация от факта никогда не может здесь добиться решительной победы над искусно построенным суждением. Как часто то, что считается прогрессом, представляет собой всего-навсего искусно построенное суждение, надолго выводящее из игры всякое реальное открытие!»

«Наблюдать без конца эту драму и входить по различным поводам в соприкосновение с людьми, утратившими всякое ощущение реальности, казалось мне довольно угнетающим. Теперь я вдруг очутился в другом мире. Я имел дело с истинами, которые воплощали реальность, и оказался среди людей, которые считали естественным, что надо подтверждать фактами всякое сделанное ими заявление. Я ощущал потребность в таком опыте для своего интеллектуального развития».

Он был доволен, что он «наконец в состоянии приобрести необходимые знания для того, чтобы почувствовать твердую почву реальности под ногами своей философии!».

Вопреки ожиданиям соприкосновение с миром фактов и подтвержденных ими истин не привело идеалиста Швейцера к недооценке гуманитарных наук. Напротив, он «еще яснее, чем когда-либо», начинает понимать, «до какой степени оправданна и необходима истина мысли, существующая наряду с истиной, установленной при помощи факта». Знание, достигнутое в результате творческого акта сознания, несмотря на всю его субъективность (а может, и благодаря его субъективности), Швейцер продолжает считать явлением более высокого порядка:

«Знание, которое проистекает из регистрации единичного проявления бытия, остается неполным и неудовлетворительным, поскольку оно не способно дать нам окончательный ответ на великий вопрос о том, чем мы являемся во вселенной и для какой цели существуем... Природу живого бытия вне меня я могу понять только через живое бытие, которое во мне. Именно к этому мысленному познанию универсального бытия и отношения к нему отдельного человеческого бытия стремятся гуманитарные науки. Результаты, которых им удастся достичь, соответствуют истине в той степени, в какой дух, проявляющийся в этом направлении творческую активность, обладает чувством реальности и успел перейти от стадии накопления фактов, касающихся бытия, к рассуждению о природе бытия».

Таковы были размышления, которые пробудило в нем занятие химией, физикой, ботаникой, зоологией и психологией. Когда же подошли первые экзамены, выяснилось, что он слишком много занимался «чистой наукой», пренебрегая экзаменационной программой. И лишь за несколько недель до экзамена по анатомии, психологии и естественным наукам (так называемый экзамен «физикум») друзья-студенты убедили его вступить в их «паук-фербанд» – клуб зубрил, где готовили ответы на излюбленные вопросы профессоров, собранные для зубрил-потомков заботливыми поколениями студентов-медиков. Ответы были записаны, конечно, те самые, которые ожидали услышать профессора. Экзамен он сдал лучше, чем ожидал, но в эти дни он пережил самый жестокий за всю свою жизнь «кризис переутомления». Это не покажется удивительным, если учесть, что он не отказался почти ни от каких своих прежних занятий, а учеба на медицинском факультете всегда считалась трудной. К тому же, как отмечает он сам в автобиографии, память у человека, которому за тридцать, уже не та, что в двадцать один.

В эти трудные годы учебы он спешил закончить эссе об органах. И он все чаще ездил в Париж на концерты. Луи Мийе, блистательный дирижер барселонской «Орфео Катала», пригласил его исполнять органную партию в баховских концертах. Так Швейцер впервые попал в Испанию. В его памяти осталась встреча с каталонским архитектором Гауди, строившим церковь Святого Семейства. Этот одухотворенный творец напомнил ему средневековых зодчих, воплощавших в камне свою глубокую веру, – некое современное подобие его возлюбленного Баха.

Концертов становилось все больше, и Швейцер не хотел, да и не мог от них отказываться: жалованья в семинарии он больше не получал. Были и другие резоны, не менее веские: он был убежден тогда, что это его последние годы гуманитарной деятельности в Европе.

Взявшись за немецкого «Баха», Швейцер вскоре убедился, что просто переводить книгу на немецкий невозможно. Приходилось все время обращаться к оригинальным, не французским, а немецким текстам. При работе над оригиналами появились новые идеи и новые наблюдения. В конце концов, со времени написания французского «Баха» прошло уже два года напряженной исполнительской деятельности. Произошли большие перемены и в его собственном сознании. Вскоре Швейцеру стало ясно, что рождается совершенно новая книга, более полная и интересная, чем французский «Бах». Он переживал годы смертельной усталости, а книга заявляла притязания на его время: это была большая угроза, но он уже не хотел и не мог остановиться. Книга владела им. Он снова писал о Бахе, и это был его новый Бах, на новом этапе знаний и размышлений.

Летом 1906 года, начиная писать немецкий вариант «Баха», он испытал столь естественные, но еще малознакомые ему «муки начала»: истинные муки, нравственные и физические, когда страсть и надежда попеременно поднимаются в душе творца. Он кладет свой первый камень в фундамент стройки и тут же покрывается холодным потом при мысли, что из-за этого камня рухнет все столь дорогое ему сооружение. Ему страшно, что именно этот камень, которого на самом деле потом никто и не увидит, сделает его сооружение уродливым, стиль его – фальшивым, идею – искаженной.

На помощь Швейцеру пришел другой его кумир – Вагнер. В отчаянном, смятенном настроении Швейцер приехал в Байрейт на постановку «Тристана». И вот как-то вечером, вернувшись в счастливом возбуждении с Фестивального холма в гостиничку «Черная лошадь», он поднялся к себе наверх и сел за стол. В тесную комнатку доносился шум голосов из пивного зала, вагнеровская музыка, поднимаясь в нем то

ласковым приливом, то бурей безумия, заставляла его обмирать от восторга, пробуждала стремление выразить то, что будила в нем эта музыка, выразить частицу своего существа. Он взялся за перо и почувствовал, что книга пошла.

Он трудился два года с большими перерывами, отвлекаясь для медицинской учебы, для лекций и концертных турне. Книга росла, и когда «Брейткопф и Хэртель» наконец выпустили в свет нового «Баха», в нем было уже не 455 страниц, как во французском, а 844!

Долгожданная книга досталась ему ценой страшного переутомления. Когда она вышла, наконец, в свет, Швейцер писал фон Люпке: «Я так ждал радости, которую принесет мне выпуск этой книги; теперь я слишком утомлен...»

В 1906 году у Мора в Тюбингене вышла книга Швейцера о поисках «исторического Иисуса» – «От Реймаруса до Вреде...». Все предотъездные годы Швейцер работал над подготовкой этой книги ко второму изданию.

При всем этом он с большой серьезностью относился к своим медицинским занятиям. Он знал, что, когда он очутится в джунглях, рядом с ним не будет ни Маделюнга, который помог бы ему в хирургических операциях, ни Фехлинга, который дал бы добрый совет при трудных родах, ни Розенфельда, который помог бы диагностировать душевнобольного, ни Леви с его лабораторией бактериологических исследований, ни Арнольда Кана, который посоветовал бы наилучшее для данного случая лекарство.

Курс фармакологии и практические занятия Арнольда Кана Швейцер посещал с особым усердием: он словно видел перед собой вереницу темнокожих пациентов, их глаза, говорящие о страдании, – и тысячи названий лекарств, из которых он под свою ответственность должен выбрать одно, лучшее. Впрочем, научной стороной вопроса и лекциями старенького Шмидеберга он интересовался не меньше, чем практической фармакологией.

Весной 1908 года у Швейцера был практический экзамен по гинекологии. Приват-доцент с теологического факультета принимал роды. Схватки продолжались всю ночь, а к утру положение осложнилось некоторыми привходящими обстоятельствами. В одиннадцать часов утра Швейцер должен был венчать в церкви святого Николая свою старинную подругу и подружку Елены, дочь профессора Кнаппа, Элли Кнапп и ее жениха, молодого политика Теодора Хейса. Жених, невеста и сопровождавшие их друзья уже были на месте и начинали изрядно нервничать, когда у церкви появился, наконец, экипаж с молодым пастором в белом врачебном халате. Швейцер второпях сменил белый халат на

облачение священнослужителя, и церемония началась. Через много-много лет невеста (тогда уже супруга президента) вспоминала врезавшиеся ей в память слова проповеди:

«Высшее вдохновение этого момента не в том, что двое поклялись в своем сердце жить друг для друга, а в том, что они приняли решение в сердце своем жить вместе для служения какому-то делу... Только те поймут великие задачи нашего времени, кто поймет, что всякое служение, всякая попытка улучшить человечество и добиться прогресса должны вести к созданию нового духа».

В 1908 году вышло, наконец, из печати расширенное немецкое издание «Баха», которому суждена была долгая жизнь и перевод на многие языки мира, в том числе и на русский. Выход этой книги сильно облегчил материальное положение Швейцера, укрепил его надежды на выполнение нелегкой задачи, которую он перед собой поставил.

В 1909 году Елена проводила свои каникулы в России. После каникул она собиралась уезжать на курсы медицинских сестер во Франкфурт. В это самое время в университетской клинике стажировалась медицинская сестра фрау Морель, жена священника Мореля из Ламбарене. Швейцер очень хотел, чтобы Елена услышала обо всех трудностях работы в районе реки Огове, и зазвал фрау Морель в гости. Фрау Морель пришлось ответить на такое количество вопросов, что она упала в обморок. Когда она очнулась, Швейцер, решивший, что они услышали достаточно много для того, чтобы испугаться, объявил об их с Еленой помолвке. По существу, это было подтверждением того, что решимость их не поколеблена. Елена уехала учиться во Франкфурт, а Швейцер снова засел за медицину.

Пока прилежный студент медицинского факультета корпел в анатомичке, штудировал скелет человека, заучивал названия и назначение лекарств, в Европе ширилась его популярность музыканта, музыковеда-эстетика, философа и теолога. В 1909 году музыканты-органисты, собравшиеся в Вене на конгресс Международного музыкального общества, увидели его в своем кругу, как одного из величайших в мире авторитетов в области органостроения.

Швейцер считал, что музыкант должен знать все о своем искусстве. В книге о Бахе Швейцер писал, что этот музыкальный гений, «человек с таким ясным пониманием всего, что касалось его искусства», обладал необычайной проницательностью даже в практических вопросах архитектуры зданий. Швейцер с восхищением цитировал одно из воспоминаний о Бахе:

«Когда он был в Берлине, ему показали новый оперный театр. Все, что

в строении здания относилось к его акустическим свойствам, хорошее или дурное, что другие открыли только на опыте, он обнаружил с первого взгляда... Он обошел расположенную сверху галерею, окружавшую фойе, осмотрел потолок и сказал, более не обследуя помещения: „Архитектор, быть может, и сам того не желая, устроил здесь фокус, о котором никто не подозревает: если кто-нибудь станет в углу удлиненного четырехугольника фойе лицом к стене и шепотом что-либо скажет, то тот, кто стоит в противоположном углу лицом к стене, ясно услышит каждое слово; в середине же зала или в каком-либо другом месте ничего не будет слышно“. Это зависело от направления арки на потолке, особенность которой Бах обнаружил при первом взгляде».

Швейцеру чрезвычайно импонировало это свойство Баха. Через несколько десятилетий он мог бы и сам прочесть весьма изрядную лекцию об архитектуре и организации больничного поселка в джунглях, например, или архитектуре больничной палаты. Пока же, в начале века, он был великим врачом органов.

Орган был в крови у Швейцеров. В двадцать один год молодой органист и студент-философ Альберт Швейцер, возвращаясь с вагнеровского фестиваля из Байрейта, совершил, как некогда его дед Шиллингер, паломничество к органу. Он заехал в Штутгарт, чтобы послушать новый, прославляемый прессой орган в тамошнем концертном зале. Видный органист герр Ланг снизошел к любопытству образованного юноши и сам сел за орган. Герр Ланг не знал, впрочем, что этот юный студент не только довольно опытный органист, но и знаток органов, уже имеющий на этот счет собственные теории и убеждения, а также некоторые вполне обоснованные предубеждения, касающиеся фабричных новинок.

«Когда я слышал пронзительные звуки этого хваленного инструмента, – вспоминал Швейцер впоследствии, – когда я убедился, что фуга Баха, которую исполнял для меня Ланг, представляет собой хаос звуков, где невозможно различить отдельные голоса, мое предчувствие, что современные органы означают в этом аспекте не шаг вперед, а шаг назад, вдруг сменилось уверенностью. Для того чтобы окончательно убедиться в этом факте и выяснить причины этого, я в последующие годы всегда использовал удобное время для того, чтобы узнать как можно больше органов, старых и новых».

Этих «последующих» лет было целых десять. За это время он познакомился с органами Страсбурга, Парижа, Берлина и многих других европейских городов. Он обсуждал проблемы устройства органов и их изготовления с органистами, настройщиками и мастерами-строителями.

«Как правило, мое мнение о том, что старые органы звучат лучше, чем новые, встречали весельем и насмешками», – вспоминает Швейцер. Что ж, вера в безупречность и неувязимость прогресса не чужда была и органистам.

Швейцер написал эссе об игре на органе и изготовлении органов, напечатанное в 1906 году в журнале «Ди мюзик», а потом изданное отдельной книжечкой у «Брейткопфа и Хэртеля». По собственному выражению, Швейцер хотел в этом эссе «проповедовать евангелие идеального органа».

В чем же были заповеди органного устройства?

Швейцер заявлял, что качество органного звука зависит от четырех постоянно действующих факторов: от труб, от мехов, от напора воздуха и от положения органа в зале.

Коллективный опыт многих поколений органных мастеров дал им возможность рассчитать наилучшие пропорции и формы труб. Они использовали для своих изделий только лучшие материалы. Нынешние мастера при постройке органов исходят из физических теорий, зачастую жертвуя при этом достижениями строителей-предков. Они доводят до крайней степени экономию на материалах, стремясь к дешевизне. В результате нынешние фабричные органы не имеют подчас должного резонанса, потому что диаметр их труб слишком мал, а стенки труб тонки и к тому же изготовлены из второсортных материалов.

Старинные мехи с их «шлайфладе» хоть были менее удобны и более дороги, тоже обеспечивали лучшие акустические условия и лучшее качество звука. Старые мехи давали низкий, бархатистый, но полный звук; современные мехи дают звук резкий и сухой. Звук старинных органов обволакивал слушателя мягкой волной, звук новых – набрасывается на вас, как рев прибора.

Из-за несовершенства старых мехов воздух подавался в трубы под весьма умеренным нажимом. В усовершенствованных электрифицированных аппаратах можно достичь любого давления воздуха – и вот, ослепленные этим преимуществом, современные строители придают двадцатипятиклавишному органу мощность сорокаклавишного. Воздух врывается теперь в трубы мощной струей, вместо того чтобы поступать постепенно, и выигрыш в мощности тут же оборачивается потерей качества.

Разобрав в подробностях устройство органа, Швейцер переходил к разновидностям звуков. В новых органах появилось большое количество клавиш, довольно неестественно воспроизводящих звучание струнных

инструментов. Совершенно естественно, что в органе должны быть трубы, напоминающие по звуку скрипку, виолончель или контрабас, но не нужно заходить в этой имитации слишком далеко. Органные трубы должны давать только намек на качество звучания скрипки, виолончели и контрабаса, а не сочетать в себе звуки этих инструментов. В нынешних органах инструменты эти имитируются в такой степени, что орган начинает звучать, как оркестр.

Дальше следовало пространное, основанное на большом опыте рассуждение о месте органа в церкви и концертном зале, о некоторых, наиболее типичных просчетах современных архитекторов.

Швейцер возражал, в частности, и против дистанционного управления, при котором разделяют пульт и трубы; он настаивал на том, что орган это единый организм.

Вот эти и подобные им соображения развивал Швейцер в своем эссе о немецких и французских органах. Здесь содержится также обзор лучших органов, построенных в «золотой век» органостроения, между 1850—1880 годами. Швейцер упоминал, конечно, мастеров, развивавших идеи знаменитого органного мастера Зильбермана, – таких, как Аристид Кавайе-Коль, соорудивший органы в соборе Парижской богородицы и в церкви святого Сульпиция. Швейцер еще застал в живых друга Видора, почтеннейшего Кавайе-Коля, который любил говорить, что лучше всего звучит тот орган, в котором человек может обойти вокруг каждой трубы. Из других мастеров Швейцер отмечал Ладегаста в Северной Германии и Валькера – в Южной, а также некоторых английских и скандинавских мастеров, работавших под влиянием Кавайе-Коля. Самой богатой старинными органами страной Швейцер считал Голландию.

Таковы были главные положения этого эссе, развитые с большой убежденностью и большим знанием дела. Мало-помалу точка зрения Швейцера приобретала себе сторонников во всем мире, а когда в Вене, на конгрессе Международного музыкального общества, собралась органная секция, вдохновенный эльзасец смог повести за собой большинство мастеров. Швейцер выступил с докладом, который лег потом в основу выработанных секцией «Международных правил органостроения». Один из биографов Швейцера вспоминает, что «зараженная его энтузиазмом секция едва находила время на сон и еду, работая вне всякого расписания над новыми правилами, которые были выработаны ею и размножены за четыре дня». (Тот же биограф характеризует швейцеровскую борьбу за старинные благородные органы как проявление «все той же борьбы за духовные идеалы».)

Правила, выработанные секцией, призывали к изготовлению органов, сочетающих старинную красоту тона с новыми техническими достижениями. Швейцер отмечал впоследствии, что и через двадцать два года его эссе об органостроении оказалось актуальным и было переиздано издательством «Брейткопф и Хэртель».

Комментируя тенденцию некоторых музыковедов возвысить еще более старые органы – скажем, органы времен Баха, Швейцер заявлял, что у искусства есть абсолютные идеалы и что возраст инструмента сам по себе в данном случае не играет роли. Баховские органы были лишь предшественниками идеальных органов Кавайе-Коля и других мастеров.

Как человек действия Швейцер не только теоретизировал по поводу идеальных органов, но и старался претворить в жизнь свой идеал. Впоследствии друзья говорили о нем, что в Африке он спасает старых негров, в Европе – старые органы. Однако бороться за «настоящий орган» оказывалось чаще всего нелегко. Истинно художественный орган всегда обходился на тридцать процентов дороже, и редко удавалось подбить на такие расходы причт, если за те же деньги церковь могла иметь орган с еще большим количеством клавиш. Швейцер приводит в своей автобиографии рассуждение некоего «кондитера с музыкальными наклонностями» о печальной судьбе «органного и кондитерского дела»:

«С органным делом происходит то же самое, что и с кондитерским! Нынешние люди не понимают, что такое хороший орган и что такое хорошие кондитерские изделия. Никто уже и не помнит сегодня, каковы на вкус изделия, приготовленные из свежего молока, свежих сливок, свежего масла, свежих яичек, свежего растительного масла, лучшего свиного сала и натуральных фруктовых соков, подслащенных сахаром, – ничем, кроме сахара. Все уже привыкли довольствоваться изделиями, приготовленными из консервированного молока, консервированных сливок, консервированного масла, яичного порошка, самых дешевых сортов растительного масла и сала, синтетических соков и любых сладостей, потому что людям ничего другого не доводилось пробовать. Люди не понимают больше, что такое качество, и довольствуются одним только внешним видом. А если я попытаюсь изготовлять и продавать что-нибудь настоящее, как в прежние времена, я потеряю покупателя, потому что моя продукция, как у хорошего строителя органов, будет на тридцать процентов дороже...»

Это шутовское рассуждение отражало истинный упадок вкуса, с которым Швейцер никогда не уставал бороться. Он не уставал превозносить «шлайфладе» старинных органных мехов, спасать от

разрушения шедевры органостроения, выбивать из упрямой общины средства на их реставрацию.

«Этой борьбе за настоящие органы, – писал он позднее, – я посвятил много времени и трудов. Сколько ночей провел я над схемами органов, присланными мне для поправок или одобрения. Сколько путешествий совершил я для того, чтобы на месте убедиться, можно ли реставрировать или перестроить орган. Сотни писем написал я епископам, настоятелям, главам консисторий, мэрам, священникам, церковным комитетам и церковным старшинам, органным мастерам и органистам, пытаюсь убедить их, что, может быть, есть смысл лучше реставрировать их прекрасный старинный орган, вместо того чтобы заменять его новым».

Швейцер с волнением вспоминает в автобиографии о своей борьбе за спасение старых органов от гибели:

«Сколько красноречия пришлось мне употребить, чтобы отменить смертные приговоры, вынесенные прекрасным старинным органам! Как много сельских органистов принимали известие о том, что их орган, который они по причине его преклонного возраста ни во что не ставили, оказался прекрасным инструментом, с тем же недоверчивым смехом, с каким Сарра встретила известие о том, что у нее будут наследники!⁷ И как много органистов сменили дружеское отношение ко мне на вражду из-за того, что я оказался препятствием для замены старинного органа фабричным, или за то, что по моей вине им пришлось отказаться в пользу качества от прибавления трех или четырех новых клавиш! Первый старинный орган, который я спас – и нелегкая же это была задача! – был прекрасный зильбермановский инструмент в страсбургской церкви св. Фомы».

В начале тридцатых годов, упоминая о борьбе за органы, Швейцер дает этой своей деятельности следующее объяснение:

«Все те труды и тревоги, которые выпали на мою долю из-за практического интереса к органостроению, заставляли меня иногда жалеть, что я связался с органами, но если я все-таки не бросал их, то причина заключалась в том, что борьба за хороший орган была для меня частью борьбы за правду».

Борьба за хорошие органы была ко всему прочему одним из обстоятельств, которые наряду с писанием философских и музыковедческих книг, с чтением проповедей, преподаванием и исполнительской деятельностью делали такими интересными и такими безумно трудными его студенческие годы.

В 1911 году издательство Мора в Тюбингене выпустило книгу

Швейцера об апостоле Павле. Идеи Павла, фигура которого уже давно привлекала Швейцера, занимали большое место в трудах его студенческих лет. Особенно много Швейцер занимался идеями Павла в последние два года учебы и в год практики. По его собственным словам, Швейцера привлекает в Павле «абсолютное и непоколебимое уважение к правде»: Павел «не принимает в расчет, будут ли толкования, к которым он пришел, лежать в рамках взглядов, царивших в христианской общине, и могут ли они быть признаны приемлемыми для веры». Швейцер тоже, как известно, «не принимал в расчет» подобных соображений. Он писал, что «вере нечего бояться мышления, даже если оно потревожит ее мир и поведет к столкновению, результат которого покажется губительным для благочестия». Сам Швейцер никогда не боялся «губительных последствий» того, что считал истиной. В год его смерти прогрессивные «Фрисинкер» («Вольнодумец») и «Прогрессив уорлд» («Прогрессивный мир») удивленно писали: «Не совсем ясно, как сохранил он веру в бога». Так или иначе, журналы эти считали его своим, истинным гуманистом и вольнодумцем.

В работе об учении Павла Швейцер применил свою самую существенную теологическую гипотезу и для начала высказал предположение, не является ли объяснением многочисленных противоречий, находимых у Павла теологами, тот самый факт, что Павел, как и Иисус, разделял эсхатологические воззрения своего века.

«С моим исследованием учения святого Павла, – писал впоследствии Швейцер, – произошло то же, что произошло ранее с работами о тайной вечере и жизни Иисуса. Вместо того чтобы ограничиться простым изложением своего открытия, я каждый раз взваливал себе на плечи написание истории проблемы».

Швейцер признается, что побудило его к этому восхищение «Метафизикой» Аристотеля, где принят именно этот способ. Вначале Швейцер думал, что он напишет на этот раз лишь обзорную литературно-историческую главу, но, как не раз у него бывало, глава выросла в книгу.

Один из «солидных» теологических журналов писал после смерти Швейцера, что «трудно себе представить, как его философия может быть выражена в христианских терминах кем-либо, кто не получал с раннего возраста его воспитания». Немецкий биограф Швейцера В. Пихт вообще считал, что «исследование Павла имеет дело со специальными проблемами, недоступными пониманию читателя, не связанного с теологией, и не вызывающими у него интереса (несмотря на всю важность этих проблем для христианской мысли»).

Так или иначе, мы ограничимся упоминанием о том, что работа о

Павле подводила еще ближе, чем прежние труды Швейцера, к проблемам этики, и слово «этика» все чаще и чаще, как заклинание, звучало на страницах книги.

В этот до предела заполненный трудами 1911 год Швейцер вдруг снова занялся Бахом. Нью-йоркский издатель попросил Видора подготовить издание органных произведений Баха с рекомендациями для исполнителей. Видор соглашался на эту работу только на том условии, что они будут делать ее вдвоем со Швейцером. Оба они недолго любили так называемые «практические» издания музыки, однако на сей раз вынуждены были согласиться, что после нот (ни в коем случае не в самих нотах) будут следовать небольшие статейки, которые познакомят музыкантов, играющих на современных органах, с органным стилем Баха, с тем, какая смена клавиатур и какие регистры предусматривались при исполнении того или иного произведения на органах, для которых писал Бах. Дело в том, что Бах в отличие от других композиторов, писавших для органа, не оставил указаний для смены клавиатур и регистров. Для исполнителей его времени в этом и не было нужды, но с той поры сильно изменились и сами органы, и музыкальные вкусы. К моменту возрождения популярности Баха в середине прошлого века стала возникать новая традиция, опиравшаяся на стиль XVIII века и находившая правильное исполнение Баха слишком простым и грубым. После Великой Французской революции, во время которой погибло большинство французских органов, после замечательных работ Кавайе-Коля по изготовлению новых органов, как это ни парадоксально, хранительницей старой немецкой традиции явилась парижская школа (продолжавшая уроки Гессе из Вроцлава), и музыканты всего мира стали прибегать к теоретическим работам этой школы. И Видор, и его ученик Швейцер, проведенный к этому времени столько экспериментов со старинными органами, относились именно к этой школе. Рекомендации их в новом издании Баха как раз и предназначались для органистов, которым приходилось иметь дело только с современными органами. После короткой инструктивной части Видор и Швейцер предлагали каждому органисту экспериментировать самому, увеличивая силу звука и оттенки тона, но не отрываясь при этом от баховского стиля.

В течение труднейшего 1911-го и нелегкого 1912 годов Швейцер не раз ездил в Париж для совместной работы с Видором. Потом Видор приезжал к Швейцеру в Гюнсбах, и они несколько дней жили в пасторском доме, работая над «Бахом». Они решили начать врозь подготовку черновиков, а потом работать над ними вместе.

У них было много трудных проблем. Как быть с указаниями для

пальцев? Ведь во времена Баха расположение пальцев при игре на органе было совсем иным. И педали в те времена были гораздо короче. Органист мог нажимать на педаль только носком, но никак не пяткой. Швейцеру еще приходилось видеть такие педали на старинных органах деревенских церквей.

Как уже говорилось, Швейцер терпеть не мог «практических» изданий, где у него перед глазами вечно торчали указания для пальцев и фразировка, все эти форте и пиано, крещендо и диминуэндо, и он настоял на том, чтобы их инструктивные заметки были напечатаны отдельно от нот: «Так, чтобы органист мог познакомиться с нашими советами, но остаться наедине с Бахом безо всякого чичероне, как только обратится к самому произведению». Соавторы решили не давать фразировки и указаний для пальцев, и Швейцер высказал надежду, что именно так начнут, наконец, издавать музыку в будущем.

У Видора и Швейцера были весьма интересные соображения о темпе исполнения Баха (ведь орган XVII века и не мог иметь нынешнего темпа исполнения; известно, например, что знаменитый Гессе исполнял Баха в очень спокойном темпе).

Для органистов, знакомых только с современными органами, в рекомендациях Видора и Швейцера содержалось много нового.

«Мы надеялись, – пишет Швейцер, – что требования, которые произведения Баха предъявляют к органу, сделают для популяризации идеала настоящего органа с хорошим тоном больше, чем любое число эссе об органостроении. И надежды наши оправдались».

Учитель и ученик, два артиста, две различные творческие индивидуальности, Видор и Швейцер, не обошлись, конечно, без разногласий. Они нашли простой выход из положения, свидетельствующий о большом взаимном уважении. Издание выходило на трех языках – французском, немецком и английском. Они решили, что в случае расхождений французский текст будет чаще учитывать точку зрения Видора, в большей степени приложимую к особенностям старинных французских органов, в немецком же и в соответствующем ему английском издании доминировала точка зрения Швейцера, учитывающая характер современных органов.

До отъезда Швейцера в Африку они успели закончить пять томов сочинений Баха. Они договорились, что следующие три тома – хоральные прелюды – Швейцер подготовит в Африке вчерне.

Излишне, наверное, говорить, с каким увлечением Швейцер снова работал над «Бахом», так же как излишне, наверное, говорить, какую

огромную дополнительную нагрузку представляла для него эта работа в безумном 1911 году.

Год подходил к концу. В октябре начинались государственные экзамены. В сентябре Швейцер еще играл на музыкальном фестивале в Мюнхене, где исполнялась новая «Симфония Сакра» его учителя Видора. Видор дирижировал оркестром, а его ученик Швейцер сидел за органом. Деньги, заработанные в Мюнхене, пошли на оплату последней в его жизни экзаменационной сессии – государственных экзаменов на медицинском факультете.

17 декабря был сдан последний экзамен. Принимал его профессор Маделюнг. Потом оба они, студент и профессор, вышли в темноту декабрьского вечера, и Швейцер вспоминал впоследствии, что, шагая рядом с Маделюнгом, он никак не мог осознать того, что все это ему не снится, что он действительно сдал свой последний экзамен и что страшное напряжение этих месяцев позади. Маделюнг уже второй или третий раз повторял свою фразу, но она доносилась до Швейцера словно откуда-то из потусторонних сфер:

– Только ваше великолепное здоровье позволило вам осилить такую работу.

Экзамены были позади. Оставался год практики, нечто вроде нашей субординатуры, и оставалась письменная работа для получения докторской степени.

Тема письменной работы Швейцера продолжала прежние его поиски «исторического Иисуса». Его Иисус, живущий в фантастическом мире позднеиудейской эсхатологии, показался некоторым из критиков существом, страдающим галлюцинациями и маниями, каким-то визионером. И Швейцер решил в своей медицинской работевыяснить с чисто медицинской, психиатрической точки зрения, связаны ли эти мессианские предчувствия Иисуса с какими-либо психическими расстройствами.

Специалисты-медики де Лоостен, Вильям Хирш и Бине-Сангле находили в поведении Иисуса признаки параноического умственного расстройства, отмечая у него, в частности, манию величия и манию преследования. Сами по себе работы эти были довольно незначительны, но, чтобы иметь основание анализировать их, Швейцеру пришлось глубоко уйти в исследование литературы о паранойе. Не раз он начинал жалеть о выборе темы, не раз хотел бросить работу, но в конце концов довел ее до конца.

Швейцер пришел к выводу, что всерьез можно разбирать лишь

высокое мнение Иисуса о себе и его галлюцинации во время крещения. Что касается мессианских ожиданий, то здесь, по мнению Швейцера, нельзя видеть никаких отклонений от нормы, ибо это попросту была широко распространенная система позднеиудейских воззрений. Даже самая мысль о том, что именно он является человеком, чье появление как мессии возвестит приход мессианского царствия, не заключала в себе, по мнению Швейцера, ничего болезненного, говорящего о мании величия. Иисус происходил, согласно легенде, из дома Давидова, а именно представителям этого дома пророки предсказывали роль мессии. То, что он до времени скрывал свой ранг, тоже имело оправдание в позднеиудейских предсказаниях о знамениях прихода царствия; вот их-то совершенно не приняли в расчет медики-критики, так же как не приняли они в расчет всех прочих обстоятельств, которые довольно подробно разобрал Швейцер в своей работе.

В медицинской диссертации Швейцера биографы и критики отмечали один из важнейших принципов его исследования – постоянное противопоставление открытий исторической науки и субъективных утверждений веры.

В этот период напряженной теологической и музыковедческой работы Швейцеру пришлось, снова обратиться к совершенно новому для него виду практической деятельности, столь далекой от мира старинных нот и книжек на древнееврейском и древнегреческом языках. Нужно было подготовить все необходимое для дальней дороги и для долгой жизни в габонских джунглях. Нужно было захватить все необходимое для того, чтобы лечить несчастных, лишенных медицинской помощи. Нужно было закупить медикаменты, инструменты, предметы домашнего и больничного обихода, продукты питания. А для всего этого нужны были к тому же деньги, деньги и деньги. Он обратил на это все свои сбережения – и то, что он заработал концертами, и то, что получил за книжку о Бахе. Но этого было мало.

Ему пришлось преодолеть свою скрытность, гордость, неумение и нежелание просить. Он должен был сейчас просить людей, чтобы они пожертвовали на помощь другим людям. Он не мог дать при этом никаких гарантий. Дающие должны были просто поверить в то, что он обратит эти деньги на помощь страждущим. Он не мог им еще продемонстрировать никаких результатов. Люди, верившие в него (чаще, чем в его дело и его идею помощи), давали ему деньги.

«Большинство друзей и знакомых, – вспоминает он, – помогали мне справиться с моим смущением, заявляя, что они поддержат мой

авантюрный план, потому что он принадлежит мне».

Вряд ли эти шутливые оговорки избавляли его совсем от мучительной неловкости, которая ощущается даже в крайне сдержанном его рассказе: «...должен признаться, что я замечал также, как ощутимо менялся самый тон моего приема, когда обнаруживалось, что я пришел не просто как гость, а как нищий».

Правда, он тут же оговаривается, что профессора Страсбургского университета проявили трогательную щедрость по отношению к подданным какой-то французской колонии; что доброта, с которой он встретился во время этого унижительного обхода, «перевешивает в сотни раз те унижения, с которыми ему пришлось примириться».

Это действительно была немалая щедрость и терпимость со стороны либеральной страсбургской профессуры. Националистические предрассудки, вспоминает Швейцер, глубоко проникли в среду интеллигенции в эти предвоенные годы раздора. Страсбургское общество уже было разбито на германофильские и франкофильские группировки. Даже кружок интеллектуалов, в который входили Елена и Швейцер, не избежал раскола: Элли Хейс, урожденная Кнапп, не дружила больше с Пьером Бюхером, редактором «Эльзасского обозрения», проявлявшего «непатриотические» французские симпатии. Элли и ее муж проявляли «непатриотические» немецкие симпатии. В ту пору, отмечал Швейцер, человека легче было подвигнуть на националистические страсти, чем на щедрость во имя добрых дел. Тем больше чести страсбургским профессорам, которые в последние предвоенные годы, когда в Европе уже «тлел пожар», жертвовали на лечение подданных далекой французской колонии. Право же, дело, затеянное Швейцером накануне решительных сражений, должно было выглядеть странно для всякого воинственно настроенного человека.

Довольно значительную часть всех средств собрали прихожане его любимого прихода – паства церкви св. Николая. Деньги поступали и из других уголков Эльзаса, где были сейчас его ученики.

Парижское Баховское общество и его хор вместе с органистом Швейцером и солисткой Марией Филиппи дали в Гавре концерт, сбор от которого пошел в пользу будущей больницы. Концерт прошел с успехом, и, кроме концерта, в Гавре была с той же целью прочитана лекция о Бахе.

Некоторые состоятельные друзья (может, также не очень верившие в успех этого странного предприятия) пообещали помогать Швейцеру и впредь, если станет совсем худо. Он получил большую поддержку в Страсбурге от фрау Анни Фишер, вдовы университетского профессора

хирургии, которая взялась быть его банкиром и делопроизводителем – гигантская работа, за которую Швейцер никогда не уставал ее благодарить (первая же книга, начатая в Африке, была посвящена фрау Анни Фишер). Сын фрау Фишер, закончив университет, тоже стал врачом и позднее уехал в тропики.

Финансовая проблема была близка к разрешению, нужно было браться за покупки. Но для начала требовалось точно определить количество и ассортимент необходимых ему предметов. Это была совершенно новая, незнакомая и чуждая ему работа. Он обложился каталогами и стал с упорством составлять, уточнять и выверять списки. Вскоре он объявил друзьям, что, судя по каталогам большинства фирм, составление их поручают какой-нибудь жене грузчика, той, у которой нет более важных дел. Однако мало-помалу он пришел к мысли, что его новая работа находится в полном соответствии с духом самоотдачи, которым он был движим. Он даже научился получать «артистическое удовольствие» от тщательного ее выполнения.

Весной 1912 года Швейцер вручил заявление об отставке – и в церкви св. Николая, и в университете. У него было в этот момент тяжело на сердце.

«Не читать больше проповедей и не читать больше лекций, – писал он через два десятка лет, – было для меня большой жертвой, и до самого своего отъезда в Африку я, проходя мимо, всегда, когда было возможно, старался обходить стороной церковь святого Николая или университет, потому что самый вид этих зданий, где я занимался трудом, которым мне уже не придется никогда заниматься, причинял мне боль. Даже сегодня я не могу спокойно видеть окна второй лекционной аудитории, что к востоку от входа в главный университетский корпус, потому что я часто читал лекции в этой аудитории».

В ту же весну он уехал в Париж, где должен был изучать тропическую медицину, делать закупки для Африки и вести окончательные переговоры с Парижской миссией.

Он знал уже, что ему хватит денег на то, чтобы организовать свою маленькую независимую больничку в джунглях Габона; и он мог увереннее вести переговоры с Парижской миссией о том, чтобы работать под ее эгидой на миссионерском пункте, не требуя за это, впрочем, никакого вознаграждения. Он уже выбрал место – далеко от центральной станции, в самых дебрях, на реке Огове.

Когда-то, лет сорок тому назад, здесь жили американский миссионер и американский врач доктор Нассау. Позднее Габон стал французским, и американским миссионерам пришлось уехать, потому что они не могли

вести службу на французском языке. Во французской миссии врача не было вовсе.

Миссия без устали взывала о помощи страдающим африканским братьям, о помощи самой миссии в ее делах милосердия. И если Швейцер не понимал, почему же при этом миссия может отказаться от добровольных, квалифицированных и совершенно бесплатных услуг человека, откликнувшегося на ее призыв, то это показывает лишь, что он не до конца осознал всю силу организаций современного западного общества, хотя общий их дух он уже неплохо уловил и передал в своих первых философских трудах о цивилизации. Наиболее ортодоксальные члены комитета, ведавшего делами миссии, возражали против неортодоксальных взглядов нового доктора. Было решено вызвать его на заседание комитета и там проэкзаменовать в отношении его взглядов и верований. Этого вольнолюбивый воспитанник либерального Страсбургского университета допустить не мог.

Швейцер направил комитету письмо, где заявлял, что если бы комитет следовал завету Иисуса «кто не против нас, тот с нами», то он не имел бы права отказать даже магометанину, который предложил бы свои услуги для облегчения страданий африканцев.

Надо сказать, что в своих отношениях с миссией Швейцер проявил не только твердость, но также и мудрость, практическую сметку, которой были теперь отмечены все его действия на пути осуществления донкихотского замысла. Как и составление списка необходимых предметов, все практические дела следовало отныне осуществлять с практицизмом, и это соответствовало духу самоотдачи, духу служения, который им двигал. И если цивилизованное общество в своем организационном энтузиазме препятствует облегчению страданий самых угнетенных из его членов, он проявит здравый смысл и практицизм, постарается быть не только умнее, но и хитрее общества и его организаций. Швейцер отказался прийти на заседание комитета. Дело не только в том, рассуждал он, что глупо и унижительно отвечать на вопросы о том, как ты веришь и во что ты веришь: один человек ни при каких условиях не имеет права спрашивать об этом у другого. Швейцер не пошел на заседание комитета еще и потому, что это было опасно для дела. Он знал, что совсем недавно миссия отказала священнику, научные взгляды которого не позволяли ему ответить утвердительно на вопрос о том, признает ли он апостола Иоанна автором четвертого Евангелия. Ответы Швейцера содержались в его уже изданных книжках, и это была ересь пострашнее сомнений в авторстве апостола Иоанна.

Итак, Швейцер не пошел на заседание комитета. Но зато он предложил навестить лично каждого из членов комитета, чтобы они в личной беседе могли убедиться, представляет ли он столь ужасную опасность для душ африканцев и для репутации миссионерского общества. Они согласились, и он убил на эти визиты несколько своих ценных вечеров. Но это был гениальный ход. Они признались ему, что опасаются, во-первых, чтобы он не совратил там с истинного пути отцов-миссионеров, а во-вторых, чтобы он не начал там читать проповеди. Он заверил их, что он будет там врачом, и только врачом, и что он будет нем, как рыба, точнее, как карп, (*muet comme une carpe*). Образ молчаливого карпа их окончательно успокоил, и со многими из них он расстался в самых сердечных отношениях. Вывеска миссии делала его в дальнейшем, по существу, совершенно независимым.

Теперь он мог спокойно осваивать тропическую медицину и делать закупки для Африки. Он понимал, что все эти тревоги, мелкие хлопоты, организационные хитрости – все это уже начало, а может, и продолжение избранного им тяжелого пути практического служения. И он решил относиться ко всему этому с серьезностью, приправленной, впрочем, изрядной долей эльзасского юмора.

Когда он вернулся из Парижа, они с Еленой поженились. Она давно выбрала свою судьбу. Она сама полна была стремления отдать себя служению людям. Может, ее самоотречение было еще большим, чем его: она была женщина, и она отрекалась от себя не только во имя дела, но и во имя мужчины, так, во всяком случае, она представляла себе идеал немецкой женщины. Через сорок лет, на ее похоронах, цюрихский пастор сказал о ней: «Она обручилась не только с человеком, Альбертом Швейцером, она обручилась также с работой, к которой побуждало его призвание».

Она еще до замужества много помогала ему в его литературной работе. И сейчас, сразу же после женитьбы, они уехали в Гюнсбах работать над новым изданием его труда о поисках «исторического Иисуса». Издательство Мора собиралось выпустить второе издание книги, а Швейцеру очень хотелось переработать и, главное, дополнить ее. Со времени выхода в свет первого издания появились интересные работы, оспаривавшие существование «исторического Иисуса», и Швейцер с увлечением погрузился в этот новый материал. Он доказывал теперь, как, в сущности, нетрудно утверждать, что Иисус никогда не существовал вообще, – свидетелств о нем мало, да и то некоторые из них явные интерполяции христианских переписчиков. Однако это, по Швейцеру, еще ничего не дает само по себе. По мнению Швейцера, доказать существование Иисуса все-таки в тысячу раз легче, чем дать убедительное

доказательство того, что он не существовал...

...Начиная примерно с 1910 года, когда эта книга Швейцера впервые вышла за границей (в Англии), теологи не переставали спорить о ней. Мы не будем вдаваться в подробный ее разбор из опасения, что он будет и скучен и сложен. Один из биографов Швейцера писал об этой книге: «Как ни увлекательно здесь швейцеровское описание духовного исторического процесса, она вряд ли пригодна для широкого чтения и для неосведомленного читателя; во всяком случае, не второе издание книги, которое удлинило ее от 418 до 659 страниц».

Осень и начало зимы прошли у Швейцера в напряженной работе над «Бахом» и в сборах. В феврале он закончил свою диссертацию на звание доктора медицины и получил диплом.

Он справился с первой трудной задачей. Гуманитарий по склонности и роду деятельности – философ, музыковед и музыкант, – он стал в тридцать восемь лет врачом и мог повторить теперь с полным правом благородную клятву древности, клятву Гиппократата:

«И пока я не нарушу эту Клятву, пусть позволит она мне радоваться жизни, практикуя свое Искусство, уважаемое всеми народами во все времена! ...С чистой совестью и со святостью буду я проводить свою жизнь и практиковать свое Искусство».

Весной он был снова в Париже. Он получил разрешение практиковать на французской территории с немецким дипломом. Путь в Африку был открыт.

Он собрался уезжать в беспокойное время. В доме его парижских знакомых о войне говорили как о чем-то решенном.

Швейцер видел, что в массе ни французы, ни немцы не питают ненависти друг к другу. Сам он всю жизнь стремился к сближению этих народов. Да, он видел, конечно, как ловко политиканы оперируют формулами, лишены и намека на мораль, – вроде пресловутой «реальной политики». Неужели же они угробят сотни миллионов из-за какой-нибудь десятиmillionной прибыли? Неужели они угробят сотни тысяч жизней?..

Ему трудно было поверить в хрупкость буржуазной цивилизации. И все же он предвидел возможность войны. Как человек, одержимый идеей служения, он должен был думать о тех, кто теперь зависит от его умения, от его возможностей, от его практицизма. С 1911 года немецким служащим перестали выдавать заработную плату золотом. Золото изымали из обращения. Швейцер считал, что страждущие жители Габона не должны расплачиваться за безумства европейцев, если они все-таки начнут войну.

Он решил вывезти с собой часть средств в виде золота, что было, конечно, запрещено. Елена была против этого риска. Он настоял на своем и зашил золото в подкладку пальто. Его духовное служение начинало предъявлять к нему много самых неожиданных и непривычных требований. Он должен был вынести и это.

Семьдесят мест багажа были заранее отправлены в Бордо товарным поездом. В воскресенье супруги еще были в Париже, где слушали старый добрый орган в церкви св. Сульпиция. За органом сидел сам Видор.

В поезде Швейцер еще читал корректуру нового издания книги об Иисусе. Один из теологов говорил о швейцеровском Иисусе, что он уместен как раз своей неуместностью, то есть видимым безумием своих поступков, их донкихотской неразумностью, непостижимостью их цели. Именно такая цель смогла привлечь здорового рационалиста и отчаянного эльзасского Дон-Кихота.

Путь их лежал через родные Вогезские горы.

Последнее прощание. Последние разговоры с родными и близкими. Последняя прогулка с матерью. Может, она пыталась отговорить его, а он ответил: «Кто Матерь Моя?» Может, они просто молчали, потому что характеры у них были похожие, в Шиллингеров. Мы никогда не узнаем этого, потому что Доктора уже нет на свете, а нежно любимая его мать не дождалась возвращения сына из первого странствования на Черный континент.

«В страстную пятницу церковный колокол на колокольне моей родной эльзасской деревушки Гюнсбах, в Вогезах, едва кончил звонить к вечерней службе, когда поезд наш показался из-за кромки леса и путешествие в Африку началось. Мы махали с площадки последнего вагона и в последний раз увидели шпиль на церковной башенке, маячившей среди деревьев. Когда же мы увидим все это снова?..»

Так начинается Швейцер главу своей новой книги – книги об Африке. И нам тоже пора начать новую главу в истории этой необычной жизни.

Глава 9

Пароход шел в Африку. Доктор Швейцер и его жена плыли навстречу неизвестности. Одно они знали наверняка – что легко им не будет. На борту парохода было много белых. Все они уже бывали в Африке, теперь возвращались туда, надо сказать, без особого энтузиазма. Конечно же, доктор Швейцер и Елена не могли удержаться от расспросов: как там, что там?

Лейтенант ругал африканцев-магометан. Он считал, что именно они враждебнее всего к прогрессу. Колониальный доктор рассказывал своему эльзасскому коллеге о положении тропической медицины. Доктор Швейцер слушал, повторяя про себя как некий абстрактный парадокс фразу из учебника тропической медицины: «Там, где солнце печет жарко, надо особенно опасаться простуды». Когда Швейцер любовался берегами, стоя у борта, к нему подошел служащий какой-то крупной фирмы, африканский старожил.

– Даже когда не жарко, – сказал он, – смотрите на солнце, как на злейшего врага – в зените оно или у горизонта, облачное небо или чистое.

В Дакаре была стоянка. Швейцер впервые сошел на африканский берег. Город располагался по холмам, и доктор с ужасом увидел, как погонщики избивают мулов на подъеме в гору.

– Ха, если вы не выносите, когда при вас избивают животных, лучше не ездите в Африку! – сказал лейтенант. – Здесь вы не таких ужасов насмотритесь.

Во время обеда в кают-компании Швейцер поймал себя на том, что внимательно изучает пассажиров.

«Всем этим людям уже приходилось работать в Африке, – думал он, – но с какой же целью они приезжали? Каковы их идеалы? Сейчас они кажутся все такими приятными и приветливыми, но какими они бывают там, на своем месте, на службе? Ощущают ли они ответственность? Через несколько дней три сотни пассажиров, вместе отпльвших из Бордо, сойдут на африканский берег... Если бы записать все, что за эти годы совершит каждый из плывущих сейчас на корабле, что за книга получилась бы! Но не будет ли в этой книге страниц, которые нам захочется перевернуть поскорее?»

О чем это размышление? О собственном долге и о долге европейца вообще? О долге перед угнетенным и страдающим континентом? В словах

этих звучит мотив мучительной неуверенности в себе, потому что задача, которая предстояла ему, была непривычной: активное действие в незнакомой стране, в контакте с незнакомыми людьми. Он говорил, что знает себя, что уверен в себе. Но все ли он знает о себе, все ли «углы своего характера» удалось ему сгладить? Забегая вперед (ведь и приведенные выше размышления были отредактированы им позднее), можно сказать, что опасения были не совсем напрасны.

Швейцер ощущал на плечах тяжкое бремя долга. Он часто говорил в это время о долге просвещенного человека в джунглях, об искуплении того, что было совершено в отношении Африки «цивилизованными» державами. Но его долг белого – это не киплингское «бремя», что очень точно подметил в своей книге «Понимание Швейцера» Джордж Маршалл:

«Швейцер ехал в Африку не для того, чтобы нести бремя белого, а для того, чтобы отречься от колониализма, восплаемого Киплингом. Он был, наверно, одним из первых великих антиколониалистов».

...Он стоит у борта, смотрит на проплывающие мимо зеленые берега – Берег Слоновой Кости, Золотой Берег, Берег Рабства – и думает при этом:

«Если бы кромка леса на горизонте могла рассказать нам обо всех жестокостях, свидетелем которых она была! Здесь вставали на стоянку работорговцы, здесь они грузили свой „живой товар“ на суда для доставки в Америку».

Старожил, работник торговой фирмы, говорит ему:

– Ведь и сегодня... перевешивают ли блага, приносимые туземцам, все зло, которое сопровождает эти блага?

Итак, этот человек, которого позднее называли «приемным сыном Африки» и ее героем, впервые ступил на землю Габона. Доктор и Елена оказались в Кейп-Лопесе (Мыс Лопеса). В самом конце XVI века католические миссионеры-португальцы, среди которых был и Эдуард Лопес, высадились здесь, на габонском побережье. Португальцам нужны были рабы для их «новых индийских колоний». Из Кейп-Лопеса отправлялись корабли с «живым товаром», и берега эти оглашались воплями осужденных. Доктор Швейцер читал записки дю Шайю, который еще в середине прошлого века застал здесь португальские бараки – «баракун», где держали рабов, скованных цепью по шесть человек. Дю Шайю рассказывал и о меновой стоимости человека – женщины, мужчины, ребенка... В 1820 году английские и французские власти запретили работорговлю на западном побережье Африки; тогда здесь и была создана морская база Либревиль («Город свободы») – нынешняя столица маленького Габона с полумиллионным населением, одной из четырех

республик, возникших сейчас на месте бывшей Французской Экваториальной Африки. Португальские миссионеры хотели нести этим непонятым для них народам неведомых стран слово божие. Результаты подобного экспорта, даже производимого с добрыми намерениями, как часто бывает, оказались плачевными. Вослед миссионерам европейские торговцы и воины завезли сюда алкоголь, табак, венерические заболевания, туберкулез, грипп, оспу и десятки других губительных для африканца недугов. Они вывозили отсюда габонцев – в рабство...

Пришельцы долго держались побережья, не решаясь уходить в глубь континента. Только в 1862 году французский офицер Сервиль снарядил экспедицию по Огове и обнаружил, что река расходится на множество рукавов общей протяженностью больше тысячи километров. Вероятно, Сервиль и был первым европейцем в Ламбарене. Сейчас по пути французского офицера отправлялся доктор-эльзасец, душу которого терзали воспоминания о несправедливостях, совершенных европейцами по отношению к жителям этой страны.

От Кейп-Лопеса доктор и Елена плыли вверх по могучей реке Огове на пароходике «Алемб», и живое чувство природы, отличавшее Швейцера с самых ранних лет, пробудилось и возликовало при виде этой первозданности, так импонировавшей его извечному стремлению к изначальному, фундаментальному, первоосновному – будь то в ландшафте, в искусстве, в мысли:

«Река и лес... Кто смог бы описать впечатление, которое они производят? Нам казалось, что это сон! Доисторические пейзажи, которые в любом другом месте показались бы творением фантазии, окружали нас со всех сторон. Невозможно было сказать, где кончается река и начинается лес, потому что мощное переплетение корней, опутанное какими-то яркими выющимися растениями, свисало прямо в воду».

Они видят купы пальмовых деревьев, какие-то огромные, растопыренные веером листья, гниющие великанские стволы. Вода, вода... За каждым поворотом то новый приток, то рукав изобильной Огове. Да это же не река! Это целая система рукавов, а три или четыре из них не уступают Рейну по величине и раздолью. Непостижимо, как находит здесь путь рулевой!

Вот маленькая негритянская деревушка на пути. На берегу сложены бревна: главная и, наверно, единственная отрасль габонской промышленности – лесная. Учетчик-африканец считает бревна, ставя на бумаге крестики и палочки. Разыгрывается бытовая сценка, которая больше говорит наблюдательному доктору, чем целый сборник статей о прогрессе в

джунглях:

«Капитан бранит старосту деревни за то, что бревна не были приготовлены в срок. Староста оправдывается с самыми патетическими жестами и возгласами. Наконец они приходят к соглашению, что за работу капитан уплатит не деньгами, а вином: вождь убежден, что белым спиртное продают дешевле, чем неграм, и он, таким образом, сможет выиграть на этой сделке...»

Доктор и его жена уже увидели сегодня в действии многих из своих приятных попутчиков-европейцев. Размышления доктора об идеалах были не беспочвенны.

«Путешествие продолжается. На берегах развалины заброшенных хижин. „Когда я приехал сюда пятнадцать лет тому назад, – сказал мне торговец, стоявший рядом, – в этих местах были процветающие деревни“. – „Почему же они исчезли?“ – спросил я. Он пожал плечами и сказал тихо: „Алкоголь“.

И еще чуть дальше, то есть чуть выше по реке, продолжение этого же разговора:

«Если бы мы пристали здесь днем, – сказал мне торговец, – все пассажиры-негры... сошли бы на берег и стали покупать спиртное. Большая часть денег, которые приносит этому краю лесоторговля, тратится на спиртные напитки».

Ощущение вины растет по мере продвижения в глубь Африки. И если Швейцер даже и не понял в дальнейшем каких-либо сложнейших проблем современной Африки (а кто в Европе может похвастать, что понял их во всей сложности?), то это чувство огромного сострадания к угнетенным и обобраным людям Черного континента, это желание помочь им он пронес через все столетие своей африканской деятельности.

Путешествие по Огове продолжается, но изобильный, цветущий край производит на чуткого путешественника все более тревожное и гнетущее впечатление, которое он очень выразительно передает в своих записках:

«Так к возвышающим душу впечатлениям здешней природы начинают примешиваться страх и ощущение горя; с наступлением первых наших вечерних сумерек на Огове сгущается тень страданий Африки. Сквозь сумерки плывут монотонные, как звон колокола, мелодичные выкрики: „Ставь один!“, „Ставь крест!“ – и я сильнее, чем когда бы то ни было, ощущаю, что пользу в этой стране может принести человек, который никогда не поддастся отчаянью».

Однако все сомнения и смутные предчувствия отступают на задний план, как только они прибывают в деревню Ламбарене. Здесь их встречают

молодые учителя миссии. У них хорошие лица, умные и одухотворенные. «Очаровательные юные лица!» – восклицает Швейцер. Учителя приплыли в лодках. Лодки эти неустойчивы, но гребцы умелы, а до миссии не так далеко.

В Ламбарене супругов ждет торжественная встреча. В домике с верандой для них приготовлено жилье. Швейцер выходит на веранду: «Вид потрясающий: под нами поток, здесь и там переходящий в озеро, а на горизонте синееет гряда холмов».

Он ведь стремился к этому всю жизнь сознательно и неосознанно, к изначальной красоте творения, к не расчерченной дорожками чащобе леса, к могучей стихии воды, к простоте жизни на земле. Он и сам из маленького Гюнсбаха, из страны виноградников и трудолюбивых крестьян. Нет, не случайно он попал в это Ламбарене, приютившееся «между водой и девственным лесом»! (Он так и назвал свою первую книжку об Африке.)

Вечером чествовали нового доктора и его жену. Под неумолчный стрекот кузнечиков маленькие чернокожие школьники спели в честь супругов гимн. За ужином миссионеры много рассказывали о здешней жизни. Они старались развеселить его, как могли, ибо первое разочарование, которое ждало его, было не из малых: обещанный дом для клиники построить не удалось, потому что совсем не было рабочей силы. Миссия не могла платить много, а тех немногочисленных (и это было для доктора первым довольно существенным открытием) рабочих, которых здесь можно было добыть, забирала лесопромышленность, где заработки были выше, чем в миссии. Итак, помещения нет, но об этом завтра, а пока они развлекали его рассказами о здешних местах, анекдотами из миссионерской жизни, нехитрыми шутками.

Зашел разговор о христианской религии, которой приходилось здесь уживаться с древней языческой магией и многобожием. Из этого разговора доктор Швейцер понял, что догматические вопросы, так занимавшие Парижскую миссию, здесь вообще не встанут на повестку дня.

В районе было сейчас две сотни белых и неизвестно сколько африканцев – десятка два племен, говорящих на разных языках и диалектах. Больше всего галоа – тысяч восемьдесят. Но из глубины материка, гонимые голодом, выходят фанги, они же пахуаны. Еще совсем недавно, до прихода белых, это были каннибалы, пожиравшие галоа.

– Теперь процесс этот как будто приостановился, – сказал с надеждой молодой учитель.

Доктора интересовали африканцы. Каковы они? Пастор говорил о них снисходительно и нежно, как о детях. Как, впрочем, вообще пожилые

пасторы привыкают говорить о своей неразумной пастве. Что с них взять? Настоящие дети. Дети природы. Да, они не привыкли трудиться постоянно, но ведь так они работали тысячелетиями. Таковы условия. Многоженство? В миссии немало споров об этом. Доктор убедился сам, что многоженство здесь только разумно. Фетиши, магия? Но ведь они так беззащитны перед природой, а колдуны так страшны и всемогущи. Любовь? Но ведь у них не было своих Тристана и Изольды. У них своя традиция, освященная тысячелетиями. А вообще-то доктор уверен, что можно понять душу другого человека до конца?

Доктор с едва заметной усмешкой в глазах ответил, что он намерен врачевать тела, а не души. Тогда они вспомнили о каких-то предупреждениях миссии по поводу его недогматической теологии. Впрочем, в том, что говорил сейчас пастор, тоже было немного от догматического христианства.

Все вдруг встали и заторопились, потому что доктор с супругой действительно очень устали с дороги. Им надо отдохнуть, а уж утром...

Доктор с женой ушли в свое новое жилище. Надвигалась габонская ночь. Тень паука металась по стене. Какой-то стон послышался из чащи. Ночь рождала страхи, подрывала решимость.

Но если в ту первую ночь на непривычном месте, под шорохи и таинственные вскрики джунглей, под всплески то ли диковинных рыб, то ли крокодилов, то ли гиппопотамов на реке ему еще думалось о трудностях и странностях этого мира, то с утра у него были тысячи забот.. И так пятьдесят два года, включая 1913-й – год первый от основания Ламбарене.

«На следующее утро в шесть часов зазвонил колокол; вскоре стало слышно, как дети поют гимн в классе; и мы стали готовиться к началу работы на новом месте».

Итак, он «начинал с нуля»; и впоследствии биографы немало потрудились, подбирая сравнения для того, что совершил в одиночку или почти в одиночку этот человек. Один говорил, что это было все равно как переплыть Атлантический океан в латах; другой сравнивал его труд с бесконечным трудом Сизифа; третий говорил, что ему понадобились при этом изобретательность Робинзона Крузо, отвага и организационные способности штабного офицера, бдительность полярного исследователя, который ищет предмет, затерянный в полярной пустыне.

Можно умножить число этих сравнений и все-таки не дать представления об огромности, будничности и необычности того, что он делал. Он просто остался без помещения и едва начал распаковывать вещи, как ему объявили, что прибыл первый больной. За ним второй, третий... И

тогда Швейцер начал прием. Здесь же, во дворе. Палило солнце... Духота изнуряла... Он не знал еще ни страны, ни климата, ни пациентов, ни даже своих возможностей. А больные все прибывали и прибывали в своих пирогах по реке, сверху и снизу, а также из лесу, по невидимым тропам. Одни ковыляли сами, других несли родные.

К вечеру он едва держался на ногах от усталости, но все же отметил с удовлетворением, что место он выбрал удачно: больные добираются сюда по реке. Кроме того, в этих местах еще живы рассказы об американском докторе Нассау и о заезжем хирурге-французе; здесь доверяют белому врачу. Он должен закрепить и развить этот первый успех.

Он наказал строго-настрога, чтобы приводили только тяжелобольных, пока он не распакует все инструменты и все лекарства. И все-таки они тянулись к нему без разбора – всякие больные, все больные. Плыли издали, за сто, за двести и триста километров по реке, полуголодные, осатаневшие от боли. Если бы он не приехал сюда весной, «в сезон дождей» 1913 года, некому было бы облегчить их боль, как некому было утешать ее «в сезон дождей» 1912 года и еще в течение многих-многих лет и столетий. Он помнил об этом, изнемогая от жары и усталости. И только в этом было для него утешение, потому что во всем остальном ему приходилось туго. Ливни часто загоняли его на веранду. Пускать пациентов в жилой дом он боялся: так оставались хоть какие-то шансы избежать инфекции. Потом он решился перейти в старый, дырявый птичник, где некогда держал своих кур уехавший миссионер.

Здесь страшная теснота. Швейцер не отваживается работать без шлема, потому что крыша дырявая, а он уже наслушался рассказов о том, как через дырочку величиной с монетку тропическое солнце ухитряется наносить свои удары. Зато ему не приходится теперь убежать под навес в бурю.

Елена оказалась великолепной помощницей. Она справлялась с домашним хозяйством в условиях джунглей, готовила для приема бинты, лекарства, стерилизовала инструменты.

Швейцеру с трудом удалось подыскать толкового санитаря. Он долго присматривался к пациентам, пытался разговаривать с ними через редких переводчиков. Но он не видел в их огромных черных глазах ничего, кроме боли, непонимания или благодарного облегчения. Наконец ему повезло. Пациент был веселый и бойко говорил по-французски. Он жаловался на здоровье, но, кажется, был изрядно здоров. Он рассказал, что раньше был поваром, но бросил это занятие, так как вот, доктор сам видит, здоровье не позволяет. Он знал не только кухню. Он знал французский и английский

языки, а также многочисленные здешние языки и диалекты. В общем, это был очень здоровый, способный, веселый, артистичный, лукавый человек, то вдруг мудрый и философски серьезный, то елейно назидательный, то безудержно расточительный и щеголеватый. Конечно, доктор не мог платить ему так много, как платили на кухне, и это часто портило их отношения. Но все же Джозеф был искренне привязан к доктору, а доктор привязался к этому «первому помощнику Альберта Швейцера», как называл себя до самой смерти Джозеф Азаовани.

Анатомию Джозеф изучал на кухне и в мясных лавках. Так что, хотя он не знал «кухонной латыни» современных медиков, он знал кухонный французский работников пищеблока. «У этого человека болит правая филейная часть, – сообщал он невозмутимо. – А у этой женщины – левая верхняя котлета и филейная часть».

Елена стала приучать Джозефа готовить инструменты и бинты к операции. Он все схватывал на лету. Конечно, он не мог прочесть надпись, он просто запоминал ее целиком и мгновенно находил нужное лекарство. Кроме того, он осуществлял синхронный перевод на галоа и пахуан (он делал это походя и нисколько не гордился столь серьезной ныне профессией переводчика-синхрониста). К сожалению, ни доктор, ни его жена не могли проверить, насколько красочно звучала их речь на этих экзотических языках в лукавом переводе Джозефа. Иногда Джозеф переводил Швейцеру и отзывы пациентов.

– Это настоящий доктор, – таинственно шепнула Джозефу одна старуха из дальней деревни. – Он даже не смотрел на мои ноги. Он сам сказал мне, что, наверно, мне трудно дышать по ночам и что у меня пухнут ноги. А я ведь ему не говорила...

Джозеф позволял себе давать советы доктору, и доктор внимательно их выслушивал. К сожалению, он не мог воспользоваться большинством из них. Джозеф настаивал, например, на том, чтобы Швейцер не принимал тяжелобольных и безнадежных. Колдун-заклинатель из джунглей никогда не лечит таких. Они умрут и подорвут репутацию исцелителя. Но Швейцер не мог отказать даже самым безнадежным. Впрочем, он извлек из советов Джозефа необходимый урок: нельзя обнадеживать родственников больного. Если больной умрет, они скажут, что доктор не знал, какая у него болезнь. К тому же эти люди всегда мужественно, без жалоб встретят самое трагическое предупреждение. И если больному все-таки станет легче, репутация доктора только возрастет. Тут Джозеф был прав.

Наконец, первая операция. Швейцера поразило, что больные так охотно ложатся на стол. Оказалось, что правительственный доктор-француз

однажды сделал здесь проездом несколько удачных операций.

Первым ложится на операцию больной с грыжей. Грыжи здесь очень часты, так же как и слоновая болезнь. Нередки ущемленные грыжи. Больные эти подолгу страдают и умирают. А ведь им можно так легко помочь операционным вмешательством.

Елена и ее ученик Джозеф ассистируют Швейцеру. Джозеф моет и кипятит инструменты. Выносит судно с кровью и гноем. Поразительно, что он согласился выносить судно: для африканцев все это является «скверным» и «нечистым». Джозеф с его легким характером без труда отказывается от суеверий.

Первая операция прошла успешно. Больные грыжей начинают ссориться из-за очереди, но пока Елена успевает подготовить материалы только для двух-трех операций в неделю. На ней ведь еще домашнее хозяйство, аптека, уход за тяжелыми больными...

Мало-помалу доктор вырабатывает твердые правила для своих пациентов. Конечно, это самые элементарные правила поведения, но сами по себе они поразительный документ, эти шесть заповедей, продиктованных условиями странного и неожиданного мира, в который он попал сейчас.

Габон. Джунгли. В самом их сердце пробуждается крохотный поселок ламбаренской миссии. В 8.30 утра начинается прием в клинике. Больные уже сидят к этому времени в тени у курятника, и один из помощников доктора медленно и старательно, чтобы каждый понял, а потом рассказал всем, зачитывает с крыльца на диалектах галоа и пахуан эти шесть заповедей доктора. И больные кивком подтверждают, что они, да, поняли «Приказы доктора», что они, да, согласны.

Вот эти заповеди врача из джунглей, отражающие новый период жизни Швейцера с такой же отчетливостью, с какой некогда отражали его «Бах», «Поиски исторического Иисуса», «Религиозная философия Канта» и «Правила органостроения». Заповедь первая гласит:

«Плевать возле дома доктора строго воспрещается».

В этой фразе целый отчет о габонских джунглях 1913 года, об условиях медицинской работы, о серьезности молодого доктора, о его пациентах, об опасностях, которые каждую минуту угрожают ему и окружающим.

Заповедь вторая взывает к спокойствию: читая ее, так и видишь галдящих пациентов, дырявый курятник и черноусого доктора, который пытается расслышать в стетоскоп неровное биение сердца:

«Ожидающие не должны громко разговаривать друг с другом».

Третья заповедь может поведать нам, что пациентов у Швейцера было слишком много, что они приплывали сюда издалека, да еще не в одиночку, а семьями, что, кроме болезней, их терзал голод – и сейчас, и всегда, из поколения в поколение...

«Пациенты и их друзья должны приносить с собой запас пищи на целый день, потому что осмотреть всех до обеда доктор не успеет».

Четвертая заповедь может показаться непонятной:

«Всякий, кто проведет ночь в миссии без разрешения доктора, будет отослан назад без всякого лечения».

Очень скоро доктору пришлось убедиться, что, оставаясь в миссии на ночь, пациенты и их друзья толпятся в спальной школьников, сгоняют их с коек и ложатся на их место. Позднее, узнав джунгли поближе, доктор стал опасаться отравителей, которых здесь было много, и колдунов-заклинателей, видевших в нем конкурента. Сам он, кстати, вел себя в отношении всех этих колдунов, заклинателей и жрецов с мудрым тактом, каким вообще было отмечено его отношение к чужой национальной традиции и культуре.

Пятая заповедь тоже может показаться и несущественной, и мелочной для столь священного Документа. Но доктор уже давно убедился, как многих практических мелочей потребует от него служение духа. Заповедь гласила:

«Все бутылочки и металлические коробочки, в которых выдаются лекарства, должны быть возвращены».

Объяснение этому правилу можно найти в одном из писем-отчетов Швейцера (из них потом составила книга об Африке): «Воздух здесь такой влажный, что лекарства, которые в Европе можно было бы отпустить просто в бумажке или картонной коробочке, здесь можно сохранить только в закупоренной бутылочке или в герметически закрытой жестянке. Я не учел этого и оказался в столь затруднительном положении, что вынужден ссориться с пациентами, которые говорят, что они забыли дома или потеряли коробочку. В каждом своем письме в Европу я заклинаю друзей, чтоб они собирали среди своих знакомых маленькие и большие бутылочки, стеклянные пробирки с пробкой и металлические коробочки всех размеров. С каким нетерпением думаю я о времени, когда у меня будет всего этого в достатке».

Шестая заповедь напоминает, что Ламбарене стояло в самом сердце джунглей, в шестистах милях от моря и от ближайшего порта (он же был в то время ближайшим городком) и что известия из Европы и других частей так называемого цивилизованного мира можно было получать только раз в

месяц: «С середины месяца, когда пароход пойдет вверх по реке, и до тех пор, пока пароход не пойдет обратно, осматривать будут только тяжелобольных, чтобы доктор мог написать в Европу и получить оттуда побольше своих ценных лекарств».

После объявления шести заповедей начинается прием, который длится почти четыре часа, в страшной духоте, в тесноте и шуме. Прием замедляется необходимостью объясняться через переводчиков, а зачастую и непонятливостью больных, приходящих сюда из глухих деревушек, из самой глубины джунглей.

«Много времени уходит на то, чтобы объяснить им, как принимать лекарство, – писал Швейцер. – Переводчик говорит им это раз и два, и они снова и снова повторяют все за переводчиком; предписания приложены также на ярлыке к бутылочке, чтобы каждый житель деревни, который умеет читать, мог прочесть им их снова, и все же я никогда не бываю уверен, что они не опорожнят бутылку в один прием, не съедят мазь, не вотрут порошки в кожу».

В половине первого помощник доктора объявляет обеденный перерыв. Пациенты кивают в знак понимания и согласия. Сами они разбредаются в тени, подкрепляясь бананами.

С двух часов дня снова прием. В шесть темнеет, но всех принять до шести почти никогда не удается. Продолжать прием при лампе доктор не может из-за москитов и из-за опасности занести инфекцию.

Постепенно доктор вырабатывает собственную систему клинического обслуживания. Казенные врачи не раз говорили ему, что он счастливый человек: он избавлен от бюрократической писанины. В глазах его вспыхивали при этом лукавые искорки: он ведь предвидел, что работа его должна быть независимой от учреждений – независимой и международной.

Выработанная им система проста. Он записывает в журнал диагноз, лекарство и тару, а пациенту дает картонную бирочку с номером. Пациент тут же подвешивает номер на шею, на одну веревочку с жетоном об уплате подоходного налога. И доктор чувствует, что бирочка приобретает для больного весомость амулета.

При повторном визите доктор по номеру с бирочки мгновенно находит в журнале старый диагноз, требует назад посуду и даже получает ее иногда.

Шесть часов. Кончается прием. Уже полсуток напряженного труда, но до отдыха еще далеко. У доктора тьма хозяйственных дел. Доктор строит больничный домик и спешит, чтобы закончить работу к осени.

Вечерами, несмотря на усталость, доктору иногда удается посидеть над хоралами Баха, которые он готовит для издания.

Он нашел в интеллектуальных занятиях огромную поддержку для своей практической деятельности. Он собирался отречься от всего – от философии, от теологии, от музыки – и тяжело переживал это отречение. Отречение его было вызвано не аскетизмом: поклонник рационального XVIII века, он не видел смысла в аскетических крайностях. Просто он думал, что это будет отвлекать его от дела, что у него не останется времени ни на что, кроме работы. Он нисколько не страдал оттого, что рядом не было цивилизации, что здесь не было городов и даже от маленького городочка его отделяла чуть не тысяча километров. Однако без музыки он страдал бы здесь, потому что он мог бы повторить вслед за своим возлюбленным Толстым: «Если бы вся наша цивилизация полетела к чертовой матери, я не пожалел бы, а музыки мне было бы очень жаль...»

Перед отъездом Швейцера в Африку парижское Баховское общество подарило ему пианино с защитным покрытием против сырости джунглей и со специальным, органным педальным устройством. Сам доктор думал тогда, что не притронется больше к клавишам. Он хотел, чтобы скорее огрубели пальцы, чтобы его не тянуло больше к музыке, чтобы боль этой потери притупилась. Но однажды вечером, когда ему было особенно грустно, когда закончился тяжкий день строительных хлопот, принесший ничтожные плоды, когда, вконец измученный и разбитый, доктор пришел, наконец, в свою комнатку, он сел за пианино и стал играть Баха. И почувствовал вдруг огромное облегчение, могучий прилив сил. Более того, он понял, что вот это и есть подлинный «досуг», то, чего так не хватает в городах, полное растворение в новом занятии, отличном от труда, полная свобода. Он почувствовал себя отдохнувшим после часа игры, и он подумал, что в его отречении от музыки нет никакого смысла, потому что музыка только поможет ему работать, поможет сохранить ровное состояние духа, сохранить здоровье, принадлежащее теперь не только ему одному, но и его пациентам. Позднее он убедился, что человек, сохраняющий интеллектуальные потребности, легче переносит заточение в джунглях, дольше сохраняет бодрость и здоровье. Он обратил внимание на то, что европейцы здесь читают больше, чем дома, и притом читают серьезные книги. Он заметил, напротив, что люди грубые здесь скорее опускаются, спиваются, хандрят, болеют. И он стал постепенно возвращаться в немногие часы своего досуга и к теологии, и к философии, и к музыке. Он решил проиграть по вечерам произведения Баха, Мендельсона, Видора, Франка и Регера, углубляя и совершенствуя свою технику.

«Как я наслаждался, – вспоминал он позднее, – возможностью играть на досуге и в тишине, без всякой спешки, связанной с предстоящим

концертом, хотя зачастую мне удавалось выкроить для этого занятия не больше получаса в день!»

Его первые письма из Африки дышат торжеством победы. Это письма счастливого человека. У него еще нет помещения, зачастую он просто с ног валится от усталости, он еще не выработал прочных навыков в обращении с пациентами, у него мало опыта, мало помощников и много больных. И все же это победа. Только вчитайтесь в любой из этих деловых отчетов:

«Работу затрудняет то, что в курятнике можно держать очень мало лекарств, так что приходится бегать за лекарствами через двор... Когда же будет готово здание моей больницы? И что, если оно не будет готово?»

«Пациентов оказалось больше, чем я ожидал. Я послал обширный заказ июньской почтой, но лекарства придут не раньше, чем через три-четыре месяца, а между тем хинин, антипирин, бромистый калий, салол и дерматол почти на исходе...»

«Однако что значат все эти неприятности в сравнении с радостью, которую я испытываю от того, что нахожусь здесь, работаю и помогаю людям? Какими бы ограниченными ни были наши средства, как все-таки много можно сделать с их помощью! Достаточно увидеть радость человека, которого мучила язва, в момент, когда раны его уже перевязаны и ему не приходится больше волочить по грязи свои бедные кровоточащие ноги. Достаточно увидеть это, чтобы почувствовать, что работать здесь стоит».

Он не ошибся: он был здесь по-настоящему нужен. Эти многострадальные джунгли с их вымирающим населением ждали его, обыкновенного человека, вооруженного медицинскими знаниями и этикой любви к людям. Он пришел сюда как спаситель от боли, а иногда даже, пусть не так часто, и спаситель от смерти.

«Обозревая работу двух с половиной месяцев, – снова пишет он в июле, – я могу сказать только, что врач здесь нужен, очень нужен, что к его помощи прибегают туземцы, живущие на расстоянии многих миль в округности, и что с весьма незначительными средствами врач может здесь сделать очень много добра. В нем здесь есть настоящая потребность. „Тут у нас все больны“, – сказал мне несколько дней назад один юноша. А старый вождь выразился так: „Наша страна пожирает своих детей“.

Друзья в Европе, отговаривая его от поездки, зачастую говорили, что он преувеличивает бедствия Африки, что безмятежные «дети природы» меньше страдают от болезней, чем европейцы. И вот он увидел страну-Молох, страну, терзаемую почти всеми болезнями (ему не встречались, кажется, только рак и аппендицит). Швейцер пишет, что «в начале сухого сезона в ламбаренской церкви чихают и кашляют так же часто, как во

время новогодней всеобщей в Англии». Парадоксальная фраза о простуде, вычитанная им в учебнике тропической медицины, оказалась справедливой. Дети умирают здесь от плеврита. Ревматизм встречается здесь чаще, чем в Европе, и даже встречается подагра, хотя здешние пациенты не могут похвастаться эпикурейской диетой. Тела габонцев покрыты язвами, люди не спят по ночам, мучимые зудом. Каждый четвертый ученик здешней школы страдает от язв. Есть язвы, вызванные укусом песчаных мушек, которые забираются под ногти и там растут, вызывая гангрену, и приводят к ампутации пальца. Африканцы с десятью пальцами на ногах здесь вовсе не составляют большинства населения. Есть еще ранки «кро-кро», происхождение которых неизвестно, и красноватые прыщи малиновой болезни – фрамбезии. Бедой габонцев является и страшная тропическая «жрущая» язва.

Швейцера поражает количество сердечных заболеваний. А проказа! С самого начала в его клинике лечатся не меньше четырех-пяти прокаженных сразу. А болотная лихорадка! А тропическая малярия, сопровождаемая страшной анемией! А тропическая дизентерия! А грыжа, при которой больной катается в муках по земляному полу, пока смерть (или операция) не принесет ему облегчения. А венерические болезни, занесенные сюда европейцами и охватившие чуть ли не восемьдесят процентов населения! А мочеполовые болезни! И наконец, бич здешних мест – сонная болезнь, занесенная сюда из других уголков Африки гребцами и носильщиками европейцев! Еще на пароходе лейтенант рассказал Швейцеру, что как-то он проходил через деревню с двухтысячным населением, в которой на обратном пути насчитал только полтысячи человек: остальных унесла сонная болезнь.

Однажды доктор с женой, сами к этому времени больные и измученные, остановились отдохнуть в домике торговца из Кейп-Лопеса, в устье Огове. Рядом с домиком торговца стояли опустевшие лачуги, где жили когда-то рабочие.

«На второй день после приезда, – рассказывает Швейцер, – я пошел узнать, не остался ли там кто-нибудь, но на мой стук никто не отозвался. Тогда я стал открывать одну за другой двери этих лачуг и в последней из них увидел лежащего на земле человека: голова его зарылась в песок, муравьи ползли по телу. Это была жертва сонной болезни, и спутники этого человека, вероятно, бросили его... из-за того, что он не мог идти с ними дальше. Он был уже в безнадежном состоянии, хотя и дышал еще. Хлопоча над ним, я иногда поднимал голову и видел в распахнутую дверь лачуги ярко-синие воды залива в зеленой оправе лесов, картину почти магической

красоты, казавшуюся еще прекраснее в золотом океане света, разлитого заходящим солнцем. Странно и трогательно было видеть в соседстве этот рай и это беспомощное, безнадежное убожество, эту нищету... Однако это символ сегодняшней Африки».

«Я могу ограничиться здесь лишь намеком на то, – пишет Швейцер, – что труд врача в тропиках заключается по большей части в борьбе с болезнями, которые европейцы принесли этим детям природы. Однако вы можете представить себе, сколько горя скрывается за этим намеком!»

Швейцер был полон сострадания к детям этой удивительной, великолепно щедрой и убого нищей страны. Однако сострадание Швейцера к народу колониального Габона было не пассивно. Он приехал не сетовать, не проливать слезы. Мысль о представившейся ему возможности помогать людям неизменно волнует его, и потому эти первые письма из Африки при всех дотошнейших подробностях медицинского и хозяйственного характера содержат немало поистине патетических мест.

«Как описать чувства, которые я испытываю, когда мне приводят больного в таком состоянии? Я единственный человек на сотни миль вокруг, который может помочь ему. И благодаря тому, что я нахожусь здесь... он может быть спасен, как уже были спасены те, кто приезжал до него в таком же состоянии, и как будут спасены те, кто приедет потом и кто в противном случае принужден был бы страдать. Это не означает, что я могу спасти ему жизнь вообще. Все мы смертны. Но я могу спасти его от многих дней страдания, и каждый раз, когда я ощущаю эту свою возможность, она представляется мне огромной и всегда новой для меня привилегией. Боль является еще более страшным властителем рода людского, чем даже сама смерть».

Итак, он не может дать человеку жизнь, но он может избавить его от страданий, утолить его боль, помочь ему сейчас, сию минуту. Он как будто не верит в чудеса и все же как чудо переживает каждый раз акт исцеления. С каким восторгом говорит он о всяком, даже малейшем, достижении медицины, о лекарствах, которые помогают, да, представьте себе, помогают! Сэнтузиазмом настоящего неопита этот тридцативосьмилетний начинающий доктор рассказывает, как ему удастся врачевать язвы при помощи хирургического вмешательства, промывки, повязок (вместо губительного способа присыпать рану порошком из коры, распространенного среди туземцев) :

«Зато какое счастье, когда больной – конечно же, прихрамывая, потому что залеченная рана все-таки деформирует ногу, и тем не менее радуясь освобождению от боли и зловония, – садится в пирогу, чтобы вернуться

домой!»

Что ни избавление, то чудо или на грани чуда. Швейцер ликует по поводу успешного лечения сердечников дигиталисом и лечения дизентерии эметинном. «Да если бы у врача в тропиках не было никаких других средств, кроме тех, которые дают ему недавно открытые арсено-бензол и эметин, – восклицает молодой врач, – и то стоило бы приехать сюда!»

Особенно большое впечатление и на пациентов и на самого врача производят хирургические операции. В Ламбарене привозят больного, который извивается от боли. У него ущемленная грыжа. Но вот операция и лечение позади: пациент уезжает спокойный и радостный. Не чудо ли? Операции удаются, слава нового доктора растет. «Пока все мои операции проходили успешно, – пишет он, – и это рождает у туземцев такую веру в меня, что мне даже страшно».

Отчеты Швейцера об операциях, а позднее и отчеты его помощников, довольно опытных хирургов, не раз появлялись в медицинских журналах. Анализируя эти отчеты, специалисты отмечали высокую эффективность ламбаренской хирургии, низкую, совершенно ничтожную (около полпроцента) смертность среди оперируемых. Высокоэффективными были и другие виды лечения. Конечно же, эти успехи заставляли габонцев проникаться все большим доверием к исцелителю. Но странно, что никто из писавших о лесной клинике Швейцера (а написано о ней, право же, очень много) не отмечал вот этой обратной связи: влияния, которое могла оказывать на результаты лечения огромная вера пациентов в магию белого доктора.

У Стефана Цвейга во вступлении к трилогии «Врачевание и психика» есть интересное рассуждение о распаде единства врача и жреца в современной медицине. «Жрец отступает от врачевания, – пишет Цвейг, – врач отказывается от всякого воздействия на душу, от магии... „болезнь“ распадается на бесчисленные, точно обозначенные болезни. И вместе с тем ее сущность теряет в известной степени связь с духовной личностью человека». В Европе «врачебное искусство» опускается на ступень «искусства ремесленного», и к тому же между врачом и врачуемым становится третья, полностью бездушное существо – аппарат. К этому еще присоединяется «рационализация извне» – организационная; Цвейг описывает «клиники, эти гигантские вместилища горя человеческого», где возникает перенапряженное массовое производство, где «не зажечься ни одной искре внутреннего контакта между врачом и пациентом», где при всем желании становится все более невозможным малейшее проявление таинственного магнетического взаимодействия душ. По мнению Цвейга,

этой новой системе в западном мире по-прежнему противостоит простой человек, который все еще смотрит на болезнь как на нечто сверхъестественное, который все еще противопоставляет болезни душевный акт надежды, все еще хочет видеть вместо специалиста человека. «Пусть давно уже в свете электричества рассеялась вера в ведьм и дьяволов, – пишет Цвейг, – вера в этого чудодейственного, знающего чары человека сохранилась в гораздо большей степени, чем в этом признаются открыто».

В Африке врач и жрец были еще едины, а болезнь воспринималась африканцем как некое единство, подвластное магии исцелителя, будь то врач или колдун. Вот как рассказывает об этом Швейцер в одном из писем:

«То, что болезни имеют свои естественные причины, никогда не приходит в голову моим пациентам: они приписывают их злым духам, злой магии человека или „червячку“, который в их представлении воплощает всякую боль. Когда просишь описать симптомы болезни, они заводят речь о „червячке“, рассказывают, как он был сперва в ногах, потом переполз в голову, а оттуда пробрался в сердце...»

Все лекарства должны способствовать именно изгнанию «червячка». Если я успокаиваю боль в желудке при помощи опиума, то пациент на завтра приходит ко мне, сияя от радости, и сообщает, что червячок изгнан из его туловища и теперь поселился в голове, где пожирает его мозг; не могу ли я теперь дать ему что-нибудь и от головы тоже?»

Это как раз то, о чем говорит Цвейг: болезнь воспринимается в целом, и акт ее изгнания представляется, без сомнения, магическим, что с удивлением отмечает Швейцер, рассказывая, как почитают его картонный жетончик многие из пациентов, особенно пахуаны. Для них это фетиш, амулет.

«Меня на языке галоа зовут среди туземцев „Оганга“, то есть „заклинатель“, – пишет Швейцер, – у них нет другого названия для врача, и своих соплеменников, которые занимаются врачеванием, они тоже называют так. Мои пациенты считают вполне логичным, что человек, который может исцелять болезни, должен быть в силах также и вызывать их, даже на расстоянии. Меня поражает тот факт, что я могу пользоваться репутацией существа столь доброго и в то же самое время столь опасного!»

Вера в магию, амулеты, фетиши, в разного рода проклятия и табу была, по мнению Швейцера, одним из величайших зол джунглей, с которыми европеец должен вести борьбу, хотя и очень осторожную, очень тактичную, действуя скорее при помощи дружелюбной шутки, чем путем прямого убеждения или насилия. Достаточно парадоксально, хотя и вполне

правдоподобно, что та же вера в магическую силу Оганги, позднее соединявшаяся с верой в его человеческое могущество, помогала на первых порах молодому доктору оказывать столь эффективную помощь своим пациентам.

В Швейцере-враче особенно отчетливо выделялась черта, которая не может не вызывать глубокой симпатии у тех представителей большей части человечества, которых когда-либо называли грустным словом «больной» или не менее грустным «пациент», что в буквальном переводе значит «терпящий». Швейцер был полон сочувствия, сострадания, он волновался за человека, он не поддавался спасительному для врача воздействию эмоционального иммунитета, притуплению чувствительности к чужой боли и так называемому «эмоциональному параличу», постигающему даже весьма достойных представителей этой достойнейшей из профессий на земле.

Швейцер пишет в своих воспоминаниях:

«Сама работа, как бы трудна она ни была, все же не лежала на мне таким бременем, как те тревоги и та ответственность, которые ее сопровождали. К несчастью, я не принадлежу к числу медиков, наделенных жизнерадостностью, которая столь необходима при этом занятии, и потому я находился в постоянной тревоге за тяжелых больных и за тех, кого пришлось оперировать. Напрасно старался я выработать в себе спокойствие характера, дающее врачу возможность, несмотря на все его сочувствие страданиям пациента, управлять своей духовной и нервной энергией, как он захочет».

Это непреходящее волнение за пациента, эта повышенная чувствительность (как бы ни отозвались о ней истинные профессионалы) и это «вникновение» представляются пациенту из века высокоорганизованной медицины чертой крайне симпатичной. Тот же Цвейг писал о врачах, которые как на конвейере проносятся от постели к постели и большей частью не имеют времени «заглянуть в лицо человека, прорастающего страданием». Единственным, кого Цвейг мог противопоставить этому обезличиванию и обездушиванию врачебной науки, был допотопный, вымирающий экземпляр медика, «последний, в ком оставалось еще от двойственности жреца и врача», – домашний врач. Характерно, что Швейцер не раз называл себя то домашним врачом из джунглей, то деревенским доктором из джунглей.

Так или иначе, сострадательную чувствительность Швейцера трудно охарактеризовать как типичную для современного западного (а может, и не только западного) врача. Вслушайтесь только в его рассказ о первых

операциях:

«...Когда стонущий бедняга приходит ко мне, я кладу ладонь ему на лоб и говорю: „Не бойся! Через час ты уснешь, а когда проснешься, больше не будешь чувствовать боли“. Вскоре ему делают инъекцию омнипона, в больницу вызывают Жену Доктора, и вместе с Джозефом она готовит все для операции. Перед началом она вводит больному анестезирующие средства, и Джозеф в длинных резиновых перчатках помогает ей.

Операция закончена, и в слабо освещенной спальне я наблюдаю за пробуждением больного. Едва сознание возвращается к нему, как он начинает изумленно оглядываться и восклицать: «Мне больше не болит! Не болит...» Рука его, разыскав мою руку, держит ее, не отпуская... Африканское солнце, пробившись через ветви кофейных деревьев, уже заглядывает к нам под темный навес, а мы сидим бок о бок, черные и белые, ощущая, что смогли на деле познать сегодня значение слов «все вы – братья». Если бы мои щедрые друзья из Европы только могли прийти сюда и пережить с нами один такой час».

Глава 10

Дорогой шкипер рассказал доктору, что он тут недавно ремонтировал суденышко, нагнувшись. Солнце пробралось ему при этом под шлем и падало на затылок. А результат – доктор видел: еле-еле выкарабкался, еще бы немного – и крышка. Такое уж тут солнце, на экваторе.

Они плыли в Н'Гомо. Там кто-то тяжело заболел в миссии. Доктору приходилось время от времени предпринимать такие поездки, и это вносило в жизнь приятное разнообразие: бескрайние просторы Огове, кромка девственного леса, вон гиппопотамы плещутся у берега, рыба сверкнула на середине реки. Первозданная красота природы всегда наводила его на серьезные мысли. Не удивительно, думал он, что пациенты его, африканцы, так часто бывают склонны именно к серьезному и существенному, к первоосновному, фундаментальному мышлению. Приходили на память слова Гёте: «Природа не допускает шуток, она всегда серьезна и строга, она всегда правда». У Швейцера было ощущение, что именно здесь, в такие минуты, рождаются существенные, стоящие мысли.

В Н'Гомо была больна миссис Форе, жена миссионера: прошла несколько шагов без шлема – и вот, солнечный удар.

Миссионер месье Хог сделал доктору необычный подарок. Один из жителей деревни привел к месье Хогу жену и сообщил, что оба они давно уже страдают бессонницей, но тут он слышал недавно во сне голос, который сообщил ему, что они смогут излечиться, если он отдаст наследственный фетиш семьи месье Хогу и будет выполнять приказы месье Хога. Мирный протестантский проповедник включался, таким образом, в систему древней африканской магии. Приказы месье Хога были разумны и доброжелательны: он приказал супружеской чете отправиться в Ламбарене, к доктору Швейцеру, а самому доктору передал этот странный подарок.

Швейцер уже знал в принципе, из чего состоит фетиш. Напротив ламбаренской миссии, на новой плантации, висел фетиш в бутылке, предназначенный для охраны плантации. В состав фетишей входили, как правило, предметы, назначение которых было непонятным. В ходу были когти и зубы леопарда, мешочки с красной землей, красные перья и даже странной формы европейские колокольчики XVIII века, уцелевшие от времен меновой торговли. Что было куда более трагичным – в фетиш нередко включались кости из человеческого черепа или даже целый череп, причем череп, добытый специально для фетиша.

В фетише, подаренном месяце Хогом, тоже оказались два продолговатых кусочка из теменной части черепа, окрашенные каким-то красноватым веществом.

По возвращении в Ламбарене доктора ждало радостное известие: дом у подножья холма был достроен. Это был небольшой домик из рифленого железа, крытый пальмовыми листьями. Здесь уместилась малюсенькая аптечка, приемная и маленькая операционная. В конце осени Швейцер начал прием в новом доме, а в декабре он получил в свое распоряжение навес для больных и новую приемную, которые были построены из бревен и покрыты, как туземные хижины, листьями рафии. В палате, под навесом, Швейцер начертил на полу шестнадцать больших прямоугольников – места для лежания. В тот же день на лодках привезли дерево, а к ночи все шестнадцать лежанок были готовы. Это было нехитрое и практичное устройство: четыре столбика с рогаткой, две длинные жерди, а поперек – несколько палок покороче. Поверх была сухая трава вместо матраса, а внизу, до пола, еще оставалось полметра, чтобы прятать пожитки и запас бананов. Койки широкие – так, чтоб можно было уместиться вдвоем и втроем, накрывшись принесенными из дому противомоскитными сетками. Разделения на женскую и мужскую палаты не было – как дома. Все как дома, и доктор тверд был только в одном требовании: чтобы здоровые, живя в палате во время своих посещений, не сгоняли на пол больных.

Доктор не теоретизировал, не рассуждал о принципах организации здравоохранения: он просто лечил. Однако мало-помалу в процессе его практики в Ламбарене стал складываться его собственный, особый, ни на что не похожий тип лесной клиники, больницы джунглей, вызывавшей впоследствии столько нареканий и столько недоумений.

Доктор наблюдает за пациентами, за тем, как они устраиваются в больнице, как организуют свой быт. И он не ломает этот быт, не совершает «культурных революций», а понемножку приспособливает правила больницы к этому быту. Больше того, больные сами подсказывают ему многое. В джунглях очень сильны внутрисемейные связи. Что ж, Швейцер разрешает пациентам приводить семью в больницу. Нерационально было бы строить палаты европейского типа, ставить больного в непривычные условия. И Швейцер не навязывает больным ничего, что могло бы их сейчас расстроить. Он видел, как умирают здесь люди, нарушившие глупейшие табу: он знает, как легко травмировать психику африканца. Не надо нарушать табу, не надо добавлять к страданиям больного психическую травму, вызванную больничным режимом, если в этом нет острой необходимости.

В лесной клинике Швейцера лежало в тот первый год уже до сорока больных. Вокруг домика выросли бамбуковые хижинки.

Жизнь в джунглях была на поверхности довольно однообразна – больные, больные, больные...

В начале сухого сезона ночи становятся холоднее. У габонцев нет постели, они спят на земле, и в этот сезон становится все больше случаев простуды.

Швейцера долго мучило, в чем причина непонятных желудочных расстройств, пока, наконец, случайно он не узнал от Джозефа, что, когда габонцы страдают от бессонницы, они курят всю ночь, чтобы оглушить себя. Теперь, когда Швейцеру жалуются на запоры, он задает и такой вопрос: «Сколько трубок в день выкуриваете?» Табак здесь распространен как эквивалент обмена – головка в семь листьев всегда может пригодиться в путешествии. Швейцер берет с собой ящик табака и вдохновляет им гребцов. Только при этом надо все время сидеть на ящичке. Вообще гребцы бывают им не очень довольны. Во время путешествия в Самкиту они сказали:

– Вот если бы месье Кадые был с нами, он настрелял бы на ужин обезьян и птиц.

В Самките происходило собрание миссии и местных проповедников. Здесь поддержали просьбу Швейцера об ассигновании на строительство больницы. Вообще у него сложились прекрасные отношения со всеми. Однажды во время какого-то теологического затруднения один из миссионеров даже обратился к нему с вопросом. Впрочем, тут же с места последовал протест от проповедника-африканца из далекой деревни:

– Так нельзя. Ведь доктор же не теолог, как мы с вами.

Впрочем, когда отцы из миссии убедились, что он вовсе не навязывает им своих теологических взглядов, они разрешили ему даже читать проповеди. Запрет был снят, и он больше не должен был «молчать как рыба».

Иногда он читал проповеди и находил в этом немалую радость. Кроме того, ему прислали старую африканку, которая готовилась к обращению в христианство. Профессор теологии старался задавать ей вопросы полегче, а она отвечала ему с большой находчивостью. Вопрос о том, был ли Иисус Христос беден, привел ее в изумление. «Что за дурацкий вопрос! – воскликнула она. – Если Бог, Великий Вождь, был ему отцом, то как же он мог быть беден!» Швейцер был в общем-то доволен ее ответами. Увы, высокая оценка известного европейского теолога не помогла находчивой старухе африканке. Местный пастор побранил ее за непосещение занятий

по катехизису и велел еще раз прийти на экзамены через полгода.

Швейцер отметил, что обращение редко меняло мировоззрение африканцев. Колдуны и заклинатели по-прежнему держали их в страхе; местные боги и местные обряды сохраняли свою силу и уживались со всеми видами христианства – и с протестантским, и с католическим, и с самым либеральным, габонски-миссионерским. Джозеф просвещал своего доктора, вводя его в сложный мир габонской психологии.

Доктор, с своей стороны, пытался преподать помощнику некоторые, несомненно, удобные европейские добродетели – например, бережливость. Пока Джозеф служил поваром на побережье, жена его ушла к белому. Теперь нужно было приобрести новую спутницу жизни, а для этого требовалось хотя бы 600 франков. Конечно, эту сумму, равную примерно 24 фунтам, можно было выплатить и по частям, но Джозеф говорил, что это ему не подходит. И доктор находил, что Джозеф, вероятно, прав. Родные такой купленной в рассрочку жены могли вдруг потребовать уплаты остальной суммы сразу, а то и увеличить сумму. Жене в этих условиях тоже ничего не скажи, а то уйдет. Если утром у его помощников бывали мрачные лица, доктор уже знал, что ночью у них тайком увезли жену. Вообще Швейцер заметил, что при подобной системе платежей женщина сохраняет довольно большую независимость в африканской семье. Она всегда может пожаловаться родителям и братьям, а то и сбежать вообще.

Так или иначе, «Первому помощнику Доктора» была нужна жена, и бережливый эльзасец доктор Швейцер пытался приучить своего помощника к экономии. Доктор подарил Джозефу копилку и обязал его бросать туда все приработки за ночные дежурства и деньги, подаренные Джозефу белыми пациентами. Впрочем, уверенности в будущем Джозефа у Швейцера не было.

Однажды они вместе пошли за покупками в ламбаренский магазин, и, пока доктор покупал гвозди и шурупы, Джозеф присмотрел себе пару лакированных ботинок, которые от долгого пребывания в парижской витрине высохли и сопрели. Стоимость этого предмета парижской роскоши равнялась месячному заработку Джозефа, и все-таки к тому моменту, когда Швейцер освободился, Джозеф уже начал прицениваться к ботинкам. Доктор взглянул на своего помощника страшным взглядом, но Джозеф невинно отвел глаза. Тогда доктор довольно сильно ткнул Джозефа в ребро, тайком, за прилавком.

Продавец, конечно, очень хотел сбыть лежалые туфли и разливался соловьем. Джозеф на всех парусах шел к безумной трате, и тогда бережливый доктор стал пребольно щипать его сзади, в результате чего

сделка была расстроена.

«На обратном пути, в лодке, – пишет Швейцер, – я прочел ему длинную нотацию о его детском пристрастии к неразумным и дорогим покупкам, но единственным результатом этой лекции было то, что назавтра же он тайком отправился в эту лавку и купил туфли! Почти половину того, что он зарабатывает у нас, Джозеф тратит на костюмы, туфли, галстуки и сахар. Он одевается гораздо элегантнее, чем я».

Вся эта сцена описана с характерным швейцеровским юмором, но последняя фраза поистине уморительна. Можно представить себе, как смеялся бы Джозеф, если бы умел читать, ибо все пятьдесят лет доктор Швейцер расхаживал по Ламбарене в старых, хотя и чистых, штанах цвета хаки и белой полотняной рубашке.

Впрочем, в этой комической сценке есть серьезный момент (кстати, ведь и бережливость Швейцер считал вполне серьезной добродетелью), к которому Швейцер не раз возвращался впоследствии: он отмечал, что колониальные магазины торгуют всякой нелепой дребеденью и лежалыми товарами, не находящими сбыта нигде, кроме Африки. Это было характерной чертой колониальной политики и, по существу, одной из попыток увеличить невысокие потребности африканцев, всучивая им разнообразные бессмысленные предметы и заставляя их в результате этих трат продавать свою рабочую силу.

Проблема рабочей силы вопреки расхожему мнению оказалась в джунглях до крайности сложной. Здесь не только нельзя было найти даровых рабочих, но и невозможно было найти рабочих вообще. И первое объяснение, которое давали этому явлению белые, сводилось к тому, что африканцы ленивы. Швейцер опровергал это мнение со всей решительностью. Склонности ученого и врожденное чувство справедливости призывали его «заглянуть поглубже в суть проблемы».

«Всякий, кто видел, как обитатели туземной деревни расчищают под банановую плантацию кусок девственного леса, – писал он, – знает, что негры в течение нескольких недель могут работать с полным напряжением сил и с большим энтузиазмом... Что касается меня лично, то могу ли я, положив руку на сердце, сказать, что негры ленивы, после того как пятнадцать негров доставили ко мне тяжелобольного белого и при этом гребли без передышки против течения тридцать шесть часов.

Итак, негр работает хорошо при определенных обстоятельствах, но только тогда, когда этого требуют обстоятельства».

Разгадку проблемы Швейцер видит в том, что габонец из джунглей всегда лишь временный рабочий, потому что «в обмен на небольшое

количество работы природа снабдила его всем, что необходимо для поддержания его жизни в деревне». А следовательно, габонцу незачем наниматься на работу, и если он делает это, то временно, при чрезвычайных обстоятельствах: надо выкупить жену или жен, купить красивый материал на платье жене, новый топор, табак, ром или костюм цвета хаки. Потом он возвращается в деревню.

«Негр вовсе не лентяй, – полемически восклицает Швейцер, – но свободный человек...»

Так сын трудолюбивой страны, где обработан каждый клочок земли, где традиции ежедневного труда столь прочно вошли в быт, в кровь, в манеры, в мораль, приходит к пониманию психологии своих пациентов.

Трудолюбие и постоянный труд – это далеко не единственная традиция и единственный уклад жизни, существующий на земле, говорит Швейцер, подойдите к африканцу с более широкими взглядами. Впрочем, когда доходило до практического использования этого открытия в пятидесятиградусную жару, при страшном переутомлении, наплыве страдающих пациентов и нехватке всего, что только может понадобиться для работы, Швейцер, увы, не всегда умел оставаться на уровне своих рассуждений. Сказывалось переутомление, тягостное чувство ответственности...

Что же до попыток колониальной администрации принудить африканцев к работе посредством расширения их потребностей или насилия, то Швейцер описывает эти эксперименты довольно презрительно. Торговцы предлагали африканцу товары – полезные, бесполезные и вредные (алкоголь).

«Полезные никогда не потребуют того, чтобы он работал достаточно много. Бесполезные и ром действенней. Только посмотрите, что продается в джунглях!»

По мнению Швейцера, увеличение нужд дает немного, потому что африканец станет настоящим работником для промышленности только тогда, когда перестанет быть свободным человеком. Трагизм африканских проблем Швейцер видел в том, что задачи колонизации и цивилизации не совпадали, более того, являлись антагонистичными. Цивилизация, согласно мнению Швейцера, впервые высказанному им уже тогда, в первый год пребывания в Африке, требовала, чтобы африканцы оставались в деревнях, чтобы они обучились промыслам, научились разводить плантации, выращивать кофе и какао, строить дома. Цели колонизации несколько иные: «Ее пароль – „производство“, и требования ее сводятся к тому, чтобы капитал, вложенный в колонии, приносил прибыль, а метрополия в

результате этих связей удовлетворяла бы свои нужды».

«Невозможно согласиться, – пишет Швейцер, – что колония процветает, если в ней... количество местного населения убывает год за годом. Поддержание местного населения должно быть первой целью всякой здоровой колониальной политики».

Рассуждение как будто разумное. Тем не менее лучше оставить в покое социологические опыты Швейцера, ибо ничто в его деятельности и сочинениях не вызывало такой бури протестов во все периоды и со всех флангов, как эти его скромные практические соображения по африканским проблемам.

Обратимся поэтому лучше к его больнице. Она переживала свои немалые трудности. Поскольку популярность его росла, росло и количество больных, прибывающих в Ламбарене. К исходу первых девяти месяцев Швейцер отметил, что в клинике его побывало уже две тысячи пациентов. Но увеличение числа больных требовало нового строительства, а строить было некому. На стройке у Швейцера работали наемные рабочие, выздоравливающие или совсем выздоровевшие пациенты, а иногда и родственники пациентов. В первый же год доктор познакомился с самой неприятной из своих африканских обязанностей: ему приходилось осуществлять надзор за рабочими (и сейчас, в 1914, и в 1924, и в 1954, и в 1964 году, и во все другие годы на протяжении столетия). Это было самым большим испытанием для его сил, нервов, для его сдержанности, для наследственного темперамента. Он описывает этот новый для него вид деятельности с раздражением:

«Недавно я нанял несколько человек для строительства нового больничного помещения, но, когда пришел на стройку вечером, увидел, что ничего не сделано. На третий день я разозлился, но один из негров – далеко не худший из работников – сказал мне: „Доктор, не кричите на нас! Вы сами виноваты. Оставайтесь здесь, и мы будем работать, а то вы целый день в больнице с больными, вот мы тут ничего и не делаем“. Теперь я прислушался к этому совету...»

Он прислушался к совету и, выкроив часа три в день, заставлял их работать до пота. Он раздражался, кричал, а потом испытывал тягостное чувство вины. Он поражался их ровному, отходчивому нраву и не раз писал, что у африканцев «характер лучше, чем у нас».

Когда рабочих у него стало больше (работали они теперь еще хуже), доктор Швейцер не раз терял свое ровное дружелюбие, начинал грубо командовать, а потом писал в отчаянии:

«В том постоянном состоянии усталости, вызванной беспрестанным

беспокойством из-за всяческих мелочей... мы с трудом сохраняем способность правильно руководить ими».

Потом он изводил себя, вспоминал об этих срывах и каялся, приписывая себе страшные грехи («много раз собственное мое поведение было пропитано ложью... я так часто ненавидел, клеветал, обманывал и вел себя надменно... мне даже не всегда удастся быть справедливым...»), почти с таким же преувеличением, как некогда Толстой («вместо своей доброты и нравственности признать свою безнравственность и жестокость, вместо своей высоты признать свою низость»), как Ганди («...я могу воскликнуть, как Сурдас: „Есть на свете негодяй. Столь порочный и омерзительный, как я!“).

Именно об этих вспышках темперамента, об этой властной резкости, прорывавшейся по временам, писали чаще всего биографы, сетовавшие на то, что герой их оказался «не ангелом».

Имея в виду именно эти мучительные для Швейцера срывы, один из биографов (Роберт Пэйн) писал об африканских отчетах Швейцера: «Когда читаешь его рассказ о жизни среди них, создается по временам впечатление, что он играет на каком-то странном инструменте. Он играет на нем спокойно, тихо, вкладывая в игру всю душу. И вдруг раздается пронзительная нота. Он останавливается в испуге, потом снова продолжает играть, пока другая дребезжащая нота не выведет его из равновесия. Хотя он узнал их тела, были области африканской души, в которые он так никогда и не решился проникнуть».

Думается, что в последней фразе некоторое недопонимание Пэйном Швейцера. Швейцер и не считал для себя возможным распахивать ставни чужой души. А то, что раскрывалось ему в душе африканца, таило много привлекательных для него черт:

«В спокойном достоинстве негров есть нечто весьма благовоспитанное... Меня поражает также склонность к размышлению, которую я так часто встречал у негров. Они в самом прямом и жизненном смысле заняты вопросами бытия, хотя редко говорят с нами о чем-либо в этом роде. В тех случаях, когда это происходит, становится ясно, что у них есть внутренняя жизнь, о которой мы и не подозревали. У меня бывали с африканцами разговоры, которые производили на меня глубокое впечатление». Африканец для Швейцера – натура благородная. Швейцер находит в нем множество преимуществ перед белым, в том числе и такое, типично швейцеровское: «Негры глубже нас, – сказал мне как-то один белый, – потому что они не читают газет, и в этом парадоксе содержалась известная доля истины».

И все же, рассказывая об отношениях Швейцера с габонцами, мы не могли пройти и мимо того, что Пэйн называет диссонансами. Более того, мы пишем о человеке действия, и, как это ни грустно, надо признать, что активное действие вовлекает в свой процесс применение власти, авторитета, а это вырабатывает с годами некоторые черты авторитарности, властности, черты, которые нам меньше всего хотелось бы видеть у своего героя.

Об этих сторонах Швейцера очень много написано. Одних коробило то, что человек, к которому они ехали в Ламбарене, оказался не святым. Других провоцировала «швейцеровская легенда» и сияние вокруг его головы, придуманное третьими. Но и тогда, когда уже было сияние, и в начале 1914 года, когда еще никто, кроме друзей и близких, не слышал о его трудах в душных джунглях, где рубаха не просыхает от пота, доктор Швейцер, не думая обо всем этом, просто работал – осматривал, бинтовал, оперировал, выписывал лекарства, строил новые дома.

На другом берегу, против больницы, он строил хижину для больных сонной болезнью.

Сонная болезнь была страшным бичом Африки. Швейцеру уже в первый год не раз приходилось слышать этот душераздирающий крик: «О, доктор! Голова! Голова! Больше не могу! Дайте мне умереть!» Он видел это много раз: жестокая лихорадка, бессонница, а потом, наконец, сонное состояние, из которого нет возврата; сон становится все крепче и крепче, больной впадает в беспамятство. На спине его появляются пролежни, колени подтянуты к подбородку... «Страшное зрелище!» – записывает Швейцер. Ученые давно открыли дневную переносчицу заразы: это «глоссина пальпалис», разновидность мухи цеце. Позднее выяснилось, что москиты тоже переносят сонную болезнь. «Армия москитов по ночам продолжает дело, начатое днем мухой цеце. Бедная Африка!» – восклицает Швейцер. Чтобы успешно бороться с болезнью (а Швейцер очень верит в силы медицины), надо убивать трипаносомы, пока они еще в крови, пока не перешли в спинномозговую жидкость, а значит, надо распознавать болезнь на ранней стадии. Однако на ранней стадии у больного только лихорадка, не такое уж редкое явление в этих местах. Следовательно, при всякой лихорадке и головной боли надо производить микроскопическое исследование. Беда еще в том, что эти бледные паразиты очень мелки: меньше одной восемнадцатитысячной миллиметра в длину! «Таким образом, я иногда по целому часу просиживаю над анализом крови пациента, – пишет Швейцер, – рассматриваю четыре или пять капель и все еще не имею права сказать, что болезни нет; затем необходимо бывает

центрифугировать венозную кровь в течение часа. Может быть, хоть тогда трипаносомы соберутся в последних каплях, но часто и этого не происходит...»

Описание трудоемкого исследования завершается истинным воплем этого доктора, измученного жарой и бесконечным потоком больных:

«Таким образом, каких-нибудь два пациента могут на целый день привязать меня к микроскопу, а ведь десятки других ждут меня. К тому же я должен делать еще хирургические операции, надо очищать воду, готовить лекарства, промывать раны и рвать зубы!.. По причине постоянной спешки и нетерпеливости ожидающих пациентов я часто впадаю в такое возбужденное состояние, что перестаю замечать, что я делаю и где я».

Проходит год такой жизни. Швейцеру исполнилось тридцать девять. Он по-прежнему выкраивает среди дня перерыв, чтобы постоять над своими горе-строителями и поработать самому на стройке. Прием, исследования, хозяйственные хлопоты... А потом вечер и ночь. И что поразительно: могучий его организм и могучий дух берут верх над усталостью; он разбирает хоральные прелюды Баха для американского издания, он играет живой, шелестящей и стонущей в ночи бесконечности девственного леса. Потом он читает, и уж совсем поздно, перед сном, пишет длинные письма-отчеты друзьям, которые дерзнули сделать пожертвования на дело добра, гарантированное только его волей. Удивительно ли, что в этих отчетах проскальзывают иногда упомянутые Пэйном диссонансы, нотки раздражения и усталости? Удивительнее другое: то, что после изнурительных, едва не полных суток работы у него находится достаточно чувства, чтобы снова и снова переживать радость своего исключительного положения. Он радуется, что он в силах помогать людям, которые так нуждаются в этом. Удивительнее то, что в нем снова просыпается в эти вечера его неистребимый эльзасский юмор, идущий от далеких поколений Швейцеров, от земли Гюнсбаха и Кайзерсберга, от виноградных лоз и широких фермерских усмешек, от шуток ризничего Егле и деревенских историй пастора Луи Швейцера. Швейцер пишет друзьям о смешных и глубокомысленных высказываниях своего Джозефа. О благодарном больном, который собрал среди родственников двадцать франков и с почтением поднес их после операции, чтобы «заплатить доктору за драгоценную нить, которой он сшил мне живот». И о другом пациенте, который заявил: «Ты меня вылечил, теперь купи мне жену!» Швейцер рассказывает о своих попытках научить больных чисто европейскому чувству благодарности или хотя бы способам его выражения. Он считает совершенно естественным и желательным, чтоб больные

жертвовали деньги, какие-нибудь продукты или просто часы своего труда в благодарность за лечение и в пользу других пациентов, большинство из которых не только голы, но и совершенно нищи. Результаты его воспитательных усилий бывают часто самые неожиданные: дядя больного мальчика проработал две недели и соорудил доктору буфет из старых ящичков; зато остальные пациенты потребовали от него самого подарков, потому что ведь они теперь стали друзья и сроднились за время лечения, а между друзьями так принято – провожать друг друга подарками. Здесь были другие правила, другие добродетели, другие истоки моральных установлений. Швейцер отмечает в то же время, что африканцы очень точно определяют моральный уровень белого и относятся к нему в соответствии с этим уровнем.

Несмотря на весь комизм достигаемых результатов, Швейцер все еще настаивает на воспитании европейских добродетелей у своих пациентов, борется с мелкими кражами, со странными, губительными предрассудками и суевериями. А между тем газетные полосы, куда он успеваешь заглядывать в ночные часы, убеждают его, что в Европе сейчас средневековые предрассудки царят даже в интеллигентских кругах; дикий, животный национализм застилает глаза людям, которые считаются идеологами, духовными вождями народов; копеечные соображения деревенской драки готовы подвинуть целые страны на разорение и разруху, на безмерные человеческие жертвы, на потерю человеческих свобод, на любое насилие над личностью. Из Европы тянет воню пропотевших мундиров и винным перегаром. Катастрофа вот-вот разразится.

«Самая большая катастрофа в мировой истории на протяжении веков, крах наших самых святых надежд на братство людей», – записывает в это время Роллан в своем дневнике. Находясь в Швейцарии, Роллан с ужасом открывает французские и немецкие газеты, пропитанные пропагандой националистической ненависти. «Я подавлен, – пишет в этой связи Роллан. – Я хотел бы умереть. Ужасно жить среди этого обезумевшего человечества и видеть банкротство цивилизации, сознавая свое бессилие».

Между тем Ламбарене жило своей нелегкой, но разумной жизнью. Доктор Швейцер строил новую палату и лечил своих пациентов. Елена хлопотала по хозяйству, работала в аптечке, готовила инструменты для операций, стирала и стерилизовала бинты. Джозеф довольно усердно помогал им и так же усердно копил деньги на покупку жены.

Однажды ночью доктору привели первого душевнобольного:

«Мне постучали, а потом повели к пальме, к которой была привязана пожилая женщина. Перед нею вокруг костра сидело все ее

семейство, а сзади черной стеной поднимался лес. Была великолепная африканская ночь, и звездное небо освещало эту сцену мерцающим светом. Я приказал развязать ее, и они выполнили мое приказание не без колебаний и не без робости. Как только ее освободили, женщина бросилась на меня, пытаясь вырвать у меня лампу... Туземцы с криками разбежались во все стороны и ни за что не хотели подойти, хотя я крепко схватил женщину за руку и приказал ей опуститься на землю... После этого она протянула мне руку, и я сделал ей инъекцию морфия и скополамина. А еще немного спустя она пошла за мной в хижину, где и уснула вскоре».

Обезболивание, уколы морфия и опия производили странное впечатление на пациентов. Одна из учениц воскресной школы написала в письме подруге:

«С тех пор как сюда приехал Оганга, происходят удивительные вещи. Сначала он убивает больных, потом лечит, а потом оживляет их снова».

Больница была не только обителью страданий, но и прибежищем смерти. Швейцер не последовал хитроумному совету Джозефа: он принимал всех. И безнадежные умирали. Умер человек, изуродованный гиппопотамом во время рыбалки. Привели его двое – родной брат и тот человек, который позвал его на рыбалку. Джозеф объяснил доктору, что человек этот должен нести ответственность за несчастный случай, и теперь, когда они вернутся в деревню, он заплатит жизнью за свое приглашение. Доктор рассудил, что человек этот, пожалуй, ни в чем не повинен, что лучше было бы, если бы этим занялся суд. И Швейцер проследил, чтобы брат уплыл обратно один, без своей законной жертвы. Елену озадачило, что брат не проявлял никаких признаков горя, а больше всего заботился сейчас об осуществлении своего законного права наказать виновного. Доктор объяснил жене, что она не права. Африканцы принимают смерть с большим мужеством, чем белые. Что до поведения брата, то он только выполнял свой священный долг и следил за соблюдением права. А право здесь блюдут очень строго.

– Ты несправедлива, – сказал доктор. – Ведь для африканца немислимо, чтобы подобный акт остался безнаказанным. И это чисто гегельянская точка зрения.

Впрочем, Елена уже имела не один случай убедиться, как важна для африканца правовая сторона вопроса и как много времени проводят жители деревни за обсуждением различных юридических случаев. Елена находила, что в этом смысле ламбаренские жители не уступают профессиональным лондонским стряпчим. Доктор был не вполне согласен с женой и счел ее сравнение неточным.

– Конечно, – сказал он, – самый закоренелый европейский сутяга – истинный младенец в сравнении с габонцем, тем не менее последним движет вовсе не сутяжничество, а неразвращенное чувство справедливости, которого европейцы, как правило, уже не ощущают.

Доктор привел на память цитату из книги юриста-профессора Уошингтона: «В Африке повсюду, где жизнь не была нарушена посторонними влияниями, народом управляют законы». Потом доктор процитировал пространную выдержку из статьи другого правоведа, профессора Бааса: «Ни одна раса на этом уровне развития культуры не разработала столь строгих методов юридической процедуры, как негры».

В довершение доктор пересказал жене разговор, состоявшийся во время утреннего приема, при котором она не присутствовала. Швейцер предложил сделать прокол больному, страдавшему от брюшной водянки, и больной ответил: «Только смотрите, доктор, чтобы вода вытекла как можно скорее... Жена бросила меня из-за того, что тело мое так раздулось. Я должен немедленно пойти и потребовать, чтобы мне вернули деньги, которые я заплатил перед свадьбой...»

Хотя каждый габонец был, по признанию доктора и Елены, незаурядным специалистом в области права, доктору не раз предоставлялась честь вершить суд: его репутация в округе неуклонно росла. Так случилось в сезон рыбной ловли, когда один из выздоравливавших пациентов спал, а другой взял без спроса его лодку и уплыл ночью на рыбалку. Доктор выступал в роли судьи. Для начала он произнес вступительную фразу о том, что у него на родине, в Европе, другое право и там правят законы разума. При этом он, возможно, вспомнил, что на родине у него прочно воцаряется эпоха бесправия и упадка права. Затем доктор приступил к разбирательству дела, и, помня о высокой воспитательной роли суда, объявил, что оба тяжущихся и правы и виноваты в одно и то же время. Вот мудрая речь судьи в его собственной, аутентичной записи:

«Ты был прав, – сказал я хозяину лодки, – потому что он должен был попросить у тебя разрешения взять лодку. Но ты не прав, потому что ты ленив и беспечен. Ты виновен в беспечности, потому что ты просто обвязал цепь вокруг пальмы, вместо того чтобы замкнуть ее как следует. Своей небрежностью ты ввел другого в искушение, и он взял твою лодку. И ты повинен в лени, потому что спал в лунную ночь у себя в хижине, вместо того чтобы воспользоваться случаем и половить рыбу».

«А ты, – сказал я, обращаясь к грабителю, – был не прав, потому что взял лодку без разрешения владельца. Но ты был прав, потому что не хотел,

чтобы пропадала без пользы лунная ночь».

Решение Швейцера было мудрым и быстрым: рыбак должен был отдать владельцу лодки треть улова в порядке компенсации, треть оставить себе за труды, а все остальное судья забрал в пользу больницы, во-первых, потому, что это произошло на ее территории, а во-вторых, потому, что доктору пришлось потратить драгоценное время на тяжбу.

Эта судебная процедура была короткой интермедией в тяжелой, исполненной драматизма врачебной практике долгого дня. Потом снова начался прием – снова язвы, грыжи, судороги сонной болезни... И мальчик-пациент, из глубины джунглей, который заплакал, когда его раздели: он думал, что доктор с Джозефом хотят его съесть, а ему на его коротком веку уже приходилось видеть такое. И старуха, которая боялась пореза, потому что каждый порез был для нее табу и грозил немедленной смертью... В маленькой приемной сходились медицина XX века и магия первого. А в приграничной полосе трудился высокий черноусый доктор, одержимый любовью к этим непонятным людям.

Шел второй год напряженного, изнурительного труда. Европейец вообще не может долго работать в этом климате без отдыха. Елена страшно устала. У самого доктора на ноге появилась ранка, которая сильно его беспокоила.

В это время под кровом больницы увидел свет маленький сын мадам Фурье и месье Фурье, фабричного служащего из Кейп-Лопеса. Правнука великого утописта XVIII века принимал у роженицы утопист XX века. Счастливый отец пригласил доктора и мадам Швейцер погостить в Кейп-Лопесе, где военный хирург сможет полечить ранку на ноге доктора. Приглашение было принято, и супруги получили первую, правда очень короткую, передышку.

Кейп-Лопес казался раем в сравнении с Ламбарене. Здесь можно было отметить движение воздушных масс. Выражаясь менее научно, здесь бывал ветерок, и супруги с восторгом принимали его дыхание. В Ламбарене стена леса ограждает неподвижную мокрую духоту, и только изредка, совсем редко дует торнадо. В остальное время Ламбарене – это парилка, в которой нужно жить, да еще и работать, нужно хлопотать, лечить, уговаривать, нервничать, руководить и только поздно вечером можно отдыхать, думать, радоваться жизни.

Медлительный пароходик полз в Кейп-Лопес. Сперва вниз по Огове, до Кейп-Лопеса, потом еще медленнее обратно, вверх по реке. Доктор воспользовался путешествием, чтобы записать для друзей некоторые мысли об Африке и некоторые наблюдения. Первое касалось габонского

лесного промысла. Долина Огове – благодатный край для разведения ценнейших тропических растений, но здесь никто ничего не разводил, и из промыслов здесь развит был только лесной. Главной статьей сбыта являлись дерево окоуме и черное дерево. Но здесь было много и других ценных сортов – например, розовое дерево экевазенго, очень красивое коралловое дерево, а также муаровое. Европейцы этих сортов не знали и потому не экспортировали. Доктор Швейцер, как часто отмечала Елена, становился настоящим знатоком и фанатиком леса.

Техника лесодобычи тут была примитивнейшая, огромные бревна волокли вручную по болоту: тридцать человек продвигались за полдня на сотню метров, а то и меньше. Лесорубы работали по пояс в воде; при этом их донимали муха цеце и москиты, косили сонная болезнь, ревматизм и лихорадка.

Транспортировка леса затруднена была недостатком рабочей силы и продуктов: «Это может показаться парадоксальным, – писал Швейцер, – но вряд ли сыскать на земле место, где было бы так легко умереть с голоду, как в джунглях Экваториальной Африки с их изобильной растительностью и дичью!»

Колонизаторы принесли в джунгли дешевый алкоголь. Они пытаются оторвать габонца от земли и разрушить его связи с деревней, опорой его трудолюбия, нравственности и здоровья. Они не только не помогли жить африканцу, но и вконец разрушили его убогое сельское хозяйство, его быт. Плохие получают «цивилизаторы», отмечает Швейцер, даже из самых умеренных колонизаторов. А ведь сюда, в джунгли, едут еще европейцы не бог весть какого высокого морального достоинства: результаты их поспешной деятельности в высшей степени плачевны. В джунглях, как и в самой Европе, ничего не сделаешь одним махом, даже при самых лучших намерениях. А если при этом «деятель» еще и лишен знаний и жизненной мудрости, лишен бескорыстия, – тогда понадобятся столетия, чтобы искупить все, что он успеет нагородить на многострадальной земле.

Старенький пароходик медленно тянется по Огове. Доктор любит тенистыми сумрачными зарослями по берегам, провожает ласковым взглядом семью гиппопотамов, отмечает какой-то всплеск у берега – наверное, крокодил. Потом он снова берется за перо, излагая для друзей проблемы джунглей.

Полигамия. Сколько пыла тратят миссионеры и прочие европейцы, доказывая африканцам преимущества моногамии и греховность многоженства! А чего, собственно, хотят миссионеры от жителя джунглей? Чтобы он взял одну жену, а остальные незамужние женщины деревни

остались умирать с голоду? И что это даст единственной жене? Ведь она сама умоляет мужа купить еще одну жену, ей в помощь. Добрых три года женщина выкармливает ребенка грудью, отдавая этому все силы. Зачастую на этот период она даже уходит в родительский дом. А кто будет вести хозяйство в доме мужа, кто будет работать на плантации?

Недавно умирал здесь, в больнице, старый вождь, за которым пришли ухаживать две молодых жены. Потом пришла третья, старшая, и сидела до самой его кончины, держа его голову на коленях, давая ему пить. Швейцер долго вспоминал, как уважительно относились к ней младшие жены. Вообще полигамная африканская семья казалась доктору счастливой. Почему же европейцы должны лезть в этот чужой и чуждый монастырь со своим (столь несовершенным) уставом? Или у них мало других забот в джунглях? Можно облагораживать уже существующие обычаи, но отнюдь не вводить перемены, в которых нет необходимости.

Швейцер еще говорит в своих письмах о том, как европейцу сохранить гуманность в джунглях и остаться знаменосцем цивилизации. Но при этом он все острее ощущает надвигающийся крах европейской цивилизации.

Вскоре после возвращения из Кейп-Лопеса доктор и его супруга узнали, что в Европе разразилась война.

Глава 11

Его предсказания сбылись. Буржуазная цивилизация достигла предсказанной им фазы развития – полного варварства. В этой фазе не было, пожалуй, ничего принципиально нового, чего не отмечал бы он еще на рубеже века. То же недомыслие, доведенное до предела; то же подчинение стадному духу, доведенное до полной бессмысленности и жестокости; тот же отказ от этики, позволивший участие в массовых убийствах, совершаемых к тому же с энтузиазмом.

В августе было объявлено о начале войны Друзья и близкие Швейцера оказались теперь разделенными линией окопов. В них сидели его соученики по Мюльхаузену, Страсбургу, Берлину и ждали, не высунут ли голову на той стороне его соученики по Сорбонне и его коллеги по Баховскому обществу.

Швейцер оказался вдали от границы, ставшей линией фронта. Но эта линия пришла за ним в Африку. Неподалеку от Ламбарене проходила граница французского Габона и немецкого Камеруна. К тому же сам Швейцер, согласно тем же правилам игры, оказался немецким подданным, и потому его должны были теперь интернировать. Для начала доктора и его жену посадили, как военнопленных, под домашний арест в их домике и приставили к дверям часового-габонца. Больные, приплывавшие сюда за сотни миль на пирогах, больше не получали помощи. Причину этой жестокости трудно было объяснить габонцам или кому бы то ни было. Швейцер отметил, что этический авторитет белых стремительно падает в связи с войной и что «урон будет весьма велик».

Доктору не разрешали лечить и даже не позволяли выходить из дому. Неожиданно для себя он оказался за письменным столом. Он хотел воспользоваться вынужденной передышкой и взяться за своего апостола Павла, Однако мысль его от раннехристианской общины неизменно возвращалась к смятению XX века. Он мучительно думал о том, что происходит сейчас в Европе. Он открывал газету, потом с тяжким чувством откладывал ее в сторону.

Он думал об Эльзасе и не мог представить себе, что так же восходит солнце над горой Ребберг – в щебетании птиц, в журчанье ручья, в шелестенье листьев. Но, наверно, так все и было, а эта пороховая вонь, это неприкрытое варварство убийств, вся эта суэта военного пропагандистского обмана, они как пена...

«Газеты просто невозможно читать, – записал он в эти дни. – Цепочка печатных слов, написанных с позиции одного-единственного, вот этого только быстротекущего дня, выглядит поистине гротескной здесь, где время, можно сказать, застыло. Хотим мы этого или нет, все мы живем здесь под влиянием одного ежедневно подтверждаемого впечатления – что природа все, а человек ничто. Это вносит в наши взгляды – причем это касается и людей менее образованных – нечто такое, что позволяет нам понять, какой суетной и лихорадочной является европейская жизнь; кажется противоестественным, что на таком огромном пространстве земной поверхности природа является ничем, а человек всем!»

На второй день заключения он вдруг начал работать над книгой по философии, той самой, которую задумывал еще пятнадцать лет назад, в Берлине, над которой думал в Париже. Тогда он думал назвать ее «Wir Epigonen»: мы эпигоны, мы наследники, мы последыши. Наметки для этой книги были у него давно, а четыре года назад лондонский издатель даже просил его написать такую книгу для Англии.

И теперь Швейцер вдруг ощутил, что не может больше откладывать. Тема жила. Она томила невысказанностью, мучила по ночам, и ему сперва большого труда стоило войти в спокойный, «солидный» стиль, присущий всем его философским исследованиям.

Швейцер обобщал поначалу наблюдения студенческих лет, когда он впервые усомнился в буржуазном прогрессе и с горечью отметил, что общественное мнение не возмущается больше бесчеловечными идеями, распространяемыми публично.

Сейчас эта сдача своих идеалов «реальным» соображениям правительственной националистической пропаганды достигла апогея.

Не удивительно, что Швейцер особое внимание в своем новом труде уделил одной из главных идей империалистической буржуазии – национализму. В формулировках Швейцера появилась точность и хлесткость, которой не было раньше в его книгах:

«Что такое национализм? Это низменный патриотизм, доведенный до потери всякого смысла и имеющий такое же отношение к его благородной и здоровой разновидности, какое навязчивая идея, овладевшая идиотом, имеет к нормальным человеческим убеждениям».

Швейцер напоминал об истинной идее патриотизма, который призван считать своей высочайшей задачей непрерывное развитие чисто человеческих элементов в жизни нации; который должен искать величия в самых высоких идеалах человечества, а вовсе не в преувеличенном представлении о внешней славе и силе. Патриотизм этого рода, заявлял

Швейцер, вверяет национальное чувство контролю разума, морали и культуры. Швейцер отмечал, что, говоря о национализме, он вообще чаще всего имеет в виду «даже не сам предмет» и уж никак не благородное чувство любви к родине, «а тот извращенный способ, каким этот предмет воплощается в сознании толпы и проявляется в поведении этой толпы». Швейцер подвергал тщательному анализу и само это «поведение толпы», и пресловутую «реальную политику» правительств Запада.

«Эта практическая политика состоит в преувеличенной оценке некоторых вопросов территориально-экономической выгоды, в преувеличении, которое возводится в ранг догмы и идеализируется, получая таким способом поддержку в настроении толпы. Политика эта борется за свои требования, даже не подсчитав должным образом их истинной ценности. Чтобы оспаривать обладание несколькими миллионами, современное государство обременяет себя вооружением, стоящим сотни миллионов».

«Эта практическая политика была на деле непрактичной, потому что она пускала в действие страсти толпы, делая, таким образом, простейшие вопросы неразрешимыми».

Швейцер довольно точно определяет тут многие особенности предвоенной ситуации, хитрости пропагандистского обмана и шовинистическую атмосферу, царившую чуть не во всех европейских странах, готовившихся к войне. Здесь необходимо вспомнить характеристику той же эпохи, данную В. И. Лениным, который писал, что «массы были оглушены, забиты, разъединены, задавлены военным положением»⁸. Однако, ознакомившись с ленинским анализом причин войны, мы видим, что Швейцер недооценивал ее экономических факторов, накала борьбы из-за рынков. Ленин призывал при оценке каждой войны в отдельности учитывать ее конкретно-исторический характер и непременно связывать ее ход с борьбой классов внутри воюющих стран, с возможностью перерастания войны империалистической в гражданскую. В то же время Ленин отвергал всякую попытку оправдать первую мировую войну, представив ее как «оборонительную». «Достаточно взглянуть на теперешнюю войну с точки зрения продолжения в ней политики „великих“ держав и основных классов внутри них, – писал Ленин, – чтобы сразу увидеть вопиющую антиисторичность, лживость и лицемерность того мнения, будто можно оправдывать идею „обороны отечества“ в данной войне»⁹. Отдавая должное Швейцеру, заметим, что его никогда не вводили в заблуждение «идеалистические» лозунги войны. «Очень существенной

чертой этой извращенной „практической“ политики национализма, – писал Швейцер, – является то, что она изо всех сил старается разукрасить себя мишурной имитацией идеализма. Борьбу за власть изображают как борьбу за права и культуру, альянсы, которые одни народы в своих эгоистических целях заключают с другими народами против всех остальных народов, представляются миру как проявление дружбы и духовного родства...»

Закончив это элегантно описание Антанты и Тройственного союза, Швейцер прислушался. У входа в домик уже довольно долго раздавался крик на каком-то из габонских диалектов. Потом вступили голос Джозефа и голос часового-габонца. Швейцер вышел на веранду и увидел старика пахуана из верховьев Огове, которому он так и не успел вырезать грыжу до 5 августа. Кто же знал, что так случится? Часовой и старик оба стали кричать что-то доктору, а Джозеф перевел ему суть спора.

– Этот старый пахуан говорит, что часовой сошел с ума, раз он думает, что он командует Доктором Огангой.

Часовой был в большом смущении. Он понимал, что приказ белого лейтенанта был бессмысленным. Но ведь и другие приказы белого лейтенанта тоже были бессмысленны. Понемножку у веранды стали собираться больные. Они с первого дня не давали прохода военным, требуя, чтобы доктору опять разрешили их лечить. Но поскольку все происходило сейчас под вывеской самых высоких идеалов, то и подобное разрешение могли дать только «на самом верху». Доктор еще не знал, что его учитель Видор добивается такого разрешения «на самом верху».

Часовой сказал Джозефу, а Джозеф перевел доктору, что на войне убито уже десять белых. Старый пахуан пришел в необычайное волнение. Он стал снова кричать, а Джозеф переводил:

– Как? Уже десять человек убито? Почему же племена не соберутся на совет, на «палава»? Почему не договорятся? Как же они теперь заплатят за всех этих мертвых?

Швейцер усмехнулся с горечью и в который уже раз подумал, что африканское право куда совершеннее европейского, «основанного на разуме». Здесь справедливость требует, чтобы и победители и побежденные равно оплачивали убитых.

Старик пахуан говорил теперь что-то гневное, и Джозеф перевел, что белые люди, конечно, очень жестокие люди, потому что они даже не съедают своих убитых, а убивают их просто так, из одной жестокости. Старик прожил долгую, трудную жизнь каннибала из голодных джунглей. И он бросал этим образованным выпускникам Сорбонны, Берлина и Страсбурга справедливый упрек в жестокосердии, упрек честного

людоеда...

Работа над книгой продвигалась. Наступила осень. Было по-прежнему нестерпимо жарко, но стало еще более душно, и шли не освежавшие воздух дожди.

Доктор писал теперь о «национальной культуре». Однажды, войдя в дом, он увидел, что любимая его антилопа жует черновики из корзинки. Он решил спрятать рукопись повыше. Он с добродушием относился не только к четвероногим, но и к двуногим воришкам: люди здесь были так нищи, а кражи их так бессмысленны. Однажды у доктора украли ноты «Мейстерзингеров», в другой раз экземпляр баховских «Страстей по Матфею», уже размеченных и никому на свете, кроме него, не нужных. Прогнав антилопу с террасы, доктор сел за стол и надписал поверх рукописи: «Дорогой вор, пожалуйста, верни это доктору Швейцеру». Оставалось надеяться, что «дорогой вор» читает по-французски. Впрочем, главное – никого не вводить в искушение и закупить побольше замков. Если бы все преступления нашего века были так же незначительны...

Доктор писал об истоках преступлений и падения. Он писал о том, что национализм извратил самую идею культуры.

«Все сколько-нибудь ценное в личности, успех всякого предприятия приписывают особым достоинствам национального характера. Предполагается, что иноземная почва просто не способна породить ничего подобного, а тем более равного; в большинстве стран чванство достигло такого размаха, что никакие величайшие безрассудства не являются больше недостижимыми».

Швейцер вспомнил военные газеты – немецкие газеты, французские газеты, до омерзения похожие друг на друга. Статьи профессиональных мастеров пропаганды, аморальных профессоров права, продажных писателей, всю жизнь прикидывавшихся гуманистами и оказавшихся людоедами-дилетантами. Швейцер написал:

«Утверждая, что она прочно зиждется на особенностях национальной почвы, националистическая культура вовсе не ограничивается, как можно было бы ожидать, пределами нации; она чувствует себя призванной осчастливить другие нации, навязав себя этим нациям! Современные нации ищут рынка сбыта для своих идей, как они ищут рынка сбыта для своих товаров!»

Швейцер отложил в сторону заметки, сделанные еще в 1899 году, и подумал, что не так уж трудно было сделать эти грустные пророчества: война не была причиной упадка культуры, она была его следствием – точнее, просто симптомом. Отвратительным, как гнойное выделение, как

струпья на коже прокаженного.

Когда-то, еще гимназистом, Альберт в споре крикнул тетушке, что газеты – это современная история. Что ж, наверное, так оно и есть. Сейчас он записал:

«История нашего времени характеризуется беспрецедентным отсутствием всякого разума. Будущие историки когда-нибудь подробно проанализируют эту историю и поверят ею свои знания и свою непредубежденность. Но на все времена одно останется несомненным: тот факт, что мы пытались жить и развивать культуру, не имеющую в основе этического принципа».

Швейцер писал об упадке буржуазной культуры вообще и об упадке европейской культуры. Взбесившийся Берлин и взбесившийся Париж могли равно узнать себя в этом спокойном научном описании. «Как все еще тесно связаны между собой духовно нации, составляющие великое сообщество цивилизованного человечества, – писал Швейцер, – подтверждено тем фактом, что они одновременно, бок о бок, пережили тот же упадок».

Как и друг его Роллан, Швейцер стоял «над схваткой» народов. Здесь, вероятно, необходимо уточнение термина, ставшего крылатым. Швейцер, как и Роллан, вовсе не был нейтрален, не был равнодушен к этой войне, к борьбе наций, к страданиям людей. Он ненавидел эту войну, он выступал против нее – конечно, по-своему. Роллан, предвидя возможность неправильных толкований, писал: «Я вовсе не нахожусь „над схваткой“...» И еще позднее: «Меня ошибочно почитали нейтральным, потому что я стал „над схваткой“ наций, но каждому должно быть ясно теперь, что я боролся больше, чем кто бы то ни было, и только заменил одну схватку другой, более обширной, более плодотворной».

К сожалению, мы не располагаем столь же определенными высказываниями Швейцера о его позиции в отношении войны (если не считать писем Роллану, нескольких строк в больничных отчетах и общих рассуждений в книге о культуре и этике).

В ноябре Видор выхлопотал доктору и его жене освобождение из-под стражи. Потом стали прибывать пациенты с записочками от местного начальства, милостиво разрешающими доктору обслужить страдальца. Протесты местного населения против бессмысленного, теперь уже не полного, запрета тоже сделали свое дело. В ноябре доктору и его жене разрешили продолжать лечение габонцев. Снова потянулись по Огове пироги. Спешили носильщики из джунглей. Габонцы приходили семьями, приносили страждущих. Они несли к безотказному Оганге свои язвы, свои

раны, свои мучительные боли.

В раздираемом враждой человечестве доктор обнаружил великое основание для общности – единство страдания, братство боли. Это «братство тех, кто отмечен Знаком Страдания», кто познал боль. Глаза тех, кто испытал боль, открылись, эти люди должны оказать помощь все еще страдающему собрату.

Сотни тысяч жителей Европы ежедневно, с упорством и даже, если верить газетам, с энтузиазмом, с творческой изобретательностью и самозабвением калечили, резали, травили и убивали друг друга. Конечно, залечить маленькую язвочку фрамбезии или поставить на ноги старуху пигмейку из глубины джунглей было задачей куда более тонкой, хлопотной и мучительной, чем разорвать гранатой на куски какого-нибудь доброго отца семейства. Но Швейцер выполнял теперь свою тяжкую работу с еще большей радостью. Он писал друзьям накануне рождества:

«Каждое утро, отправляясь в больницу, я ощущаю как невыразимую милость тот факт, что в то самое время, когда стольким людям приходится по долгу их службы причинять другим страдание и смерть, я в состоянии творить добро и способствовать спасению человеческих жизней. Это чувство помогает мне бороться с любой усталостью».

А усталость была огромной, потому что он снова работал в больнице в полную силу, потому что приближался к концу второй год непрерывной работы в Африке и еще потому, что, начав теперь книгу по философии, он уже не мог бросить ее и продолжал писать по ночам. На многих страницах этой рукописи сохранились маленькие пометки на полях (вероятно, для целей последующего редактирования) – «в страшной усталости».

Пришел рождественский праздник. Когда свечи на маленькой рождественской пальмочке догорели до половины, доктор задул их. Кто знает, будут ли у них свечи для нового рождества? Швейцер не верил в конец света. Но он не верил и в мгновенное исцеление человечества. Он был позитивистом, оптимистом – он верил в возможности восстановления культуры. Книгу, которую он писал по ночам, он решил озаглавить так: «Упадок и восстановление культуры».

В поисках пути к возрождению истинной культуры Швейцер все чаще обращался теперь в мыслях к своему излюбленному XVIII веку, который он, идеализируя его, называл не иначе как веком разума. Если бы только люди остановились на мгновение, если бы они задумались. Если бы они прекратили хоть на миг это суетное, бессмысленное, ожесточенное действие! Но нет, «дух века побуждает нас к действию, не позволяя обрести четкое представление об этом объективном мире и жизни. Он

требует неустанно наших трудов во имя той или иной цели, того или иного достижения. Он держит нас в каком-то опьянении деятельности, в результате чего у нас даже не остается времени спокойно подумать и спросить себя, что общего имеет это суетливое самопожертвование во имя самых различных целей и достижений со смыслом нашей жизни и смыслом этого мира. Мы блуждаем взад и вперед в сгущающихся сумерках, усугубляемых отсутствием всякой теории вселенной, как бездомные, пьяные наемники; поступаем на службу к низкому и великому, не делая между ними различия. И чем безнадежнее становятся условия существования мира, в котором мечется это беспокойное побуждение к действию и прогрессу, тем путаней наша общая концепция мира, бесцельней и иррациональней деяния тех, кто вербуетя под знамена этого побуждения».

То, что говорил Швейцер, энергичный, «современный» человек Запада, победоносный Homo faber и Homotechnocraticus, без сомнения, заклеил бы как «философию». И возразить было бы нечего. «Философы? – бросил бы на бегу энергичный „современный“ человек. – Философы! Сидят там в джунглях и философствуют! А тут работать надо! Некогда!» Энергичному человеку все некогда; даже если он половину воскресенья провел за карточным столом, а вторую половину за чтением газет (тринадцать каналов телевидения еще не поступили тогда в его распоряжение). И философ из джунглей, чей рабочий день зачастую достигал в эту пору двадцати часов в сутки, словно предвидел это возражение.

«Простое размышление о смысле жизни, – пишет он, – уже само по себе имеет ценность... Как многое было бы уже достигнуто на пути к исправлению нынешнего положения, если бы мы ежевечерне посвящали три минуты созерцанию бесконечного мира звездных небес и размышлению над ними, если бы мы, идя в хвосте похоронной процессии, задумались над загадкой жизни и смерти, вместо того чтобы заниматься бессмысленными разговорами, следуя за гробом! Идеалы, порожденные глупостью людей, формирующих ныне общественное мнение и непосредственно влияющих на ход событий, больше не имели бы власти над людьми, если бы люди вдруг начали размышлять о преходящем и о вечном, о существовании и о прекращении существования, научившись, таким образом, отличать подлинные критерии от ложных...»

Швейцер был убежден, что размышление и сила духа приведут к восстановлению цивилизации в мире, но он понимал и то, как сложна будет эта задача для человека буржуазного Запада.

«В сверхорганизованных обществах, которые тысячью способов держат человека в своей власти, он должен вновь стать независимой личностью и воздействовать, таким образом, на эти коллективы. Они будут использовать все способы для того, чтобы держать его в состоянии безличности, которое так удобно для них. Они боятся личности, потому что дух и правда, которые они хотели бы заглушить, найдут способ выразить себя в личности. И сила этих организаций, к сожалению, так же велика, как и их страх».

Когда он писал это, могущественные организации уже гнали обезличенных индивидов в окопы империалистической войны, успевая при этом следить за каждым проявлением их индивидуального мышления и стараясь выбить его сзади, из-за спины, пока противник выбивал спереди. Швейцер все же, вероятно, не мог предвидеть, сколь совершенные коллективы для обезличивания индивидов будут созданы всего через два десятилетия в том же Берлине, еще на рубеже века казавшемся ему таким вольным прибежищем интеллекта. Однако сам процесс обезличивания и все трудности последующего восстановления культуры Швейцер предвидел. Ведь необходимо будет возродить силу понимания правды, потому что «в настоящий момент в ходу только пропагандистские истины. Нужно будет избавиться от низменного патриотизма и вернуть к власти патриотизм благородный. Нужно восстановить в правах культуру там, где как идолов почитают сегодня только национальные культуры. Наконец, дух должен будет дать нам разумные основания для надежды в эпоху... когда артисты и люди науки выступают как защитники варварства, а знаменитости, которые слывут мыслителями, да так и ведут себя в жизни, вдруг оказываются в минуту кризиса не более чем просто писателями и членами академий».

Доктор ложился под утро. Потом он дотемна лечил больных. Потом снова писал, почти досветла. А Габон все острее чувствовал войну. Вздорожали продукты. Войска, проходившие в Камерун, стали забирать габонцев в носильщики. Год выдался трудный: дожди лили непрерывно, потом начались наводнения. Наконец, на Ламбарене обрушилась армия насекомых. Сперва это были только долгоносики и маленькие скорпионы. Потом в Ламбарене вторглись странствующие муравьи; однажды их колонна тянулась мимо больницы тридцать шесть часов...

«Они идут по три-четыре колонны в ряд, но каждая колонна отдельно, в пяти или даже пятидесяти ярдах от соседней. Потом они вдруг нарушают строй и рассеиваются, и мы до сих пор не знаем, каким способом они подают команду. Так или иначе в мгновение ока местность покрывается

подвижной, трепещущей черной массой, и тогда все живое вокруг обречено. Даже большим паукам на деревьях не удастся спастись... Это ужасающее зрелище. Militarизм джунглей можно сравнить с милитаризмом Европы!»

В эту пору Швейцер получил газеты со статьями своего друга Роллана. Это было как рука, протянутая над границами, над кровавыми траншеями, над скопищами голодных, завшивевших, замордованных солдат. Среди все покрывающего воя пропаганды раздался голос нравственного человека.

Роллан обращался к французской и немецкой интеллигенции, указывая ей на главного врага – на стоголавое чудовище, что называется империализм. Роллан клеймил националистическую, животную, антирусскую пропаганду Германии. Он писал: «Кто, как не русские писатели, были нашими руководителями? Кого можете вы, немцы, противопоставить этим колоссам поэтического гения и нравственного величия – Толстому, Достоевскому? Это они создали мою душу...»

Роллан знал, какой разнузданный крик поднимет пропаганда всех воюющих стран, когда появятся в печати его статьи. Его не пугало это и не останавливало.

Из сердца Черной Африки, из душного Ламбарене Швейцер смело протянул руку другу-французу через границы, через сеть цензуры, через моря, уже начиненные взрывчаткой, но еще не отравленные радиацией.

«Дорогой друг! – писал Роллану доктор Швейцер. – Вы, вероятно, знаете, что я интернирован здесь. После того как я три с половиной месяца находился под строгим надзором туземных солдат, положение мое было облегчено, и мне предоставлена была некоторая свобода передвижения и возможность продолжать медицинскую практику. Здоровье у меня неплохое, и еды хватает. Только я начал ощущать, так же как и моя жена, что мы провели на экваторе уже два с половиной года. Однако не в этом дело, я пишу Вам только для того, чтобы сказать, что я читаю и перечитываю то, что Вы написали. Газеты приходят ко мне сюда, в уединение джунглей, и Ваши мысли для меня – одно из немногих утешений в это печальное время. Исходя из всего, что Вы знаете обо мне, Вы должны понимать, насколько совпадают наши идеи и взгляды. И я должен высказать Вам, как я восхищен Вашим мужеством человека, плывущего против течения вульгарности, которое несут на своих волнах фанатически мыслящие массы. Не утруждайте себя ответом на это одинокое приветствие из девственных джунглей. Вам, конечно же, необходимо писать сейчас вещи более серьезные. Если же Вам, однако, случится когда-нибудь писать мне, помните, что другие люди будут читать

Ваше письмо раньше, чем я. До свидания – скоро ли оно состоится? Боритесь за дело, в котором я всецело с Вами, хотя и не способен в моем нынешнем положении оказать Вам активную помощь. С сердечным приветом. Ваш Альберт Швейцер».

Роллан сразу ответил Швейцеру, и в том же месяце, в октябре, из джунглей отправилось в путь второе письмо:

«Дорогой друг, я получил Ваше воскресное письмо. Я вижу, что Вы потеряли многих друзей... А потому те, кто понимает Вас, должны любить Вас еще сильнее, оттого, что Вы остались человеческим, они должны дать Вам еще более яркое выражение своей любви и сочувствия. Огромная задача стоит перед нами, если мы желаем создать новый образ мышления. Я всегда буду в этом на Вашей стороне... Благодарю Вас за известия о музыкантах. Каждое Ваше слово как прекрасная органная музыка в моем одиночестве. Всегда Ваш, Альберт Швейцер».

Выдался поистине трудный год. Елена очень устала. Доктор работал как всегда – весь день и еще полночи. Работал и радовался, что он может лечить и может писать по ночам. Но вести из Европы шли безрадостные, и было от чего впасть в отчаянье. Лекарства подходили к концу, и средства из разоренной Европы перестали поступать: кто мог думать сейчас там о габонских страдальцах, если в Европе счет убийствам шел уже в астрономических цифрах...

Швейцеру пришлось снизить зарплату помощникам, и Джозеф ушел от доктора. «Джозеф покинул меня... – с грустью записал Швейцер. – Сказал, что „его достоинство не позволяет ему служить за столь малую сумму“. Он живет с родителями и хочет накопить на жену, однако он открыл копилку и разбазарил все сбережения».

Бесшабашный габонский Санчо Панса эльзасского Дон-Кихота не воспринял ни одного из уроков европейских добродетелей, которые так старательно преподавал ему доктор. Уроки эти лежали вне традиции, однако Швейцер не хотел признать, что они вовсе неприемлемы для африканца. В это время он ближе сходитя с Ойембо, учителем школы для мальчиков. Швейцер отмечает, что это «абсолютно моральная личность». «Это один из лучших людей, которых я когда-либо знал», – пишет Швейцер, а уж ему-то везло всю жизнь на хороших и моральных людей. Позднее, в своем «Африканском блокноте», Швейцер посвящает учителю Ойембо (это имя означает «Песня») целую главку. Учитель Ойембо – человек самоотверженный и не суетный. Он человек идеи и человек духа. Кроме того, он работяга и человек действия. Он выбрал низкооплачиваемую работу учителя именно потому, что считал ее нужной.

Этот учитель из джунглей был дорог Швейцеру как прекрасное воплощение мечты об этическом человеке. Ойембо ничего не делал для себя и ничего не имел для себя. Швейцер с удовольствием бывал в его чистенькой, аскетически скромной хижине, где жил он с молодой женой. Это был радостный, счастливый, добрый человек.

Война подходила все ближе к Ламбарене. Наконец габонцев стали забирать в армию. Швейцер оказался в Н'Гомо, когда оттуда отходил пароход с призывниками-африканцами:

«Судно отошло под женский плач; дымок растаял вдаль, и толпа стала расходиться, но на берегу на камне все еще сидела и плакала старая женщина, у которой увезли сына. Я взял ее за руку и попытался утешить, но она продолжала плакать и словно не слышала моих слов. И вдруг я заметил, что я тоже плачу, как и она, глядя на далекий закат».

Эти слезы могучего сорокалетнего мужчины, пролитые над согбенной фигурой старой африканки, без сомнения, показали бы сентиментальной слабостью любому идеологу кровопролития (воюющему, как правило, чужими руками). Ему непонятна была бы эта сентиментальность так же, как Швейцеру непонятна эмоциональная тупость и жизнерадостная бодрость за чужой счет. Описав сцену прощания в Н'Гомо, Швейцер вспоминает:

«Примерно в то же время я прочел в одном журнале статью, в которой утверждалось, что войны будут всегда, потому что благородная тяга к славе – исконное устремление мужского сердца. Поборники милитаризма рисуют эту идеализированную невежественным энтузиазмом войну как самозащиту. Они, вероятно, пересмотрели бы свои взгляды, если бы провели денек на африканском театре военных действий, шагая по тропам джунглей мимо трупов носильщиков, которые пали под тяжестью ноши и нашли у дороги одинокую смерть, и если бы, глядя на эти безвинные жертвы, они бы поразмыслили в мрачном молчании леса над тем, что же такое на самом деле война».

В этом рассуждении – странное недопонимание эмоциональной тупости и цинизма империалистических политиканов XX века. В Европе было тогда не менее страшно, чем в Африке, и все же они не «пересмотрели свои взгляды».

Впрочем, этот сильный человек, чью чувствительность могло так легко разбередить чужое горе, умел быть и сдержанным, и скрытным, какой умела быть его нежно любимая матушка. Она не дождалась сына: чуть позднее, в 1916 году, она попала под копыта бравой эскадронной лошади. Какой-то кавалерист проезжал через Гюнсбах для отправления своего

славного военного дела. Лошадь вдруг понесла, и список потерь пополнился еще одной «жертвой из местного населения». Как и прочие бесчисленные жертвы этих игр, она была человек, бесконечно близкий кому-то, но ничего не значивший в безличном мелькании астрономических цифр, – война...

Биографы долго раздумывали над тем, почему Швейцер откликнулся на эту смерть всего одной-единственной строкой в автобиографической книжке. Скорее всего, ему было больно говорить и писать об этом. К тому же он знал ее сдержанность и умел быть так же сдержан...

Он продолжал работать от рассвета до сумерек в этой влажной, изнурительной духоте. После шести вечера были хозяйственные хлопоты, и только потом – музыка, книги, философия... Интеллектуальные занятия спасали его от физического и морального истощения.

Дневные размышления над газетной заметкой готовили его к вечерним размышлениям над старыми записями, над книгами, над проблемами «восстановления культуры». Швейцер считал, что взамен предрассудков, распространяемых буржуазной пропагандой, должно быть создано новое общественное мнение, на чисто личной основе:

«Существующее ныне мнение поддерживается прессой, пропагандой, организациями, а также имеющимися в их распоряжении финансовыми и другими средствами влияния. Этому искусственному способу распространения идей должен быть противопоставлен естественный, идущий от человека к человеку, рассчитанный исключительно на правду мысли и восприимчивость слушателя к новой правде. Безоружный, следующий естественным и первобытным методам, которыми ведет свою борьбу человеческий дух, он должен выступить против способа, который противостоит ему, как Голиаф противостоял Давиду, в могучей броне своего века». Швейцер предвидел, что борьба за новое мышление и новый дух будет тяжелой: «Прошлое, конечно, уже бывало свидетелем борьбы свободомыслящего индивида против скованного духа целого общества, но проблема эта никогда не выступала в таких масштабах, как сегодня, потому что коллективный дух скован ныне современными организациями, современным безмыслием и современными страстями толпы совершенно беспрецедентным в истории образом».

Летом 1915 года работа Швейцера над философской книжкой вступила в новую фазу. Он еще анализировал симптомы упадка культуры и способы ее восстановления, но философская мысль его беспокойно толкалась в новые двери. Да, конечно, дух и этическое мышление должны будут одержать верх. Но каково будет это новое мышление? И почему не

разработать самому основополагающие идеи этого мышления? «Почему не перейти к конструктивной части?»

«Теперь я начал поиски знания и убеждений, с которыми я мог бы соотнести волю к культуре и силу воплощения... – вспоминал Швейцер. – В процессе работы для меня стала ясна связь между культурой и отношением к жизни».

Швейцер был на пути к отысканию своего основополагающего этического принципа. Он стал спрашивать себя, что является наиболее существенным в культуре? «Несмотря на большое значение, которое мы придаем победам знания и нашим достижениям, ясно тем не менее, что только человечество, которое стремится к этическим целям, может в полной мере воспользоваться благами, приносимыми материальным прогрессом, и справиться с опасностями, которые его сопровождают». Современное поколение, которое уверовало в материальный прогресс и решило, что оно больше не нуждается в этических идеалах, «получило сейчас ужасающее подтверждение ошибки, в которую оно впало». И единственный, по мнению Швейцера, выход из положения заключается в том, чтобы усвоить отношение к жизни, содержащее идеалы истинной культуры. Таковым, по мнению Швейцера, является этическое миро– и жизнеутверждение.

Швейцер начинает анализировать проблемы жизнеутверждения и жизнеотрицания в мировой философии, обращая при этом особое внимание на благородные идеи индийской философии. Швейцер последовательно рассматривает отношение к миру и к жизни у первобытных народов, у греческих стоиков, у философов европейского Ренессанса и у блистательной школы китайских философов. Трагедию современной европейской мысли он видит в том, что постепенно ослабла связь позитивного, утверждающего отношения к миру и жизни, с одной стороны, и этики – с другой. Причину того, что современное отношение к миру и жизни перестало быть этическим, Швейцер усматривает в том, что оно больше не основывается на мысли. На взгляд Швейцера, только то, что вырастает из мысли, может быть усвоено духовно, и потому он ощущает потребность «осознать как необходимость мысли» ту истину, которая раньше была дана ему только верой и ощущением.

Так Швейцер приступает к поискам этического принципа, который, по его мнению, столь необходим миру, погрязшему в безнормативности, бесправии, в аморализме слова и дела.

«Этическая проблема, – пишет Швейцер, – это проблема отыскания в мысли основ для фундаментального принципа морали. Что является общим

элементом добра в многообразных видах добра, с которыми мы сталкиваемся на практике? Существует ли в действительности такое общее понятие добра? Если так, то какова его природа и существо и до какой степени оно реально и необходимо для меня? Какой властью оно обладает над моими мнениями и действиями? В какое положение оно ставит меня по отношению к миру?

Мысль должна, таким образом, направлять свое внимание на этот основополагающий моральный принцип. Простое перечисление добродетелей и пороков подобно простому нажиму на клавиши, который еще не дает музыки».

Наступили мучительные месяцы в жизни Швейцера. Внешне все оставалось по-прежнему. Он вел прием, делал операции, промывал раны, лечил прокаженных, дергал зубы и принимал роды. Но в нем шла все это время напряженная работа мысли. Он искал основополагающий этический принцип и «чувствовал себя как человек, который должен построить новую и лучшую лодку вместо прогнившей, на которой он больше не решается выйти в море, – должен, но не знает, с чего начать».

Швейцер пишет в своей автобиографии: «В течение месяцев я жил в непроходящем умственном возбуждении. Без всякого успеха я понуждал свою мысль даже во время дневной работы в больнице сосредоточиваться на истинной природе позитивных взглядов и этики, а также на вопросе о том, что у них общего. Я блуждал в зарослях, в которых невозможно было найти тропинку. Изо всей силы я давил на железную дверь, но она не поддавалась».

Создавалось впечатление, что философия никогда и не занималась проблемой связи между культурой и отношением к миру. К своему удивлению, Швейцер попал на практически не разведанный еще материк.

В сентябре 1915 года здоровье Елены потребовало нескольких дней отдыха в Кейп-Лопесе, у океана. Туда и пришел доктору вызов из Н'Гомо. Заболела жена миссионера мадам Пело. Ехать надо было срочно, а подвернулся в этот момент только маленький буксирчик, тянувший вверх по Огове тяжело груженную баржу. На нем Швейцер и отправился за сто шестьдесят миль, в Н'Гомо. Вот как он сам описывает это памятное путешествие:

«Кроме меня, на борту были только туземцы, но один из них, Эмиль Огоума, был мой старый друг из Ламбарене. И так как я в спешке не успел запастись едой на путешествие, туземцы позволили мне угоститься их варевом. Мы медленно ползли вверх по течению, тщательно нащупывая – это было в сухой сезон – проходы среди мелей. Погруженный в свои

мысли, я сидел на палубе баржи, пытаюсь отыскать универсальную и фундаментальную концепцию этического, которой я так и не смог обнаружить ни в одной философии. Я покрывал обрывками фраз страницу за страницей, стараясь сосредоточиться на этой проблеме. На исходе третьего дня, на закате, когда мы пробирались через стадо гиппопотамов, в моем мозгу, нежданная и непредвиденная, вдруг мелькнула фраза „уважение к жизни“. Железная дверь подалась: тропинка в зарослях была обнаружена. Я отыскал собственный путь к идее, в которой утверждение мира и этика сосуществовали бок о бок! Теперь я знал, что этическое приятие мира и жизни вместе с идеалами культуры, содержавшимися в этой концепции, имеют основание в мысли».

Так второй раз в его жизни произошел этот непостижимый акт синтеза, когда ищущая мысль находит ответ на долгожданный вопрос, когда сливаются воедино потребность, поиск, знания, идеи, ассоциации, горы прочитанных книг и передуманных мыслей. Тогда подается железная дверь препятствия, и, конечно, мгновения эти запоминаются человеку на всю жизнь, обрастают в собственных его рассказах подробностями, а в людской молве легендами и анекдотами. Один английский философ писал как-то в журнале вольномыслящих гуманистов («Фрисинкер»), что «теперь, когда спрашивают: „Для чего были сотворены гиппопотамы?“ – ответ должен гласить: „Чтобы просветить Альберта Швейцера“.

Швейцера запомнил даже место на Огове, где впервые формула об уважении к жизни – «Ehrfurcht vor dem Leben» – пришла ему в голову. Надо сразу же оговорить, что немецкое Ehrfurcht – это нечто большее, чем просто уважение: это скорее пиетет, преклонение, почтение. Благоговение, наконец. Думается, что, не забывая об этом более эмоциональном, чем просто «уважение», более торжественном и даже до известной степени духовном звучании немецкого Ehrfurcht, мы все-таки можем оставить в русской книге более благозвучное и ставшее уже традиционным «уважение к жизни» вместо тяжеловесного «благоговение перед жизнью».

Впоследствии, через много лет, старый философ часто дарил друзьям и посетителям фотографии берегов Огове, где впервые подалась железная дверь мысли, с подробной надписью: «Это три острова на реке Огове, у деревни Игендия, в восьмидесяти километрах от Ламбарене вниз по течению, при виде которых в сентябрьский день 1915 года у меня возникла мысль о том, что благоговение перед жизнью есть основной принцип морали и настоящего гуманизма...» Вероятно, более существенной, чем эти точные географические координаты, является для нас обстановка, в которой родилась знаменитая формула Швейцера. Это произошло на Огове,

кишащей рыбой, гиппопотамами, крокодилами, жуками, пауками и всяческой живностью; это произошло у берегов, покрытых девственным лесом, опутанных лианами, населенных тысячами растений, тысячами животных, мириадами насекомых. Это было в сердце джунглей, где все дышит, ползает, роется в земле, копошится, стрекочет, шуршит, рычит и верещит. Это произошло под небом, где роятся мириады mosкитов и злобные мухи цеце, стаи птиц и полчища безвестных мошек. Это было в мире джунглей, перенаселенных жизнью, дружественной, нейтральной, а часто и враждебной. Это произошло в трагическом 1915 году, когда животные и люди гибли в жестоком месиве войны, когда человеческая жизнь была обесценена, а человечество, найдя гранаты, бомбы, пули, штыки и огонь слишком слабым орудием прогресса, решилось применять удушающие, слепящие и отравляющие газы.

Именно в этой обстановке в эту пору размышление о мире и человеке приводит Швейцера к утверждению благоговения перед попираемой жизнью как единственно возможному принципу философии и этики.

В чем же заключается уважение к жизни и как оно пробуждается в нас? Стремясь осознать свое отношение к миру, человек обращается к самому факту своего сознания. «Мыслью – значит существую», – говорил Декарт. Но каково содержание этого акта сознания? Швейцер говорит, что оно формулируется в следующем утверждении: «Я жизнь, которая проявляет волю к жизни в гуще других жизней, которые проявляют волю к жизни». Или другими словами: «Я жизнь, которая стремится к жизни в гуще других жизней, которые стремятся к жизни». Именно так осознает себя человек, размышляя о себе и окружающем мире.

И так же, как во мне самом есть пламенное желание к продолжению своей жизни и к тому таинственному умножению воли к жизни, которое называется наслаждением, так же как во мне есть страх перед уничтожением и перед тем таинственным ущемлением воли к жизни, которое мы называем болью, так и в окружающих меня волях к жизни есть эти желание и страх, независимо от того, могут они высказать мне это или остаются безмолвными.

Человек должен определить свое отношение к воле к жизни. И если человек, подобно тому как делают индийские философы или Шопенгауэр, отрицает жизнь, повелевает своей воле к жизни обратиться в волю к небытию, то он, этот человек, по мнению Швейцера, приходит к противоречию, к философии, лишенной естественности, философии непоследовательной, ибо последовательность должна была бы привести к прекращению существования.

Утверждающее, позитивное отношение к своей воле к жизни Швейцер считает естественным, искренним. Сознательная мысль подтверждает в этом случае наше инстинктивное побуждение. Утверждение жизни – это, по Швейцеру, духовный акт, посредством которого человек перестает жить бездумно и с благоговением посвящает себя жизни, с тем чтобы поднять ее истинную ценность. Утверждать жизнь – значит способствовать ее углублению, ее большей духовности, способствовать обогащению воли к жизни.

«Существо и природа воли-к-жизни, – пишет Швейцер, – обнаруживаются в том, что она стремится выразить себя жизнью. Она несет в себе импульс к реализации самой себя до наивысшей возможной степени совершенства.

В нежном цветке, в многочисленных и удивительных формах медуз, в травинке, в кристалле – всюду она стремится достичь того совершенства, которое заложено в ее природе. Сила воображения, определяемая идеалами, действует в каждом из этих предметов. Импульс к совершенству заключен в каждом из нас: существа, наделенные свободой и способные к целенаправленному и обдуманному действию, мы, таким образом, с естественностью стремимся поднять себя и каждую частицу жизни, затронутую нашим влиянием, на высшую материальную и духовную ступень ценности.

Мы не знаем, как появилось у нас это устремление и как получило оно в нас развитие. Это неразрывная часть нашего существа. Мы должны следовать этому устремлению, если не хотим изменить тайной воле-к-жизни, сокрытой в нас».

В то же время человек, ставший мыслящим человеком, испытывает побуждение проявлять в отношении любой воли-к-жизни то же уважение к жизни, какое он проявляет по отношению к своей воле-к-жизни. Он считает добром: сохранять жизнь, содействовать жизни, поднимать на высший уровень жизнь, способную к развитию; он считает злом: разрушать жизнь, вредить жизни, подавлять жизнь, способную к развитию. Это абсолютный основополагающий принцип морали, и это необходимость мысли.

Величайшим недостатком всех прежних этических учений Швейцер считает тот факт, что они занимались только проблемой отношения человека к человеку. На деле вопрос должен стоять об отношении человека к миру и ко всякой жизни, с которой он вступает в контакт. Человек становится этичным только тогда, когда всякая жизнь как таковая для него священна, будь то жизнь растения или животного, равно как и жизнь другого человека, когда он отдает себя в помощь любой жизни, которая

нуждается в помощи. Только универсальная этика, ощущающая ответственность за все живое в постоянно расширяющейся сфере, – только эта этика может получить основание в мысли. Этика, имеющая дело с отношением человека к человеку, не представляет собой ничего самостоятельного: это только разновидность отношения, проистекающего из универсальной этики.

Распространение законов этики на животный и растительный мир было, несомненно, очень существенной чертой философии Швейцера. Один важный аспект ее был недавно отмечен многими авторами (в том числе и советскими) в связи с успехами космических полетов и возможностями в ближайшем будущем этического (или снова неэтического) отношения к марсианам, например.

«Этика уважения к жизни, таким образом, включает все, что может быть охарактеризовано как любовь, самоотдача и соучастие как в страдании, так в радости и труде», – пишет Швейцер.

«Однако в этом мире перед нами предстает ужасающая драма воли-к-жизни, раздираемой противоречием изнутри». Одно существо поддерживает свою жизнь за счет другого, одно уничтожает другое. И только в мыслящем человеке одна воля-к-жизни начинает думать о другой и стремится к сотрудничеству с ней, к солидарности. Эту солидарность, однако, не всегда удается осуществить, потому что и человек тоже повинуется страшному закону, согласно которому он вынужден существовать за счет других жизней, снова и снова совершать тяжкий проступок уничтожения и притеснения жизни. Однако, как существо этическое, человек старается всюду, где можно, избегать этой необходимости и, как существо просвещенное и милосердное, пытается покончить с этим разладом внутри воли-к-жизни, насколько это в его силах. Он жаждет возможности сохранить гуманность и получить возможность избавлять от страданий другие жизни.

Идея универсальности этики и приведенное выше размышление о драме воли-к-жизни и ее противоречиях нередко связаны между собой. Когда мы начинаем проводить различия в ценности различных видов жизни, мы неизбежно кончаем тем, что судим об их ценности по удаленности их от нас, от человеческих существ. Но ведь это, говорит Швейцер, критерий чисто субъективный.

Идя по пути установления таких различий, мы приходим к утверждению, что может существовать жизнь, не имеющая цены, жизнь, притеснение или полное уничтожение которой ничего не значит. А затем, продолжает Швейцер, в категорию этих малоценных жизней мы мало-

помалу включаем, судя по обстоятельствам, различные виды насекомых или целые примитивные народы.

Для человека, по-настоящему этического, всякая жизнь священна, даже та, которая, с человеческой точки зрения, стоит ниже рангом. Он может сделать такое различие только для данного особого случая и под давлением обстоятельств: когда он должен решить, например, какой жизнью нужно пожертвовать, чтобы спасти другую жизнь. Но, принимая такое решение, он всегда сознает, что основания его являются субъективными и незаконными, и он знает, что несет ответственность за ту жизнь, которой жертвует.

«Я радуюсь новому лекарству против сонной болезни. – продолжает свои рассуждения врач-философ, – которое позволяет мне сохранять жизнь там, где я раньше мог только наблюдать за страданиями больного. Но каждый раз, когда я вижу под микроскопом микробы, вызывающие болезнь, я не могу не думать о том, что мне приходится жертвовать этой жизнью для того, чтобы спасти другую. Я покупаю у туземцев орленка, пойманного ими на берегу, чтобы избавить его от жестокого обращения. Но теперь я должен решить, заставлю ли я его умирать с голоду или буду скормливать ему каждый день несколько рыбешек, чтобы сохранить ему жизнь. Я решаю в пользу последнего, но каждый раз ощущаю тяжесть оттого, что несу ответственность за пожертвование одной жизни ради другой».

Швейцер отлично понимал, что положения его универсальной этики вызовут немало нареканий. Он был готов к этому. «Удел всякой истины, когда она провозглашается впервые, – писал Швейцер, – быть объектом насмешек. Некогда считалось глупым предположение, что темнокожий и впрямь является человеческим существом и потому требует человеческого обращения... Сегодня провозглашение неизменного уважения ко всякой форме жизни как серьезное требование рациональной этики объявляют преувеличением. Но подходит время, когда люди будут удивляться, как много времени потребовалось человеческой расе для того, чтобы признать, что бездумное нанесение ущерба жизни несовместимо с истинной этикой. Этика в своей общей форме распространяет свою ответственность на все живущее».

Свободный человек, говорит Швейцер, использует всякую возможность, чтобы познать свое благословенное право помочь жизни и уклониться от причинения страданий и от разрушения. В то время как бездумное прятие жизни блуждает в потемках, ведомое идеалами той власти, которую дали ей изобретения и открытия, прятие жизни,

основанное на разуме, выдвигает как самый высокий идеал духовное и этическое совершенствование человечества, идеал, от которого все другие идеалы прогресса получают свою ценность.

«Этическое приятие мира и жизни помогает нам... отличить существенное в культуре от несущественного. Глупая надменность, с которой мы провозглашаем себя цивилизованными, перестает довлеть над нами. Мы отваживаемся признать тот факт, что при всем прогрессе силы и знания до истинной культуры теперь не ближе, а дальше. Нам начинает открываться проблема взаимоотношения между духовным и материальным. Мы знаем, что всем нам приходится бороться с обстоятельствами, чтобы сохранить человечность. Мы должны надеяться, что блеснет луч надежды в этой почти безнадежной борьбе, которую столь многие люди ведут за сохранение своей человечности в столь неблагоприятных социальных условиях».

Углубленная этическая воля к прогрессу, проистекающая из мысли, подытоживал Швейцер, выведет нас из нецивилизованного общества с его несчастьями к истинной цивилизации. Раньше или позже должен забрезжить свет истинного и окончательного Возрождения, который принесет миру мир.

Швейцер писал о мире в страшную пору, когда Европа уже отчаялась дождаться мира.

«Не торопясь, – вспоминает он, – я записывал на бумагу черновые наброски, в которых отбирал и просеивал материал безотносительно к структуре своего исследования, план которого уже был готов».

Это был план той самой книги, которую он некогда мечтал озаглавить «Wir Erigopen». Теперь книга называлась «Философия культуры», и уже в планах Швейцера она приобретала довольно монументальные размеры. Первая ее часть должна была разбирать причины современного упадка буржуазной культуры, вторая – трактовать идею Уважения к Жизни в связи с прежними попытками европейской философии дать основание позитивному этическому отношению к миру; третья – изложить концепцию Уважения к Жизни.

Конечно же, когда Швейцер начал анализировать концепции европейской философии, искавшей этическую основу для приятия мира, ему захотелось подробно изложить всю историю этих трагических поисков. Впоследствии он не жалел о предпринятом огромном труде, потому что анализ этот помог ему уточнить собственную концепцию. Ему понадобилось много книг по философии. Друзья пересылали ему их из Цюриха через международную женеvскую организацию.

В душном ламбаренском климате немногим европейцам удавалось проработать больше двух-трех лет без продолжительного, полугодового, отпуска в Европе. Супруги работали в Африке уже четвертый год, и Елена с трудом переносила теперь климат Ламбарене, так что в сезон дождей 1916/17 годов им пришлось на время уехать для отдыха в Кейп-Лопес. Знакомый лесоторговец предоставил им домик возле Кейп-Лопеса, в Чиенге, в самом устье одного из протоков Огове. Раньше в этом домике жил надсмотрщик плотогонов, но с войной сплав пришел в упадок, и домик пустовал. Плоты все же продолжали приходить время от времени из верховьев Огове, и доктор Швейцер решил в благодарность за предоставленное ему жилье работать вместе с африканцами на берегу. Из-за древоточца оставлять бревна в воде нельзя было, а европейские лесовозы приходили теперь в Кейп-Лопес редко. Поэтому во время прилива рабочие-габонцы, а с ними и сорокадвухлетний доктор разных наук вкатывали двухтонные и трехтонные бревна окоуме на берег. Иногда у них уходило по нескольку часов на то, чтобы вкатить такую плеть. Это была тяжелая работа, и пот, который проступал у них на рубашках, был одинаково прозрачным и соленым. То, что кровь у них одного цвета, доктор убедился уже давно.

Новый труд оставлял доктору Швейцеру много часов досуга. В часы отлива он лечил местное население и писал свою историю цивилизации, «формулируя природу этического». Одна из глав уже стала вырисовываться целиком, и он мог бы быть счастлив в этот страшный для Европы год, если бы не данное ему природой острое чувство сострадания, если бы не обретавшая теперь философскую плоть его этическая идея уважения к жизни:

«Уважение к жизни не позволяет мне предназначать самому себе свое счастье. В те мгновения, когда я хотел бы беззаботно насладиться, оно вызывает в моем сознании несчастья, которые я видел и понял. Оно не позволяет мне избавляться от беспокойства. Так же, как волна не существует сама по себе, а являет собой лишь частицу в постоянном движении океана, так и я обречен никогда не ощущать свою жизнь отдельно, саму по себе, а всегда лишь как часть того, что совершается вокруг меня. Эта неудобная доктрина руководит мной, шепча мне на ухо свое. Ты счастлив, говорит она. Поэтому ты должен отдавать многое. Все, чего ты получил более других в форме здоровья, таланта, способностей, успеха, милого детства, гармонических условий домашней жизни, – все это ты не должен принимать как само собой разумеющееся. Ты должен платить за это. Взамен ты должен принести другим жизням особенно большую жертву, часть твоей жизни. Голос истинной этики опасен для счастливых,

когда у них достает отваги к нему прислушаться. Им не дано загасить неразумный огонь, в нем горящий. Он бросает им вызов, он пытается увести их с обычной дороги, пробуя, не удастся ли толкнуть их на поиски самопожертвования, которого все еще слишком мало в мире».

Доктор лечил людей, катал с габонцами многотонные бревна окоуме в часы прилива, формулировал этические законы, которые призваны были удержать человечество от новых безумств.

«Я каждый день как величайшую милость принимал то, что в дни, когда другим приходится заниматься убийством, я могу не только спасать жизни, но и трудиться для того, чтобы приблизить Эпоху Мира».

Увы, безмятежности его тяжкого, но счастливого труда на трагическом Африканском континенте подходил конец.

Глава 12

В сентябре 1917 года Елене стало чуть легче, и доктор вернулся в Ламбарене. Больные ждали его, и он сразу же начал прием. Елена готовила операционную.

Из далекой деревни в верховьях привезли рожать молодую африканку. Родился мальчик – невеликий доход в бедную семью. Доктор сам принял роды. Когда молодая оправилась чуть-чуть, доктор сказал ей шутливо: «Не забудь его выкрасить». Это был древний магический обычай большинства народов. Ведь злые духи особенно лютуют в первые дни человеческой жизни. Молодая африканка взглянула со страхом на Огангу, но потом улыбнулась сама, сверкнув удивительными рядами белых зубов. Она поняла иронию. Доктор был убежден, что с предрассудками можно и нужно бороться дружелюбной шуткой. В конце концов, рассуждал он, европейцам нечего зазнаваться. В их обычаях еще слышны отголоски множества суеверий древности. При воспоминании о новых европейских суевериях и предрассудках доктор терял добродушие...

Он промывал рану и с беспокойством поглядывал на длинный ряд пациентов, сидевших в тени. В это время и привезли приказ из Либревиля. Цивилизованная французская держава на вершине своей военной мощи решила изменить меры пресечения по отношению к опасным военнопленным – доктору Швейцеру и мадам Швейцер, урожденной Бреслау. Предписывалось немедленно, на первом же пароходе, доставить их в Европу и посадить в лагерь военнопленных. Доблестные капитаны из военного ведомства, ведавшие спасением цивилизации, настаивали на крайней срочности мероприятия. К счастью, беспорядки, царившие на этой еще не полностью цивилизованной окраине, не позволяли выполнять приказы с этой столь спасительной для цивилизации оперативностью. Пароход запаздывал.

Миссионеры и туземцы вместе с супругами Швейцер срочно запаковывали вещи, лекарства, инструменты. Все это должно было остаться в Ламбарене до лучших времен. Доктор Швейцер верил в лучшие времена. Он был неисправимый и неистощимый оптимист: не по глупости – по убеждению и здоровью. При своем пламенном идеализме он обладал еще чисто эльзасским, крестьянским практицизмом. Он понимал, что труднее всего в его бесправном положении будет сохранить рукопись нового философского труда. А сейчас это была самая большая его

ценность. Он решил доверить ее американскому миссионеру мистеру Форду. Мистер Форд верил в добрые дела, но не верил в философию. Он признался, что у него сильнейшее искушение выкинуть эту гору бумаг в реку: один вред от всей этой философии. Оговорив, что он выполняет просьбу доктора только из христианского милосердия, доктор Форд согласился хранить бумаги у себя и переслать их Швейцеру, когда кончится все это безумие. Прежде чем отдать рукопись, Швейцер просидел над ней две ночи. Он составлял план уже готовых частей и делал резюме главных мыслей. Он был человеком от мира сего и знал, что, кроме благородных идей, в мире существуют таможни и цензура.

Нужно было спрятать книгу, составив для себя в дорогу хитрое резюме. Если бы он стал писать его по-немецки, первый же бдительный таможенник принял это за инструкцию по разведработе, и тогда мадам Швейцер не отыскала бы следов мужа. Он сделал резюме по-французски. Кроме того, он обнаружил, что содержание работы слишком тесно связано с современностью, чтобы какая бы то ни было военная цензура смогла это переварить. Он снабдил каждую главу французским заголовком, убедительно свидетельствующим о том, что это невинное исследование эпохи Возрождения.

Когда почти все вещи были упакованы, а рукопись о нецивилизованной цивилизации поступила в надежные руки, из леса вынесли на носилках старика, страдающего от ущемленной грыжи. Родственники в изнеможении поставили носилки, и старик стал кататься по земляному полу, извиваясь от боли. Елена молча распаковывала тюк с инструментами. Операцию пришлось делать в страшной спешке, среди тюков и чемоданов.

В день, когда подошел пароход, пациент вдруг встал. Он подошел к супругам и начал странный, древний, как мир, танец. Швейцеру подумалось, что именно так танцевал библейский царь Давид перед ковчегом завета. Старый африканец избавился от боли. Он выражал в танце свою благодарность доктору Оганге и Жене Доктора. Это было фантастическое зрелище. Потом старик гладил руки доктору и говорил: «Акева! Акева!» (Спасибо!)

А потом солдат-габонец послушно погнал доктора с супругой на борт речного парохода. Африканцы стояли толпой на берегу и кричали свое последнее «Прощай, Оганга!» на десятке языков и диалектов.

Пароход дал прощальный гудок. Раздались нестройно-жалобные крики на берегу. Доктора увозили в Европу. Сердце его оставалось в Ламбарене. Он ехал в страшную неизвестность, куда более страшную, чем четыре с

половиной года назад, когда покидал Европу. Он верил, что вернется.

Обратный его путь из Африки был освящен благодарностью. Первым был габонец. Потом в Кейп-Лопесе на борт прокрался один из белых, жену которого Швейцер когда-то лечил. Он предложил доктору деньги. Но у Швейцера еще было золото, которое он привез четыре года назад. За час до отплытия парохода практичный доктор Швейцер сумел отлучиться с корабля и, посетив английского лесоторговца, выгодно обменял у него золото на новые французские деньги, которые они с Еленой аккуратно зашили в складки одежды. Они должны были выжить в этом европейском аду, чтобы вернуться в габонский ад для спасения тех, кто оставался сейчас без помощи.

На океанском пароходе они были вверены попечению унтер-офицера, который довел до их сведения, что им нельзя общаться ни с кем, кроме специально приставленного к ним официанта. В определенные часы официант по имени Гайяр мог выводить их на палубу, приносить им пищу, убирать у них в каюте. Этот официант проявлял по отношению к ним куда большую учтивость, чем по отношению к другим пассажирам. В самом конце путешествия он вдруг спросил у доктора с женой, заметили ли они, что он относится к ним с такой добротой, с какой никто никогда не относился к военнопленным.

– Я всегда обед подавал вам на всем чистом. И в каюте у вас не больше грязи, чем в других (передавая этот разговор, доктор Швейцер отмечает точность этого выражения, ибо чистота на тогдашних африканских судах была понятием относительным). А вот угадайте почему? – спросил Гайяр и продолжал с большой торжественностью: – Конечно, не из-за чаевых. От военнопленных разве дождешься чаевых? А тогда почему? Вот я вам расскажу сейчас. Несколько месяцев назад в одной из моих кают возвращался на родину месье Гоше, которого вы лечили. «Гайяр, – сказал он мне, – послушай меня, Гайяр. Может так случиться, что скоро на этом корабле повезут в Европу пленного доктора из Ламбарене. И если ты сможешь помочь ему, Гайяр, помоги ради меня». Теперь вы знаете, почему я так хорошо с вами обращался.

Доктор не утратил в этой мрачной дороге ни чувства юмора, ни способности ценить в людях малейшее проявление терпимости. Он не верил в организационное переустройство разоренной Европы, но верил во врожденное этическое чувство человека.

Плавание было опасным. Старенькая «Африка», увозившая доктора с женой, взятых «в плен» в качестве немцев, а также весь караван были атакованы немецкой подводной лодкой U-151. К счастью, торпеда прошла

мимо, и караван укрылся в Дакаре. Как сообщает в своей книге Г. Геттинг, капитаном этой подводной лодки был Мартин Нимеллер, тогда военный моряк. Через полвека Нимеллер стал активным борцом за мир, лауреатом Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

В Бордо супругов отвезли в пересыльные казармы на рю де Бельвиль. Относительная чистота Европы оказалась для Швейцера губительней демонстративной нечистоты Африки; он заболел, наверное, впервые после своего болезненного младенчества. У него началась дизентерия, которую он сам лечил эметином.

В суматохе пересылки, неправильно поняв приказ о дальнейшем следовании, супруги начали разбирать вещи на ночь. В это время подъехали жандармы и сказали, что нужно немедленно уходить. Видя, что они еще не готовы, один из жандармов закричал, что это неповиновение и что он отправит их без вещей. Кто мог помешать ему сделать это в европейской ночи бесправия? Доктор Швейцер с благодарностью отмечает, что французские жандармы все-таки не сделали этого и в конце концов, сжалившись, разрешили им с женой собрать вещи. Они даже сами помогали им в сборах при тусклом свете свечи. Впоследствии доктор не раз обуздывал собственный горячий нрав этим примером терпимости.

Их привезли в Гарэсон, старинный монастырь в Пиренеях, где теперь размещался лагерь для интернированных штатских, имеющих подданство враждебных стран. Когда-то монастырь славился исцелением больных, и слово «гарэсон» было провансальским вариантом французского «герисон», что значит «исцеление». Супруги Швейцер и впрямь почувствовали себя лучше в живительном воздухе Пиренеев.

Лагерь представлял собой удивительное сборище людей, согнанных со всех концов света за полуразрушенные стены старинного монастыря. Доктор Швейцер с любопытством наблюдал это сборище и позднее так описал его в своей автобиографии:

«Здесь были ученые и артисты, особенно много было живописцев, которых война застала в Париже; были немецкие и австрийские сапожники, а также дамские портные, работавшие в больших парижских фирмах; директора банков и управляющие отелями, официанты, инженеры, архитекторы, ремесленники и деловые люди, жившие во Франции и ее колониях; католические миссионеры и члены религиозных орденов из Сахары – в белых одеждах и красных фесках; торговцы из Либерии и других районов западного африканского побережья; купцы и коммивояжеры из Северной Америки, Южной Америки, Китая и Индии,

захваченные в море; команды немецких и австрийских судов, которые постигла та же судьба; турки, арабы, греки и представители Балканских стран, по разным причинам депортированные в ходе операций на Востоке; некоторые турки были с женами, которые расхаживали, укрывшись под чадрой. Что за пеструю картину являл собой лагерный двор два раза в день во время проверок!»

На одной из проверок к Швейцеру подошел человек, который представился как инженер-мукомол месье Боркело, и сказал, что он должник доктора Швейцера, исцелившего его жену. Так как доктор не мог припомнить такой пациентки и только поеживался от утренней свежести, инженер рассказал ему длинную и трогательную историю.

В начале войны из Ламбарене был отправлен в лагерь военнопленных в Дагомею представитель немецкой лесоторговой фирмы некто Классен. Доктор Швейцер, который давно уже взял на себя функции Красного Креста и других неповоротливых международных организаций, снабдил военнопленного Классена солидным запасом хинина, эметина, бромистого натрия, микстурами против бессонницы и другими лекарствами – для нужд военнопленных. Каждую коробочку и бутылочку доктор сопровождал подробным предписанием. Беднягу Классена долго мотало по лагерям, но лекарства он каким-то чудом все же сохранил. И вот во Франции, сидя в одном лагере с инженером Боркело, лесоторговец Классен весьма успешно лечил мадам Боркело от потери аппетита и от нервного истощения, пользуясь лекарствами и предписаниями доктора Швейцера. Инженер Боркело спросил, чем он мог бы теперь помочь доктору. Доктор сказал, что у него нет стола. Инженер отодрал доски где-то на церковных хорах и сколотил доктору прекрасный стол. Так доктору Швейцеру довелось получить врачебный гонорар в виде стола.

Через несколько дней к Швейцеру подошел на проверке старейшина цыган-музыкантов. До войны эти цыгане играли в самых фешенебельных кафе Парижа, и при заключении в лагерь им почему-то разрешили оставить инструменты. Теперь они регулярно забирались на церковные хоры заброшенного монастыря и проводили там свои репетиции. Старый «примаш» оркестра спросил у доктора, не тот ли он Альберт Швейцер, который упоминается в «Музыкантах наших дней» Ромена Роллана?

Доктор признался, что, да, тот самый. Тогда старый «примаш» объявил, что отныне цыгане считают его своим, что он может присутствовать на хорах, когда оркестр играет или репетирует, и что им с женой отныне положено две серенады в год – на дни рождения. И правда: в день своего рождения Елена проснулась от звуков вальса из «Сказок

Гофмана». Исполнение было безупречным.

Стол, изготовленный месье Боркело из краденых досок, доктор использовал для своих философских и музыкальных занятий. Еще на борту судна, где он не мог писать вообще, Швейцер решил разучить некоторые фуги Баха и Шестую органную симфонию Видора. Там же, на корабле, он вспомнил свою давнишнюю детскую игру: в ту пору, когда папаша Ильтис редко еще допускал его до органа, маленький Альберт играл на столе, воображая, что стол – это клавиатура органа, а пол – это педали. И вот теперь за свежеструганным столом, полученным в подарок от инженера, Швейцер «проигрывал» таким образом баховские фуги. Музыканты утверждают, что для подобных немых упражнений нужна огромная сосредоточенность.

Несмотря на обилие специалистов в лагере, Швейцер оказался, как ни странно, единственным врачом в Гарэсоне. Поначалу начальник лагеря запрещал пленному врачебную практику, надеясь на помощь местного деревенского врача. Впоследствии он, впрочем, передумал и даже предоставил в распоряжение доктора отдельную комнатку для приема. Больных оказалось много. Особенно успешно лечил Швейцер тропические болезни у бывших жителей колоний и матросов. К счастью, инструменты и лекарства у него были с собой.

«Так я снова стал врачом, – вспоминает Швейцер. – А все время, которое оставалось свободным, я отдавал „Философии культуры“ (я писал в это время о цивилизованном государстве) и практиковался в органной игре на столе и на полу».

Фраза, заключенная в скобки, содержит, конечно, убийственную иронию, ибо где же, как не в лагере, писать о «цивилизованных государствах», достигших к этому моменту апогея своей «цивилизованности».

Швейцер отмечал упадок «цивилизованного государства» и хваленой буржуазной цивилизации еще на рубеже века; позднее он формулировал свои наблюдения, сидя под арестом в душном аду габонских джунглей. Потом война бросила философа в самое месиво человеческих страданий, заставила познать на своем опыте достижения этой «цивилизации» и непреклонную волю буржуазного «цивилизованного государства». Он не увидел ничего принципиально нового, чего нельзя было предвидеть раньше, но в формулировках его звучит теперь выстрадавшая зрелость.

«Мы живем, – пишет Швейцер, – в период, который характеризуется отсутствием всякого истинного чувства права и закона. Наши парламенты с легким сердцем производят законы, противоречащие духу истинной

законности. Государства незаконно обращаются со своими подданными и не думают о поддержании какого-либо правосознания, а люди, попадающие в руки иностранной державы, и вовсе оказываются практически вне закона. Мы не уважаем их природного права ни на дом, ни на свободу, ни на место обитания, ни на собственность, ни на заработок, ни на поддержание жизни – короче говоря, ни на что вообще. Наша вера в закон испарилась без остатка».

Швейцер повторяет, что не война привела к кризису буржуазной цивилизации, а скорее наоборот. Отвечая на вопрос, почему же все-таки наступил кризис, упрямый индивидуалист Швейцер говорит, что кризис «наступил потому, что люди предоставили все проблемы этики обществу. Этическое возрождение будет возможно только тогда, когда этика снова станет занятием мыслящей личности и когда индивиды снова будут стремиться утвердить себя в обществе в качестве этических личностей»,

«Теперь, когда у нас есть абсолютный этический критерий, – продолжает Швейцер, – мы снова требуем правосудия... того, которое вдохновлено сознанием ценности каждой человеческой жизни».

Как, без сомнения, отметил читатель, по Швейцеру, этический прогресс начинается с личности, и это непосредственно вытекает из его индивидуалистических и идеалистических предпосылок. Марксизм рассматривает этику в определенных исторических условиях, в связи с интересами классовой борьбы и борьбы за построение коммунизма. Ленин прямо писал, что «в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма»¹⁰. В результате социальных преобразований, по мысли Ленина, постепенно произойдет и нравственное совершенствование: «Люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях, правил общежития...» («Государство и революция»)¹¹. И если на разных этапах развития классового общества происходила дифференциация морали, то в дальнейшем, по мере создания бесклассового общества, произойдет интеграция морали. Энгельс писал об этом так: «Мораль, стоящая выше классовых противоречий и всяких воспоминаний о них, действительно человеческая мораль, станет возможной лишь на такой ступени развития общества, когда не только будет уничтожена противоположность классов, но изгладится и след ее в практической жизни»¹². Конечно, это не значит, что основоположники марксизма считали сейчас неприемлемыми эти «веками известные» правила общежития, не признавали законов нравственности и

справедливости. Напротив, они говорили, что именно в массах революционных рабочих эти законы получают наиболее полный расцвет. И Маркс больше столетия тому назад призывал английских рабочих «добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами»¹³.

...У лагерного доктора прибавлялось работы, а времени на философские сочинения оставалось все меньше. Тянулись месяцы заключения, и все чаще заключенные приходили к доктору с жалобами на болезни. Доктор Швейцер внимательно наблюдал разнообразные проявления горя в лагере. Были люди, которые почти физически ощущали свою несвободу. Швейцер видел, как от подъема до отбоя кружили они по монастырскому двору, глядя за стены на сверкающую цепь Пиренеев. У них не осталось внутренней энергии, чтобы заняться хоть чем-нибудь. Если шел дождь, они безучастно и вяло толпились в коридорах. Большинство из них страдало от истощения, потому что однообразная (хотя и не такая уж плохая) лагерная пища им наскучила и они совсем потеряли аппетит. Многие страдали от холода, потому что здания нельзя было отапливать. Для этих людей, ослабевших душой и телом, всякая болезнь была губительна. Они шли к доктору, и ему нелегко было определить характер их заболеваний, потому что они были к тому же еще и подавлены, жаловались на утрату всего, что имели. У этих людей не было надежды, не было будущего. Что они будут делать, когда откроются ворота лагеря? У них были французские жены и почти французские дети. Их работа была во Франции, а теперь им придется уехать. Буржуазная цивилизация не считалась с человеком, отказывала ему в праве выбирать место для жилья, и медицина была тут бессильна.

Конечно, Гарэсон был еще непохож на Бухенвальд, Треблинку, Освенцим... Но уже здесь человек был лишен свободы, запуган, деморализован. В начале 1918 года было, например, объявлено, что если к такому-то числу немцы не перестанут притеснять мирное население Бельгии, лагерные «знаменитости» (видимо, директора банков, управляющие отелями, артисты, ученые, торговцы) будут отправлены в исправительные лагеря особого режима. При всей трагичности ситуации Швейцер отметил в ней юмористическую деталь – сразу выяснилось, что большинство здешних «управляющих отелями», «банкиров», «крупных купцов» были просто официанты из отелей и продавцы, предполагавшие, что если они объявят себя бывшими знаменитостями, им легче будет перенести лагерный режим. Теперь они жаловались всякому встречному на

коварство судьбы.

Швейцера интересовали люди, попавшие в условия лагеря, интересовало их поведение. Он легко сходился с людьми, со многими разговаривал. Более того, этот доктор многих наук считал лагерь весьма подходящим местом для учебы. Он разделял мнение своего приятеля, лагерного сапожника, о том, что «человек должен уметь многое», а здесь, на его взгляд, были благоприятные условия.

«В лагере тебе не нужно было книг, чтобы пополнить свое образование. Для всего, что ты хотел бы узнать, здесь были в твоём распоряжении люди, обладавшие специальными знаниями, и лично я широко использовал эти уникальные возможности. Я приобрел здесь знания о банковском деле, архитектуре, строительстве и оборудовании фабрик, выращивании злаков, доменном строительстве и многих других предметах...»

Итак, доктор Швейцера не унывал в Гарэсоне. Работы у врача было по горло, а в свободные часы в нем оживали музыкант и философ: один на дареном столе «разбирал» и «проигрывал» органную пьесу, другой разбирал причины, которые уже много десятилетий назад начали мостить дорогу к массовому отупению, к концлагерям и бравым победным песням.

Весна принесла могучему доктору и его хрупкой жене новые испытания.

В Сан-Реми-де-Прованс был создан специальный лагерь для эльзасцев; и сколько добрый комендант Гарэсона ни просил оставить ему усатого доктора, сколько ни добивался этого сам Швейцера, спасение цивилизации требовало, чтобы эльзасец с супругой были немедленно препровождены в новый монастырь, расположенный в продуваемой холодными ветрами долине Прованса.

Начальник нового лагеря, отставной полицейский комиссар месье Баньо был человек мягкого характера и живого нрава. На все вопросы о том, можно то или можно это, он отвечал игриво: «Рьен э перми! Ничто не разрешено! Ничего нельзя! Но есть вещи, которые могут быть терпимы, если вы проявите благоразумие!» Терпимость его была почти безгранична (в границах лагеря, конечно).

В старом монастыре было холодно. Холод словно сочился из каменных стен огромного помещения на первом этаже, из мостовой и высокой ограды монастырского двора. Швейцера не покидало ощущение, что он уже был здесь когда-то, что он видел эти зыбкие стены, ощущал холодное дыхание мистрала, слышал хриплый кашель. Он сидел в комнате первого этажа рядом с невыразимо страдавшей здесь Еленой и вспоминал, где же он мог

видеть эту уродливую комнату с длинной трубой из конца в конец ее. И он вспомнил, наконец: на рисунке Ван-Гога. Он узнал потом у коменданта, что в старом монастыре помещалась раньше лечебница для душевнобольных, в которой находился одно время и бедный Винцент Ван-Гог.

Швейцер с женой так и не смогли привыкнуть к холодным каменным стенам и ветрам Прованса. У сорокатрехлетнего доктора стали появляться признаки осложнений после дизентерии. Теперь его мучила слабость, с которой даже его воле было не справиться.

Начальник лагеря отпускал заключенных на прогулку за ворота, конечно, под надзором стражи. Ни доктор, ни Елена не могли угнаться за этой процессией, вырывавшейся на волю. Тогда добряк начальник стал сам брать на прогулку всех калек-эльзасцев, в том числе мадам Елену и месье Альбера (фамилию которого он так и не смог выговорить). Супруги Швейцера медленно плелись по прованским дорогам в компании таких же ослабевших, как они, людей. Унылая процессия эльзасцев проходила через французскую деревню, и со всех сторон слышались враждебные выкрики. Доктор смотрел по сторонам и видел лица, искаженные злобой...

Здоровье доктора и его жены становилось все хуже. Доктор ловил себя на том, что у него временами появляется то же чувство бесперспективности и безнадежности, какое он сам не раз отмечал у бедных доходяг лагеря Гарэсон. И все же он не позволял себе сдаваться. Он по-прежнему работал над набросками к своей философской книге, разрабатывал обоснование фундаментального принципа морали, философский компас для нового, настоящего человеческого развития стран и народов. Он рассуждал о гуманизме, который, по его мнению, заключается в том, что человек не должен бездумно быть принесен в жертву цели, ибо человек и есть в конечном счете цель гуманизма.

Швейцера делал упор на этику этической личности. «Когда перед индивидом встает альтернатива – пожертвовать как-либо счастьем или жизнью другого человека ради собственных интересов или самому понести урон, то он имеет возможность прислушаться к требованиям этики и выбрать последнее».

В этой связи уместно вспомнить подвиги самопожертвования наших соотечественников, свидетелем которых стал мир и во время революции, и в гражданскую войну, и во время Великой Отечественной войны. Здесь тоже, выражаясь языком Швейцера, речь шла об альтернативе, которая встает перед этической личностью, о «возможности прислушаться к требованиям этики» и выбрать самопожертвование во имя идеала.

Швейцера нашел для себя основополагающий принцип морали,

который давала ему этика уважения к жизни. Точнее, для него «этика и являлась уважением к жизни». Формула эта включала, по Швейцеру, три самых существенных элемента философии жизни: самоотречение, позитивное утверждение мира и этику.

Человек знает о мире, что все существующее в нем, как и он сам, есть проявление воли к жизни. Человек становится в активное и пассивное отношение к миру. С одной стороны, он как бы отдается течению событий, составляющих совокупность жизни; с другой – он оказывается способным влиять на жизнь, которая протекает рядом с ним, ущемляя ее или содействуя ей, уничтожая ее или поддерживая.

Единственный возможный для человека способ придать смысл своей жизни – это поднять свое естественное, почти животное отношение к миру до отношения духовного. Как существо, находящееся в пассивном отношении к миру, человек вступает в духовное отношение с миром путем самоотречения. Истинное самоотречение, по Швейцеру, заключается в следующем: человек, чувствуя свою зависимость от событий, происходящих в мире, прокладывает путь к внутреннему освобождению от событий, составляющих внешнюю сторону его существования. Внутренняя свобода заключается в том, что он находит силы справляться со всеми тяготами своей участи таким образом, что это помогает ему стать человеком более глубоким внутренне, более погруженным в себя, помогает ему очиститься и сохранить мирное спокойствие. Самоотречение – это, таким образом, духовное и этическое утверждение собственного существования. Только тот, кто прошел через стадию самоотречения, способен принять мир.

Таким образом, резюмируя изложенные выше мысли, можно отметить, что, согласно мнению Швейцера, этическое устремление в человеке всегда подсказывает ему принять жизнеотрицание для того, чтобы служить другим существам, защищая их от боли и разрушения и даже жертвуя собой. Конечно, и среди животных можно обнаружить тенденцию отдать себя другим, но у них это сводится к простой солидарности, тогда как среди людей чувство это становится, по мнению Швейцера, «постоянным, рационально обоснованным, добровольным и беспредельным достижением, в котором индивид стремится реализовать высшее жизнеутверждение». Наше мышление не только признает жизнеутверждение само по себе, но и «побуждает волю к жизни также признать и разделить жизнеутверждение во всем многообразии среди нас». Таким образом, человек должен использовать жизнеотрицание и самоотречение (самопожертвование в пользу других) как средство

жизнеутверждения. То есть, как мы убедились, самоотдача для Швейцера и есть уважение к жизни.

Как существо, вступающее в активные отношения с миром, человек вступает с ним в духовный контакт уже тем, что начинает жить не для себя одного, а ощущает себя заодно со всякой жизнью, которая рядом с ним. Он начинает ощущать все явления чужой жизни как свои собственные, начинает отдавать им всю помощь, на какую способен, начинает принимать все признаки сохранения и развития жизни, которым он смог содействовать, как дар самого глубокого счастья, какое только могло выпасть ему на долю.

Как только человек начинает думать о тайне собственной жизни, о связях ее со всеми другими жизнями, переполняющими мир, он не может не прийти к перенесению на все эти жизни принципа уважения к жизни, не прийти к проявлению этого принципа путем жизнеутверждения. Существование его станет, таким образом, более трудным, чем если бы он жил для одного себя, но в то же время оно станет богаче, прекраснее и счастливее. Вместо того чтобы остаться простым существованием, оно станет истинным переживанием жизни.

Таким образом, по Швейцеру, размышление над жизнью и миром приводит человека с неизбежностью к принципу уважения к жизни. Если человек, однажды начавший думать, хочет по-прежнему жить для себя, то он должен вернуться к бездумности и оглушить себя ею. Потому что, если он будет продолжать мыслить, он в результате придет к принципу уважения к жизни.

«...уважение к жизни содержит в себе самоотречение, позитивное утверждение мира и этику – три существенных элемента философии жизни, три взаимосвязанных результата мышления...»

Вот эти-то враждебные государству мысли и записывал враг цивилизованной французской державы, сидя в комнате, увековеченной Ван-Гогом. В первое время ему никого не приходилось лечить, и он был целиком предоставлен собственному недомоганию и собственным мыслям.

В Сан-Реми не было столь космополитического и столь разностороннего общества, как в Гарэсоне. Здесь были одни эльзасцы – учителя, лесники, железнодорожные служащие.

В лагере Сан-Реми Альберт Швейцер писал об универсальной этике уважения ко всему живому. Он лечил людские болезни и считал себя ответственным за недомогания цивилизованного мира. Потому что этика, как записал он в эти дни, заключается в «безграничной ответственности перед всем живущим».

Глава 13

Осень, зима, весна, лето... Лагерь, еще лагерь...

Однако близилось освобождение. Люди в окопах больше не соглашались стрелять друг в друга. В России началась революция, потрясшая мир. Старый друг Швейцера Роллан еще весной этого бурного года обратился к русским братьям: «...Русские братья, ваша революция пришла разбудить нашу старую Европу. Идите впереди!.. Для каждого народа наступает черед вести человечество... Несите Европе мир и свободу!» Так писал Роллан. У Швейцера мы не находим никаких откликов на это величайшее историческое событие. Значит ли это, что гуманист Швейцер был на сей раз не согласен с гуманистом Ролланом? Отнюдь нет, и причину этого молчания нужно искать в ином. Швейцер уже придерживался в ту пору своего принципа (остававшегося неизменным в течение многих десятилетий), согласно которому его вмешательство в дела мира ограничивалось конкретным делом добра, самоотверженным трудом на благо его страдающих пациентов. Он искусственно ограничил сферу своего действия, решил, что он позволит себе только «индивидуальное действие», направляемое непосредственно «от человека к человеку». Впоследствии активный, действенный гуманизм его этической системы привел его к настойчивому вмешательству в мировую политику, в один из самых кардинальных и сложных ее вопросов, но это произошло значительно позже, еще через четыре десятилетия. Что касается событий колоссальной важности, происшедших в этот бурный отрезок времени, то они словно ускользали от внимания Швейцера (нетрудно догадаться, что это было не так): упоминаний о них мы почти не находим ни в письмах его, ни в статьях, ни в интервью, ни в больничных дневниковых отчетах.

В июле супруги Швейцер узнали, что их должны скоро выменять на пленных французов и через Швейцарию отправить на родину.

В ночь на 12 июля заключенных вдруг подняли с постелей и объявили, что получена телеграмма об их обмене. Все делалось в страшной спешке, потому что это была эпоха энергичных действий. Заключенные поволокли вещи на досмотр. Швейцер успел, к счастью, пронумеровать и проштамповать значительную часть своих философских записей в лагерной цензуре. Сержант охраны мог быть спокоен: этот доктор «болтал о политике» совсем не так, как сам сержант и как газеты, снабжавшие сержанта духовной пищей. В последнюю минуту, когда конвой уже открыл

ворота, доктор Швейцер, не забывавший ничьей доброты, забежал к начальнику лагеря. Добродушный отставной полицейский грустно сидел в конторе опустевшего лагеря... Они еще долго переписывались потом – старый полицейский и его просвещенный узник. «Мой дорогой постоялец!» – так обращался в своих письмах к Швейцеру бывший начальник лагеря Сан-Реми.

Их привезли в Тараскон, где в каком-то пакгаузе пришлось дожидаться прибытия поезда. Доктор и Елена довольно слабо держались на ногах, а багажа у них было опять очень много – книги, инструменты, записи... Когда подошел поезд, какой-то бедняк, один из лагерных пациентов доктора, вызвался им помочь. У него не было с собой ничего, даже котомки, и он стал таскать вещи вместе с доктором под жаркими лучами тарасконского полдня. И, шагая бок о бок с ним, спотыкаясь о камни насыпи, Швейцер дал один из многих своих обетов благодарности: всегда помогать пассажирам, у которых много багажа. Он выполнял этот обет всю жизнь, и при этом всего только раз был принят за вокзального воришку, который пытается выманить чемодан у бедной старушки.

Началось путешествие через военную Европу. На одной из станций их вдруг потащили к столам и стали угощать, обнимать, ласкать... Швейцер, утоляя голод, первым заметил, что гостеприимные хозяева чем-то смущены – кажется, эльзасским акцентом гостей. Остальные эльзасцы так и не узнали, что их приняли за беженцев-французов, которые должны были в эти часы проследовать с той стороны. Но Швейцер пошел объясняться, и все кончилось тем, что они вместе с членами комитета по встрече долго смеялись над этим недоразумением у опустошенных столов с закуской.

Поезд шел к Швейцарии и становился все длиннее. К нему присоединяли новые вагоны. Под конец присоединили два вагона с пленными других категорий: цыганами, точильщиками, бродячими корзинщиками и жестянщиками. Их тоже меняли на кого-то или давали за что-то в придачу: видимо, цивилизованным государствам уже была известна меновая стоимость живых существ.

На швейцарской границе они ждали телеграммы. Наконец, была получена телеграмма, что с той стороны тоже пришел поезд – можно меняться.

Утром 15 июля они прибыли в Цюрих, и здесь супругов Швейцер, к их изумлению и радости, встречали профессор Майер, а также певец Роберт Кауфман, всю войну снабжавший Ламбарене книгами по философии. Друзья уже много дней и даже недель ждали здесь доктора с Еленой.

Потом была немецкая граница и Констанц. Впервые они увидели то, о

чем столько слышали: по улицам ходили бледные люди, едва волочившие ноги от голода.

В Констанце их встретили родители Елены. Елену отпустили сразу, и она уехала в Страсбург. Доктор вместе с другими пленными должен был дожидаться еще сутки – до окончания всех формальностей.

Он добрался в Страсбург только на следующую ночь. Город лежал безмолвный, затемненный: опасались воздушных налетов. На улицах, в домах – нигде ни огонька. Бреслау жили в пригороде, куда было сейчас уже не добраться. Доктор Швейцер взволнованно брел по темному городу, где у него было столько друзей – его коллег, его учеников, его учителей. Наконец он увидел черную громаду Коллегиума Вильгельмитанума, и сердце его забило сильнее. Рядом стоял дом его преданнейшего друга – фрау Анни Фишер. В эту дверь и постучал блудный сын истерзанной Европы после пяти лет скитаний.

Не без труда добрался он потом и до Гюнсбаха, который находился в зоне военных действий. Поезда ходили теперь только до Кольмара. Швейцер прошел пешком десять миль, и это было грустное путешествие. На вершинах Вогез стояли неприятельские батареи, и дорога была прикрыта железными сетями и соломой. По сторонам дороги виднелись пулеметные гнезда и дома, разбитые артиллерийским огнем. Швейцер смотрел на родные горы – и не узнавал их: там, где шумели листвою чудесные буковые леса, теперь зияли грязные плечи и обгорелые пни. С дней «реальшуле» Швейцер знал этот кусок дороги от Мюнстера, веселую лесную дорогу среди гор и птичьего щебета. Теперь здесь слышался непрерывный глухой гул артиллерийского обстрела: стреляли в людей, в их дома, в мужчин, женщин, детей, скот... По деревушке сновали солдаты, офицеры и крестьяне; Гюнсбах был ближайшей к траншеям деревушкой. Престарелый пастор Луи Швейцер так привык ко всему этому, что не мог уже вспомнить, когда он жил в своем доме без господ офицеров. Он притерпелся ко всему и даже не лазил во время обстрела в надежный подвал пасторского дома вместе с остальными жителями деревни. Он сидел у себя в кабинете, читал и ждал. Чего ждал этот старый спокойный человек? Что его сын вернется из своих горемычных странствий? Что смерть придет к нему неожиданно, как пришла к его молчаливой супруге? Что пушки перестанут грохотать и люди успокоятся, наконец?

Крестьяне ходили по деревне измученные, хмурые. Противогазы шлепали их по бокам – люди боялись газов. Обстрел то и дело загонял их в убежище. Урожай сгорел, стояла засуха. Луга засохли, косить даже не стоило, скотина ревела от голода в хлевах. Грозовые тучи проходили над

Вогезами, не проливаясь дождем. Грозовые ветры вздымали тучи пыли, и в них Швейцеру чудился страшный призрак голода.

Его останавливали, узнавали, делились грустными новостями.

– Георг-то? Еще воюет. А Фриц уже вернулся, слепой, отравленный, дома сидит. А Карлушу Бегнера не видел? Вернулся. Счастливчик: с одной ногой, зато жив. Торговля его в Страсбурге, конечно, разорилась, теперь уж кто как сможет. Учитель? Не знаем. К дедушке на могилку сходи – там бомба упала большая...

Церковь, где служил дедушка Шиллингер, была разбита бомбой. Могучие плоды просвещения разворотили все вокруг церкви. Траншея пересекала теперь маленький погост и двор. Впрочем, могила старого поборника просвещения каким-то чудом уцелела.

Альберт пошел навестить учителя Вемана, но узнал, что любимый учитель не перенес голода и всех бедствий – покончил с собой.

В гюнсбахском доме, где галдели теперь brave офицеры, где тихо сидел за столом старый пастор, еще витал материнский дух. Она ведь всегда была молчаливой. Ее больше не было в доме. И она была. Была в памяти детей, в их характерах, в неукротимой воле старшего сына. Ее дух был жив в нем. Но тело его сдавало. Швейцер надеялся, что воздух родной долины излечит его, но и в Гюнсбахе ему становилось все хуже. В конце августа его начало лихорадить, появилась мучительная боль. Он сам установил диагноз, решил, что ему срочно нужна операция, и ушел из дому, поддерживаемый Еленой. Это было не первое его путешествие, в котором он опирался на плечо Елены. Однако это было самое мучительное из всех. Они шли к Кольмару и успели уже пройти шесть километров, когда их подобрала крестьянская телега, которая довезла их до поезда. 1 сентября профессор Штольц сделал ему операцию.

Доктор Швейцер лежал в больнице, и мысли у него были невеселые. Елена ждала ребенка. Страсбургский университет был закрыт, а ему нужно было зарабатывать на жизнь. Кроме того, за ним еще остались долги – Парижской миссии и друзьям, помогавшим ему в военные годы. Наступили тяжкие времена. Вряд ли теперь кто-нибудь в целой Европе поддержал бы предприятие вроде Ламбарене. А он лежал после операции на больничной койке и думал о Ламбарене! Среди горя и развалин Европы, в неустроенности собственных дел он думал сейчас о том, что ему хотелось помочь страдающим габонцам, что он помогал им – и вот не может помогать больше. Массовый здравый смысл (тот самый, который Гегель называл собранием предрассудков) твердил, что сейчас не время... Собственный разум отвечал, что раз это занятие сообразуется с велением

истины, значит для него всегда будет время. «Час истины – вчера и сегодня, и завтра, и всегда...»

Когда Швейцер поправился, бургомистр Страсбурга, тот самый Швандер, старый приятель по студенческому кружку, предложил ему место врача в муниципальной больнице. В ведении доктора Швейцера были теперь две женские палаты в кожном отделении.

Через два месяца после перемирия доктору Швейцеру исполнилось сорок четыре. В день его рождения Елена родила ему дочь, которую супруги назвали Реной.

Наступил 1919 год. Швейцер работал в страсбургской муниципальной больнице и даже Елене, наверное, не мог бы признаться, что думает о Ламбарене.

В эти годы он часто приходил к мосту через Рейн, настолько часто, что пограничники и таможенники стали принимать его как своего. Он приносил рюкзак с провизией для друзей с германской стороны. Там царил голод, и он пытался выручить из беды фрау Козиму Вагнер и старенького художника Ганса Тома. Безумию мира могла противостоять только доброта человека.

Однажды Швейцер проходил мимо Нейдорфского вокзала в Страсбурге и увидел в толпе знакомое и любимое лицо. Это был старенький профессор Шмидеберг, читавший им теоретический курс фармакологии. Французская администрация решила выслать его как опасный элемент, и теперь он ждал транспорта для ссыльных, с каким-то увесистым свертком под мышкой, но без чемоданов, как и все. Швейцер пробрался через толпу и спросил, не может ли он спасти вещи профессора, его мебель, хоть что-нибудь. Профессор сказал, что в этом вот свертке его последняя работа о дигиталисе и что строгий французский сержант, конечно же, не разрешит ее провезти. Швейцер забрал работу учителя и вскоре переправил ее с надежным человеком автору в Баден-Баден. Ссылный профессор недолго прожил после выхода своей последней работы.

1919 год был тяжелым для Швейцера. Он работал над хоральными прелюдами Баха и ждал, когда придет из Ламбарене остальная часть труда – готовые вчерне три тома прелюдов. Потом выяснилось, что американский издатель передумал и не будет продолжать издание. Швейцер ждал из Ламбарене и рукопись своей «Философии культуры», но посылки все не было. Свободного времени у него оставалось мало, и настроение чаще всего было подавленное. К тому же осложнение от дизентерии все еще мучило его, и летом ему пришлось перенести вторую операцию. Вот он и

сам познал боль, лежа на койке и с тоской вспоминая свою больничку на берегу Огове.

Казалось, что все кончилось, что ничего больше не будет – ни самозабвенного труда в Ламбарене, ни ночных озарений, ни концертов... Он иногда чувствовал себя старым пятаком, закатившимся под диван и там забытым.

К этому времени относится еще один вид деятельности Швейцера, почти не упоминаемый биографами: он редактировал «Церковный вестник Эльзас-Лотарингии». На страницах этой газеты Швейцер старался утешить своих соотечественников-эльзасцев, напомнить о путях надежды. «Что сказать об ушедшем годе? – писал он в новогоднем номере газеты. – Это было тяжелое время для всех нас, может быть, самое тяжелое...»

В одном из номеров «Вестника» редактор и автор его Швейцер вдруг высказал сочувствие к зачатой революционерке Розе Люксембург, которую немецкая церковь считала исчадием ада. Конечно, Швейцер не стал революционером: просто, комментируя тюремные записки Р. Люксембург, он отметил ее милосердие к животным, разглядел в ней «благородную душу». Впрочем, и это прозвучало диссонансом в дружном хоре ненависти.

В тяжелом настроении встретил Швейцер грустную осень 1919 года, когда известный теолог, шведский архиепископ Натан Седерблом начал справляться о судьбе эльзасского теолога, который, говорят, томится где-то во французском лагере. Седерблом написал по этому поводу архиепископу Кентерберийскому, который тоже много слышал до войны о смелом ученом. Швейцер, конечно, ничего не знал об этих розысках.

Первый луч надежды блеснул для него в октябре 1919 года: барселонские друзья из «Орфео Катала» прислали ему приглашение на концерт. Он с трудом наскреб денег на дорогу; эта поездка служила для него подтверждением, что он еще значит кое-что как музыкант, как знаток Баха.

После поездки он, несколько приободренный, продолжал работу над книгой о философии цивилизации, с нетерпением ожидая, когда придет рукопись из Ламбарене. Швейцер уже подходил к концу своего обзора мировой философии с точки зрения ее этического приятия мира. Теперь ему пришла мысль рассмотреть под тем же углом зрения главные мировые религии – религию Заратустры, иудаизм, христианство, ислам, брахманизм, буддизм, индуизм и китайскую религиозную философию. Это исследование подтвердило для него мысль о том, что цивилизация имеет основой этическое приятие мира. Он убедился, что религии, отрицающие

мир и жизнь, не проявляют никакого интереса к цивилизации (брахманизм, буддизм), тогда как в религиях, включающих в свою систему этическое приятие мира (религия иудаизма времен пророков, религия Заратустры, китайская религиозная мысль), содержится сильное стремление к цивилизации. Последние, по мнению Швейцера, стремятся к улучшению социальных условий и призывают к целенаправленному действию во имя общих целей, тогда как пессимистические религии призывают только к уединенному размышлению.

В эти годы смятения и разрухи Швейцер писал об оптимизме и пессимизме. «Мое знание пессимистично, – заявлял он, – но моя воля и надежда оптимистичны». Швейцер очень остро ощущал то, что называют отсутствием цели в событиях, происходящих в огромном мире, и оттого был пессимистом. Не только жизнь людскую, но и всю живую жизнь вокруг он воспринимал с состраданием, с болью. И он никогда не пытался устраниваться от этого мира страданий, закрыть глаза и уши. Для него казалось несомненным, что каждый из живущих должен принять на себя часть этого бремени боли и страданий.

Состояние буржуазной культуры толкало Швейцера к пессимизму. Он был убежден, что нынешняя дорога ведет ее к новому средневековью. И все же он сумел остаться оптимистом, твердо держась одной веры, сопровождавшей его из далекого детства: веры в правду, в истину. (В этом смысле он был близок Ганди, писавшему: «Я поклоняюсь богу только как истине».)

Швейцер был убежден, что «дух, порожденный истиной, сильнее обстоятельств». Человечество, верил он, обретет только ту судьбу, которую подготовит себе своим умственным и духовным настроем. И потому он не верил, что человечество дойдет до самого конца по этой дороге гибели.

Когда люди Запада восстанут против духа безмыслия, когда они окажутся личностями, достаточно здоровыми и глубокими, чтобы излучать как движущую силу идеалы этического прогресса, рассуждал Швейцер, именно тогда начнется движение духа, достаточно сильное, чтобы пробудить новое умственное и духовное настроение в человечестве.

Считал ли Швейцер, что и он сможет стать одним из духовных вождей своего века и личностью, достаточно здоровой и глубокой, чтобы произвести этический сдвиг в душах современников? Во всяком случае, он никогда не высказывал этой мысли прямо. Но если бы это и было так, у нас не было бы оснований ни обвинять доктора Швейцера в нескромности, ни разочаровываться на этом основании в пробуждаемом им духовном настроении. Так или иначе, существенной для системы Швейцера является

его оптимистическая убежденность.

«Я верю в будущее человечества, – писал он, – потому что я убежден в силе правды и силе духа». Этическое приятие мира включает в себя, по Швейцеру, оптимистическую волю и надежду, которые нельзя утратить. Они не страшатся грустной действительности, не страшатся взглянуть ей прямо в лицо.

Швейцер трудился над своим исследованием религий и этики накануне рождества 1919 года, когда вдруг пришло письмо из Швеции в красивом официальном конверте. Это была первая весть о спасении и надежде, хотя Швейцер, конечно, еще не сознавал этого. Архиепископ Швеции Натан Седерблом разыскал доктора Швейцера в эту трудную минуту жизни и пригласил их с женой погостить у себя дома, а также прочесть сразу после пасхи курс лекций в университете Упсалы. Швейцеру предоставлялось самому выбрать тему лекций, желательно только, чтоб они были связаны с проблемами этики.

Это было удивительной удачей. Весной он поедет в Швецию и там впервые выскажет то, о чем он думал все эти годы. Он выскажет думающей студенческой аудитории свои мысли об этике и цивилизации, с которыми до сих пор знакомились только сержанты охраны и равнодушные лагерные цензоры.

Шестое рождество после начала войны было веселее предыдущих. Просвет забрезжил над горизонтом. Доктор не мог, конечно, предвидеть, что письмо Седерблома было предвестием его зарождавшейся мировой славы и будущего успеха Ламбарене. Но у него было смутное ощущение, что еще не все потеряно, что он еще увидит Габон. Впрочем, это была мысль, загнанная глубоко внутрь, в тайники его души, которая умела быть такой сдержанной и стала еще сдержанней в холодных ночах Сан-Реми и полунищих днях Страсбурга. И все же доктор был весел в то рождество за семейным столом. Он без конца потешал жену и гостей забавными историями, как, бывало, потешал свое семейство пастор Луи Швейцер в добрые старые времена. Он тут недавно возвращался в поезде из Барселоны, и между Тарасконом и Лионом в купе ввалились матросы. На их бескозырках Швейцер с удивлением прочитал имя популярнейшего из жизнеописателей Христа – «Эрнест Ренан». Оказалось, что это имя носит крейсер французского флота, который без пощады топит врагов. На вопрос усатого попутчика, кто же такой был Ренан, матросики равнодушно ответили:

– А кто ж его знает! Нам не говорили. Небось какой-нибудь генерал покойный.

Рождество минуло, и Швейцер почувствовал, что он не уверен еще, сможет ли он поехать в Швецию, сможет ли читать лекции. Здоровье его восстанавливалось медленно. Атмосфера Страсбурга, Франции, неразумной в своем торжестве, жалкой, поверженной в прах, голодающей Германии по соседству отнюдь не способствовала приливу бодрости.

Однажды, возвращаясь из больницы после обхода, Швейцер увидел Карла Бегнера, бывшего соученика по классу папаши Ильтиса, понуро сидевшего у дверей своей убогой лавочки. Карл приподнял деревяшку, заменявшую ему теперь правую ногу, и покачал головой. Потом взглянул на Альберта и снова сочувственно кивнул: вот такие дела, оба мы, похоже, побежденные. В постаревшем калеке трудно было узнать бодрого, громкоголосого красавца Карла.

– Детишки болят, – сказал Карл. – Торговли, видишь, никакой. И вот – нога. А ноет как целая. Покалечили меня, гады. Но ничего, мы им тоже дали...

Шагая к дому, Швейцер грустно смотрел на обшарпанные фасады, на бледных людей в поношенной одежде. Он думал о словах Карла, вспоминал его рассуждения о германском духе...

...Швейцер написал архиепископу Седерблому о своем слабом здоровье, о своей неуверенности и получил теплый, почти ласковый ответ: они подлечат его; там у них хорошие врачи, великолепный воздух, а о диете уж они позаботятся. Швейцер приободрился и сел писать свои лекции. Рукопись из Африки еще не пришла, и он должен был писать все заново. Что ж, в этом были даже свои преимущества – повторить работу на новом уровне зрелости. Темой он избрал проблему этики и приятия мира в мировой философии.

20 апреля они с Еленой приехали в Упсалу, и сразу начались лекции. Общение с габонскими пациентами приучило Швейцера говорить через переводчика. Он говорил короткими, ясными, четко выстроенными фразами, тщательно репетировал с переводчиком.

В доме хозяина супругам не нужен был переводчик. Просвещенный архиепископ отлично говорил и по-французски и по-немецки. В его огромном семействе было так тепло, и весело, и спокойно. Елена ожила, и доктору тоже стало гораздо лучше. «Доктор Оганга», сам поставивший себе диагноз, мог объяснить и причины своего столь быстрого выздоровления. «В великолепном воздухе Упсалы, в доброй атмосфере архиепископского дома, в котором гостили мы с женой, я поправился и снова познал радость работы».

Последнее в этом высказывании было, как любят говорить англичане,

далеко не последним по значению. Он воспрянул духом, потому что он снова был ученым и теологом. Активной его натуре нужен был отклик, и он услышал его в этой мирной стране, на островке мысли, чудом уцелевшем в обездоленном мире. Пять лет он писал о проблемах этики и культуры, двадцать лет вынашивал свои наблюдения над крахом бездуховного и бездумного прогресса. Теперь Швейцер видел, как его слушают, ощущал понимание: для него после всех неудач и скитаний это было сейчас очень важно.

Архиепископ Седерблом был человек умный, чуткий и бесконечно добрый. Ему понравился этот эльзасский доктор, одухотворенный, смелый, одержимый своими идеями, многосторонне талантливый – то вдруг бесконечно гордый своим призванием, то очень смиренный и скромный, общительный, остроумный, вдумчивый и меланхоличный. Архиепископ понял, что Швейцера тяготит что-то, в чем он не хочет признаться; и поскольку архиепископ был великим исповедником чужих горестей, ему ничего не стоило вынудить признание у благодарного своего гостя. Они шли на прогулку – вдруг хлынул теплый летний дождь. Архиепископ Седерблом развернул зонтик, и они пошли совсем рядом, под одним зонтом. Вот тогда Швейцер и признался собеседнику, что есть нечто, о чем он думает все время. Ламбарене... Он знает, что на пути его тысячи препятствий, вероятно непреодолимых. Одно из них, может главное, – финансовые трудности: он не расплатился с долгами, взятыми в войну на расходы ламбаренской больницы.

Архиепископ подумал и сказал, что это дело нелегкое, однако вполне осуществимое. Он даже думает, что Швеция здесь может помочь. Швеция не обнищала в войну, а, напротив, разбогатела. Тем больше оснований ей теперь раскошелиться. Архиепископ считал, что нужно организовать лекционное турне по Швеции. Лекции сопроводить органным концертом. Надо рассказать о больнице в джунглях.

Архиепископ Седерблом сам разработал маршрут поездок и сам написал Швейцеру рекомендательные письма во все города. Студент Элиас Седерстром предложил Швейцеру свои услуги в качестве гида и переводчика. Они поехали вместе. Юный студент зажегся идеей лесной больницы. Он мгновенно подхватывал фразу лектора и переводил ее на шведский с большой убежденностью и страстью. Он и сам, бросив учебу, уехал после этого турне в какую-то далекую миссию, где вскоре сложил голову.

Швейцер обращался к этим людям, живущим в мирной цивилизованной стране, и просил их представить себе ситуацию, при

которой в течение двадцати или тридцати лет никто из членов их семейства не мог бы получить никакой медицинской помощи. И при этом они страдали бы всеми европейскими и еще многими неизвестными им тяжкими африканскими болезнями. Швейцер рассказывал им о царстве боли и о континенте, пожирающем своих детей. Он говорил об африканцах, которые умирают и стонут от боли. Об их страшной жизни, ставшей еще страшнее оттого, что землю их открыли для себя белые люди.

– Кто сможет описать все несправедливости и жестокости, которые на протяжении столетий претерпели эти люди от рук европейцев? – говорил Швейцер этим благополучным европейцам. – Если бы составить отчет обо всем, что принесла белая раса черной, это была бы книга, в которой многие страницы, относящиеся к настоящему и прошлому, читатель захотел перелистать не читая, потому что содержание их было бы слишком ужасно.

Швейцер сам написал такую книгу после шведского турне. Архиепископ Седерблом договорился с издателем Линдبلادом об издании этой книги. Баронесса Лагерфельт вызвалась спешно перевести ее на шведский язык.

Старинные шведские органы очень понравились Швейцеру. Они были невелики по размеру, но великолепно подходили для простой, искренней интерпретации Баха, свойственной Швейцеру. Уезжая из маленьких шведских городков, Швейцер оставлял там десятки сторонников ламбаренской больницы и энтузиастов сохранения хороших органов.

Прошло две-три недели турне, и Швейцер уже мог выплатить главную часть своих больничных долгов.

В том же году у Швейцера завязалась переписка с Цюрихом. Цюрихские теологи хорошо знали его работы, и в 1920 году Цюрихский университет присвоил Швейцеру звание доктора. Тогда же ему намекнули, что он может получить кафедру в Цюрихе. Это было заманчивое предложение – и для него и для Елены. Снова работа, наука, музыка, прекрасная мирная страна. Они с Еленой и раньше уже не раз подумывали о Цюрихе. Однако теперь, когда вдали неявно забрезжила надежда на раскаленное, душное Ламбарене, изнывающее от боли, Швейцер отказался от всех притязаний на собственное устройство и на профессорскую должность.

Лекции и баховские концерты могли помочь ему снова уехать в Ламбарене, как некогда помогла книга о Бахе. Если бы он мог отблагодарить сейчас старую, строгую тетю Софи, учителя Эугена Мюнха! Если бы они только были живы!

В июле Швейцер вернулся в Гюнсбах после утомительного,

насыщенного трудами шведского турне. Он вернулся совсем здоровый, окрыленный надеждой и сел за книгу об Африке.

«Мы и наша культура, – писал Швейцер, – поистине несем бремя большого долга... Все, что мы даем им, – не благотворительность, а возмещение ущерба... И даже когда мы сделаем все, что в наших силах, мы не искупим и тысячной доли нашей вины...»

Швейцер подробно говорит о трагическом противоречии колонизации и цивилизации. Образование идет в Африке по неправильному пути: готовят клерков, учат презрению к физическому труду, к промыслу, к сельскому хозяйству. Не лучше ли было бы в первую очередь научить африканцев рационально вести хозяйство, строить жилье? Швейцер утверждает, что колониальные проблемы не могут быть решены одними политическими мерами: необходима этическая атмосфера для сотрудничества белой и «цветной» рас. Только тогда придет взаимопонимание.

Швейцер говорил о Братстве Боли. Тайная связь объединяет людей, познавших Боль. Это великое братство всех, на ком Знак Страдания, должно прийти на помощь страдающим африканцам,

Швейцер понимал, в какой трудный момент выступает он со своим призывом: он видел голодную Германию, он проехал по разоренной Европе. И все же он верил, что дело его, вдохновленное этической идеей, необходимо миру и сейчас:

«Раньше или позже идея, выдвигаемая мною, завоюет мир, – писал он, – ибо она с неумолимой логикой взывает к интеллекту и к сердцу.

Но подходящее ли сейчас время для того, чтобы посылать ее в мир?.. И как можем мы заботиться о далеких странах, когда столько горя у нас перед глазами?

Для истины нет специального часа. Час ее сейчас и всегда и, конечно же, вероятней всего, именно в то время, которое кажется нам в результате создавшейся ситуации наименее подходящим. Озабоченность страданиями – и теми, что мы видим на родине, и теми, что царят вдали от нее, – сливаясь в единый поток, может пробудить от беззаботности нужное число людей и породить новый дух человечности».

Швейцер предвидел вопросы скептиков: ну, а что может сделать там, в джунглях, один врач? Вот если бы целая организация или правительство. Люди цивилизованной эпохи мыслили цифрами, масштабами. Это потом, через десятилетия, они удивленно качали головой, сравнивая его успехи с успехами международных организаций помощи. А тогда ему приходилось убеждать, доказывать:

«Руководствуясь своим опытом, могу ответить на это, что один врач, причем с весьма скромными средствами, может помочь здесь очень многим больным. И добро, которое удастся ему сделать, во много раз превосходит и частицу жизни, израсходованную им здесь, и материальные затраты».

Швейцер с простотой писал о себе и своих планах; он раскрывался людям и ждал помощи в отчаянной надежде снова служить самым обездоленным:

«Я не падаю духом. Беды, свидетелем которых я был, придают мне мужества, а моя вера в будущее поддерживается моей верой в собратьев-людей. Я надеюсь, что мне удастся найти достаточное число людей, которые, избавившись сами от физического страдания, откликнутся на зов тех, кто страдает сейчас».

Так кончилась эта книга. Это был новый литературный опыт для Швейцера, потому что издательство Линдблада поставило ему жесткие рамки объема. Впрочем, он не считал время, потраченное на сокращение, потерянными. Он научился «ужимать» написанное и потом использовал этот опыт при работе над «Философией культуры».

Книга об Африке вышла в Швеции в 1921 году. В том же году она вышла в оригинале в Берне, а потом в английском переводе в Лондоне. Немецкое название ее – «Между водой и девственным лесом» – отражало так сильно поражающий воображение Швейцера ландшафт Ламбарене, на фоне которого разворачивались его медицинские и философские труды, – просторы бесконечных первобытных лесов и раздольных вод Огове, кишущих жизнями.

Книга эта завербовала в лагерь Ламбарене немало сторонников нового, всемирного Братства Боли. Кроме того, она принесла гонорары, поглощенные, как и все прочие заработки Швейцера, новым походом против Боли.

Швейцер писал свою «Философию культуры», рукопись которой, наконец, пришла из Африки. Но в Страсбург и в Гюнсбах все чаще приходили сейчас приглашения из разных городов мира, главным образом из шведских и швейцарских. Ранней весной 1921 года Швейцер был снова приглашен в «Орфео Катала», в Барселону. Здесь его ждала радость. Он участвовал в первом испанском исполнении баховских «Страстей по Матфею».

По возвращении он решился. Он будет писать свой философский труд, будет играть на органе, читать лекции и подготовится к новой поездке в Ламбарене. Война прошла гусеницами своих бедствий по нему и его больнице. Но он уцелел, и дух его не был сломлен. Он представил свою

отставку и в страсбургской больнице, и в старой церкви св. Николая. Потом он уехал в Гюнсбах, где все лето писал «Философию культуры» и помогал отцу читать проповеди в деревенской церкви.

Это в то лето он написал, что знание его пессимистично. И действительно, многие исследователи считают, что вообще редко встречался человек столь обширной эрудиции, движимый столь глубоким скептицизмом. Вспомните даже самые ранние его наблюдения, еще на школьных уроках. За любимой им историей он признавал лишь возможность дать отдельные картины, утверждая ее неспособность проникнуть в духовную жизнь прежних веков, неспособность «прозревать», преодолевая пространство и время. Наука, по его мнению, представляла мир как скопление бессмысленного разрушения и бессмысленного созидания, не одухотворенного этической силой. Теология пыталась подвести под свои дефиниции неизменно ускользящую от нее фигуру Иисуса, познать которого можно, по мысли Швейцера, только соучастием в страдании. Швейцер сам называл свою книгу о «поисках Иисуса» «негативной теологией». Швейцер отрицал способность философии постигнуть смысл целого, способность понять Истину. Он не видел возможности добиться с чисто интеллектуальной точки зрения разумной картины мира: «То, что наше мышление провозглашает знанием, является обычно лишь неоправданной интерпретацией мира». В своей «Философии культуры» Швейцер обращается к проблеме «Weltanschauung», понимания миропорядка, взгляда на мир (в отличие от взгляда на жизнь), мировоззрения (в отличие от жизневоззрения). Швейцер сам объявляет себя агностиком, но он агностик особого рода:

«Объект мировоззрения – это понимание смысла всего, а это для нас невозможно. Величайшее прозрение, к которому мы приходим, заключается в том, что мир – это явление таинственное во всех отношениях и что это реализация универсальной воли-к-жизни. Думаю, что я первым в европейской мысли отважился признать этот в высшей степени удручающий результат познания и принять скептический взгляд на наше знание о мире, не отвергнув при этом миро– и жизнеутверждение и этику. Хотя я отверг всякую мысль о постижении мира, это не значит, что я безвозвратно пал жертвой скептицизма, точка зрения которого заключается в том, что нас несет в этом мире, как корабль без руля. Я просто хочу сказать, что мы должны набраться смелости взглянуть правде в глаза... Всякое мировоззрение, которое не основано на отрицании постижения мира, является искусственным...»

Нетрудно заметить, что идеи Швейцера расходятся здесь с

положениями марксизма о познаваемости мира. В то же время утверждение о невозможности конечного постижения мира не приводит Швейцера к скептическому бездействию или неверию в науку вообще, к отказу от системы или теории, к сдаче на волю мистического божества. Более того, по мнению норвежского исследователя Лангфельдта, Швейцер размежевывается здесь с христианской мыслью, которая считает, что все происходит по воле божьей. Но нас интересует сейчас соотношение между рациональным и нерациональным у Швейцера. По Швейцеру, «новое рациональное мышление не пытается, таким образом, достичь определенности в отношении целей мира... Это мышление ограничивается признанием того факта, что познать мир невозможно, и пытается прийти к пониманию воли-к-жизни внутри нас».

Швейцер пишет в своей философской книге, что обновление нашего мировоззрения может прийти только как результат отважной, ищущей мысли. Она же достигает своей зрелости только тогда, когда на опыте познает, как рациональное, доведенное до логического вывода мышление приводит нас к нерациональному. «Миро- и жизнеутверждение так же, как этика, нерациональны... Когда рациональная мысль выражает себя до конца, она всегда приходит к чему-либо нерациональному, и это тем не менее необходимость мысли. Это парадокс, который довлеет над нашей духовной жизнью». Без нерационального элемента наши взгляды на мир и жизнь, по Швейцеру, лишены жизненности и цены. Итак, истинное убеждение нерационально и имеет эмоциональный характер, потому что не может быть выведено из знаний о мире, а дается нам мыслительным опытом нашей воли-к-жизни.

Впоследствии, резюмируя свои мысли в автобиографии, Швейцер писал:

«Этика, которая берет начало в мышлении, вовсе не строится „в соответствии с разумом“, а является нерациональной и эмоционально-воодушевленной. Она не дает искусно очерченного круга обязанностей, но возлагает на всякого индивида ответственность за всякую жизнь, с которой он сталкивается, и побуждает его посвящать себя содействию этой жизни».

В мире бесконечная воля-к-жизни проявляет себя, по мнению Швейцера, как воля-к-созиданию, и она полна для нас неясностей и мучительных загадок; в себе же мы ощущаем ее как волю-к-любви, которая через нас устраняет дилемму воли-к-жизни (вспомните рассуждение о драме воли-к-жизни, раздираемой изнутри).

Швейцер писал все лето. Чаще всего в отцовском доме, в Гюнсбахе, где поселился вместе с женой и малышкой Реной, которой шел второй год.

Иногда он работал в библиотеке, и тогда жил в Страсбурге. Тем временем в европейских философских кругах все чаще мелькало его имя. Говорили о его шведских лекциях, о прежних теологических книгах, о новой работе по вопросам философии культуры и фундаментальным вопросам этики. Он получал приглашения читать лекции – от шведских университетов, от университетов Дании, Англии, где он снова, как и десять лет назад, стал очень популярен. Многих взволновал его рассказ о больнице, о столь удивительной реализации этического принципа в глуши габонских джунглей.

Осенью Швейцер надолго уехал из Эльзаса. В начале осени он читал лекции в Швейцарии – о проблемах этики, религии и раннего христианства. Потом, в ноябре, выступал с лекциями и концертами в Швеции, а из Швеции впервые поехал в Англию, где у него было теперь столько поклонников, корреспондентов, друзей. Он читал лекции по философии в Оксфорде, потом в Бирмингеме, в колледже Селли Оук.

В Оксфорд приехал проинтервьюировать его молодой журналист Хьюберт Пит. Швейцер попросил журналиста быть его гидом по Лондону. И Пит, как он рассказывал впоследствии, сопровождал энергичного гостя от философа к философу, от органа к органу. Журналист заставлял себя вслушиваться в непонятные разговоры на немецком и французском языках, но больше полагался на репортерскую интуицию. Он написал впоследствии, что в человеке, которого он сопровождал, была присущая истинному величию скромность. На платформе станции Чэринг Кросс они встретили Ч. Эндрюса, в чьей жизни произвели такой переворот швейцеровские «Поиски Иисуса». Эндрюс писал позднее в одной из своих книг (в специальной главе, посвященной Швейцеру), что этот эльзасец на всем протяжении своей удивительной карьеры «оставался прост, как дитя» (высшая похвала в устах Эндрюса, да и не только Эндрюса).

Пит описывал репетиции в огромных лондонских соборах и Вестминстерском аббатстве, где органные трубы вздымались к сводам, как стволы тропического леса. Швейцер с карандашом, подвешенным за веревочку на шее, размечал синим и красным баховскую фугу для концерта. Описывая полумрак собора, где свет едва пробивался через витражи, Пит передает свое ощущение единства всего, что делал этот необычный и такой непривычный для газетного репортера человек.

Именно в эти месяцы и годы зарождается в Европе слава Швейцера, которая пережила полвека и которая пребудет, пока мир верит в Доброго Человека.

Вернер Пихт, один из очень знающих исследователей жизни и

творчества Швейцера, считает, что доктор допустил в эти годы некоторую перемену тактики. Затворник, скромный философ и врач из джунглей обратился в этот момент к людям, и его Ламбарене из безвестной деревушки стало символом и образцом служения. Думается, что Пихт здесь не совсем точен и что Швейцер не планировал никакой перемены тактики. Все было проще и естественней. Уже рассуждения Швейцера об упадке культуры были обращены к людям, к их разуму и моральному чувству, а ведь он начал писать это два десятилетия назад. Свое лекционное турне Швейцер предпринял по совету Седерблома, и цель у него при этом была одна – Ламбарене. Конечно же, он хотел также воздействовать на аудиторию и пробуждать в ней добрые, благородные чувства. Что же касается репортеров, то за них он так же мало в ответе, как и Эйнштейн, тяготившийся своей популярностью. На репортера Хьюберта Пита и ему подобных не могла не действовать эта непривычно спокойная, могучая фигура, эта отрешенность за органом и за письменным столом, эта предупредительность, простота, доброта и полная независимость от моды, от мнений. К сожалению, никакое воздействие не может изменить стиля репортерских писаний. Вот что говорилось в отчете одной из лондонских газет 3 марта 1922 года:

«Самую романтическую фигуру в этой стране являет собой в настоящий момент высокий, могучий и добрый эльзасский профессор, доктор Альберт Швейцер... Этот скромнейший из людей... озабочен лишь облегчением физических и духовных недугов человечества и неохотно сообщает о своих крупнейших достижениях».

После Оксфорда и Бирмингема Швейцер выступил с органическими концертами в Лондоне, с лекцией в Лондоне и в Кембридже. Он завоевал в Англии много сторонников Ламбарене. Из Англии он поехал в Швецию и потом, после недолгого отдыха, – в Швейцарию.

Швейцер читает лекции, играет на органе и все заработанные им средства откладывает на Ламбарене. У него удивительно старомодный способ копить деньги: он складывает их в матерчатые мешочки с надписью на каждом: «английские фунты», «шведские кроны», «франки»... С этими его кошельками связано множество историй. Он сам рассказывал, как однажды в Париже, задумавшись, проехал свою остановку, и контролер вывел его из задумчивости предложением заплатить штраф. Швейцер начал развязывать соответствующий мешочек, и тогда пассажиры стали возмущенно кричать на контролера:

– Да как вы смеете его штрафовать? Вы что, не видите, что дедушка только что из деревни приехал?

Он и правда был из деревни, из маленькой эльзасской деревушки, и потом из еще меньшей – габонской. Слово «провинциал» не прозвучало бы для него оскорбительно. Он не верил в цивилизацию, создаваемую бесчеловечным городом современного Запада.

Летом 1922 года Швейцер в спокойствии Гюнсбаха работал над своей книгой о философии культуры. Первая часть была уже почти готова для печати. Она называлась «Упадок и восстановление культуры». В этой начальной части своей «Философии культуры» Швейцер анализировал взаимоотношения культуры и мировоззрения. «Чтобы вернуться к жизни, содержащей идеалы подлинной культуры, мы должны применить новые методы мысли, – писал Швейцер. – И если мы начнем размышлять об этике и о нашем духовном отношении к миру, мы уже одним этим встанем на путь, ведущий от нецивилизованного общества к цивилизации». Самую культуру Швейцер определял в общих терминах как духовный и материальный прогресс во всех сферах деятельности, сопровождаемый этическим развитием индивида и человечества.

«Эту моральную концепцию культуры, которая делает меня почти чужаком в интеллектуальной жизни моего времени, – писал Швейцер во вступлении к первой части труда, – я выражаю с ясностью и бестрепетностью для того, чтобы пробудить среди своих современников размышление о том, что же такое культура».

Само собой разумеется, что культура здесь берется не в узком смысле, как совокупность форм духовной жизни общества, а в смысле широком, выражающем достигнутый на данном этапе развития общества уровень технического прогресса, образования, воспитания, литературы, искусств. Швейцер, как мы уже видели, делает акцент прежде всего на этическом развитии индивида. «Культура и этика», вторая часть труда Швейцера, тоже была в это время уже близка к завершению.

Осенью 1922 года Швейцер совершил лекционное турне по Швейцарии. Зимой по приглашению Копенгагенского университета он поехал в Данию. После лекции в столичном университете у него были организованы концерты и лекции в других датских городах, много-много концертов и лекций, не только приближавших минуту его отъезда в Африку, но и волнующих сами по себе. Швейцер писал об этих своих поездках:

«Как прекрасно было то, что мне посчастливилось пережить в эти годы! Когда я впервые отправлялся в Африку, я приготовился принести три жертвы: забросить орган, отказаться от преподавательской деятельности, которой я отдавался всей душой, и отказаться от материальной

независимости, положившись до конца дней своих на помощь друзей.

Эти три жертвы я уже начал приносить, и только мои самые близкие друзья знают, чего мне это стоило...

Но теперь со мной произошло то же, что с Авраамом, который уже готов был принести в жертву своего сына. Как и он, я был избавлен от этой жертвы. Пианино с педальным устройством, приспособленное для тропиков, которое подарило мне парижское Баховское общество, а также торжество моего здоровья над тропическим климатом позволили мне сохранить искусство игры на органе. Эти долгие часы спокойствия, которые мне удавалось проводить наедине с Бахом на протяжении четырех с половиной лет одинокой жизни в джунглях, помогли мне глубже проникнуть в дух его творений. Поэтому я вернулся в Европу не как артист, который стал любителем, а как артист, который полностью сохранил свою технику и которому посчастливилось даже получить более высокое признание, чем раньше.

Что касается отказа от преподавания в Страсбургском университете, то он был компенсирован возможностью читать лекции во многих других университетах.

Что же до временной утраты финансовой независимости, то я мог теперь снова обрести ее, зарабатывая пером и музыкой.

Это освобождение от тройной жертвы ободряло меня во всех трудностях, выпавших на мою долю, как и на долю многих людей в эти роковые послевоенные годы, и подготовило меня к любым новым трудам и любому самоотречению».

После зимнего турне по Дании, в самом начале нового, 1923 года, Швейцер был приглашен в Чехословакию. Он высоко чтит труды профессоров Пражского университета, работы профессора Винтерница по индийской философии. В Праге у него были друзья и поклонники, самым горячим из которых был Оскар Краус, талантливый ученый, автор одной из первых теоретических работ, исследующих, впрочем довольно критически, теологию и философию Швейцера. При всех своих претензиях к философии Швейцера Краус находился под огромным обаянием его личности. Его потрясла африканская книга Швейцера: он знал философа Швейцера, но никогда не слышал о его предприятии, потребовавшем дерзости, упорства, самозабвения. Краус писал, что многие идеалисты вынашивали идею помощи человечеству в минуту трудностей и лишений, но немногие претворяли ее в жизнь. А сколько из них пошли на такие жертвы, как Швейцер? Многих (и почти всех их почитали за святых) поддерживало при этом нечто вроде психического мистицизма, блаженные

состояния, видения и прочее. Швейцер не только обошелся без такого рода духовной поддержки: он лишен даже жизнерадостной уверенности, даваемой философским теизмом с его верой в божественное провидение, направляющее события к благу верующего. Он даже лишен веры в Иисуса в чисто догматическом смысле. Мистицизм его является этическим, продуктом «особого склада души, воля которой с исключительной интенсивностью реагирует на чувство сострадания...». Так характеризовал Швейцера Оскар Краус, видевший в нем «несравнимое величие» и отмечавший одним из первых, что «Швейцер живет своей философией сострадания, это сострадание в действии; его сочувствие всегда направлено на других и никогда на себя». Концерты и лекции Швейцера в Чехии, Богемии и Моравии прошли с большим успехом. Он выступал в университете и перед собраниями чешских и моравских братьев, потомков доблестных гуситов. Впоследствии чехословацкие общины активно поддерживали его больницу, так же как, впрочем, и общины Эльзаса, Швеции, Дании, Швейцарии, Англии.

К моравским братьям Швейцер вообще относился с большой симпатией. В начале двадцатых годов, когда здоровье Елены потребовало перемены климата и врачи сказали, что ей полезен был бы горный воздух Шварцвальда, Швейцер перевез жену с дочкой в деревушку Кенигсфельд, где большую часть жителей составляла община моравских братьев. И вот, когда Рена подросла немножко, Швейцер с готовностью доверил моравским братьям ее воспитание.

Весной 1923 года Швейцер закончил наконец первые два тома своего философского труда. Во втором томе, носящем название «Культура и этика», Швейцер развертывает перед читателем «историю трагической борьбы европейской мысли за этическое приятие мира и жизни».

Швейцер «намеренно избегал технических терминов философии», потому что хотел своей книгой привлечь к вопросам бытия всякого думающего человека. Завершая свой обзор основополагающей этической мысли в философии, Швейцер приходит к изложению принципа уважения к жизни. Оно толкает нас к духовному контакту с миром, независимому от наших знаний о вселенной: «По темным тропам самоотречения оно приводит нас путем внутренней необходимости к сияющим вершинам этического приятия мира».

В самом конце книги Швейцер снова вспомнил кумира своей юности Канта, которому на страницах нового труда было уделено немало внимания:

«Кант издал исследование, озаглавленное „К вечному миру“ и

содержащее правила, которые следует соблюдать при заключении любого мирного договора, если он предусматривает прочный мир. Кант заблуждался. Какими бы добрыми намерениями ни руководствовались составители договоров и как бы тщательно они ни разработали их условия, договоры эти не могут достичь никакой цели. Только мышление, которое дает настрой умственного принципа уважения к жизни, может принести человечеству постоянный мир».

Сдавая свою книгу в печать, Швейцер еще дорабатывал предисловие, проникнутое верой в будущее человечества и сознанием своего скромного этического вклада:

«Новый Ренессанс должен наступить, и Ренессанс еще более великий, чем тот, к которому мы пришли после средних веков; великий Ренессанс, когда человечество откроет, что этическое – есть величайшая истина и величайшая практическая ценность...

Я буду одним из скромных пионеров этого Ренессанса. и в эту эпоху тьмы, как факел, швырну веру в новое человечество. Я отваживаюсь на это, потому что верю, что дал человеческой склонности, считавшейся раньше лишь благородным чувством, прочное основание в философии жизни, которое является продуктом основополагающего, фундаментального мышления и может быть понято всеми...»

Он подписал имя и поставил дату: «Июль 1923 года». В том же самом году книга вышла в Мюнхене, в Берне и в Лондоне (в английском переводе).

По мнению большинства философов, это самая содержательная, самая компактная, самая богатая мыслями философская работа Швейцера.

А доктор Швейцер уже закупал медикаменты, бинты, инструменты и все необходимое для поездки в Ламбарене. Он не только расплатился с долгами – он снова собрал средства, необходимые для больницы. Европа еще звала его: приходили приглашения на курсы лекций в университеты, на концерты органной музыки. Но он уже мог ехать в Африку и потому не мог больше оставаться в Европе.

Весной, путешествуя по Швейцарии, он зашел как-то в Цюрихе к своему другу пастору и психоаналитику О. Пфистеру и по его просьбе наговорил ему некоторые воспоминания о детстве. Перед самым отъездом в Африку Швейцер отредактировал эти записи доктора Пфистера и дописал к ним эпилог, кончавшийся такими словами:

«...Я все еще сохраняю убеждение, что правда, любовь, миролюбие, мягкость и доброта – это сила, которая пересилит всякую другую силу и всякое насилие. Мир будет принадлежать им, как только достаточное

количество людей с чистым сердцем, силой и упорством мысли продумают и проживут в своей жизни эти идеи любви и правды, мягкости и миролюбия...

Доброта, которую человек посылает в мир, влияет на сердце и ум человечества, но мы проявляем глупое безразличие, не принимая всерьез дел доброты. Мы берем на себя все большую тяжесть и все-таки не хотим воспользоваться рычагом, который помог бы нам в сотни раз умножить нашу силу».

Как некогда, задолго до первой мировой войны, анализируя стремительный рост всемогущих организаций и отчуждение человека, Швейцер предугадал военную катастрофу, так и теперь, покидая Германию, Швейцер предчувствовал зарождение в ней культа силы, завершившегося приходом нацизма к власти. Конечно, Швейцер говорит здесь и о насилии вообще, оторванном от конкретной обстановки. Но не забудем, что Швейцер был идеалистом. Марксистская этика считает насилие допустимым при самозащите рабочих, при революции, когда насилие становится повивальной бабкой истории.

Как все пламенные утописты, Швейцер искал точку приложения своей деятельности. И рычагом для него была доброта. Он искал точку опоры, чтобы перевернуть мир зла, насилия и несправедливости, превратить его в мир сострадания, взаимной помощи, добра. Он нашел для себя в минуту прозрения эту точку опоры на карте мира – это было Ламбарене.

Теперь он снова ехал туда и, собирая вещи, дочитывал гранки своей новой книги о христианстве и религиях мира, которая вышла в 1923 году в Англии, а в 1924 году в Берне и в Мюнхене, так же как книга «Воспоминания о детстве и юности», основанная на записях доктора О. Пфистера и переведенная в том же году на английский язык.

Мы уже упоминали, что психоаналитик О. Пфистер не преминул сразу же проанализировать полученный им материал. Результаты анализа были неутешительны для профессора Пфистера и для нас, читатель: «Несмотря на все, что мы знаем о внутренней жизни и развитии Швейцера, истинная проблема его личности остается нерешенной».

Что ж, теперь, когда надежда на психоанализ рухнула, остается просто продолжать наше незамысловатое повествование.

В эти годы Швейцер часто получал письма из Ламбарене, Самкиты, Н'Гомо. Писали учителя, священник, ученики школы. Они звали доктора обратно, и в напряженных трудах 1923 года он никогда не забывал об этих письмах.

В последние два года он среди прочих трудов и сборов проходил курсы

усовершенствования в различных отраслях медицины. Он снова занимался гинекологией в Страсбурге, изучал тропическую медицину в Гамбурге.

Здоровье Швейцера еще не совсем поправилось, а перегрузка последних месяцев принесла ему истощение. И все же он заказал билеты на ближайший после Нового года срок.

Свой сорок девятый день рождения Швейцер встретил среди тюков и чемоданов. Ясно было, что Елена не сможет поехать с ним, как она поехала бы в Цюрих. Ясно было, что жена с дочерью останутся здесь без него бог весть на какой срок. Швейцер сознавал, сколь велика эта жертва со стороны Елены. Об этом он думал, надписывая перед самым отъездом посвящение к «Культуре и этике», главному философскому труду своей жизни: «Моей жене, самому верному моему товарищу».

Имея в виду прежде всего эту разлуку, биографы часто писали о том, что в его действиях была некая жестокость по отношению к ней. Можно допустить, что так и было. Кому из людей действия удавалось избежать жестокости по отношению к своим близким, самым близким? Линия эта тянется из глубочайшей древности, от сострадательного Христа евангельской легенды с его жестким вопросом: «Кто Мать Моя?» Может быть, чтобы понять психологию и поведение человека действия, последовательного в своей беспредельной, зачастую жесткой доброте, мы не должны закрывать глаза и на его отношения с близкими. Во всяком случае, это материал для раздумья (к нему приводит с неизбежностью чтение автобиографии Ганди и других великих людей), но не для дешевых разоблачений (как это случилось под пером журналиста Джер. Макнайта).

Завершился самый тяжелый, хотя по временам и счастливый тоже, период этой нелегкой жизни – семилетие отчаяния, надежды и счастья. Для истинного счастья Швейцеру не хватало в это время его точки опоры – больницы в джунглях. Теперь мечта его сбылась: он уезжал в Ламбарене.

Глава 14

14 февраля он оставил Страсбург, Елену, еще чувствовавшую себя довольно плохо, пятилетнюю дочку Рену. Вместе с Ноэлем Гилеспи, английским студентом, его добровольным помощником, доктор выехал в Бордо. Именно тогда на Швейцера обрушился непрерывный поток писем, тяжкая плата за популярность, настоящее бедствие, преследовавшее его потом всю жизнь. Ему писали благожелатели и друзья, писали члены великого Братства Боли, не имеющего рамок организации, зато знающего имя своего духовного вождя. Швейцера считал своим долгом ответить на каждое письмо, если только представлялась для этого малейшая возможность. А вдруг человек, который написал ему, переживает душевный кризис и нуждается в слове ободрения, а вдруг он стоит перед трудным выбором? И Швейцера отвечает на одно, десять, двадцать, сто писем – это становится для него вопросом принципа. Потом письма идут не десятками, а сотнями, и он читает их так же внимательно, пишет до спазм в руке. В последние месяцы перед отъездом, в суматохе сборов он не успевал, конечно, отвечать на письма, но зато он взял их с собой – четыре грубых мешка из-под картошки, набитых письмами, на которые надо было ответить. Таможенник принял это за хитрую уловку: вывоз банкнотов из Франции был в это время строго ограничен, а на что не идут люди? Чиновник добросовестно перебрал два полных мешка конвертов – там были только письма. Он покачал головой и отказался от дальнейшего досмотра.

«Орест» плыл в Африку. Швейцера перебирал в памяти прошедшие семь лет отчаяния и борьбы. Он рад был, что едет, но к этой радости по временам примешивалась грусть:

«Удовлетворение мое безгранично, – писал он в первом письме с борта „Ореста“. – Мысли мои возвращаются к той первой поездке, когда жена, мой верный помощник, плыла со мной. Я не перестаю мысленно благодарить ее за жертву, на которую она пошла, согласившись на мое возвращение в Ламбарене при подобных обстоятельствах».

«Орест» идет не спеша, и Швейцера знакомится с портами Западной Африки – Дакар, Конакри, Фритаун, Фернандо-По, Дуала...

В Дуале должна сойти единственная пассажирка. Она не дождалась порта и, как выразился Швейцера, «воспользовалась присутствием врача на борту» – родила. Помощь при родах и забота о матери, за неимением

прочих медиков и даже просто пассажиров, взял на себя Швейцера. На Ноэля были возложены заботы о ребенке, и он узнал, какова температура в корабельном камбузе во время прохождения тропиков, потому что ему пришлось по восемь раз в день согреть молоко в бутылочке.

На пасху они уже были в Кейп-Лопесе (теперь он назывался Порт-Жантиль). И вот, наконец, берега Огове:

«...Я плыву „у края девственного леса“; проплывают мимо все те же доисторические пейзажи, те же тростниковые болота, те же вымирающие деревни, те же обтрепанные негры. Как бедна эта земля...»

И неожиданный вывод: «Бедна, потому что... богата ценным лесом!»
Прежнее наблюдение Швейцера подтверждается: цели империалистической колонизации и истинной цивилизации противоположны. Колонизаторы развивают лесопромышленность, забирают народ из деревни. Швейцера предвидел и разорение деревень, и забвение ремесел, и голод, и порчу нравов сельского работника, оторванного от традиций своей деревенской общины. Предсказания доктора, к его сожалению, сбывались со стремительной быстротой. На реке только и разговоров было что о тайных обществах, об их членах, «людях-леопардах», которые, вообразив себя леопардами, нападают на жителей.

Пароход поднимается все выше по Огове, сквозь прекрасные и таинственные джунгли: «Трудно поверить, что в этом мире, затопленном лунным светом, затаилось столько ужаса и нищеты».

И вот полдень. Самый волнующий момент путешествия: замаячили впереди домики ламбаренской миссии!

«Сколько раз я переживал в мыслях этот момент с той самой осени 1917 года, когда мы с женой потеряли их из виду! Вот они снова передо мной, но нет со мной моей помощницы...»

Редко случалось, чтобы Швейцера, проявлявший необычайную сдержанность во всем, что касалось его личной жизни, писал о Елене с такой благодарной нежностью.

Новые трудности ему предстояло встретить одному, без ее плеча и ее помощи.

Они пристали, и, пока Ноэль наблюдал за разгрузкой, Швейцера «как во сне побрел» к своей больнице. Все заросло вокруг, едва заметна была тропинка к дому из рифленого железа. Кусты, деревья, высокая трава... Похоже на заросли, скрывавшие от людских глаз спящую красавицу... Спящая красавица... К чему же он относил столь поэтическое сравнение? К больнице, конечно. Палаты, хижины, кладовая – здания, на сооружение которых ушли недели и месяцы тяжкого труда, столько пота и нервов. От

некоторых строений остались стены. Можно было бы въехать, но нет крыши, главное – нет крыши: на больных будет лить дождь, а сверху будет проникать беспощадное солнце. Прежде всего крыша. Африканские строения кроют матами или циновками, сплетенными из бамбуковых палок, к которым пришиты листья пальмы-рафии. Нужно было срочно доставить циновки.

Швейцер предвидел, что будут огромные трудности. Он не знал только, с какой стороны обрушится удар.

В первые же часы по возвращении стало ясно: нельзя и думать о работе, пока они не достанут циновки из листьев рафии. А циновки больше не плетут в деревнях. Габонцы и сами сидят в дырявых хижинах, потому что все работоспособное население ушло в лес, на работы. Это не значит, что африканцы больше не болеют. Напротив, больных стало еще больше. Однако это значит, что в деревнях невозможно найти плотника, некому плести циновки.

Швейцер и Ноэль садятся в лодку и отправляются по деревням. Они ходят из дома в дом. Доктор вернулся! Все рады, у всех недуги, старые и новые – лечи, Оганга! Доктор тоже растроган встречей: его помнят, его уважают, наверное, любят тоже. Но он не может позволить себе благодушия: циновки, срочно циновки! Он пускает в ход уговоры, лесть, подарки. Наконец, угрозы: не будет циновок – он не будет лечить. Габонцы улыбаются: что, они не знают доктора Огангу?.. Он ведь, наверно, много денег получает за это – таково всеобщее убеждение. Все принимают его приезд как должное – приехал их доктор, будет лечить. А циновки, где же им взять циновки? Все же доктор набирает шестьдесят четыре циновки, и под проливным дождем смертельно усталые Швейцер и его помощник привозят их в миссию. Они сразу начали латать крышу в домике из рифленого железа. Только когда совсем стемнело, доктор без сил свалился на койку.

Он привез с собой незаконченную рукопись книги об апостоле Павле. Он надеялся писать по вечерам. У него так и не нашлось на это времени. Утром – больные, вечером – строительство допоздна. Он с трудом добирался до койки.

«Нет, не так я представлял себе первые дни по возвращении, – записывает Швейцер. – Проза африканской жизни уже взяла меня за горло и теперь не скоро отпустит».

Его письма-дневники полны описаний этой изнурительной прозы джунглей. Он выклянчивает циновки и очень спешит, потому что сезон дождей еще не кончился и по ночам бывают сильные бури. В такие ночи

пациенты его, лежащие на полу, промокают насквозь. В двух случаях это кончилось трагически – есть от чего прийти в отчаянье. Швейцер пишет, что «даже его моральные принципы подвергаются порче»: он у всех теперь просит циновки, как в раннем детстве спрашивал у теток, проходящих в гости: «А что принесла?» Он лечит язвы, вызванные фрамбезией и сифилисом, при помощи довольно дорогого лекарства – стоварсола. Больных с этими язвами у него две трети, и он распускает слух, что стоварсол дают в обмен на циновки. У него уже двести циновок, но этого еще мало для крыши.

«Я в полном отчаянии, – пишет Швейцер, – и в часы, которые я мог бы отдать больным, требующим срочного лечения, или домашней работе, я разъезжаю в лодке и охочусь за циновками».

Как трудно заставить родственников пациентов и самих выздоравливающих помочь ему в работе. Он рассказывает им о благе будущих пациентов, но они глухи к этим абстракциям. Есть брат, друг, знакомый, родственник, соплеменник. Люди, которых они не знают, – чужие люди. «Однажды под вечер, – рассказывает Швейцер, – мне привезли раненого, которому нужно было срочно делать перевязку. Я попросил брата одного из своих больных, отдохавшего у огня, чтобы он помог мне отнести носилки. Он притворился, что не слышит, а когда я повторил то же настойчивее, он ответил мне совершенно спокойно: „Не буду. Человек этот из племени бакеле; а я банупу“.

Обитатели берегов Огове сохранили привычку подкидывать ему голодных, безнадежно больных бедняков. Многие из них умирали, и это угнетающе действовало на других пациентов, потому что у Швейцера не было специального помещения для безнадежных. Он вспоминал при этом своих конкурентов-колдунов и некоторых европейских врачей, которые, не желая портить себе статистику, никогда не берут безнадежных. Швейцер не мог поступить с подобной благоразумной жестокостью. «Больница моя открыта для всех страдальцев, – пишет он. – Даже если я не смогу спасти их от смерти, то смогу, по крайней мере, выказать им свою любовь и облегчить их конец. А потому пусть уж приходят по ночам и кладут несчастных страдальцев у моей двери. Если мне удастся выходить хоть кого-нибудь из них, мне не придется беспокоиться о том, чтобы отправить их обратно. Слух о том, что бедняк снова может работать, снова может быть полезным, мгновенно достигнет его деревни, и как-нибудь ночью они придут и увезут его тайком, так же, как привезли».

Если безнадежный подкидыш умирает, задача сильно осложняется. Габонцы избегают покойников, крови и прочей «скверны». Всякий, кто

может держать в руках лопату, прячется, и потому копать могилу приходится тоже доктору и его помощникам.

Швейцер лечит и строит. Его могучее здоровье еще не восстановлено, и он часто ощущает слабость. А забот все прибавляется. Ему негде держать буйного помешанного. Надо срочно строить палату с замком. Много времени и средств уходит у него на снабжение пациентов пищей. Через несколько дней лечения запасы, приносимые пациентами, иссякают. Швейцер отпускает им тогда по шестьсот граммов риса, щепотке соли, по десятку больших бананов, полдюжины стеблей маниоки (касавы) да еще немного растительного (или пальмового) масла, привозимого из Европы. Готовят пациенты сами.

Добрый час уходит у доктора на раздачу продуктов. В то же время он не может поступить иначе. Недавно он узнал, что один из его пациентов, стеснясь попросить пищу у рассерженного доктора, голодал два дня. Швейцер полон угрызений совести. К тому же он знает, что лесной промысел наступает сейчас на сельское хозяйство Габона, и голод все дальше забирается в глубь континента.

В середине мая Швейцер почувствовал вдруг такую слабость, что не мог выписывать лекарства. Виновата была худая крыша: солнечные лучи, пробравшись сквозь щели, свалили с ног могучего доктора Огангу. Он оправился, но уставал по-прежнему и, приходя из больницы, в изнеможении валился на койку.

Только его сила воли, его здоровье, его одухотворенность и его чувство юмора помогали ему выстоять. В письмах этих месяцев часто попадаются истории, читая которые словно видишь искорки смеха в глазах Швейцера (так хорошо заметные на многих его фотографиях). Вот рассказ о белом лесоторговце, который как раз в эти тяжкие дни осчастливил доктора своим визитом и даже отужинал с ним. Когда они поднялись из-за стола, этот одичавший белый сказал, желая сделать доктору приятное: «Я знаю, доктор, что вы прекрасно играете на фисгармонии. Я ведь тоже любитель музыки, и, если бы мне не надо было спешить, я б уж непременно попросил сыграть мне какую-нибудь фугу Гёте».

Или другой рассказ из тех же дней, окрашенный его горькой иронией. Привезли какого-то белого моряка, который решил разбогатеть здесь на лесоторговле. Несколько недель жизни в габонском климате – и вот он уже хрипит на столе у Швейцера, обнажив на груди моряцкую татуировку: «Нет в жизни счастья!»

В одном из писем Швейцер рассказывает, как он заслужил здесь репутацию доброго сына. Пожилая африканка несколько раз спрашивала

его, почему он не зарежет антилопу Клас, которая уже достаточно разжирела. Швейцеру пришлось, наконец, сказать, что он решил увезти животное с собой в Европу; и однажды он услышал, как эта пожилая африканка, собрав женщин в кружок, назидательно говорила им:

– Видите, какой хороший сын наш доктор: он хочет увезти с собой жирную антилопу, чтобы съесть ее там со своей матерью.

С пациентами было все труднее сладить. Раньше в больнице были по большей части пахуаны и галоа. Теперь уже нельзя было бы прочесть «шесть заповедей доктора», потому что больные говорили на дюжине разных наречий. Неумение объясниться часто оборачивалось трагично. Кроме того, больные с лесозаготовок не соблюдали даже самых простых больничных правил: они крали птицу у миссионеров, бросали отходы где попало, опаздывали всюду, куда еще можно было опоздать.

Летом приехали сестра мадемуазель Матильда Котман, ставшая впоследствии правой рукой доктора, и молодой энергичный миссионер из Швейцарии. Через месяц, несмотря на запрещение доктора, миссионер и Ноэль решили искупаться в незнакомом озере, и миссионер погиб. Причина его гибели неясна, потому что он был отличный пловец: вероятно, на него напал крокодил или электрический скат. Доктор тяжело переживал эту гибель. При этом он натерпелся страху и за Ноэля, за которого перед отъездом поручился матери. Ноэль уехал в августе: ему пора было на учебу.

«Не знаю, как отблагодарить моего доброго товарища за помощь... – писал Швейцер. – Думаю, что и ему во время лекций в Оксфорде будет как сон вспоминаться, что он был как-то в Африке помощником врача, плотником, надсмотрщиком, дьяконом и еще бог знает кем».

В эти тяжкие месяцы, когда число пациентов неудержимо росло, он все еще оставался здесь единственным врачом и по-прежнему валился с ног в конце дня. Он много раз писал в Европу, звал к себе врачей, и его мечта о помощнике сбылась даже раньше, чем он ожидал.

19 октября к Ламбарене подошел старый добрый «Алемб» из Порт-Жантиля. На борту его находился первый врач – помощник Швейцера, его соотечественник – эльзасец Виктор Несман. Он был соученик Швейцера по Страсбургу.

«Помощь пришла как раз вовремя, – пишет Швейцер. – Вряд ли я хоть день выдержал бы еще двойное бремя врача и строителя. Как я страдал оттого, что не могу оказывать должного внимания пациентам!.. Так что гудок речного парохода, привозящего моего соотечественника, означает освобождение от страшного груза врачебной работы, которая при всех моих добрых намерениях была поневоле несколько поверхностной».

Доктор встречает молодого коллегу на берегу, и он полон при этом надежд, смешанных с сомнениями:

«Люди быстро садятся в лодки, и вот под струями дождя, потому что сезон дождей начался, мы уже швартуемся к борту парохода, а мой молодой соотечественник, который еще не знает, что такое усталость, машет мне с палубы, „Теперь вы отдохнете, а я возьму на себя вашу работу“, – с этими словами он пожимает мне руку».

Любопытно, что отметил измученный доктор в новом коллеге: «молодой», «еще не знает, что такое усталость». Любопытно и то, как ответил он своему помощнику. «Хорошо, – говорю я. – Тогда начинайте сейчас же и проследите за погрузкой вашего багажа в лодки. Это уже испытание на годность в Африке». Швейцер остался доволен: молодой врач оказался отличным стивидором, а здесь ведь ему понадобятся все специальности, весь его практический смысл и весь опыт. «...По пути к берегу я едва могу говорить, – рассказывает Швейцер. – Так я взволнован фактом, что у меня теперь есть здесь коллега. Какое это блаженное чувство – признаться наконец самому себе, как я устал!»

Коллега разгрузил Швейцера в больнице, и теперь он иногда целые дни проводил на стройке. Сам работал и сам следил за работой. Ему приходилось набирать «добровольцев» из родственников его пациентов и из самих выздоравливающих. «Добровольцы» прятались от доктора, а в дожди вообще никого нельзя было выгнать, потому что дождливый день – это дарованный богом день отдыха в этих местах. И как ни сердился доктор, он не мог не признать правоту своих пациентов: малейшая простуда вызывала у них приступы малярийной лихорадки.

В письмах Швейцера перечисляются его нудные обязанности, а также трудности, возникающие перед ним ежедневно, и, предвидя раздражение читателя, Швейцер пишет:

«Не могу отделаться от опасения, что в отчете моем слишком много говорится о прозаических сторонах жизни в Африке, однако в чем тонешь, то и в рот лезет. Жизнь наша заполнена этой прозой, и я не могу о ней не писать. Всякий, кто хотел бы творить добрые дела в условиях Африки, должен подавить в себе всякий соблазн дать волю нервам или характеру в борьбе с малыми и большими трудностями нашей повседневной жизни и должен научиться получать радость от этой работы».

У Швейцера появляется новый друг и сотрудник – плотник Монензали. Он привез в больницу жену. У нее сонная болезнь, она совсем беспомощна, и Швейцер отмечает, с каким трогательным терпением ухаживает габонец за женой. В свободное время он строит для больницы

небольшой трехкомнатный домик.

Загруженность не только утомляет доктора, но и удручает его. Он мечтал о новых отношениях с этими людьми – от человека к человеку, – а сейчас в дневное время он не успевает остановиться, задуматься... «Мы все трое, – пишет он, – два врача и сестра Котман, так оглушены работой, что наша человечность просто не может найти должного проявления. Но мы ничего не можем поделать...»

Старые язвы на ноге Швейцера, усугубленные царапинами, полученными на стройке, не позволяют ему ходить, но он не хочет оставаться дома, и его относят в больницу, где он ведет прием, а потом несут дальше, на строительную площадку.

Подходит рождество. В больницу привозят сразу шесть белых пациентов, которым срочно нужна помощь.

«На рождество у нас у всех подавленное настроение, – пишет Швейцер. – Мы плохо начинаем год, потому что все трое нездоровы. Новый доктор лежит, у него фурункулы; мадемуазель Котман тоже хворает; а я больше чем когда-либо страдаю от язв на ноге, которые все увеличиваются. Я не могу надеть ботинок и потому волочусь в деревянных башмаках. Мы выполняем свои обязанности, но не более того».

Они получают весть о том, что приедет новый доктор. Нужно скорее строить новые помещения и склады. Понадобится еще одна сестра, и нужно строить дом из рифленого железа.

В эту пору напряженнейшего труда Швейцеру исполняется пятьдесят. В душном климате Ламбарене европейца, дотянувшего на этом свете до сорока семи, отправляли по всем законам на пенсию. Но Швейцер не выслуживал пенсию. Его служение было иного характера, и потому он вторично приехал в Африку сорока девяти лет от роду.

В середине января доктор Швейцер и мадемуазель Котман чуть не утонули из-за неосторожности гребцов. Оставшись в живых, они снова взялись за работу. Их больничный флот в это время модернизируется: шведские друзья прислали в подарок больнице моторку «Так са мюкет» («Большое спасибо»), а друзья с Ютландского полуострова другую лодку – «Рааруп».

В Ламбарене неожиданно объявился доброволец из Швейцарии – плотник Шатцман: он узнал, что доктору позарез нужны плотники, и приехал без всякого предупреждения поработать. Впрочем, вдвоем с Монензали им все равно не справиться, и Швейцер в который раз сетует на систему колонизации, при которой африканцев учат грамоте, но не учат ремеслам: он мог бы при желании набрать армию африканских клерков, но

здесь не найти плотника, каменщика, строителя. Швейцер высмеивает колонизаторскую цивилизацию шелковых чулок, клерков и убогих хижин: здесь некому построить хороший дом.

В мае появились первые симптомы того, что год этот будет еще труднее прошедшего. Они узнали, что на лесоразработках к северу от озера Азинго разразилась эпидемия дизентерии. Швейцер и доктор Несман поехали туда и провели там сутки – лечили, консультировали, снабжали лекарствами. Потом, забрав с собою самых тяжелых, вернулись в Ламбарене.

В одном из писем Швейцера есть строчки об этом дне: «В этой поездке я написал свое последнее письмо отцу, но он уже не получил его, потому что смерть посетила его дом в тот самый день, 5 мая».

В мае они еще не могли предвидеть размеров надвигавшегося бедствия. Наоборот, как будто даже появился просвет впереди. Шатцман начал строить десятикомнатный дом. Из Берна приехал хирург Марк Лаутербург, которого африканцы окрестили Н'Тцчинда – Н'Тцчинда, что значит «Человек, который смело режет». Несмана они называли Огула, что значит «Сын капитана», причем под капитаном подразумевался сам Оганга. О Несмане ходили слухи, что за верную службу доктор купит ему жену в Европе, как только Огула туда вернется.

Швейцер с трудом приучал молодого хирурга к своему принципу – пореже ампутировать, почаще прибегать к метилфиолету, всегда, когда можно, не резать. Вовсе ни к чему пугать население тем, что ламбаренские доктора режут людям руки-ноги.

В больнице вдруг объявился бесшабашный, ненадежный и все же очень близкий Швейцеру Джозеф. Швейцер записывает:

«Джозеф из любви ко мне вернулся к работе, всего три недели пронесив траур по матери, и я это очень ценю. „Доктор – раб своей работы, а Джозеф – раб доктора“, – говорит он. Овдовевший плотник Монензали тоже вернулся».

Поступили два больных с человеческими укусами: это был довольно частый в Габоне способ самозащиты. Джозеф прокомментировал этот случай следующим образом: «Самый страшный укус – леопарда, еще страшней – ядовитой змеи, еще страшнее – укус обезьяний, но всего страшнее – укус человека». Доктор по-своему прокомментировал слова Джозефа: «Это правда – почти неизбежно заражение».

На стройку пришло несколько новых помощников, и у доктора появилась надежда, что к осени он в основном достроит больницу и сможет по вечерам заниматься философией, сможет, наконец, перевести

дух. Но июнь принес новые тревоги: «К концу июня подозрительно увеличилось количество больных дизентерией, и мы не знаем, куда нам класть этих страдальцев».

Вскоре стало ясно, что надвигается огромное бедствие. Большинство больных теперь составляли работавшие на лесозаготовках бенджаби и другие выходцы из глухих верховьев Огове.

«Что за трагедия, – восклицает Швейцер, – найти это полуживое от голода существо, лицо которого выдает в нем дикаря из верховьев, простертым у наших ворот с ничтожным узелком пожитков! Хотя мне часто приходилось видеть это зрелище, оно каждый раз трогает мое сердце. Охватывает невероятная волна сострадания к бедняге чужаку. И как часто сострадание это бывает бессильным, потому что видно с первого взгляда, что бедняга пришелец отдаст здесь душу вдали от родных, которые ждут назад и его самого, и денег, которые он должен был здесь заработать».

Швейцер подбирает подброшенных ему бенджаби, но это приносит новые трудности:

«Полное отсутствие дисциплины среди них делает работу больницы настолько трудной, что самый вид их пробуждает в моем сердце смешанное чувство сострадания и отчаяния».

Это оборачивается трагедией в разгар дизентерийной инфекции. Больные оправляются теперь где попало, ходят за водой на речку вместо ручья, едят и готовят вместе с дизентерийными, несмотря на все предупреждения и уговоры. Вот грустная зарисовка тех дней, оставленная Швейцером:

«Один бенджаби, лечившийся у нас от язв, нашел земляка среди дизентерийных, поселился с ним рядом и ест из одной миски с ним. Мы оттаскиваем его прочь и объясняем, чем он рискует. А к вечеру он снова оказывается в палате дизентерийного, и так каждый раз. „Ты что, убить себя хочешь?“ – спросил его доктор Несман. „Лучше умереть рядом с моим братом, чем не видеть его“, – сказал бенджаби. Тоска по родным местам в нем сильнее страха смерти. Конечно, дизентерия не упустила и эту свою добровольную жертву».

Швейцер и Несман лечат дизентерию. Лечение идет довольно успешно, несмотря ни на что, но каждый день им привозят новых больных. И вдруг новое страшное известие: в верховьях – голод.

Швейцер начинает готовиться к голодным месяцам. Он разъезжает по окрестностям на своей моторке и запасается рисом, а в его письмах европейским друзьям теперь все чаще предстает страшная картина африканского голода. Лесной промысел приучил габонцев надеяться на

привозной рис, забрасывая свои посадки. Если бы власти подумали заранее, можно было бы посадить маис, но теперь голод уже начался, и габонцы съедают даже то, что было оставлено на семена. Голодающие тучей двигаются в новые районы, опустошая их. «А потом они сидят голодные, безвольно ожидая конца». Энергичного эльзасца поражает неприспособленность жителей Габона. Здесь нельзя сказать: «Нужда учит». Здесь, по его наблюдениям, она «парализует до степени идиотизма». Люди не охотятся на диких свиней, не борются за жизнь, не действуют. Они сидят в хижинах и ждут голодного конца.

Швейцеру удастся пока оберегать своих пациентов от голода, но куда более сложно будет остановить в этих условиях волну дизентерии. «Все мы утомлены и подавлены напрасными попытками остановить нарастающую эпидемию дизентерии в больнице, – пишет Швейцер. – Несколько больных, которые пришли к нам с другими заболеваниями, заразились здесь дизентерией, и некоторых из них мы не смогли спасти от смерти.

Многих больных, которые уже должны были выписаться после операции, постигла та же участь. С какой тревогой спрашиваем мы в палатах каждое утро, не заразился ли кто-нибудь дизентерией! И если кто-нибудь приходит ко мне в больницу, чтобы довериться моему скальпелю, я содрогаюсь от страха: не падет ли потом этот больной жертвой дизентерии?»

Швейцера удручает невозможность добиться соблюдения хотя бы самых элементарных правил гигиены. «Однажды вечером, – пишет он, – я увидел женщину, наполнявшую водой бутылки у самой пристани, как раз там, где вода больше всего заражена. Это была жена больного, который лег на операцию, и воду эту она собиралась нести мужу, под покровом темноты набрав ее в запрещенном месте. Идти до ручья показалось ей слишком далеко!

Хуже всего, что больные начинают скрывать свою болезнь, не желая попасть под специальное наблюдение. Остальные пациенты не выдают их и даже помогают им нас обманывать...»

«Все это доставляет нам много лишних хлопот, – продолжает Швейцер, – и персонал наш просто с ног валится. Еще удивительно, что санитары от нас не уходят; наверняка это небольшое удовольствие работать с врачами, нервы которых так измотаны».

Впрочем, даже в минуты самого большого отчаяния спасительное чувство юмора выручало Швейцера:

«...Однажды, узнав, что некоторые из бенджаби снова набирают зараженную воду, я в отчаянье упал в кресло у себя в приемной и застонал:

„Ну разве я не болван, что приехал сюда лечить таких дикарей!“ На что Джозеф спокойно заметил: „Да, доктор, на земле вы ужасный болван, но не на небе“. Он любит произносить нравоучительные сентенции в этом духе. Лучше бы он побольше помогал нам в наших стараниях остановить волну дизентерии».

Надо отметить, что некоторые биографы Швейцера, приводя этот разговор, опускают две его последние иронические фразы. Сам Швейцер, впрочем, не был так уверен, что ему уже уготовано место на небе, да и вообще не верил в последующую награду за добрые дела. Награда для него была в самой деятельности, в возможности выполнять свой долг этической личности, а трудности этого пути были, как он все больше убеждался, заложены в самом характере избранного им служения.

«В середине сентября, – продолжает свой рассказ Швейцер, – пошли дожди, и нужно было немедленно подвести наши строения под крышу. И поскольку в больнице у нас не было ни одного человека, кто мог бы работать, я сам с двумя помощниками стал таскать доски и брусья. Тут я вдруг заметил негра в белом костюме, который пришел навестить больного и сидел возле него. „Добрый день, дружище, – окликнул я его, – не поможете ли вы нам?“ – „Я работник умственного труда, – ответил он, – и не таскаю бревна“. – „Вам повезло, – отозвался я. – Я тоже хотел быть работником умственного труда, да вот не вышло“.

В эти дни Пражский университет обсуждал присвоение ему почетной докторской степени в области философии. Но самому Швейцеру было сейчас не до философии, потому что эпидемия не унималась, а голод достиг размеров, весьма опасных для деятельности больницы. Ни больные, ни их родственники не спешили теперь уходить, а Швейцер не мог гнать их за ворота на голодную смерть. В больнице становилось все теснее. В одно утро они обнаружили еще шесть человек, которые заразились у них. Теснота давно уже стала опасной.

В этот труднейший год, когда физическая слабость и отчаянье так часто подстерегали доктора, он вдруг принял решение, которое показалось бы неожиданным для всякого другого человека. Действительно, о чем может мечтать пятидесятилетний европеец, измученный язвой на ноге и последствиями собственной дизентерии, обессиленный бесконечными бедами, нестерпимой габонской духотой, зачастую почти полным отсутствием контакта с пациентами, невозможностью заниматься умственной работой хотя бы по вечерам? Вероятно, о каком-либо просвете в этой «ужасной прозе» Африки, в изнуряющей работе... О жизни в Шварцвальде с женой и шестилетней Реной, о работе над новой книгой.

Может, об органе Валькера в полумраке старинного собора, о хоре, вплетающем мелодии Баха в величественный рокот органных труб? О лекции в Праге, где он был теперь почетным доктором философии и где жили его друзья? Все это было бы естественно, но было бы не по-швейцеровски. Мечта об отдыхе и подсказанное ею решение показались бы последовательными в любом случае, кроме того, в котором мы станем исходить из его собственной, всегда своей линии, не подчиненной окружению и времени, а подчиненной лишь воле его этического служения. Служение же это выражалось в терминах совершенно практических, а практические соображения говорили ему сейчас, что при нынешнем росте числа больных теснота становится роковой помехой в его работе.

И вот в страшный год несчастий, в год изнурительной борьбы с эпидемией, с голодом, с собственной болезнью и усталостью, накануне долгожданного отпуска, который он планировал на эту зиму, Швейцер вдруг принимает решение начать новое строительство. Не просто строительство нового корпуса или новых корпусов, а строительство совершенно нового больничного комплекса, на новом месте, вдали от старой больницы, так далеко, что он даже не сможет воспользоваться старыми строениями, стоившими таких трудов.

Он шел к этому решению исподволь, но эпидемия подтолкнула его мысль и придала ему решимости. Если бы у него были изоляторы, был отдельный корпус, он остановил бы эпидемию, смог бы избежать многой боли, а может, и многих смертей. Здесь, на старом месте, его стройка все ближе подходила к школе и к жилым зданиям миссии. Здесь у него не было специального помещения для умалишенных. Когда они начинали буянить, он отсылал их обратно в деревню; и в его письмах не раз встречается упоминание о том, какие у них бывают при этом глаза: глаза обреченных людей, которых он выдал на муки и смерть. Он не мог разместить отдельно безнадежно больных и даже умирающих. У него не было, наконец, морга, и мертвый оставался лежать рядом с живыми, пока доктор хлопотал, улаживая нелегкие проблемы африканских похорон. Он не мог разместить в своем городке африканский персонал больницы: все, кроме Джозефа и повара Алоиса, ютились по углам. Он не мог быть уверен, что из-за скученности в этом городке костров и очагов не вспыхнет пожар. Он, наконец, не мог больше полагаться только на привозную пищу. Ему хотелось развести небольшую плантацию, посадить маис и застраховать пациентов от последствий извращенного хода современного экономического развития. Кроме того, Швейцер заметил, что рабочие его стали более прилежными. Они ценили этот островок сытости и надежности

в зеленом океане голода. Это было чисто практическое соображение практичного доктора: он понял, что, если он найдет рис, он найдет теперь рабочих. Конечно, он предвидел, как все это будет трудно. У него был опыт строительства в джунглях, не менее тяжкий, чем опыт лечения в джунглях, а может, и более тяжкий. И все же он принял решение. Он принял его один, никому не говоря об этом. У него было теперь два врача и одна сестра из Европы, а также служащие-габонцы, но он один собирался остаться здесь надолго – вероятно, уже навсегда. Он один отвечал за начатое им дело. Он один был бессменный. Он был старше всех, опытнее всех, практичнее всех, энергичнее всех, жизнерадостней всех. Ни у кого из приезжавших работать с ним, работать у него не возникало сомнений в его авторитете, в неизбежности его руководства, его превосходства во всех практических больничных вопросах. Позднее людей, создавших из него легенду, написавших его лик безупречным средоточием милых им идеалов, коробила при знакомстве его властность, его единоличие в отправлении дела добра. Они хотели видеть в нем также привычный для их идеалов демократический стиль руководства, забывая, что в Ламбарене не было периодов плохого или хорошего руководства: там все держалось на нем и жило им. У него были удивительные помощники, которых привлек в Африку именно его пример служения и его способ. И конечно, во главе всего был он. Это положение сложилось в Ламбарене само собой, так же как сложился здесь совершенно особый, специфический тип лесной клиники, как сложились свои производственные отношения и традиции, предоставлявшие потом столько материала для теоретизирования, для удивления, для восхищения, для разочарования.

И вот теперь, на исходе невыносимо трудного 1925 года, Швейцер один, в усталой тишине своих вечеров принял решение построить новую больницу на новом месте и стал совершать все более далекие прогулки по окрестностям, выбирая участок.

Он разыскал наконец невысокий холм на берегу Огове, выше Ламбарене. На склоне холма поселился недавно какой-то белый лесоторговец, но некогда история этих мест была более шумной. Позднее Швейцер так описывал этот холм:

«Называется он Адолинанонго, что значит „Взирающий на народы“. Он заслуживает это название, потому что с холма видно далеко вокруг... На широкой вершине этого холма лежала некогда большая деревня короля племени галоа по имени Н'Комбе – „Король-солнце“. А внизу, на самом берегу, располагалась торговая фактория английской фирмы, находившаяся под покровительством „Короля-солнца“.

Швейцер иронически замечает по этому поводу, что и на Огове был свой «Король-солнце». Что касается английской торговой фирмы, то как раз в то время, когда ламбаренский доктор расхаживал по холму, обдумывая свой новый план, один из агентов фирмы писал в Иоганнесбурге книгу о своих торговых предприятиях, неизменно начинавшихся на холме Адолинанонго. И в тот год, когда ламбаренская больница переезжала на новое место, этот человек выпустил свою книгу в Лондоне под псевдонимом Торговец Хорн с предисловием Голсуорси. Швейцер прочитал эту книгу и впоследствии не раз вспоминал Торговца Хорна, отдыхая на холме над Огове:

«Если бы он вернулся сюда, он увидел бы, что природа не изменилась. Крокодилы все еще нередко дремлют с широко открытой пастью где-нибудь на песчаной отмели или поваленном дереве. Гиппопотамы в сухой сезон по-прежнему часто навещают воды Адолинанонго. Пеликаны еще кружат в воздухе. Острова я побережье все еще покрыты ярко-зелеными непроходимыми зарослями кустарников, отраженных в мутной воде».

Судя по этому и по другим описаниям, величественная нетроганая природа этих мест волновала Швейцера. Он решил строить здесь новую больницу.

Он не преуменьшал предстоящих ему трудностей. Он знал, что на долгие годы снова обрекает себя на прорабскую, плотницкую и грузчицкую работу. Он понимал, что придется расстаться с надеждой на близкий отпуск и на работу над незаконченной книгой. Он пошел на это.

Он нанес визит комиссару провинции, который вполне благожелательно встретил грандиозный проект самого авторитетного из местных врачей. Земля оставалась государственной, но Швейцер получил разрешение на «концессию» и мог теперь строиться на семидесяти гектарах, окружавших пустынный холм Адолинанонго, мог обрабатывать эту землю.

Вернувшись от комиссара в приподнятом, возбужденном настроении, Швейцер собрал врачей и сестер. Они не меньше, чем он сам, страдали от тесноты и неустроенности. Убеждать их не требовалось. И все же, как отмечает Швейцер, они поначалу «онемели от изумления». Потом они разразились радостными возгласами: они были «за». Пациенты смотрели на своих врачей с изумлением («к такой бурной жестикуляции и шумному оживлению среди нас они не привыкли!»). Помощники Швейцера были «за», хотя тоже понимали, что значило затеять такую стройку. «Сами только удивляемся, откуда возьмется у нас мужество начать такое предприятие», – записал Швейцер.

Что будет означать стройка для него, он тоже предвидел, хотя, наверное, и не в полной мере. Зато он прекрасно понимал, чем это грозит его семье, ждавшей его в Европе: «Я, однако, подумал о той жертве, какую это будет означать для моей жены и моей дочери. Они ждали меня к концу этой зимы (1925—1926 гг.); при нынешней же ситуации у меня вряд ли есть надежда попасть в Европу до начала следующей. Строительство нельзя оставлять без надзора, и при проектировании новой больницы нужно будет использовать мой опыт. Когда здания будут подведены под крышу, тогда уж ими смогут заняться другие».

Читатель, может быть, заметил, что в этом рассказе были упомянуты сестры, а не сестра. Дело в том, что как раз в это время прибыла в Ламбарене еще одна учительница из Эльзаса – мадемуазель Эмма Хаускнехт.

В книге Эрики Андерсон, вышедшей через четыре десятилетия после того, как Эмма Хаускнехт приехала в Африку, есть рассказ этой верной помощницы Швейцера о себе:

«В школе я слышала однажды лекцию про больницу доктора Швейцера. Я была так растрогана, что побежала домой и рассказала все родителям: „Вот чем я хочу заниматься, когда вырасту“. Отец нахмурился и сказал, чтобы я выкинула из головы эти дурацкие мысли. Но мама обняла меня и спокойно сказала: „Ты поедешь туда когда-нибудь, если очень хочешь“.

Потом Эмма стала учительницей. Ей было двадцать пять, когда она подошла к доктору Швейцеру после лекции и сказала, что она согласна на любую работу. И вот она приехала в Ламбарене, чтобы беззаветно трудиться здесь до конца жизни.

На холме Адолинанонго начались работы. Обмеряли территорию, потом начали расчистку места под новую больницу и под плантации. Это был нелегкий труд, но «сопротивление материала» и огромность задачи всегда вызывали у Швейцера душевный подъем. Он все свободное время проводил на строительной площадке: обмерял, вбивал колышки и сваи, организовывал, уговаривал, шутил. Он призывал себе на помощь образы Гёте, о чем вспоминал три года спустя, описывая расчистку леса:

«У меня была очень разношерстная бригада рабочих из числа добровольцев-пациентов и их родственников, которых вместе свел только случай и которые не хотели подчиняться никому, кроме „Старого Доктора“, как они называли меня. Так что я вынужден был много недель и месяцев провести в лесу, наблюдая за этими своевольными рабочими... И каждый раз, когда я был близок к отчаянию, я вспоминал, как Гёте в конце книги

заставил своего Фауста отвоевывать у моря землю, на которой могли бы жить и кормиться люди. Так Гёте стоял рядом со мной в топких лесах, словно улыбаясь мне с пониманием и утешая меня...»

Если ему самому хватало Гёте, то рабочих он должен был вдохновлять пищей и подарками. Пищу и рабочих привозили из старого больничного городка. Если не хватало гребных лодок, то женщин отправляли на моторках. «При этом они кричат и визжат так, – записывает Швейцер, – что шум мотора звучит на этом фоне, как фисгармония на фоне оркестра». Музыкальные сравнения не оставляют его на стройке, тем более что музыкальные занятия пришлось оставить на время, так же как, впрочем, и все прочие, не связанные со строительством.

Под началом у Швейцера до пятнадцати рабочих, и рабочий день их «разворачивается как симфония»:

«Ленто: Они очень неохотно берутся за ножи и топоры, а я распределяю их по участкам. Процессия черепашьям шагом бредет к вырубке. Наконец все на месте. С величайшей осторожностью поднимается и опускается первый топор.

Модерато: Топоры и ножи движутся исключительно медленно, в темпе, который дирижер тщетно пытается ускорить. В полдень перерыв прекращает это изнурительное копание.

Адажио: С большим трудом мне удается вернуть людей на рабочие места в душном лесу. Ни дуновения ветерка. Время от времени раздается удар топора».

Гантер писал в своей книге, что таких плохих рабочих, как у Швейцера, ему, наверное, никогда не приходилось видеть. Швейцеру некогда было заниматься сравнениями: ему нужно было как можно скорее построить больницу для этих вот самых рабочих. И он дирижирует своей «симфонией».

«Скерцо: Несколько шуток, которые мне удается выдать из себя в моем отчаянном положении, возымели успех. Духовная атмосфера оживляется, то там, то здесь слышатся веселые возгласы, некоторые из рабочих затягивают песню. Становится к тому же прохладнее. Легкое дуновение ветерка крадется от реки по густому подлеску.

Финале: Теперь все в веселом оживлении. Этот зловредный лес, из-за которого им пришлось идти сюда вместо того, чтобы спокойно сидеть в больнице, получит по заслугам. Рабочие с криком и воем переходят в наступление, со звоном стучаются друг о друга топоры и ножи. Теперь лишь бы только не пролетела птица, не пробежала белка, не слышались вопрос или команда, потому что малейший посторонний звук может

разрушить это опьянение. Тогда топоры и ножи встанут на отдых, люди начнут обсуждать происшедшее да вдобавок еще какие-нибудь случаи, о которых им когда-то довелось слышать, и уж тогда их больше не втянуть в работу.

К счастью, нас ничто не отвлекло. Музыка звучит все громче и стремительней. И если финале продолжается хотя бы полчаса, день прошел не зря. Так идет до того момента, пока я не крикну: «Амани! Амани! (Шабаш!)», объявляя этим об окончании работы».

Он пишет об этой трудовой «симфонии» с тем же увлечением, с каким писал когда-то об исполнении Баха. Он и руководит своим неповоротливым ансамблем с такой же серьезностью, с какой некогда руководил баховским хором в Страсбурге.

Он очень увлечен планировкой, намечает для себя главные задачи: во-первых, учесть нужды больницы; во-вторых, рационально использовать традиции африканского строительства. «Мы решили строить на сваях, потому что хотим расположить свою деревню вдоль берега, так же, как туземцы обычно размещают свои деревни...» Швейцер с гордостью записывает, что он строит доисторическую озерную деревню и что он будет «современным доисторическим человеком»,

Швейцер сам устанавливает сваи, а плотники сколачивают дома. Здания он решил расположить с востока на запад, чтобы солнечные лучи не били прямо. Ламбарене близко к экватору, и солнце здесь очень мало продвигается к северу или к югу.

Направленное расположение домов, узкие длинные здания, продольная сквозная щель между крышей и потолком – все это должно спасти хоть немного от нестерпимой жары.

Кстати, у новой больницы будет особая по сравнению с селением Ламбарене долгота и свое собственное больничное время, на четверть часа отличающееся от ламбаренского: впоследствии это составляло предмет особой гордости стареющего доктора. Может, он видел в этом поселке особое, независимое царство добра и утоления боли с особым временем, со своим собственным интернациональным населением и единственной, никак организационно не оформленной организацией – человеческим Братством Боли.

Среди всех его хлопот Швейцера особенно утешала мысль, что душевнобольные будут иметь здесь свою палату...

Из Швейцарии приехал еще один молодой доброволец. Сумеет ли он обращаться с рабочими так, чтобы доктор вздохнул свободно? Есть ли у него способности?

– А в чем они заключаются?

– Сочетать в нужной пропорции доброту и твердость характера, – говорит Швейцер. – Избегать лишних разговоров, но уметь пошутить, когда нужно.

На строительной площадке много пальм. Швейцер выкапывает их и переносит на новые места. Африканцам это сострадание к пальмам кажется странным извращением. Что касается любви к животным, даже к самым низшим тварям, то ее понимание дается его рабочим с меньшим трудом. Правда, они смущенно улыбаются или просто стараются не замечать, как Швейцер, прежде чем опустить в землю сваю, смотрит, нет ли там жабы, муравьев или еще какой-нибудь живности. Но однажды доктор вдруг слышит, как один из его рабочих, на первый взгляд очень неразвитый пришелец из верховьев Огове, вдруг начинает объяснять товарищу, который захотел стукнуть ножом жабу, что животные такие же твари, как мы. «Я рассчитаюсь еще как-нибудь со всеми, кто мучит животных!» – говорит он запальчиво, обращаясь к изумленным товарищам.

Что означали все эти предосторожности Швейцера в лесу, кишачем живыми тварями? Что значило это нежелание убивать без крайней необходимости? Что это было? Фарисейство – как утверждали многие? Юродство? Доведение разумного принципа до абсурда? Или просто нежелание уничтожать жизнь понапрасну, без крайней необходимости? Просто сострадательная чуткость характера? Просто по возможности последовательное соблюдение принципа, о котором Швейцер писал в своей «Культуре и этике»:

«Когда бы я ни наносил ущерб жизни любого рода, я должен ясно сознавать, есть в этом необходимость или нет. Я никогда не должен преступать рамок неизбежного, даже в явно незначительных случаях. Крестьянин, который скосил на лугу тысячу цветов в пищу коровам, должен следить, чтобы на пути домой не сорвать безразлично и без смысла головку цветка у дороги, ибо, сделав так, он ущемляет жизнь, не побуждаемый к этому необходимостью».

Швейцер никогда не декларировал ни полного пацифизма, ни вегетарианства, ни даже строгости джайнистского непричинения зла. Он говорил только, что, «когда у нас есть выбор, мы должны стараться не причинять страдания и не вредить жизни другого существа, даже самого низкого по развитию», потому что «поступить так – значит взять на себя вину, которой нет оправдания, и отказаться от своей человечности».

Новая больница еще строилась, а приток пациентов в старую больницу все возрастал. Когда-то здесь лежало сорок больных, теперь размещалось

уже сто шестьдесят. Главным образом это, конечно, были пациенты, страдающие от малярии, фрамбезии, дизентерии, проказы, сонной болезни. Но пятнадцать-двадцать коек всегда было занято хирургическими больными, которых Швейцер нередко описывал в своих письмах.

Среди них был охотник, который, встретив гориллу на лесной тропке, выстрелил в нее, спугнул и спокойно продолжал путь. Но на обратном пути горилла поджидала его, и он еле избежал смерти. Другой габонец охотился на слона. Слон подошел к лесоповалу в Самките, и габонцы решили изловить его традиционным дедовским способом, каким в былые времена были здесь пойманы и убиты тысячи слонов: габонцы подкрадывались сзади и перерезали слону ахилловы сухожилия на задних ногах. Увы, древнее искусство охоты уже утрачено, и слон пропорол бивнем бедолагу охотника с лесоповала. Ни Швейцер, ни искусный хирург Лаутербург не смогли спасти ему жизнь.

А габонец Н'Зигге выстрелил в дикого кабана и обнаружил с некоторым опозданием, что это шевелился не кабан, а его односельчанин. Рана оказалась роковой, и Н'Зигге немедленно привел в больницу свою жену и ребенка. Теперь жизнь всей его семьи была в опасности. Доктору пришлось самому провожать Н'Зигге к окружному комиссару, чтобы он не погиб по дороге. Убийство было непреднамеренное, и Н'Зигге должен был выплатить большую сумму семье убитого, а также дать ей козу: живое за живое, как гласит обычай. Тихий, симпатичный Н'Зигге остался в больнице под защитой доктора и стал одним из лучших его работников: дома жить ему теперь было небезопасно, да и деньги для уплаты компенсации нужно было где-то зарабатывать.

Однажды, возвращаясь с фактории, Швейцер увидел на земле спящего человека. «Наверно, пьяный, он тут давно», – сказали доктору. Доктор привез габонца домой и после исследования обнаружил сонную болезнь, а потом и нарушения психики, которые так часто случаются в результате сонной болезни или отравления ядами. Больной Н'Тсама был худой как скелет. Швейцер лечил его новыми средствами, после чего у Н'Тсамы осталась только самая невинная kleptomания, за которую ему, впрочем, немало доставалось от больных. Потом несчастный Н'Тсама подцепил дизентерию и еле выкарабкался из болезни, к радости всего персонала больницы. Позднее он избавился и от kleptomании. Однажды Швейцер взял его с собой на работу и увидел, что он работает с удовольствием. Он сам просился в лес на расчистку новой территории и говорил при этом: «Доктор – мой отец, а больница – моя деревня».

По-прежнему было много случаев дизентерии. Эльзасец доктор

Тренш, который сменил в больнице доктора Несмана, призванного в армию (теперь уже во французскую), обследовал воды Огове и нашел эндемичный для этих мест вибрион.

Работы в старой больнице было много, но при этом ни на день нельзя было остановить и строительство.

И вот подошел к концу тяжкий 1926 год, который некоторые биографы считают самым тяжелым годом в нелегкой трудовой жизни Ламбарене. Новая больница была почти готова. Теперь нужно было поспешить с переездом до наступления периода дождей: перевезти больных и все оборудование, а также разобрать на строительный материал старую больницу.

Переезд начался 21 января 1927 года. Эмма Хаускнехт и доктор Лаутербург наблюдали за погрузкой, Ганс Муггенштурм и Матильда Котман продолжали прием в старой больнице, а Старый Доктор (он будет носить этот почетный титул еще добрых четыре десятка лет) с утра до вечера буксировал по Огове доверху груженные лодки. Предстояло очень много трудностей – еще бы, сдвинуть с места такую махину! – но записи Швейцера, датированные этими днями, полны ликования:

«...Впервые со времени моего приезда в Африку пациенты мои размещены по-человечески. Сколько я выстрадал за эти годы из-за необходимости запикивать их в тесные, душные и темные комнатки!»

И еще восторженная запись: «Новая деревня на сваях выглядит внушительно! И насколько легче работать теперь, когда места достаточно, воздуху достаточно, света достаточно!» Швейцер сообщает, что здесь прохладнее, чем в старых зданиях, что дизентерийную палату он поместил лицом к реке, чтоб была вентиляция. К тому же специальная дизентерийная палата отгорожена и от остальных палат, и от реки.

Вечером, заканчивая переезд, доктор Швейцер отвозит в последней лодке душевнобольных. Им рассказывают, что теперь у них будут комнатки не с земляным, а с настоящим деревянным полом. Перед сном доктор обходит свой новый больничный городок и слышит возгласы у каждого костра, за каждой противомоскитной сеткой: «Хорошая хижина, Доктор, очень хорошая хижина!» «Мои пациенты размещены по-человечески!» – снова и снова восклицает Швейцер.

Складывается на долгие годы больничный городок, «клиническая деревня» особого, швейцеровского типа, с культом рациональной приспособленности, но без излишних, требующих специального ухода приспособлений; клиника, где соблюдают допустимый максимум африканских бытовых традиций при максимальном внимании и

сострадании к пациенту, где живут принципы самоотдачи, самоотверженного служения человечеству, высокий дух этого служения.

В апреле в Ламбарене приехала англичанка миссис Рассел, автор книги о швейцеровском пути восстановления цивилизации. Она хочет быть полезной в Ламбарене, и Швейцер поручает ей наблюдение за работами. Ко всеобщему удивлению, она справляется со своей должностью великолепно.

Доктор Швейцер теперь может уехать на отдых. В последние недели он еще помогает строить навес для лодок и ставить сваи для большого, пятикомнатного дома, где будут жить врачи. К середине лета закончены новые палаты, и больница теперь может вместить до двухсот человек, так что есть даже резервные места.

Швейцер может уехать в отпуск спокойно. Он уезжает, победив и на этот раз в невероятно трудной борьбе.

Швейцер плыл на речном пароходе и вспоминал эти тяжкие три года. Он думал о семье, о друзьях, о своих пациентах. Он думал о том, что снова ему выпала привилегия помогать страждущим и найти счастье этического действия, в котором отказано столь многим. Сидя на палубе старенького «Алемба» и окидывая прощальным взглядом уходящий берег, он писал:

«Чувство, которое я испытываю, нельзя назвать радостью; скорее это смирение, потому что я чувствую себя недостойным такой радости и спрашиваю себя, чем заслужил я право выполнять такую работу и добиваться успеха в ней. Время от времени я вдруг ощущаю боль оттого, что я на время должен покинуть больницу, оставить Африку, которая стала моим вторым домом».

«Мне даже трудно представить себе сейчас, что я покидаю туземцев на долгие месяцы. Как привязываешься к ним, несмотря на все неприятности, которые они тебе доставляют! Как много прекрасных черт характера можно обнаружить в них... И как раскрывают они нам свою истинную натуру, если у вас находится достаточно любви и терпения, чтобы понять их!»

«Но зеленая полоска вдали, за которой так хочется разглядеть Ламбарене, становится все менее отчетливой. Может, она растаяла на горизонте? Или скрылась под волнами?»

Глава 15

Он вернулся в Европу совершенно измученный. Впрочем, он недолго оставался в Кенигсфельде, в их шварцвальдском домике. В Европе было много друзей, которые не дали больнице погибнуть в самые трудные годы эпидемии и голода: Швейцер хотел повидаться со всеми. Он хотел навестить врачей и сестер, которые работали у него в Ламбарене, а теперь отдыхали и лечились в Европе. Дома его ждали приглашения на лекции и органные концерты.

И прежде всего он поехал, конечно, в Швецию, где жил Натан Седерблом. В общей сложности он пробыл в Швеции с ноября до марта. В марте, после поездки по Дании, он побывал в Страсбурге и Париже, где играл на органе. Потом он пробыл еще полтора месяца в Кенигсфельде, но все его дни были заполнены здесь работой над книгой об апостоле Павле.

Весной он побывал в Голландии, где отвел душу, играя на излюбленных своих старинных голландских органах. Потом была Англия – страна, жители которой оказывали теперь большую поддержку Ламбарене. У Швейцера было здесь много старых друзей, и он приобрел немало новых. Англичанам импонировали его доброта, его рыцарские манеры, ненавязчивая и естественная его церемонная старомодность, его глубокий, лишенный суетности ум, сочетавшийся с неизменным чувством юмора. Газетные репортеры были верны себе; и один из них писал, вряд ли сознавая, насколько в данном случае оправдан его характерный для прессы пафос: «В сегодняшнем мире мало найдется фигур столь же героических, как Альберт Швейцер».

Впрочем, люди серьезные тоже находились под глубоким впечатлением его глубины, простоты, увлеченности. Конечно, и люди просто светские считали своим долгом непременно встретиться с таким экзотическим, таким усатым и таким ученым джентльменом, который прикатил сюда откуда-то из джунглей. Он отвечал им с изысканной старомодной вежливостью, не удерживаясь, впрочем, иногда от едкой иронии.

Одна дама обернулась к нему на концерте и, замирая от собственной и прогрессивности и просвещенности, сказала:

– Доктор Швейцер, вы так долго пробыли в Африке, но теперь, когда вы вернулись в Европу, что вы думаете о том, что вот у нас на Западе теперь цивилизация?

– В самом деле? – удивился Швейцер. – О конечно, это было бы совсем неплохо.

Другая деятельница спросила его на приеме менторским тоном:

– Что вы делаете, доктор Швейцер, в Ламбарене для распространения современной культуры?

И Швейцер ответил с готовностью:

– Поставляю тазики окрестному населению...

Чтобы понять всю юмористичность этой ситуации, нужно вспомнить упорную борьбу бережливого доктора с мелкими кражами в этом нищем районе Африки. Чтобы не вводить своих пациентов в искушение, ламбаренский доктор завел множество кладовок и замков, а на посуде в Ламбарене стояли, как правило, три буквы «АШБ», что значит «Альберт Швейцер-Бреслау», потому что, хотя Елене приходилось оставаться теперь в Европе, он всегда считал ламбаренскую больницу их совместным начинанием. Несмотря на эту предосторожность, в любой деревне в окрестностях Ламбарене можно было найти тазики с этим заклинанием на обратной стороне днища.

Летом доктор Швейцер снова работал над своей книгой в тиши Кенигсфельда, засиживаясь до самого утра.

Иногда он уходил на прогулку в горы Шварцвальда. Иногда маленькая Рена ходила с отцом, и он рассказывал ей об Африке, куда она поедет когда-нибудь вместе с ним и с мамой. Там не бывает медленных, призрачных и прохладных сумерек, как здесь, там сразу становится темно. Там всегда изнурительная жара, а по ночам иногда вдруг сырой холод. Доктор увидел, как у внимательно слушавшей его дочери поднялось изо рта легкое облачко пара, и рассказал ей историю про габонского мальчика, который никогда не видел, как пар идет изо рта у человека, потому что в Габоне никогда не бывает такого холода. Попав в Европу, мальчик увидел однажды на улице, что пар показался у него изо рта, и решил, что он болен. «Я болен! – закричал оп. – Я болен! У меня огонь внутри!» И только когда он увидел, что у лошадей пар валит от шкуры и из пасти, его удалось, наконец, успокоить.

Швейцер узнал в это время, что город Франкфурт присудил ему гётевскую премию «в признание его заслуг перед человечеством» и что 28 августа он должен будет произнести во Франкфурте речь, посвященную юбилею Гёте. Вряд ли муниципалитет Франкфурта или гётевский комитет знали, что значил для него Гёте на всем протяжении жизни. Во всяком случае, текст официального документа о присуждении гётевской премии не говорил об этой связи, а лишь о «примере фаустовского преобразования

своей жизни».

Швейцер решил рассказать в юбилейной речи о своем собственном Гёте, не о гордом «олимпийце», известном миру, а о человеке, чей этический дух подвигнул его почитателя на действенную помощь страждущему человеку. Юбилейная речь давала Швейцеру счастливую возможность выплатить свой долг Гёте, и он прослеживал здесь свою духовную связь с Гёте, начиная с самых ранних, студенческих лет.

Сейчас, в эпоху упадка права, Швейцера вдохновляла гётевская вечная озабоченность справедливостью, которую он противопоставлял нынешней бесправной цивилизации. Стареющий Гёте был озабочен обстоятельствами своего века, он был существом, понимавшим новый век и уже ставшим частицей этого века.

Швейцер говорил во Франкфурте как человек, озабоченный обстоятельствами своего века. Он говорил о милосердии судьбы, позволившей ему действовать в качестве свободной личности, не скованной ни профессией, ни организационной принадлежностью. Он говорил о том, что самого его судьба привела к тому, что он «с ясностью, проникающей до самых глубин души», испытывает беспокойство нашего времени. Швейцер говорил о трех обязательствах, которые накладывает Гёте на каждого из современников: сохранить людям, измученным работой, возможности для духовного существования, несмотря на отвлекающие, чисто внешние обстоятельства; помочь людям отыскать дорогу к внутреннему; бороться с самими собой, чтобы в эту пору смятенности идеалов остаться верными великим гуманистическим заветам XVIII века.

Премию, полученную во Франкфурте, Швейцер решил употребить на постройку Дома гостей в Мюнстерской долине, в родном Гюнсбахе. Европейец, работающий в Африке, должен раз в полтора-два года отдыхать в Европе, иначе здоровье его (если оно уступает могучему здоровью Альберта Швейцера) ни за что не выдержит. Дом в Гюнсбахе, у милого с детства подножья горы Ребберг, предназначался в первую очередь для персонала Ламбарене, отдыхающего в Европе, а также для доктора и друзей Ламбарене.

В ноябре 1928 года Швейцер выступал в городах Германии с лекциями и концертами, сборы от которых он пожертвовал немецким благотворительным организациям: Германия еще переживала свои неисчислимые беды.

В декабре он был в Праге, где читал лекции о христианстве, о Бахе и о больнице в джунглях. Это были счастливые для Швейцера дни. По приезде Швейцер до вечера играл на органе в Зале Сметаны – до самого начала

симфонического концерта, прослушав который он снова играл на органе до полуночи, после чего еще ужинал с друзьями до двух часов ночи. Назавтра после своего концерта он поехал еще в евангелическую церковь и там репетировал на органе до полуночи, пока не пришел вдруг полицейский наряд и не сказал, что орган тревожит покой мирных пражан, которые ложатся рано, и к тому же еще нарушает городские установления. Внушительный усатый эльзасец (усы его и могучая шевелюра тогда еще не были седыми) сумел обратить инцидент в шутку и отправился ужинать с чешскими друзьями.

Он путешествовал по Европе с Еленой, потом его сопровождала до Эльзаса миссис Рассел, которая возвращалась в Ламбарене, где она уже совсем освоилась. В Страсбурге Швейцер повел свою спутницу в церковь св. Николая и спросил, что ей сыграть на прощанье. Вот как рассказывает об этом сама миссис Рассел:

«Я думаю, что если бы он не стал никем другим, то он, должно быть, стал бы композитором, великим композитором. В его импровизациях есть ярко выраженная индивидуальность, хотя очень часто это просто танцевальная музыка. Но он никогда не записывает свои импровизации и никогда не повторяет их дважды. Перед нашим прощанием накануне моей второй поездки в Ламбарене он повел меня в страсбургскую церковь св. Николая и предложил сыграть что-нибудь по моему выбору. Я выбрала прелюд и фугу ми-минор, и он спросил: „А потом?“ Я сказала, что хотела бы их, и потом еще раз, и он повторил их снова и снова. Дважды он сыграл мне еще прелюд и фугу. Потом отключил огни и сказал: „А теперь я сыграю кое-что для Канады (так называли мою маленькую обезьянку, оставленную в Ламбарене)“, – и начал импровизацию, прекрасней которой я ничего не слышала ни до того, ни впоследствии. Она была полна магии африканских джунглей и реки, залитых лунным светом, в ней были веселые игры мартышек, которые скачут среди деревьев в сиянии солнца».

В декабре 1929 года Швейцер снова поплыл в Ламбарене.

На речном пароходике, спешившем вверх по Огове, Швейцер еще дописывал предисловие к своей книге о Павле, которая вышла вскоре после этого в Тюбингене. На пароходе вместе со Швейцером были на этот раз Елена, новый доктор и лаборантка.

Ламбарене, как всегда, встретило его непочатым краем забот. Оказалось, во-первых, что дизентерийным больным и теперь не хватает места. И вот целый год Швейцер вместе со своим верным Монензали строил новые палаты, новый продуктовый склад, столовую и резервуар для дождевой воды.

Между тем популярность Ламбарене на берегах Огове росла, и пироги приходили сюда из далеких верховьев реки. Европейские турне Швейцера, рост его известности и расширение дружеских связей укрепили в это время финансовое положение Ламбарене. В больнице было теперь достаточно помещений, в больничной аптеке – значительный запас лекарств.

Памятуя о недавнем голоде, обеспокоенный недостатком витаминов в пище габонцев, доктор спешил насадить вокруг больницы свои Сады Эдема. Он часто говорил сотрудникам, что скоро у них будет много фруктовых деревьев и кража фруктов перестанет быть преступлением в больничной деревне. Сады Эдема уже давали им плоды манго, папайи и масличной пальмы. Завезенные некогда в Габон из Вест-Индии, плоды эти хорошо принялись в больничном саду. К сожалению, в ламбаренском климате хранить фрукты и создать запас было невозможно.

Прибыл новый врач из Эльзаса. За эти годы в Ламбарене успел поработать по очереди добрый десяток врачей, главным образом эльзасцев и швейцарцев. Здоровье Елены, к сожалению, не выдержало ламбаренского климата, и весной ей пришлось уехать.

Когда больница справилась со стройкой, молодые врачи попросили доктора, чтобы он освободил для себя вечер. Впрочем, он временами так уставал к вечеру, что даже не мог играть на своем стареньком пианино с органными педалями.

Все же ему удалось в это время написать автобиографический очерк для Лейпцигского издателя, готовившего очередной том «Современной философии в автопортретах». Когда издатель выпустил этот очерк отдельной книжечкой, Швейцер прочитал его и остался недоволен. Он считал, что такой очерк, если уж и выпускать его вообще, должен дать представление о его идеях в связи с его работой в Африке, что очерк этот должен привлечь новых сторонников к идее уважения к жизни и практическому ее претворению, должен завербовать новых членов великого Братства Боли. Так он начал работать над книжечкой «Из моей жизни и мыслей», единственной более или менее полной автобиографией Швейцера, в которой изложение событий доходит до марта 1931 года, когда Швейцер поставил последнюю точку, написав:

«Я глубоко ценю тот факт, что я могу работать как свободный человек в то время, когда угнетающее отсутствие свободы становится уделом столь многих, и что, хотя непосредственная работа моя носит характер материальный, у меня все-таки находится время для того, чтобы трудиться также в сфере духовной и интеллектуальной.

...Много ли из того, что я задумывал и о чем думаю сейчас, я сумею

осуществить?

Волосы мои начинают седеть. Тело мое ощущает как последствия трудов, которыми я нагружал его, так и бремя годов.

Я с благодарностью вспоминаю о времени, когда, не имея нужды беречь силы, я мог непрерывно заниматься физическим и умственным трудом. Со спокойствием и смирением гляжу я в будущее, для того чтоб быть готовым к последнему самоотречению, если оно потребуется...»

Швейцеру шел в это время пятьдесят седьмой, и впереди у него было еще много лет труда и самоотречения.

А сейчас в его больнице, как обычно, вели прием, делали операции, перевязывали раны, принимали роды. Молодая африканка попросила разрешения назвать своего сына Доктор Альберт. Швейцер уже знал, что имя, да еще данное с согласия влиятельного лица, приносит благословение. А доктор Швейцер становился в габонских джунглях лицом все более влиятельным. Недаром же его называли «капитаном» в отличие от младшего доктора, которого называли «лейтенантом». Влияние его возрастало, впрочем, не только в джунглях, но и в научных кругах Европы. В 1931 году Эдинбургский университет присвоил ему почетные степени доктора богословия и доктора музыки. Чуть позднее он был избран также почетным доктором философии Оксфордского университета и доктором прав английского университета Сан-Эндрю. Почести мало что меняли в образе жизни африканского доктора. Он строил палаты и пристань, делал операции, выскребал язвы, принимал роды, сажал в своем Саду Эдема банановые и масличные пальмы. Шел третий год непрерывной работы в Ламбарене, и доктор уже начинал подумывать о близком отпуске, когда из родного города Гёте, из Франкфурта, вдруг пришло почетное приглашение: доктора из джунглей просили прочесть юбилейное обращение на праздновании столетия со дня смерти Гёте. Швейцер только недавно закончил свою автобиографию, и на книжной полке в его маленьком кабинете, служившем также спальней, стояло полное собрание сочинений Гёте. В душной первобытной ночи габонских джунглей Швейцер снова и с новым проникновением углублялся теперь в мысли поэта и философа, чей образ сопровождал его всю сознательную жизнь.

Все биографы Швейцера писали об этой его юбилейной гётевской речи, отмечая драматизм ситуации, в которой она была произнесена, ее трагический пафос и высокие литературные достоинства. Странно, однако, что никто не заметил одной весьма интересной ее черты. Пристально вглядываясь в отдаленный временем облик Гёте, Швейцер находил в своем кумире все больше черт, которые были близки ему самому. И вот в

результате многих, воистину разительных совпадений, а может, и сугубой субъективности авторского отбора в речи этой проглядывает редчайшая самохарактеристика нашего героя, отличавшегося всю жизнь сдержанностью, столь травмирующей его биографов. Здесь не только, а может, даже и не столько портрет Гёте, сколько характеристика Швейцера, такого, каким он хотел бы видеть себя (а может, и видел). Вероятно, мы не имеем права на полную аналогию, и все же, проследив вместе развитие этой удивительной жизни от младенчества почти до окончания ее шестого десятка, мы получили право на некоторые гипотезы и параллели. А соблазн велик: увидеть человека не таким, каким видят его люди или каким он открылся дотошному исследователю, а таким, каким он хотел видеть себя сам, формируя свой этический идеал.

Живой человек Гёте. Как и всякому живому, ему не подходит нимб и место в «житиях»: «Гёте не является в самом прямом смысле привлекательной и вдохновляющей идеальной фигурой. Он и меньше этого и больше». (Уже процитировав эти первые фразы, автор ощутил, как двинулся по верному следу инстинкт его внимательного читателя.) «Существеннейшую основу его личности... – продолжает Швейцер, – представляют искренность в сочетании с простотой. Он может сказать о себе, исповедуясь, и говорит, что ложь, лицемерие и интриги так же далеки от него, как тщеславие, зависть и неблагодарность».

«Наряду с этими двумя качествами, определяющими его характер, есть и другие, которые невозможно примирить друг с другом... а именно, непосредственность и отсутствие непосредственности. Гёте раскрывает себя с огромным обаянием, и в то же время он сдержан. У него огромная врожденная доброжелательность, и в то же время он может быть очень холоден. Он переживает все с исключительной жизнеспособностью и в то же время озабочен тем, чтобы не выйти из равновесия...»

«Гёте, натура, богато одаренная, не был по природе своей ни счастливым, ни гармоничным человеком...»

«Он признает правильной для себя линией не навязывать своей натуре ничего чуждого, но попытаться развить то добро, которое жило и мерцало в нем, и отделаться от всего, что не было добром».

«Он с величайшей серьезностью посвящает себя самодисциплине... эта его серьезность производила глубокое впечатление».

Швейцер говорит, что Гёте часто слышал обоснованную и необоснованную критику в свой адрес, много раз сталкивался с непониманием, но «никогда не жаловался».

В полном «соответствии со своей природой Гёте был с младенческих

лет до старости полон сердечности и сочувствия. Как мы знаем из многочисленных свидетельств, он не отстранял никого, кто по-настоящему в нем нуждался. И поскольку это было для него совершенно естественным образом действий, он старался оказать особенно активную помощь там, где ему встречались бедствия духовные и сердечные». Это было его «главной привычкой».

«Гёте вызвал к жизни человечность, которую он выкристаллизовал в словах „благородный, воспомоществующий и добрый“ („edel, hilfreich und gut“), человечность, магия и величие которой сливаются воедино с его великолепной искренностью и естественностью. Именно потому это его чувство человечности так впечатляло всех, кто видел его свечение в удивительных глазах Гёте...»

Швейцер любовно и подробно пишет о взаимоотношениях Гёте с природой. «Природа царит в языке Гёте... В соответствии со всем, что было глубоко присуще его существу, Гёте жил в постоянном духовном единении с Природой».

Швейцер прослеживает это единение, начиная с детских порывов Гёте. Более того, под этим углом Швейцер рассматривает и дружеские контакты Гёте:

«И если дружба... остается на заднем плане в поэзии Гёте, то это потому, что для него близость с Природой означает величайшую дружбу, перед которой бледнеет всякая другая дружба... Только Природе он может отдавать себя целиком... Отдаление от Природы для него величайшая ошибка, в которую может впасть человек». Именно это отчуждение символизирует для Гёте трагедию Фауста, который как раз в Природе возвращается к новой жизни. В самого Гёте леса и горы каждый раз вселяли новую жизнь до самого его смертного часа. Именно в обращении к Природе Швейцер видит могучую силу гётевской лирики, эпоса, прозы и причину неудач его драматургии (ибо драматургия по-своему перекраивает Природу). Гёте, по мнению Швейцера, достигал совершенства там, где его творения были исповедями, раскрытием его собственной души.

Весьма продуктивные ассоциации рождает рассуждение Швейцера о трех мотивах, переплетающихся в раздумьях и высказываниях Гёте: это мотив достижения благородства, мотив облагораживающего влияния женщины и чувство вины. В творениях Гёте нет готовых героев с пламенными идеалами: все они проходят путь совершенствования, самоочищения, сохраняя свои совершенно оригинальные черты. И на этом пути очищения и облагораживания он как помощника и хранителя мужчины возвышает Женщину. Женщины Гёте – возвышенные и

благородные натуры. Говоря о «чувстве вины у Гёте», Швейцер предупреждает, что это не чувство вины из классической трагедии, вызванное неизбежностью обстоятельств. Гёте говорил, что мы приходим здесь в соприкосновение с непостижимой тайной. В то же время он считал себя вправе предполагать, что вина, которую мы ощущаем, не призвана уничтожить нас, а должна в конечном итоге послужить нашему очищению. Жизнь предъявляет свои права к человеку, одержимому чувством вины. «Но человек хочет жить... И потому он искренне сочувствует другим...» Таким образом, резюмирует Швейцер, «стать самому виновным означает обрести купленное дорогой ценой понимание жизни»:

«Если чувство вины воздействует на человека, он на пути к искуплению посредством непостижимой тайны любви, которая пронизывает мрак земной, как осколок пылающей вечности».

Для Швейцера важно, что в своей поэзии Гёте выступает как мыслитель и что при этом все величие и ограниченность его мысли обнаруживаются в его глубоком единении с Природой. Только Бесконечность, раскрываемая нам в минуты, когда человек полностью погружен в себя и в Природу, имеет для него реальность и смысл.

Ты устремиться хочешь в Бесконечность,
Иди в Конечное по всем дорогам.

Гёте призывал к исследованию в рамках Конечного, постижимого, но призывал относиться с почтительностью к тому, что не поддается исследованию. Для него достаточно признания, что «Природа – это жизнь и переход от неведомого ядра к неразличимой окраине». «В своем отрицании целостного мировоззрения Гёте был одинок в эпоху, когда царила спекулятивная философия. Гёте принимает этическую мысль как проявление Природы. Необъяснимым путем он обретает уверенность, что первопричина вселенной есть первопричина любви, и любовь эта, исходя из Бесконечного, сострадает нам и стремится быть в нас активной».

Однако еще более существенным, чем анализ мысли Гёте, является для нас, по мнению Швейцера, анализ практических выводов, к которым приводит Гёте своих главных героев. Это то самое гётевское Дело, которое двигало Швейцером в годы решения. Швейцер цитирует столь близкие ему строки:

Будь верен себе и верен другим,

стремленья свои облакая в любовь,
и жизнь твоя будет деяньем.

По мнению Швейцера, Гёте сможет понять тот, кто движим его глубоким и простым идеалом человечности и духом самоотречения, порождающим этот идеал, – духом, который позволяет человеку вступить в контакт с жизнью.

Говоря об универсальном гении Гёте, Швейцер подчеркивает его отличие от гениев Ренессанса. У Гёте это не революционный взрыв невероятных возможностей. Это порожденное раздумьем действие, учитывающее потребности жизни. В то же время это желание продуктивно использовать свои силы во время очередного творческого спада: «Посвятить себя земным делам, чтобы никакие его силы не остались неиспользованными».

Как видите, даже при самом осторожном обращении с найденным нами ключиком нам открывается нечто в том Гёте, каким его хотел видеть Швейцер, и в том его довольно отчетливом отражении, которое являет собой человек из XX века, Альберт Швейцер (во всяком случае, тот Швейцер, которого хотел видеть Швейцер).

В последние недели пребывания в Африке Швейцер работал над своей юбилейной речью, которую в общих чертах закончил во время путешествия от Кейп-Лопеса до Бордо, занимавшего в те времена восемнадцать дней.

В Европе он поехал в Кенигсфельд, чтобы увидеться с семьей, а оттуда в свой гюнсбахский Дом гостей.

Германия произвела на него в этот раз особенно тяжелое впечатление. «Цивилизация» вступала здесь в новый тягчайший кризис, и Германия являла собой все признаки этого кризиса. В стране царили нищета и безработица, политическая борьба разрывала ее, и черные силы террора все уверенней чувствовали себя в этом буржуазном мире наживы, где оболваненных людей, лишенных собственных идеалов и моральных принципов, так легко было увлечь любой демагогической идеей, лишь бы она была попроще и выглядела посытней.

В Страсбурге к Швейцеру зашел старина Бегнер, и разговор с ним навел доктора на особенно мрачные мысли...

...С тяжелым чувством приехал Швейцер во Франкфурт. Торжества, посвященные столетию со дня смерти Гёте, должны быть начаться 22 марта, в тот самый день и час, когда умер великий сын Франкфурта. К этому часу в здание франкфуртской оперы съезжались те, кому удалось

получить приглашение. В этот час, взволнованный необычайной возможностью говорить с соотечественниками и ощущением неотвратимо надвигающейся катастрофы, доктор Швейцер в напряженном молчании аудитории начал свою юбилейную речь. Миссис Рассел так вспоминает об этом дне:

«Это было волнующе!.. Огромный оперный театр в родном городе поэта был набит до отказа слушателями, замороженными серьезностью единственного оратора настолько, что все шестьдесят пять минут, пока длилась его речь, никто не шелохнулся и слышался только один голос. Он снова и снова говорил о нынешних временах, употребляя слово „граузиг“ (мрачный, ужасающий!).

– Город Франкфурт, – говорил Швейцер, – празднует сотую годовщину смерти своего великого сына, залитый великолепными лучами весеннего солнца... и погруженный в величайшие бедствия, какие только приходилось когда-либо переживать этому городу и соотечественникам Гёте. Безработица, голод, отчаяние стали уделом множества обитателей города и рейха. Кто дерзнет измерить всю тяжесть беспокойства, которую принесли с собой в это здание оперного театра те, кто собрались здесь сегодня на торжество?»

После интересного анализа грандиозной фигуры любимого своего поэта Швейцер заговорил о том, каковы были заветы Гёте его соотечественникам, которые сегодня не только находятся в беде, но и вступили, если верить предчувствиям, на самый край катастрофы. В грядущую ночь безмыслия, полной утери индивидуальности, сдачи человека гнусным, бесчеловечным лозунгам – в грядущую ночь диктатуры нацизма ламбаренский доктор приносил своим соотечественникам заветы, столь же благородные, сколь и тяжкие для их ослабевшего разума и забытой морали:

«Завет Гёте современным людям тот же самый, что и людям его собственного времени, и людям всех времен, а именно: „Будь настоящим человеком!“

Швейцер говорил, что современный человек Запада лишен материальной и почти лишен духовной свободы, что он с каждым днем все больше перестает быть человеком, принадлежащим самому себе и природе, все чаще уступает свой идеал. «В этих условиях, – заявляет Швейцер, – мы, подобно Фаусту, роковым образом отрываемся от природы, подчиняя себя чудовищной и противоестественной ситуации».

«Что же еще происходит в этот ужасный век, как не повторение на мировой сцене фаустовской драмы в гигантских масштабах? Тысячами

языков пламени объята дома Филемона и Бавкиды! Тысячекратно совершая насилия и убийства, человечество, чье мышление утратило все человеческое, ведет свою бессмысленную игру! Тысячью гримас и усмешек Мефистофель скалится нам в лица! Тысячью путей человек позволяет увести себя от естественных отношений с реальностью, чтобы искать благополучия в магических формулах системы, которая только отодвигает еще дальше от нас всякую возможность избежать экономических и социальных бедствий».

Слушатели, заполнявшие франкфуртский театр, хорошо знали эти формулы и заклинания, которые должны были вызволить из беды злосчастную Германию. Это были лозунги набиравшей все большую силу национал-социалистической партии Гитлера. Партия предлагала спасение от всех бед в обмен на избирательные голоса, на отказ от собственных мыслей, а потом и от собственной свободы.

Швейцер провозглашал эти страшные пророчества, а люди, сидевшие в зале, думали, что все это преувеличение чувствительного философа, обычные страхи доброхотов-гуманистов. О какой духовной несвободе он говорит, когда главная забота – дожить до завтра? И потом, через год, и два, и три, когда в том же Франкфурте стали с ужасающей стремительностью сбываться самые мрачные из его предсказаний, соотечественники Гёте продолжали думать, что все это не о них сказано, а у них ничего, слава богу, еще живы, и стало появляться масло, и возрождается дух, истинно германский дух. Он ведь и не думал, наверно, что сможет самой красноречивой речью остановить процесс людского отупения, но его долг был воспользоваться этой, может быть, последней возможностью говорить с соотечественниками.

Поэтому он снова и снова повторял предсказания о духовной несвободе, о «гипнозе заклинаний», о странных, извилистых путях, по которым при всем ее стремлении к освобождению могут направить массовую волю наиболее примитивные из заклинателей. Самых неистовых заклинателей не было, конечно, на ученой лекции во франкфуртском театре: они «болтали о политике» в Мюнхене и Берлине, пели свои фашистские гимны, разрабатывали в соответствии с неистребимой традицией демагогов планы спасения Германии от негерманцев. Они запасались оружием, затыкали глотку интеллигентам, помаленьку заполняя ими тюрьмы, запугивали совестливых, обещали накормить досыта самых голодных и самых прожорливых, сулили знамения мистикам, вождя – холуям, «девочек» – бабникам и прочную семью – домоседам.

«Мы отмечаем годовщину Гёте в самый решительный час судьбы,

какой выпадал когда-нибудь человечеству», – говорил с трибуны эльзасец, который в эпоху европейского ожесточения еще ухитрялся думать об африканских страданиях, об индивидууме, о собственной мысли человека и собственной его морали.

Швейцер умолял их остановиться, отнести газеты в сортир, выключить радио и подумать над собой и миром. Умолял их, взывая к авторитету Гёте, которого они сейчас так возносили, и к его заветам, к его словам:

«Он говорит нам, что ужасающая драма... может прекратиться только тогда, когда наш век... забудет заклинания, которыми он был одурачен, решившись любой ценой вернуться к естественным отношениям с реальностью».

«Индивиду он говорит: „Не забрасывай идеала личной, индивидуальной человечности, даже если она идет вразрез с возникшими обстоятельствами. Не верь, что идеал этот утерян, даже если он не вяжется с оппортунистскими теориями, которые пытаются попросту приспособить духовное к материальному. Сохрани человечность своей собственной души!“

В страданиях минувшей войны Запад не утратил исступленной веры в материальный прогресс, вытеснивший здесь такие скромные и такие неуместные добродетели человечности. И Швейцер снова вступает за идеалы:

«Не все в истории, как это кажется поверхностному наблюдателю, подлежит постоянной смене. Неизменно случается, что идеалы, которые несут в себе незыблемую истину, вступают в столкновение с меняющимися обстоятельствами и только укрепляются, углубляются в этом столкновении. Таков идеал человеческой личности. Если уступить этот идеал, приходит гибель духовной личности, а это означает гибель культуры и, конечно, гибель для человечности и человечества».

Предчувствуя недоверчивый шепот людей, уже изверившихся в человечности, Швейцер взывал к авторитету Гёте, который отстаивал «истинную и благородную индивидуальную человечность».

Потом, словно желая перешагнуть страшную пропасть, которую он видел так ясно, что почти ощущал ее смрадное дыхание на лице, Швейцер вдруг заговорил о 1952 годе, когда Франкфурт будет отмечать двухсотлетие со дня рождения Гёте. Он высказывал надежду, что, может, хоть на этом празднестве оратор сможет объявить, что мрак начал рассеиваться и поколение, так глубоко погруженное в реальность, начинает справляться с материальными и социальными бедами, объединяется в своей решимости

следовать старому идеалу индивидуальной человечности.

В конце, как всегда, оптимист одержал в нем верх, и он выразил надежду на победу лучшего в людях.

Увы, Германия была тяжело больна, и, возвращаясь из Франкфурта, он видел все больше черт уже наступавшего кризиса, похожего на безумие, которым чревата сонная болезнь в джунглях Габона.

После Франкфурта у Швейцера было много концертов в Голландии, Швеции, Германии и Швейцарии. Он посетил Англию, в которой он был теперь так популярен. Он давал здесь концерты, читал лекции, репетировал без конца. Во время своих европейских «отпусков» он тоже бывал занят по шестнадцать часов в сутки. Это в Англии один из друзей сказал ему, что нельзя так изводить себя: «Нельзя жечь свечу с двух концов». И Швейцер ответил с уверенностью: «Можно, если свеча достаточно длинная».

По просьбе английской компании он сделал запись органной музыки и впоследствии, через много лет, рассказывал об этом режиссеру Эрике Андерсон:

«Это поистине тяжкая работа. Если в конце ошибешься в одной ноте, то надо все переписывать сначала. А прослушать можешь, только когда все кончено. Так уж случилось, что большинство своих записей я сделал в Лондоне. ...У меня ушло три полных дня для того, чтобы отыскать красиво звучащий орган. Наконец, я нашел такой орган в маленькой церквушке, но пастор сперва не разрешил мне играть и заявил, что ему будет мешать, если я стану делать там записи. Я подыскивал всяческие аргументы. Я даже сказал ему, что если церковь разрушат, то хоть звук органа уцелеет. В конце концов, он разрешил мне работать по ночам. Я репетировал три ночи и при этом половину рабочего времени простоял на стремянке, затыкая ватой окна, чтобы стекла не вибрировали. Во время войны церковь сгорела, но записи эти уцелели».

В университете Манчестера Швейцер прочел лекцию о философии Гёте. Характерна заключительная характеристика Гёте, которую он дал в этой лекции:

«Для него мысль и поведение были одно, и это самое замечательное, что мы можем сказать о мыслителе».

Англия осыпала его научными почестями, докторскими и лицензиатскими степенями всех видов – в области философии, музыки, теологии. Он поехал в Шотландию и с удивлением увидел там долгие летние вечера, когда солнце медлит над горизонтом, а потом еще долго-долго сочится призрачный северный свет. Это было так разительно непохоже на резкий приход черной тропической ночи. И еще одно

воспоминание ходило за ним по пятам среди гор Шотландии – гюнсбахское детство, романы Вальтера Скотта, мать... Он, наверно, впервые в жизни так разоткровенничался с репортером, когда сказал однажды в Шотландии:

«Моя мать с детства очень хотела увидеть Шотландию, из-за сэра Вальтера Скотта... Я всегда думал, что вот заработаю достаточно денег, повезу ее в Шотландию и покажу ей... это была единственная страна, которую она очень хотела увидеть... она очень мало путешествовала...»

Он почти никогда не говорил о матери. Теперь ему шел пятьдесят восьмой, и в случайном интервью, даваемом через переводчицу, вдруг прозвучала острая боль потери, вечное, неизбывное чувство сыновней вины.

В университете Сан-Эндрю, где он был удостоен почетной степени, ему предложили ректорство, но он отказался, сославшись на незнание языка. В Эдинбурге после церемоний, на которых он был удостоен сразу двух докторских степеней, он позволил себе просто побродить по шотландским берегам и горам. Может, он думал здесь о доброй молчаливой Адели Шиллингер, чей дух теперь в нем, в Рене, в его учениках, может, даже в его пациентах – неумирающий дух человечности...

Он снова встретился с Чарлзом Эндрюсом, с которым говорил об индийской философии, ее этических принципах, о непричинении зла – ахимсе и о благородных джайнистах. Швейцер работал в это время над третьим томом «Философии культуры», посвященным этике уважения к жизни, и он с увлечением углублялся в изучение индийской и китайской мысли.

Для работы над книгой он поехал в свой новый гюнсбахский дом. Дом стоял недалеко от склона горы, но обращен был к дороге, проходящей через деревню. Швейцер отказался поставить дом в глубине сада. Это был «дом у дороги», открытый любому путнику, и дверь его выходила на дорогу. Доктор возвращался в этот дом из Ламбарене и заставал здесь друзей, отдохавших после работы в Африке, направлявшихся к нему в больницу или специально приезжавших повидаться с ним. Швейцер с детства привык к шумному, «открытому» дому, куда им с Луизой разрешали приводить сколько угодно гостей. Люди не мешали ему. Новый Дом гостей был очень простой и уютный, с кабинетом, музыкальной комнатой, рабочей комнатой и конторой. Вначале Швейцер занимал переднюю комнату с видом на холмы, но потом он уступил ее гостям и перенес свои книги в спальню, выходившую окнами на деревенскую улицу, самую неприглядную комнату в доме, в которой ему было спокойнее всего.

Он как-то сказал госте, оглядывая склон холма, подступавший к дому:

– Я построил его здесь, под скатом холма, чтобы в будущей войне пушки не добрались до него...

Он сказал это почти серьезно, и гостя ужаснулась, потому что до новой войны, как полагало беспечное человечество, так ловко переключившее послевоенный мир, оставалось еще по меньшей мере столетие.

Дом гостей в Гюнсбахе был европейской штаб-квартирой ламбаренской больницы.

Гости здесь бывали разные. Заходили односельчане. Заезжали друзья из Парижа или Берлина. Одним из первых посетил здесь доктора его старый друг Стефан Цвейг. Писатель вглядывался после долгой разлуки в лицо друга и думал о том, что человеческое совершенство встречается так же редко, как совершенство художественное. Цвейг заметил, что в волосах Швейцера прибавилось седины, но все еще очень приятным и пластичным остается его германское лицо с большими усами и одухотворенным сводчатым лбом.

Мягкий гуманист, Цвейг не терпит авторитарности. Его друг Швейцер занят делом, он руководит многими людьми, должен пользоваться влиянием среди пациентов, и Цвейг с тревогой вглядывается в его черты... Нет, не авторитарность, другое. В Швейцере есть уверенность в своем пути, сила, даваемая уверенностью; но сила его никогда не бывает агрессивной, ибо его мысли и самое существование находятся в гармоническом согласии с жизнью; они стоят в утвердительном отношении к жизни во всех ее формах. Сила его в понимании и терпимости.

Заходит речь о христианской теологии, и протестантский священник Швейцер вдруг начинает говорить о столь близких ему китайской религии и китайских философах древности, у которых он нашел высочайшее проявление этической мысли. «Сказочный человек!» – повторяет про себя восторженный Цвейг. Цвейг делится с другом опасениями: мир катится в пропасть, но Германия сейчас вырвалась вперед в этом беге, она лидирует в состязании мирового варварства. Как жить? Что будет?

Швейцер понимает тревогу Цвейга. Он ведь сам недавно говорил обо всем этом празднично настроенной франкфуртской «элите». Но хотя знание его пессимистично, он верит, что мир одумается – сейчас, позже или через столетие.

Швейцер зовет за стол ламбаренских сестер, приехавших в отпуск, они достают больничные фотографии, развлекают гостей историями из больничной жизни. Сестры вдруг вспоминают, как доктор Швейцер поспорил недавно с миссионером, требовавшим запрещения полигамии в

Габоне. Швейцер доказывал ему, что при традиционном габонском образе жизни полигамия только естественна, но ортодоксальный миссионер упорно заявлял, что африканцев, принявших христианство, нужно учить жертвовать земными радостями. И тогда доктор Швейцер сухим академическим тоном заметил, что вопрос о том, можно ли многоженство относить к земным радостям, является глубоко спорным.

Назавтра Швейцер ведет своих гостей прогуляться по воскресной тихой деревушке. словно читая их мысли, он заходит с ними в скромную гюнсбахскую церквушку, где служил добрый пастор Луи Швейцер, где часто читает проповеди его сын. Орган здесь переделан по проекту доктора Швейцера, и, хотя скромное строение это не сравнится ни с Шартром, ни с парижской Нотр-Дам, Цвейг предчувствует уже будущую славу скромной деревенской церквушки – не то кирки, не то костела. Оказывается, она и то и другое – и кирка и костел. Цвейг в изумлении отмечает это, казалось бы, невозможное слияние протестантизма и католической религии, рождающее столь, на взгляд Цвейга, необходимую нынешнему миру и в таком великолепном виде расцветшую у Швейцера терпимость.

Они выходят на солнце и продолжают прогулку. Доктор говорит, что маршрут этот очень старый. Пастор Луи Швейцер любил ходить по воскресеньям со своим выводком детишек именно по этому пути: деревня, виноградники, лес, поляна, Канцельрайн.

Вернувшись с прогулки, Стефан Цвейг записывает одну из своих любимых мыслей, еще раз нашедшую подтверждение в его сегодняшних впечатлениях:

«Идеи живы столько же их приятием, сколь и встречаемым ими противодействием, творческий труд столько же любовью, сколько и ненавистью, им возбуждаемой. Претворение в жизнь – вот что единственно означает решающую победу идеи, единственную победу, которую мы готовы еще чтить. Ибо в наше время пошатнувшегося права ничто не поднимает так веру в мощь духовного начала, как пережитый живой пример – пример того, как один-единственный человек в своей правдивости проявляет мужество, достаточное для того, чтобы повысить меру правдивости во вселенной».

В марте 1933 года Швейцер снова отплывает в Африку. Миссис Рассел, провожавшая его в Бордо, писала, что он выглядел «очень усталым после своего „отдыха“ в Европе».

Как всегда, он с волнением ждал, когда на берегу покажется больница. Выйдя на берег, он с удовлетворением осмотрел свой новый причал. А потом сразу пошли дела: операции, хозяйственные хлопоты, строительство,

посадки...

В свободную минуту доктор обходит территорию и видит, что сотни жестянок валяются в траве. Дожди наполняют их водой, и это прекрасный питомник для малярийных moskitov. Доктор поднимает шум. Габонцы не понимают, почему он так сердится. Ну хорошо, они уберут банки, только непонятно, зачем сердится Старый Доктор. К вечеру, наконец, все убрано, Доктор возвращается к себе в кабинет. Утром у него был прием, днем уборка, он едва волочит ноги. Он вспоминает слова своего кумира Гёте о том, что в юности мы все хотим построить дворцы для человечества, к старости начинаем понимать, что сможем вычистить только его навозные ямы. Швейцер думает о том, что сегодня он накричал на свою бригаду выздоравливающих пациентов, и злится на себя. Нет, что ни говори, у габонцев лучше характер, чем у эльзасцев, он никогда не устанет это повторять. Они не хранят обиды. Покричал Старый Доктор и отошел: они отлично его чувствуют. И как жаль, что он не понимает их так же хорошо. А можно ли вообще понять другого человека? Что он знает о Елене, которая так близка? Или о маленькой Рене, с которой часами просиживал за пианино. Кстати, она не такая уж малышка. 14 января их общий день рождения, ему будет пятьдесят девять, ей – пятнадцать. И она крупная девочка. Они с Еленой оставили дом в Шварцвальде и переселились в Лозанну: для Елены климат там тоже прекрасный, а Рене нужно учиться.

С утра доктор снова ведет прием. Старик из далеких верховьев реки, приехавший с язвами на ноге, почти здоров. Как он добрался сюда, бедняга? Говорит, что неделями ждал перевоза и два дня ничего не ел. Теперь проблема – отправить назад его и других выздоравливающих.

В полдень прибегает сестра Матильда Котман и говорит, что ей удалось, воспользовавшись авторитетом доктора, уговорить капитана буксира, чтобы он забрал с собой дальних пациентов. Сестра бежит по палатам с колокольчиком и кричит: «Можно ехать до Н'Джоле и еще дальше! Скорей, скорей!»

Больные начинают собираться. Сэкономленную в больнице еду они прячут в свертки, в бутылки. Они берут побольше бутылок: в глубинке это редкость. У многих к багажу привязан новый зонтик; редко кто уезжает отсюда, не купив зонтик. Теперь самый трудный момент: больные начинают ходить по палатам и прощаться с соплеменниками. Капитан нервничает, сигналист. Сестры, Матильда и Эмма, сбились с ног, но пациенты безмятежны. Тысячу лет время не значило для них ничего. У них свое время: мгновение и столетие равнозначны. Хорошенькая белая сестра Анна идет отвлекать капитана разговорами. А врачи и сестры сгоняют

отъезжающих. Сестра Анна следит заодно, чтобы те, кто взошел на борт, не отвинтили крышку у бачка с бензином, не оторвали чего в машинном отделении. Так уже бывало не раз.

Наконец удалось собрать всех. Капитан махнул фуражкой, они отчаливают. Швейцер стоит на берегу и видит, как полощутся в воздухе черные руки. Он видит, что у старика, которому он делал операцию, слезы на глазах. У него и самого слезы подступают к глазам. Он поворачивает к берегу. Вечером у себя в тесном кабинете, в обществе кошек, антилоп, попугая Кудеку и пары отчаянных обезьян он запишет:

«Корабль отходит. Черные руки прощально машут нам. Переживут ли эти люди трудности голодного путешествия? Увидят ли они снова родные деревни? С беспокойным сердцем возвращаемся мы в больницу, нормальная работа которой была нарушена этим прощанием».

Глава 16

В больнице теперь был новый хирург – доктор Ладислав Гольдшмидт, приехавший из Венгрии. Габонцы охотно соглашались на операцию, потому что это был самый решительный способ изгнать червячка болезни. К самой операции они относились со спокойным мужеством. Однажды, когда доктор Гольдшмидт, дав своей пациентке наркоз, стал, выжидая время, развлекать ее по европейской привычке всякими успокаивающими разговорами, она сухо оборвала его: «Хватит, Доктор, сейчас не время для пустой болтовни – начинайте резать».

До тридцати больных ожидали теперь очереди на операцию. Какой-то благодарный белый пациент прислал в подарок больнице большую керосиновую лампу, и в самых срочных случаях они могли оперировать даже ночью. Как-то после обеда им привезли на срочную операцию сразу трех больных с ущемленной грыжей. За 1934 год в больнице Швейцера было сделано 622 крупные операции. Вдобавок весь год свирепствовала эпидемия гриппа.

Осенью 1934 года доктор Швейцер должен был прочесть в оксфордском Манчестер-колледже курс лекций об этике и современной культуре. Для работы над лекциями ему нужны были книги, и в феврале 1934 года доктор вернулся в Гюнсбах, где работал в тиши Дома гостей. Однако он занимался и больничными делами, о чем свидетельствуют очень любопытные воспоминания доктора Бюдинга, работавшего в то время в Пастеровском институте в Париже:

«Несколько научных сотрудников изготавливали вакцину против желтой лихорадки и изучали ее действие. Им удалось изготовить препарат, который давал некоторый иммунитет. Однажды нам позвонил кто-то из Кольмара, что в Эльзасе, и попросил рассказать об этой вакцине. Человек этот сказал, что он хотел бы взять вакцину с собой в Африку и там сделать прививки нескольким пациентам больницы, а также некоторым из местных жителей. Когда он услышал, что введение этой вакцины может дать серьезные побочные реакции, он сказал, что о широкой вакцинации он сможет думать только тогда, когда на себе испробует этот препарат, чтобы оценить его действие. Его спросили, сколько ему лет, и, когда он ответил, что около шестидесяти, человек, занимавшийся вакциной, настоятельно не рекомендовал ему испытывать препарат на себе. Это не убедило его, и „доктор из Кольмара“ сказал, что он приедет завтра. Он твердил, что если,

по их мнению, вакцина эта годится для африканцев, то она должна годиться и для него. Когда в лаборатории стали обсуждать этот телефонный разговор... у меня сразу мелькнула мысль: уж не был ли этим „доктором из Кольмара“ тот самый доктор Альберт Швейцер, чьи книги вызывали мое глубокое восхищение? Догадка моя оказалась правильной, и я еще до приезда доктора Швейцера попытался рассказать, как умел, об этом замечательном человеке. Когда он приехал к нам, заведующий лабораторией снова попытался доказать ему, как неразумно подвергать себя этому эксперименту. Мы решили из предосторожности положить его на два дня к себе в Пастеровский госпиталь. К счастью, организм доктора Швейцера не дал серьезной реакции на вливание. Однако он оказался очень „трудным“ пациентом, потому что никак не мог взять в толк, зачем нужны эти предосторожности и почему он должен два дня без дела валяться в госпитале».

С середины октября Швейцер читал свои лекции в Оксфорде и повторял их потом в Лондонском университете. Краткое резюме этих лекций, написанное самим Швейцером, появилось через месяц в американском журнале «Крисчен сэнчери». «Первый вопрос, на который надо ответить, – начал Швейцер, – это вопрос: „Является ли религия силой в духовной жизни нашего века?“ Я отвечаю от вашего имени и от своего: „Нет!“

Швейцер отмечает, что есть еще в мире набожные люди, есть люди, которые стремятся к религии вне церкви, и все-таки он призывал твердо держаться установленного «факта, что религия не является больше силой. Доказательство? Война!». Швейцер говорит о своем возлюбленном XVIII веке, когда были сформулированы права человека, когда Кант утверждал, что даже политика должна подчиняться принципам этики, когда религиозно-этический дух стремился создать царство божие на земле. И тут дело, видимо, даже не в том, что христианская религия XVIII века была, а скорее представлялась Швейцеру столь монолитной или могучей, а в том, что именно она дала толчок этике Канта, пробуждала веру в человека, в его разум и возможности, веру, которая позднее, как писал Швейцер, уступила место робкому суеверию, преклонению перед магией формул и массовых чувств.

Дальше Швейцер прослеживает «бунт реализма против духа идеализма», с такой силой проявившийся в Наполеоне I и заявивший о себе в философии Гегеля. Швейцер говорит, что, по Гегелю, прогресс происходил автоматически, даже война каким-то путем служила прогрессу и «все действительное было разумно»: «В ночь на 25 июня 1820 года, когда

была написана эта фраза, началась наша эра, эра, которая привела к мировой войне и которая, вероятно, приведет раньше или позже к гибели культуры!»

Швейцер предупреждает, что мышление выпускает из рук штурвал в момент бури и что момент этот ужасен: «Человек завоевал власть над силами природы и достиг тем самым положения сверхчеловека, став в то же время человеком глубоко несчастным! Ибо эта власть над силами природы используется не на благо человеку, а для разрушения». Швейцер говорит о машинах, создающих безработицу, об оружии: «Сирены режут, возвещая воздушные налеты. И люди, вобрав голову в плечи, бегут в подземелья, а над ними, как сверхчеловек, летает по воздуху их собрат, наделенный огромной силой разрушения».

И вот в такой момент, когда в тысячу раз выросла потребность человека обрести идеалы, мышление пасует, не дает человечеству идеалов, необходимость в которых так велика: «Может, нам уже не уйти от судьбы? Я надеюсь, что это не так... Я думаю, что в наш век в каждом из нас заключена новая форма мысли, которая даст нам этические идеалы».

И верный своему пессимизму и своему отчаянному оптимизму, Швейцер снова призывает «смотреть на звезды»:

«Мышление, поддерживающее контакт с реальностью, должно поднимать взгляд к небесам... должно отважиться поднять взгляд на закрытые окна сумасшедшего дома. Должно смотреть на звезды и понимать, как мало места занимает во вселенной наша Земля. Смотреть вниз на Землю и понимать, как мал человек на ней... В истории вселенной жизнь человека на Земле лишь секунда. Кто знает, не будет ли Земля снова вращаться вокруг Солнца без человека? А потому мы не должны помещать человека в центр вселенной. И взгляд наш должен быть устремлен на закрытые окна сумасшедшего дома для того, чтобы мы помнили, что умственное и духовное тоже подвержено уничтожению».

В своих лекциях Швейцер последовательно ведет нас к развитию идей своей «универсальной этики».

«Чем больше мы вглядываемся в природу, – говорит он, – тем яснее мы сознаем, что она полна жизни... что всякая жизнь есть тайна и что мы связаны со всякой жизнью, которая есть в природе. Человек не может больше жить только для себя. Мы сознаем, что всякая жизнь ценна и что мы связаны с этой жизнью. Из этого знания проистекает наше родство со вселенной».

Швейцер предлагает вспомнить этику Платона и Аристотеля, которых не интересовали даже рабы и иностранцы, ведет нас к расширению этики у

почитаемых им стойков, а потом еще дальше:

«Понемногу в нашу европейскую мысль приходит понятие, что этика имеет дело не только с человечеством, но и с животными тварями. Это начинается со святого Франциска Ассизского. Объяснения, приложимые только к людям, должны быть отброшены. Тогда мы придем к тому, что этика – это уважение ко всякой жизни».

Швейцер дает здесь простейшее из определений своей этики («Добро – это поддерживать и развивать жизнь; зло – это вредить жизни и разрушать ее») и говорит, что самое полное свое воплощение в отношениях с другими людьми эта этика находит в любви.

Швейцер отмечает, что в мире падает цена жизни и уважение к ней и в лучших и в худших из людей. Но он позитивист и рационалист, он верит во всемогущую мысль и в человеческий дух, верит, что «мы идем к свету»:

«В наши дни наблюдается отсутствие мысли, которое характеризуется презрением к жизни. Мы вели войны из-за споров, которые могли быть решены силой разума. И никто не победил. Война убила миллионы людей, принесла страдания и смерть миллионам невинных животных. Почему? Потому что мы не обладаем высшим рационализмом уважения к жизни. И оттого только, что мы еще не обладаем этим, один народ боится другого народа и пробуждает страх в другом».

Швейцер бросал мысли, выношенные долгим раздумьем, сочувственной академической аудитории, но, увы, в бурном море предвоенных страстей круги не расходились далеко. Приближалась новая война и с ней волна небывалого еще одичания. Только после войны, еще через четверть века, идеи Швейцера зазвучали на всех языках мира, в том числе и на родном его немецком языке.

Мы оттого с такой подробностью остановились на лекциях, прочитанных в Оксфорде, что в них содержатся основные идеи третьего тома главной философской работы Швейцера. В работе над этим томом у Швейцера наступал мучительный, хотя и вполне плодотворный, момент. Он стал сокращать, «ужимать» разрастающуюся работу, и при этом некоторые части ее он решил выпустить отдельно для того, чтобы не делать книгу необъятной. В том же 1934 году он подготовил для издания у Бека в Мюнхене «Мировоззрение индийских философов». Личный друг Ганди Чарлз Эндриус, а также видный пражский индолог профессор Винтерниц помогли Швейцеру подготовить это издание. Швейцер писал, что если бы он был знаком со столь же авторитетными синологами, то он непременно выпустил бы еще и книгу о классической китайской мысли, перед которой испытывал глубочайшее восхищение.

В ноябре 1934 года Швейцер читал в Эдинбурге лекции, посвященные главным образом этике и натурфилософии. Он рассматривал здесь эволюцию человеческой мысли, начиная с великих мыслителей Индии, Китая, Греции и Персии.

В Эдинбурге Швейцера познакомили с коллегой, знаменитым английским врачом сэром Уилфредом Гренфеллом, который, подобно Швейцеру, уехал далеко из дому – лечить население Лабрадора. Вот как вспоминает Швейцер об этой встрече:

«Мы сразу начали расспрашивать друг друга об организации больницы. Его больше всего беспокоило, что в периоды миграции время от времени исчезают олени; меня беспокоило, что по вине змей и воришек пропадают козы. Потом мы оба расхохотались: мы беседовали не как врачи, озабоченные здоровьем пациентов, а как фермеры, озабоченные состоянием скота».

Перед уходом хозяин дома попросил их расписаться в «Книге гостей». Швейцер посмотрел на симпатичного, худенького, седого Гренфелла и написал под его росписью: «Гиппопотам рад познакомиться с белым медведем».

В Лондоне Швейцер встретил одну ламбаренскую знакомую: он заглянул в зоосад знаменитого Риджент-парка, где жила теперь его любимая дикая свинья Текла. Вот что рассказывает о ней доктор:

«Она привыкла бродить по территории больницы, как собака, и так пристрастилась к молоденьким цыплятам, что мне пришлось выбирать: убить ее или отправить в зоосад. Здесь она стала такая прилизанная и так лоснилась, что я еле узнал ее; но, когда я ее погладил, она признала меня и хрюкнула. „Ах, Текла, – сказал я ей, – ты стала настоящая гранд-дама, но я не уверен, что ты не предпочла бы лакомиться цыплятками!“

В Англии его принимали с теплотой, и он все больше чувствовал здесь себя дома. Над Германией сгустились тучи. Он получил несколько писем от старых друзей и коллег, все примерно одного содержания:

«Когда приедешь в Германию, пожалуйста, не заезжай ко мне. Я не решаюсь высказываться... не могу рисковать своим невмешательством или поставить под сомнение свои убеждения».

До французского Эльзаса, впрочем, «новый порядок» еще не докатился, и в день шестидесятилетия Швейцера Страсбург назвал в его честь один из своих прелестных парков.

В ноябре Швейцер должен был вернуться в Эдинбург и прочесть второй цикл лекций. Ему было уже за шестьдесят – возраст, в котором уважающие себя чиновники колониальной габонской администрации, как

правило, отходили в небытие. Он работал, как целое министерство, набитое чиновниками, и считал, что ему еще рано отдыхать. Когда один из репортеров спросил его, почему он не хочет просто путешествовать и осматривать достопримечательности Англии, он ответил, что туризмом он думает заняться после семидесяти пяти лет. А в ту весну он решил воспользоваться полугодовым промежутком, остававшимся до нового курса лекций, и поехать не в Лозанну и даже не в Гюнсбах, а в Ламбарене.

Ламбарене встретило его своими обычными заботами. Доктор Гольдшмидт был по горло занят операциями. С лесоповала все чаще привозили искалеченных: рабочие из глубинных районов без должного страха смотрели на подъезжавшие вагонетки и пытались остановить их рукой, лесоторговцы же думали только о своих прибылях. И доктор Швейцер с грустью отмечал, что пациентов от всех этих колонизаторских затей у него все прибавляется и прибавляется – малярийные, укушенные, покалеченные...

По-прежнему было много отравлений, и в одном из писем Швейцер восклицает: «Что за жуткое место Экваториальная Африка с ее бесчисленными трагедиями, в числе которых отравление играет столь заметную роль!» Мысль о яде редко покидает габонца. Однажды доктор слышал, как один пациент, которому он под наркозом выскребал язву, рассказывал другому: «Да, Доктор хотел меня убить. Он положил мне яду в нос, и я умер. Только яду у него было недостаточно, и вот я ожил!»

Доктор Гольдшмидт добился в это время хороших результатов в лечении слоновой болезни, и Швейцер с торжеством писал об этом друзьям.

Штат в больнице Швейцера все время менялся: менялись не только врачи, но и санитары. В трудный год нового строительства снова ушел от доктора бесшабашный Джозеф. «Заработок больше не удовлетворяет его, – с раздражением и грустью записал тогда доктор. – Он женился и хочет испортить свою жену, энергичную и рассудительную женщину, европейскими одеждами, как несколько здешних лесоторговцев уже испортили своих жен. Но на жалованье санитару ему не сделать этого, потому он и решил заняться лесоторговлей». И, излив свое раздражение безрассудством этого взрослого ребенка, доктор записывает с грустной нежностью: «Отъезд человека, который был моим помощником с первых дней, огорчает меня, но мы остаемся добрыми друзьями. Если одному из нас понадобится помощь, другой непременно ее окажет, а Джозеф продолжает именовать себя „Первый медицинский помощник доктора Швейцера“.

Впрочем, ведь в эти годы Джозеф был уже далеко не единственным габонцем-санитаром. Были другие, уступавшие старому Джозефу в веселой бесшабашности и знании языков, но зато превосходившие его медицинскими знаниями, преданностью больнице, старанием, беззаветностью. Это были «молодой Джозеф», санитар Булинги, сестра Доминик, окрестившая своих дочек Мадам Матильда и Мадам Эмма.

Когда Швейцеру пришлось, наконец, расстаться и с Булинги, он писал друзьям:

«В начале апреля Булинги, один из первых моих африканцев-помощников, вернулся в свою деревню, километров за двести отсюда к югу. Он прослужил у меня десять лет. Он обслуживал палату послеоперационных больных и помог спасти множество человеческих жизней... Он болел последние три года и выполнял у нас легкую работу, но теперь он больше уже не в силах выносить тоску по родной деревне. С грустью мы следили за его лодкой, уносившей от нас верного старого помощника».

В начале осени 1935 года Швейцер вернулся в Европу. Сентябрь и октябрь он провел в Гюнсбахе, готовя английское издание своей книги об индийских философах. В предисловии к этому изданию Швейцер с благодарностью называл глубокие работы своего друга Роллана о Рамакришне и Вивекананде и труды Шопенгауэра, которые еще в юности первые познакомили его с индийской мыслью. Однако Швейцер сразу же предупреждал и о своих разногласиях с Шопенгауэром, который воспринял индийскую философию как чистое жизнеотрицание. Швейцер считал, что особенностью индийской философии является слияние жизнеотрицания и жизнеутверждения.

Швейцера не удовлетворял анализ индийской мысли, данный европейцами, которые, на его взгляд, не попытались установить черты общности между философией Запада и индийской философией. Между тем, по мнению Швейцера, существуют основные моменты, общие для всех философий: для Швейцера это прежде всего жизнеотрицание и жизнеутверждение, проблема мира, отношение философа к этике и проблемы этики.

У Швейцера было немало точек соприкосновения с индийской философией при всех расхождениях с ее жизнеотрицающим характером. Вот что писал он об учении Будды:

«Даже если заповедь „не убий“ и „не причини боли“ начинается не с Будды, он является тем не менее зачинателем этики сострадания. Ибо это он решил поставить на почву сострадания эту заповедь, проистекавшую

первоначально из идеи отказа от действия и сохранения себя чистым от мира...»

Швейцер высоко отзывается об универсальности индийской этики, которая в своем развитии пришла к признанию «того факта, что наше этическое поведение должно касаться не только нашего ближнего – человека, но и всех живых существ. Проблема безграничности сферы этики и безграничности требований, которые на нас накладывает этика, – эта проблема, которую даже сегодня европейская мысль старается обойти, – для индийской мысли существовала больше двух тысяч лет...»

Отдельному рассмотрению подвергает Швейцер ахимсу (воздержание от нанесения физического вреда живым существам), важнейший религиозный и философский принцип джайнизма, распространенный впоследствии Ганди также на нанесение вреда духовного.

«В соответствии с заповедями ахимсы, – пишет Швейцер, – джайнисты отказываются от кровавых жертв, от употребления мяса, от охоты и диких игр. Они также почитают своим долгом остерегаться, чтобы не наступить нечаянно при ходьбе на насекомых и существа, ползущие по земле. Джайнистские монахи доходят до того, что перед ртом повязывают узел, чтобы с дыханием не проглотить мошку. Джайнизм оказался вынужденным отказаться от полевых работ, потому что невозможно копать землю, не вредя мелким живым существам. Вот почему джайнисты занимаются главным образом торговлей.

Формирование заповеди «не убий» и «не причини вреда» – одно из величайших событий в истории человечества. Отталкиваясь от этого принципа, основанного на отрицании мира и жизни, древняя индийская мысль – и это в период, когда во всех других отношениях этика не продвинулась далеко, – достигла величайшего открытия о беспредельности этики! Насколько нам известно, впервые это ясно выразил джайнизм».

Швейцер приводит древнюю джайнистскую молитву, идущую еще из III века до нашей эры:

«Все святые и боги прошлого, настоящего и грядущего так говорят, возглашают, глаголют: „Да не убий, не причини насилия и зла, и муки, не преследуй живое существо, любое существо, любое творенье, любую тварь, имеющую душу, любое существо живущее“. Это чистая, вечная и навечно заповедь религии, провозглашенная мудрецами, понимавшими мир».

«Как бы серьезно человек ни решал воздерживаться от убийства и причинения вреда, – говорит далее Швейцер, – он не может избежать их совершенно. Он подчиняется закону необходимости, который вынуждает

его убивать и причинять вред, зная и не зная об этом...»

Принцип «не убий» не должен быть самоцелью, а должен быть подчинен состраданию. И потому, по мнению Швейцера, он должен вступать в практический спор с действительностью. Истинное уважение к морали демонстрируется готовностью взглянуть на содержащиеся в нем трудности.

Если бы индийская мысль занималась всей этикой, а не только этикой пассивного бездействия, то она не смогла бы, по мнению Швейцера, избежать и даже не могла бы предпринять попытки избежать практического столкновения с реальностью. Но оттого, что она просто формулирует принцип «не убий» и «не причини вреда» как догму, она сумела на протяжении веков сохранять связанное с ней великое этическое мышление.

В предисловии Швейцер заранее просил извинения за чисто критический характер своего исследования, но при этом оставался тверд в своем старом убеждении:

«Величайшая честь, какую можно оказать системе мысли, – это безжалостная проверка с целью выяснения всей правды, какая в ней скрыта: наподобие того, как испытывают на крепость сталь».

Знатоки сходятся на том, что Швейцер написал очень интересную работу об индийской философии, однако многие специалисты, в том числе и индийские, говорят, что это все-таки очень западный взгляд на совершенно отличную от западной систему мышления. Независимо от меры своей критичности индийские исследователи неизменно отмечают высокое уважение и горячий интерес Швейцера к индийской философии.

Швейцер приехал в Эдинбург в начале ноября и начал второй цикл своих лекций. Во втором цикле эдинбургских лекций, прочитанных по-французски, Швейцер дальше развивает свой принцип уважения к жизни:

«Тот физиологический факт, что наша жизнь происходит от другой жизни, а другая жизнь происходит от нашей жизни, имеет в духовном смысле исключительное значение. Примитивная этика произрастает из естественной солидарности человека с предками и потомками. Но когда человек становится мыслящим существом, круг его „родственников“ расширяется...»

Уважение к жизни не позволяет нам притуплять свою непримиримость к проявлениям зла. Лишь когда наше сознание ощущает наш субъективный этический конфликт как постоянно углубляющийся, мы живем по правде. «Спокойная совесть, – говорит Швейцер, – это изобретение дьявола».

«Всякий, кто привык считать недостойной жизнь любого из живых существ, – говорил Швейцер в Эдинбурге, – рискует прийти также к идее

недостойности человеческой жизни, идее, которая играет столь губительную роль в мышлении наших дней».

В отношениях с людьми мы тоже ведь все время испытываем искушение облегчить себе грех бесчеловечности поисками невинности, которая напоминает невинность домохозяйки, поручившей повару убить петуха к обеду. Мы не должны уходить от своей ответственности, повторял Швейцер еще и еще раз.

Духовное влияние мы обретаем только тогда, когда в каждом отдельном случае отстаиваем свой принцип человечности. Более того, всякий должен для себя решить, какой частью своей жизни, имущества, времени, счастья, личной жизни он должен пожертвовать для других и сколько оставить для себя.

Каждый сам решает это для себя, и таким, как Швейцер, эта жертва приносит счастье...

Это была последняя предвоенная поездка Швейцера по Англии, но тогда он, конечно, не мог знать этого. В литературе осталось много свидетельств о том огромном впечатлении, которое производил Швейцер на англичан. Настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон, за свою близость к социалистическим идеям прозванный в Англии «красным настоятелем», писал о последнем приезде Швейцера в Англию как о «выдающемся событии» и отмечал жизнеспособность, жизнерадостность, оптимизм этого грузного шестидесятилетнего человека, а главное – его «человечность, перевешивающую в нем все остальное».

Лекции Швейцера, как правило, сопровождалось концертами. В Манчестере, куда приехала и Елена, доктор рассказывал о Ламбарене в битком набитом Альберт-холле, иллюстрируя лекцию диапозитивами. Это было серьезное выступление перед молодежью об обязанностях взрослого человека. Но потом, сразу после лекции, Швейцер поехал в труппы Солфорда, в клуб подростков, где сопровождал свой рассказ множеством забавных историй, и слушатели просто катались от смеха.

Были в Англии и грустные встречи. Швейцер встретил здесь Стефана Цвейга, и они говорили о том, что происходит в Германии. Нежный, чувствительный Цвейг был в отчаянии. Швейцер соглашался, что это новые симптомы упадка буржуазной цивилизации, сам он тоже писал в то время, что «гуманизм идет на убыль», что «жестокость и вера в насилие на подъеме». Да, то, что происходит в Германии, – очередная, еще более грандиозная по своим масштабам катастрофа. И все же он, Швейцер, верит в конечное торжество человечности.

– Стоит ли жить? – спросил Цвейг, и Швейцер заметил, что друг давно

уже не слушает его. – Стоит ли тогда жить?..

В том же году Швейцер попытался сформулировать свой ответ другу в статье об этике уважения к жизни:

«Я цепляюсь за жизнь из-за своего уважения к жизни. Потому что, начав размышлять, воля-к-жизни осознает, что она свободна... Она свободна выбирать – жить ей или не жить.

Вопрос, который преследует в наше время людей, – стоит ли жить? Вероятно, каждому из нас приходилось когда-либо беседовать с другом, человеком веселым и как будто довольным жизнью, а на завтра узнать, что он лишил себя жизни!.. Но, воспользовавшись возможностью такого выбора, мы игнорируем мотив воли-к-жизни, побуждающий нас познать тайну жизни, ее ценность, исчерпать высокое доверие, оказанное нам жизнью... И потому, когда мы видим тех, кто отказался от жизни, мы не осуждаем их, но жалеем за то, что они перестали владеть собой. В конечном итоге дело не в том, боимся мы жизни или не боимся. Истинная проблема в нашем уважении к жизни».

Прошло совсем немного лет после выхода в свет этой статьи, и Стефан Цвейг с женой, лишившись родины и веры в человечность, покончили жизнь самоубийством.

После путешествия по Швейцарии и занятий в Гюнсбахе, где он переводил на французский язык своих «Индийских мыслителей», Швейцер снова отправился в Ламбарене, где ждал его труд уважения к жизни. Он вез с собой третий том книги в надежде поработать над ним, но Ламбарене сразу навалилось на него целым сонмом забот, врачебных, административных, строительных, и тяжкой духотой своих немереных градусов (потому что термометры из соображений психотерапевтических были в Ламбарене запрещены).

В этом году Швейцер строил новые дома. Некоторые из них носили экзотические названия, раскрывавшие их историю. Одна англичанка, прочитав о больнице Швейцера, продала любимое ожерелье и отослала все деньги на строительные нужды Ламбарене. Так вырос на холме «Дом ожерелья». В том же году был построен «Дом Эмилии Хопф»: эта женщина была органистка, как и сам доктор Швейцер, отдававшая на Ламбарене сборы от своих концертов, трудовые деньги музыканта. В суровом для Европы 1937 году Ламбарене с упорством продолжало свой труд сострадания и любви к людям.

Прошел год. Доктор так и не притронулся к своей книге по философии. Правда, в следующем, 1938 году, он сумел выкроить время для небольшого сборника африканских историй, который вышел в том же году.

Швейцер рассказывал здесь о «преданиях минувших дней», о габонских обычаях, о табу и магии, действующих в джунглях с прежней силой, о благородных чертах африканского характера – о спокойном достоинстве габонца, о его склонности к размышлению над самыми существенными вопросами бытия.

В тяжелых и привычных ламбаренских трудах прошел и весь следующий год шестидесятитрехлетнего доктора Швейцера. Вот одна из записей тех предвоенных лет:

«Мне очень повезло, потому что я нашел непересыхающий ручей. Чтобы предохранить его берега, мне пришлось выложить их 750 бетонными блоками, которые мы изготовили вместе с мадемуазель Хаускнехт».

В 1938 году, отмечая двадцатипятилетие ламбаренской больницы, белые пациенты из района Огове подарили больнице 90 тысяч франков на покупку рентгеновского аппарата. С согласия даривших доктор Швейцер закупил на эти деньги большой запас всяких лекарств. Он должен был предвидеть худшее, а человеку, не прятавшему голову под крыло, не так уж трудно было предвидеть в 1938 году то, что разыгралось дальше.

Швейцер принимал свои меры на случай войны. Его габонские пациенты не должны были расплачиваться за упадок цивилизации в Европе. В 1937 и 1938 годах Елена дважды вместе с дочерью побывала в Америке, где выступала с лекциями. Она рассказывала о больнице, восстанавливала старые связи, завязывала новые. У Швейцера становилось все больше сторонников в Америке; и в последующие годы это оказалось спасительным для ламбаренской больницы, для больных габонцев.

Только в январе 1939 года Швейцер сумел, наконец, выбраться в Европу. Он хотел спокойно поработать в Гюнсбахе над третьим томом книги. Пароход плыл в Европу, пассажиры мирно развлекались на палубе и в салонах, доктор писал книгу об уважении к жизни. Они уже пересекали Бискайский залив, когда доктор услышал из салона, где включено было радио, взвинченную немецкую речь. «Один из главных заклинателей», – узнал доктор и горестно усмехнулся. Позднее он рассказывал Казинсу:

«Я узнал, что Адольф Гитлер произнес речь, в которой пытался заверить весь свет в том, что мир – единственная цель всех его действий. Речь эта была патентованной уловкой, и я понял, что война близко».

Много лет спустя, когда Швейцер сказал однажды собеседнику, что американский атомный «Полярис» скоро устареет, прожженный журналист-международник заподозрил, что у Швейцера свои каналы информации за «железным занавесом». Все было гораздо проще... Он

никому не передоверял думать за себя. Поэтому он понял все.

Он еще сошел на берег в Бордо и машинально поехал в Гюнсбах. Однако там он окончательно обдумал все и сразу же заказал обратный билет. За десять дней в Страсбурге он успел сделать некоторые приготовления и заказать максимальное количество продуктов и лекарств для Ламбарене.

Тогда же он в последний раз в жизни встретил на улице старого школьного друга Карла Бегнера. При виде Швейцера дряхлый старый Карл оживился и, поманив его, зашептал на ухо:

– Хорошие новости. Старший сын говорит, что они скоро будут в Париже. Помнишь, я тебе говорил? Давно пора! Младший сын? Тс-с-с... Беда, где-то он пропал в лагере...

Карл закашлялся, вздрагивая обрубком ноги, и слезы потекли у него по лицу. Совсем плох был старина Бегнер...

...Они простились, но разговор этот долго не шел у Швейцера из головы. Можно было бы подумать, что старый обрубок человека Карл Бегнер сошел с ума, если бы тот же самый бред не передавали теперь по радио ежедневно...

Через десять дней Швейцер поплыл обратно и в марте, ко всеобщему изумлению, вдруг объявился в Ламбарене. Вот как он описывал это свое путешествие:

«3 марта 1939 года на борту маленького речного парохода я снова вошел в устье реки Огове. С замирающим сердцем спрашивал я себя, какие события успеют разыгаться до того времени, когда я снова выйду в море из устья реки. В последующие месяцы я употребил все больничные средства, покупая в Африке и заказывая в Европе запасы лекарств и других предметов первой необходимости».

Примерно в это время Швейцер получил роскошный конверт из Германии. Доктор Геббельс протягивал через моря руку дружбы доктору Швейцеру и звал его в гости. Доктор Швейцер разглядел доисторический волосяной покров и пятна крови на обезьяньей лапке доктора Геббельса и отверг его драгоценную дружбу. Письмо свое доктор Геббельс подписал, как и положено «истинному германцу»: «С германским приветом!» Доктор Швейцер не пожалел длинного слова, подписывая свой ответ: «С центральноафриканским приветом! Альберт Швейцер».

В сентябре доктору Швейцеру и его помощникам пришлось выписаться из больницы всех, кто не был серьезно болен. «Мы пережили грустные дни, отсылая этих людей домой! Нам снова и снова приходилось отказывать настоятельным просьбам тех, кто, несмотря ни на что, хотел остаться с

нами... Наконец, все они ушли, и душераздирающие сцены прекратились».

Пришлось также до минимума сократить количество операций, экономить лекарства и перевязочные средства. В сентябре была прервана всякая связь Ламбарене с внешним миром.

В марте 1940 года старая добрая «Бразза» была торпедирована и затонула так быстро, что почти никто не успел спастись. На борту ее погибла последняя партия лекарств, заказанная Швейцером в Европе. Потянулись долгие месяцы и годы непрерывного изнурительного труда в условиях жесткой экономии и всеобщей подавленности. События, разнообразившие их тяжкую трудовую жизнь, были тоже не из числа приятных. Осенью 1940 года война, как и три десятка лет назад, пришла за Швейцером в Габон. Войска генерала де Голля сражались с вишистами за обладание Ламбарене. К счастью, командованию обеих сторон удалось договориться, и оно отдало приказ авиации не бомбить больницу Швейцера. Доктор вместе со своими помощниками заложил деревянные стены палат рифленым железом, и в палатах укрылись жители Ламбарене. С той же осени Габон поступил в распоряжение эмигрантского лондонского правительства Франции и, хотя он был теперь отрезан от Европейского континента, зато имел связь с Англией и Америкой, а иногда и со Швецией.

Когда немцы вторглись во Францию, мадам Швейцер добралась из Лозанны в Париж, где находились в это время Рена со своим мужем, старым эльзасским знакомым Швейцеров, органичным мастером месье Эккертом, и их первым ребенком. В июне Эккеры влились в толпу беженцев, покидавших Париж. Рена писала в письме: «Около месяца мы жили на дорогах, спали по большей части в автомобиле и ели, что удастся найти».

В Лионе у Эккертов родился второй ребенок. Позднее мадам Швейцер удалось с огромным трудом выехать из Франции и пробраться через Португалию в Анголу, в Бельгийское Конго, а оттуда, наконец, в Ламбарене, где она, по выражению доктора, «появилась чудом» в августе 1941 года.

Швейцеру было шестьдесят четыре года, когда началась война. Только в семьдесят три года выбрался он снова на отдых в Кенигсфельд.

К началу войны с ним были его проверенные врачи и сестры – латышка Анна Вильдиканн, которая совсем недавно приехала сюда из Риги на второй срок, и Ладислав Гольдшмидт, который в 1938 году вернулся из отпуска, две молодые сестры-швейцарки, голландка Мария Лангедык и неизменная Эмма Хаускнехт, проработавшая без отпуска восемь военных и

послевоенных лет.

Заботы, поглощавшие Швейцера в первые годы войны, – это заботы фермера и отца большущего семейства, которое надо кормить и в котором уже добрых три сотни ртов. Он закупает рис, освобождая местных торговцев от их запасов. Он не упускает рабочей силы, которая освободилась теперь на лесоразработках: надо укрепить сползающий берег у плантации, надо обложить камнями склон холма, чтобы не размывало улицы больничной деревни. Он должен предусмотреть возможность неурожая, не допустить, чтобы больница закрылась из-за голода, как закрылись уже в 1942 году миссионерские школы.

Как и в прежнюю войну, в джунглях разгулялись непуганые дикие слоны, загубившие много банановых плантаций. Как и в прежнюю войну, безжалостные полчища белых муравьев вторгались на обнищавшую землю.

Доктор занимался хозяйством, делал операции, вел прием. Елена сменяла на дежурстве сестер, помогала готовиться к операциям и лучше, чем обычно, справлялась с ламбаренским климатом. Швейцер отмечает, что ее помощь в войну была для них очень ценной. Ее, как и его, поддерживала мысль о том, что они могут лечить и спасти от боли в эти трагические годы войны, развязанной фашизмом.

В 1942 году прибыли первые посылки из Америки. Вскрывали их всей больницей. Наконец-то доктор получил операционные резиновые перчатки нужного размера!

Война продолжалась без конца, и работать становилось все труднее. Европейские служащие в Габоне работали без отпусков, и число белых пациентов госпиталя все время росло. Не хватало сестер. Эмма взяла на себя кухню, все хозяйство и сад. Врачи и сестры признавались друг другу, что по утрам они с большим трудом заставляют себя каждый раз взяться за работу.

Из Европы приходили безрадостные вести. Доктор узнал, что друг его Оскар Краус в концлагере. Родственники написали, что племянник Пьер-Поль в Бухенвальде и что они переправили ему туда книгу доктора «Из жизни и мыслей». Кто-то написал им, что прах профессора Бреслау выброшен из могилы, находившейся на «арийском» кладбище. Страшно было думать о том, что происходит в Германии, во Франции и дальше, на востоке, на территории стран, куда вторглись оккупанты...

Швейцер писал в одном из писем этого времени:

«Вести о том, что происходит в тюрьмах и концлагерях... повергают нас в ужас». ...И все же Швейцеру, вероятно, трудно было представить из своего далека масштабы бедствия. Миллионы, а не тысячи ни в чем не

повинных людей глядели на мир из-за проволоки лагерей. Миллионы, а не тысячи солдат гибли теперь на фронтах. Германия, ведомая обезумевшими вождями, напала на Советскую Россию.

Тяжкие месяцы войны складывались в годы. Потом забрезжил просвет: советские войска перешли в наступление, неся Европе избавление от немецкого фашизма. Сводки с восточного театра войны теперь заполняли все западные газеты. И может, именно в эти годы Старый Доктор стал со столь напряженным вниманием следить за жизнью огромной страны на востоке Европы. Впрочем, первые известные нам высказывания Швейцера (весьма сочувственные) о Советском Союзе относятся уже к шестидесятым годам.

А пока – только начало сороковых. Доктору уже под семьдесят лет, и в Ламбарене, как всегда, стоит нестерпимая духота. Работы очень много, потому что вместо восьми довоенных сестер у него теперь попеременно то три, то четыре. Распорядок дня у Старого Доктора прежний. Рабочий день начинается в 6.45. Он дает задания рабочим, вникая во все детали, все показывая сам. С 7.30 до 8.00 завтрак. Потом Швейцер собирает строителей, раздает инструменты, показывает им, что делать в саду, на дороге, на стройке. («Я бегая туда и сюда, то насос нужно исправить, то ключи потеряли, то инструменты починить нужно, то холодильник включить, то дрова принести для кухни и прачечной, то закупить у африканцев принесенные ими бананы, касаву и кукурузу – и „que sais je encore“.) Так до десяти часов утра. Потом, с 10.00 до 12.45, доктор ведет прием. Потом отдых до двух; с двух он снова наблюдает за работами (потому что нет у него таких рабочих, которые стали бы работать одни), проверяет, что сделано. Потом он работает в аптеке – выписывает рецепты и раздает лекарства. Если остается время, он еще бежит на плантацию, чтобы проверить, как там идет работа, а потом вернуться к 5.00 и снова до 6.30 вести прием. И вот, шатаясь от усталости, он карабкается по лестнице к себе в бунгало, чтобы там, если останутся силы, до ужина попрактиковаться на стареньком пианино с педалями. („Однако часто я бываю таким усталым, особенно после прогулки на плантацию, что вынужден отдыхать до ужина, а на пианино играть потом“.) После ужина, если ничего не помешает ему, он „принадлежит себе“. Он отвечает на письма и продолжает работать над книжкой по философии. („К счастью, я всегда сохранял способность, занимаясь какой-нибудь другой работой, думать о главе, над которой сейчас тружусь“.) В половине двенадцатого ночи он с керосиновой лампой снова совершает обход своих пациентов, чтобы дать лекарство или сделать инъекцию тем, кого мучит боль. Если

еще остаются силы, он работает за своим столом за полночь.

Так проходят долгие годы войны – 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944-й... Усталость накапливается, и доктор пишет в одном из писем:

«Моя способность крепко спать позволяет мне продолжать все это и обходиться без дневного отдыха. Но как же я мечтаю о свободном дне, когда я мог бы, наконец, выспаться и избавиться от усталости, которая все больше и больше одолевает меня; мог бы сосредоточиться целиком на окончании своей книги, позаниматься музыкой и на досуге поиграть на органе; мог бы погулять, помечтать, почитать что-либо для отдыха. Когда придет этот день?»

14 января 1945 года Швейцеру исполнилось семьдесят лет. Любящая его Англия среди собственных горестей сумела вспомнить об этом человеке невоенного мира. Лондонская радиостанция сообщила слушателям, что в сырых джунглях Габона еще трудится старый врач и философ. Одна из лондонских газет посвятила ему передовую. Репортерский стиль в годы военного пафоса стал еще категоричней:

«Альберт Швейцер – святой нашего века... Он облагораживает нас, созданных из того же человеческого материала. Его история – живая проповедь братства. Он дает перспективу избавления от страданий нашего века».

В Ламбарене был праздничный обед, на котором по обычаю Коллегиума Вильгельмитанума сам именинник выбрал меню – жареный картофель. Старый усталый доктор произнес именинную речь, и она была невеселой:

«...Моя антилопа ждала меня сегодня поутру, и я мог прочесть в ее глазах: „Почему ты всегда должен уходить? В конце концов, мы с тобой два старых зверя – ты и я“. Я должен был, наверно, пространно объяснять ей понятия долга и взаимозависимости людей. Она же глядела на меня взглядом, в котором были сожаление к моему невежеству и укор: „Только взгляни на меня и делай, как я. Я даже не поднимаюсь, когда ты приносишь мне пищу“.

«Я мечтал уйти в отставку, когда мне исполнится шестьдесят пять, чтобы провести остаток жизни приятно и спокойно. Я хотел приехать сюда на годик как любитель, а потом поехать во Францию, и поработать годик над книгой между двумя приятными путешествиями, и поухаживать за женой, и дочкой, и внуками».

«Так вот, это все были прекрасные планы, но, к глубокому сожалению, я сознаю теперь, что я не должен ничего бросать, и я предвижу также, что мои последние годы будут намного более тяжелыми и больше обременены

всякими обязанностями, чем ранние годы. И все это очень меня печалит».

7 мая в середине дня Швейцер узнал, что в Европе заключено перемирие:

«Я сидел за столом и писал какие-то срочные письма, которые нужно было к двум часам доставить на речной пароход, когда под моим окном появился белый пациент, который привез с собой в больницу радиоприемник. Он закричал мне, что в Европе заключено перемирие. Мне еще нужно было дописать письма, а потом срочно пойти к больным. Уже после обеда зазвонил большой больничный колокол, и все обитатели больницы собрались, чтобы услышать радостную весть. После этого, несмотря на страшную усталость, я потащился на плантации, посмотреть, как там идет работа. Только вечером смог я задуматься и осознать значение того, что военные действия закончились...»

...Окончание войны не принесло Ламбарене долгожданного облегчения. Сестры и врачи пока не могли приехать из-за формальностей, осложнявших передвижение. Только в августе добралась, наконец, в Ламбарене мадемуазель Матильда Котман, снявшая с измученной Эммы Хаускнехт часть ее обязанностей. В 1946 году Эмма Хаускнехт писала друзьям:

«Мы все страшно устали, но Доктор самый мужественный из нас.

После долгого трудового дня он играет в своей комнате на пианино с органными педалями, и в тишине ночи, среди огромного леса мы наслаждаемся этими прекрасными концертами. Музыкальные часы служат для нас большим утешением и моральной поддержкой. Для меня они так много значили в эти годы разлуки с домом!»

С самого окончания войны беспрерывно росли цены. Нужно было все больше платить за импортные товары и за бананы. Соответственно пришлось повысить и зарплату африканскому персоналу. Резко выросла стоимость проезда до Ламбарене, и тут уж, как грустно отмечал доктор, никакая экономия была невозможна.

После войны чаще стали приезжать посетители. Американцы, среди которых в последние годы Ламбарене становилось все популярнее, увидели вдруг эту больницу, непохожую на все другие больницы мира, этих врачей-подвижников, этих страдальцев-пациентов из нищей страны, эти изобильные и скудные джунгли.

Стали выходить новые иллюстрированные книги о Ламбарене, и одной из них была книга Джоя и Арнолда «Африка Альберта Швейцера».

Доктор водил этих друзей-американцев по берегам Огове, показывал свои любимые места: «Вот так от сотворения мира – река, леса, облака!» В

аптечке, за окном, забранным деревянной решеткой, он пошутил: «Видите, я узник!» В этой шутке было немало смысла: Швейцер часто говорил, что он узник Ламбарене, что оно держит его и движет им.

С утра американцы сидели на амбулаторном приеме и фотографировали, записывали, листали карточки больных. Они заметили, что возраста своего пациенты не знают. Болезнь свою они описывают неточно, но поэтически. Один вождь сказал о глухонемой женщине: «Эта женщина говорит глазами, но слышит сердцем». Муж прислал к доктору жену с запиской по-французски: «Пожалуйста, обыщите тело моей жены сверху донизу». Но чаще всего больные говорят о том, что у них завелся «червячок». Имена в карточках попадают очень странные: вот Гельвеция (родилась в день швейцарского праздника), маленькая Ля Криз (родилась в годы кризиса), крошка Ля Гер (родилась в войну), Тинктура Йода (дочь здешней санитарки), мальчик по имени Доктор Альберт Швейцер (таких много) ...

Доктор впускает первого сегодняшнего пациента. «Имя?» – «Н'Замбу»; «Деревня?» – «Медемгогоа»; «Племя?» – «Пахуан»; «На что жалуетесь?» – «Червяк в груди»; «Карточка?» – Пациент достает с шеи затертую карточку, и Доктор отыскивает его имя и диагноз по журналу.

Американцы знакомятся со штатом. Сестры Эмма и Матильда (они здесь дольше всех, на них все хозяйство). Доктор Рене Кюнн: он эльзасец, сосед Швейцеров из Мюнстера, пасторский сын, с детства был поклонником доктора. Мадемуазель Гертруда Кох; она выступала с лекциями в Европе, собрала деньги на родильную палату, здесь она работает уже давно. У габонцев для всех врачей свои имена: Старого Доктора они зовут Минонг («Рифленое железо»), Мисопо («Большой живот», или «Важный»), Слоновое ухо. У других докторов тоже вполне внушительные имена: Торнадо, Длинный-длинный.

Назавтра один из гостей обнаружил у себя в комнате забытую доктором старую шляпу и вернул ее Швейцеру.

– О, вы честный человек, – с облегчением сказал доктор. – Когда я положу шляпу не там, я всегда в ужасе, что я потерял ее. Это ведь мой старый друг. Друзья в Европе предлагали мне новую шляпу, но я отказывался. Я покупаю в Европе новую ленту, и тогда шляпа опять становится как новая.

В этом рассказе уже отзвуки легенды. Люди, бесконечно уважавшие этого человека, его идеи и его труд, начинают поэтизировать все детали устоявшегося быта Ламбарене и облик самого доктора: его галстук-«бабочку», который он прикалывает в особо официальных случаях,

его пеликанов, его антилоп, мартышек, ламбаренские праздники и проповеди, его шутки, его любимые рассказы. Потом в погоне за «человеческими черточками», за «хьюмэн тач», все эти детали обстановки, одежды и поведения брали на вооружение газетные репортеры, возносили, разносили... А потом новое поколение репортеров с завистью писало, что все это шедевр саморекламы и все это игра в свой стиль. Доктор, не решавшийся гнать репортеров, был так же мало ответственен за шумиху, как, скажем, Альберт Эйнштейн за мучившую его популярность.

А Швейцеру действительно не нужна была новая шляпа. Он действительно ездил третьим классом по железной дороге «только оттого, что не было четвертого». Он с присущей ему вспыльчивостью выбрал поваря, когда тот подал к столу вино, потому что многие люди посылали в Ламбарене свои трудовые деньги, и тратить их надо было только на самое необходимое. Он никогда не был аскетом, но не видел проку ни в моде, ни в погоне за удобствами, все больше заполнявшей в послевоенные годы жизнь американца и европейца, ни в «искуплении мира вещами».

Война давно кончилась, а доктор Швейцер никак не мог выбраться в Европу. То голод грозил костлявой кистью схватить за горло его изможденных пациентов. То больница переживала нехватку персонала. То затевалось новое строительство.

Европа оживала после военного кошмара, и Эльзас все чаще начинал вспоминать едва ли не самого знаменитого и удивительного из своих сыновей. Швейцер собирался в Европу. Шел уже десятый год без отпуска. У доктора Швейцера было теперь четверо внуков, а он не видел еще ни одного. Да и дом его в Гюнсбахе, уцелевший во время войны, тоже манил к себе безмятежными днями труда. В день своего семидесятитрехлетия Швейцер вдруг услышал Гюнсбах: базельская радиостанция организовала ко дню рождения Швейцера передачу из Гюнсбаха. Первым говорил мэр, голос которого снова звучал бодрой верой в прогресс:

– «Привет тебе, дорогой Альберт. Я мэр Гюнсбаха. Мог ли я подумать, что когда-нибудь стану поздравлять тебя с днем рождения и посылать свои пожелания по радио за тысячи миль за океан! Но вот это случилось. В таких делах мы быстро двигаемся вперед.

...Жители Гюнсбаха и Гиршбаха вспоминают тебя сегодня и желают тебе всего наилучшего... Но должен тебе признаться кое в чем. Они немножко сердятся на тебя, потому что ты так долго не приезжал домой. Это неправильно. Разве мы больше ничего не значим для тебя? В конце концов, ты принадлежишь и нам, а не только черным, хотя, упаси боже, мы ничего не имеем против них...»

«— А я, Фриц Кох, хочу сказать тебе, что вся деревня тобой очень гордится...»

«— А я, Арнольд, твой сосед, хочу, чтобы ты знал, что в трудные дни я тут присматривал за твоим домом, как за своим собственным. Для тебя мне ничего не трудно сделать».

В 1948 году произошло событие, прошедшее, вероятно, незамеченным в Ламбарене, а может, и вообще незамеченным в мире, но при всем том отражавшее распространение идей ламбаренского доктора среди людей медицинской профессий. В Женеве был принят медиками всего мира новый вариант Гиппократовой клятвы, текст которого наряду со страшным опытом новых, продемонстрированных фашизмом возможностей перерождения врача в условиях нацистского режима и военного безумия отразил и ту роль, которую играла ныне идея уважения к жизни. Вот отрывок из этой клятвы:

«Я буду поддерживать высочайшее уважение к человеческой жизни от самого ее зачатия. Даже под угрозой я не употреблю своего знания в нарушение законов человечности».

Глава 17

В ноябре 1948 года Швейцер вернулся в Гюнсбах после почти десятилетнего отсутствия, и его верный секретарь и делопроизводитель Эмми Мартин отметила, что он выглядит очень усталым. Он поехал в Шварцвальд и там после долгого перерыва увидел свою Рену, которая приближалась к тридцатилетию и которая была теперь матерью четырех детей. Он впервые увидел своих четырех внуков – мал мала меньше. Из гор Шварцвальда он вернулся отдохнувшим и сел за работу в Доме гостей в Гюнсбахе. Приезжали друзья, коллеги, незнакомые ему сторонники Братства Боли...

Иногда в Гюнсбах вдруг наезжали дотошные репортеры. При всем своем презрении к продажной буржуазной прессе Швейцер не мог, да и не хотел прогонять их. Одно дело какая-то там абстрактная пресса, другое дело – видеть живого человека, который сидит сейчас перед ним, и понимать, что благополучие, спокойствие этого человека зависят и от него тоже, от его интервью.

Корреспондент Рейтер спросил его однажды, как доктор оценивает сообщение «Таймс» о том, что он собирается бросить Ламбарене.

– Не верьте ничему из того, что говорит пресса, – доверительно сказал он репортеру. – Это как осенние листья: они падают на землю, и о них забывают. Вы можете прочитать, что я украл у соседа серебряные ложки, но пусть это вас не беспокоит, все скоро забудут, что я их украл.

Однажды во время прогулки к доктору подошла девушка и попросила разрешения сопровождать его до Канцельрайна. У нее был тонкий, благородный профиль, и доктор не мог вспомнить, кого она напоминает ему. Баронессу Меттерних? Фанни Рейнах?

Нет, она была из здешних, из гюнсбахских, фамилия ее матери Бегнер. Да, да, правильно, ее покойный дедушка учился с доктором в одном классе. Доктор даже упомянул его в своей книжке о детстве. А она? Ее зовут Луиза, и она хочет посоветоваться с доктором. Она надумала поступить на медицинский факультет, чтобы потом уехать в тропики... Доктор шел рядом с ней и думал о том, что это счастье – видеть еще при жизни, как передаются крупницы твоего духа другим, более молодым. Вот так подошла к нему когда-то на лекции в Страсбурге двадцатипятилетняя Эмма Хаускнехт. Вот так... Доктор спросил, что стало с бедным Карлом и его сыновьями. Девушка нахмурилась. Она сказала, что дедушка умер в

Берлине в самом конце войны. Его сын, тот, что был фашистом, был повешен за репрессии против мирных жителей... Его внук, то есть ее двоюродный братишка, погиб в мае 1945 года, в фолькштурме. Ему было пятнадцать. Младший сын, тот, что был коммунистом, погиб в нацистском лагере. Ее мать, младшая дочь дедушки Карла, погибла при американской бомбардировке...

Луиза замолчала, и доктор почувствовал себя виноватым. Он не знал, в чем он был виноват. В том, что была война, или в том, что он стал расспрашивать ее о семье.

– Сейчас я работаю кельнершей, коплю на университет...

Доктор вспомнил свои двенадцать плюс семь лет учебы и подумал, что ему выпала очень счастливая юность. Потом он сказал, глядя прямо перед собой:

– Я спрошу в Страсбурге. Там мои ученики и друзья. Может, у медиков есть стипендии...

Он подумал, что пессимизм порождается в человеке чаще всего даже не бессмысленностью страшных столкновений, происходящих в природе, а бессмысленностью того, что происходит между людьми, между массами людей... Но ведь и единственная опора его оптимизма, этический дух, он тоже в людях, и он оживает так чудно в темнокожем Ойембо и санитаре Жан-Клоде, в сестре Марии, в докторе Ладиславе, в Бахе, в старушке, что прислала вдруг в далекую, непонятную Африку все сбережения старости, в небожителе Гёте, в старом друге Роллане, в Анне Вильдиканн, в его Елене... И вот рядом шла эта хрупкая девочка Луиза, пережившая страшное детство среди бессмысленной ненависти и голода, среди энтузиазма предательства и восторга насилия, среди нищеты. Теперь она научилась думать сама, и ее этический дух побуждал ее к ответственности, самостоятельности, к строго практическим рассуждениям, освещенным высоким идеализмом. Она рассказывала доктору, как она ухитряется работать по три смены из-за чаевых, чтобы уже осенью подать на медицинский, а в двадцать семь лет уехать...

Вечером Швейцер играл на органе в пустой гюнсбахской церквушке. Старый Лейпцигский кантор был от него не дальше, чем хрупкая девочка Луиза, одухотворенный последыш Бегнеров. Что значит мертв? Какая разница, когда умер Бах – сто или триста лет назад, – если дух его уже семь десятков лет прочно живет в докторе Швейцере? Это его мощный дух раздвигает сейчас тесные стены деревенской церквушки, уносясь за осеннюю вершину Ребберга, куда-то еще выше, к горным высям. Какая разница, когда умрет доктор Швейцер, если девчушка Луиза будет не глуха

к крику чужой Боли, бережна к едва различимому дыханию чужой и непонятной Жизни? И прежде чем понять эту жизнь, она постарается сблечь ее, продлить, обогатить...

В Гюнсбах пришло новое приглашение из Америки. Швейцера уже приглашали раз на лекции в Гарвард, приглашали в Принстон, чтобы он мог закончить там, в тиши, работу над философской книгой, приглашали на лекционные туры, на концерты. В последнюю войну американцы выручили больницу, как некогда шведы. В Америке было много друзей, фирмы, снабжавшие его лекарствами. И все же ему не хотелось ехать. Приглашение на этот раз было очень деловое и вполне американское: его приглашали прочесть мемориальное обращение на праздновании двухсотлетия Гёте и обещали при этом пожертвовать на его больницу (интересно, на что еще могли бы ему понадобиться деньги – на блюдец каши и два яйца в день?) громадную сумму – 6100 долларов (то есть 2 миллиона франков). Послевоенные расходы больницы росли, и хотя швейцеровские «братства», «содружества» и «общества» возникали теперь во всех странах Запада и Востока, доктору не осилить было пока новое строительство. А он задумал новую большую стройку. Его все чаще беспокоила сейчас судьба прокаженных. У этих людей не хватало выдержки на долгий курс лечения. Люди эти были мечены многовековым проклятьем, хотя опасность заражения явно преувеличивают. Эти люди, даже исцелившись, не верили в свое исцеление и влачили жалкое существование. Сонной болезнью теперь в Габоне всерьез занялось правительство, а доктор должен был подумать о прокаженных. В видениях его все чаще возникал человек с колокольчиком. Человек с колокольчиком бродил некогда по улицам дикой Европы, пустующим от этого звука. Звук колокольчика доносился сейчас до Швейцера, как крик унижения и боли. Он решил согласиться на поездку в Америку. Что ж, ему еще только семьдесят четыре. Он вынесет и напряжение поездки, и их прессу, и их равно неумеренные массовые восторги по поводу отважного генерала, пышнотелой кинозвезды или доктора из джунглей. В конце концов, даже если он поощрит этим новую моду, то мода эта обратит их, в конце концов, не к доблестям войны в Корее, а к размышлению над чужой болью, к состраданию. Пусть не всех, пусть хотя бы одного на тысячу – того, кто не разучился еще думать.

Вскоре после поездки Швейцера в Америку там был проведен одним из ведущих журналов всеамериканский опрос, предлагавший выбрать величайшего из живущих ныне деятелей. Когда были опубликованы результаты опроса, оказалось, что первым в списке деятелей-неполитиков

стоял Швейцер (рядом со своим другом Эйнштейном).

В июне 1949 года Швейцер отправился в Ливерпуль и оттуда отплыл в Америку вместе с Еленой и английскими друзьями.

Когда пароход стал входить в нью-йоркскую гавань и впереди замаячила статуя Бартольди, репортеры тучей облепили Швейцера и стали помыкать им, пресмыкаясь. Журнал «Тайм» живописал эту сцену фотографирования:

«О'кэй, доктор Швейцер! – кричали фотографы. – Встаньте вон там. А теперь взгляните сюда, вот сюда... Так, мистер Швейцер, а теперь помашите-ка рукой, рукой помашите, понятно? О'кэй! А теперь пусть он пройдет по трапу...»

Он едва сошел на берег, как репортеры обрушили на него свой универсальный, международный, полный мудрости и изящества вопрос: «Доктор, что вы думаете об Америке?»

Он ответил с уважительной серьезностью:

– Я еще ни разу не был в этой стране, а вот вы живете здесь, так что уж лучше вы расскажите мне, что вы думаете об Америке.

Эта вежливая просьба отдавала швейцеровским максимализмом: в конце концов, не для этого держат репортеров.

На пристани он сказал очень краткую речь:

«Леди и джентльмены, в молодости я был очень глуп. Я учил немецкий, французский, латинский, греческий и древнееврейский, но не учил английского. В своем новом воплощении я первым делом выучу английский».

Его поволокли в отель, как назло забитый цветами: доктор не терпел, когда рвали или срезали цветы.

Гётевский юбилей в штате Колорадо оказался мероприятием чисто американского типа. Некогда в Аспене были серебряные рудники, ныне заброшенные. Предприимчивый американец немецкого происхождения построил здесь подъемник и открыл зимний курорт. Для летней эксплуатации городка он придумал гётевские торжества и пригласил на них видных интеллектуалов Европы и Америки: кроме Швейцера, здесь был испанский философ Ортега-и-Гасет, итальянец Боргезе, американский писатель Торнтон Уайлдер. Здесь выступали также знаменитый симфонический оркестр и Артур Рубинштейн.

Швейцера повезли в Аспен, и журнал «Лайф» так описывал это путешествие:

«В Чикаго, где термометр показывал 99°, Альберт Швейцер вышел на платформу поразмять ноги. Он стоял, разговаривая с друзьями, когда вдруг

появилась женщина с двумя тяжелыми чемоданами. Швейцер тут же прервал разговор, вежливо подошел к женщине, ухватил своими могучими руками ее чемоданы и отнес в вагон. Свидетели, пристыженные этим проявлением рыцарства со стороны 74-летнего джентльмена, выследили других тяжело нагруженных пассажиров и устремились в подражание Альберту Швейцеру им на помощь, повергнув в изумление всю Юнион Стейшн».

Дальнейший путь (за Великим перевалом) описывает одна из попутчиц Швейцера:

«Две девушки робко остановились у входа в купе доктора Швейцера и спросили: „Не имеем ли мы честь разговаривать с профессором Эйнштейном?“ – „Нет, – ответил он, – к сожалению, это не так, хотя я вполне понимаю вашу ошибку, потому что у него на голове все совершенно так же, как у меня (при этом он взъерошил свой чуб), но в голове у меня все совершенно по-другому. Впрочем, он мой очень старый друг, так что, может, вы хотите, чтобы я дал вам его автограф“. И он написал: „Альберт Эйнштейн – через своего друга Альберта Швейцера“.

По рассказам некоторых биографов, Швейцер встречался в Америке с Эйнштейном. Впоследствии Швейцер говорил, что Эйнштейн умер в отчаянии от своей причастности к атомной бомбе и к тому, что она несла людям. Вопрос о том, кто больше виноват в этом страшном бедствии наших современников, не является, впрочем, таким уж бесспорным. Эйнштейн был вправе написать однажды:

«Интеллектуальные средства, без которых было бы невозможно развитие современной техники, возникли в основном из наблюдения звезд. За злоупотребления этой техникой в наше время творческие умы, подобные Ньютону, так же мало ответственны, как сами звезды, созерцание которых окрыляло их мысли». Тем не менее Швейцер писал, что Эйнштейн умер в смятении. В письме Г. Геттингу Швейцер говорит:

«Я познакомился с Эйнштейном, и между нами возникла глубокая дружба, когда он был профессором в Берлине. Умирая, Эйнштейн знал, что я, как и он, буду бороться с атомным оружием».

Торжественное гётевское обращение Швейцер написал по-немецки и по-французски. Немецкий вариант перевел на английский язык Торнтон Уайлдер.

Своей готовностью разговаривать со всяким, кто просил его совета, Швейцер изумил и расстроил организаторов фестиваля в Аспене, ибо иногда это ставило под угрозу торжественную программу. Он не отказывал ни в интервью, ни в автографах, ни в ласковом слове, ни во внимании.

Однажды он вызвался проводить до отеля собеседника, который был моложе его.

Из Аспена Швейцера поволокли в Чикаго, где университет присудил ему степень доктора права и предложил быть профессором без особых обязанностей (с одними только правами).

В Чикаго Швейцер встретил своего юного (четверть века назад) сотрудника Ноэля Гилеспи, который был теперь специалистом по анестезии и который провел день возле Швейцера, совершенно удрученный шумом, суетой и устрашающей толпой людей. Впоследствии Швейцер с горечью рассказывал Ф. Фрэнку:

«Когда я прибыл в Нью-Йорк и на меня выпустили всех этих репортеров, я чувствовал себя, как девственница, брошенная на арену к львам. Туда, где я жил, однажды пришел настройщик пианино и, думая, что я не вижу, стал меня фотографировать».

В Чикаго из своего колледжа специально прилетел студент-медик Уильям Меллон-младший. Некогда журнальная статья о Швейцере побудила его стать медиком. Теперь он решил окончить колледж и открыть на Гаити Больницу имени Швейцера. Он был лишь одним из многих послевоенных последователей Швейцера (в Перу, на Филиппинах, в Бразилии, в Бирме), строивших больницы на свой страх и риск.

В Нью-Йорке Швейцер отдыхал у друзей. Он с добродушным юмором рассказывал потом, что хозяйка, встретившись с ним на лестнице утром в длинном, до пят, халате, извинилась, что она не одета, убежала к себе и вскоре вышла успокоенная в трусиках и коротенькой рубашонке.

Когда он играл на рояле, дети хозяина столпились у него за спиной, и он, обернувшись, весело сказал им:

– Вы, наверно, думаете, что я только мрачную музыку могу играть? А вот послушайте: это музыка, под которую я в первый раз в жизни танцевал вальс с Еленой.

И он заиграл веселый вальс из тех, что играли в страсбургских гостиных в начале девяностых годов прошлого века.

Он оставался в этом добродушно-ироническом настроении до самого конца.

Однако теплый прием никак не изменил (видимо, вопреки ожиданиям многих поклонников американского прогресса) его взгляда на современную буржуазную и, в частности, американскую цивилизацию. Он увидел страну, обогнавшую все прочие страны мира по производству хлеба, масла, штанов, холодильников и телевизоров, и не восхитился ее сытостью. Он увидел великолепные автострады, признаки могучей промышленности,

поражающей мир высокой организацией производства. И он не увидел здесь ничего принципиально нового в подмеченной им еще на рубеже века картине упадка буржуазной культуры!

Поэтому, к удивлению журналистов, осаждавших его в Бостоне, он, не выразив никаких восторгов по поводу американского процветания, сказал спокойно и упрямо, что больше всего мир нуждается сейчас в духе, ибо если высокий дух не будет править миром, то мир погибнет.

В октябре того же года Швейцер снова (в восьмой раз!) уезжает в Африку, где с огромной энергией берется за работу. Американские лекарства давали новые возможности для лечения проказы. Кроме того, у него были теперь гётевские деньги, помогавшие ему в осуществлении его планов, как некогда, много лет назад, ему помогали баховские деньги. Швейцер начинает строительство деревни для прокаженных, решив посвятить ее памяти покойных родителей.

Хлопот немало и помимо строительства: штат больницы теперь двадцать четыре человека, а больных четыре сотни, причем половина из них прокаженные.

Всякого, кто приезжает в Ламбарене, поражает еще один вид пациентов и подопечных Швейцера – зверье. Козы бродят по территории, роняя удобрение, столь высоко ценимое доктором. Антилопы по вечерам в такт баховской музыке перебирают стройными ногами. Обезьяны, прижившись в больнице, находят себе здесь занятия по душе. У доктора несколько кошек, что же до собак, то их в Ламбарене туча. А в комнате доктора живет также мудрое и ненавязчивое семейство муравьев, которых доктор кормит после ужина у себя на столе. В большой чести у доктора пеликаны, особенно Парсифаль, первый из трех, названных в честь вагнеровских опер. Об одной из этих птиц Швейцер даже написал рассказик. Называется он «История моего пеликана», но повествование идет от лица самого пеликана, и читатель встречается здесь со многими обитателями больницы – и с докторшей, и с мадемуазель Эммой, и с докторским попугаем Кудеку, и с белым гусаком, и с поваром, и, конечно, с лучшим другом пеликана, самим доктором. Манера этого рассказа весьма любопытна: доктору доставляет удовольствие перевоплощение в птицу, как некогда ему нравилось воображать себя сосной или дубом Вогезских гор. Мир деревьев занимает сейчас доктора еще больше, чем прежде, потому что он много времени уделяет своим плантациям. Здесь уже есть апельсины, хлебное дерево, мандарины. В конце концов, лечение человеческих тел, хотя и важнейшее, но только одно из дел поддержания жизни. Остальные тоже очень важны, и доктор отдается им со страстью

крестьянина, влюбленного в землю. Посмотрите, с какой неторопливой обстоятельностью описывает он в одном из писем агрономическую специфику Ламбарене:

«Из европейских видов овощей тут можно сажать (однако лишь в сухой сезон) фасоль, салат, томаты, капусту, морковь, кольраби, редьку и репу... В период дождей в огороде можно выращивать (хотя и с невероятными трудностями) один из видов мелких томатов, фасоль и устойчивые сорта салата. Рассада не выдерживает сильных, даже непродолжительных ливней – торнадо. Не переносит она и сильной жары. Хороший урожай дает здесь кукуруза. А картошка не растет, и это чрезвычайно усложняет проблему питания. В какой-то степени ее могут заменить бананы, бататы, плоды хлебного дерева, корни диоскореи, таро и маниока...»

И еще дальше с превеликими подробностями и вкусом про выращивание бататов, кофе, какао, перца, лимонов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, авокадо, дынного дерева, гуайявы, спондии, бобов, масличных пальм, кокосовых пальм, финиковых пальм, про содержание коров... Все очень похоже на фермерское письмо из деревни.

В эти годы Швейцер сказал как-то на больничном праздничном обеде в честь его дня рождения:

«Если бы вы подвергли клиническому анализу мою душу, вы обнаружили бы в ней три части: первая ее треть – профессорская, преподавательская, вторая треть – врачебная, а третья принадлежит сельскому жителю, крестьянину. Вдобавок еще несколько капель туземца, „примитивного человека“.

И конечно, с нынешнего дня эта доля «примитивного человека» в моей душе будет расти. Если обнаружите, что то, что я делаю, вам не по душе, не поднимайте шуму. Просто скажите себе: «Примитивный человек берет в нем верх».

Джордж Сивер описывает в своей книге трогательную процедуру дня рождения доктора, когда ему исполнилось семьдесят шесть. Ламбаренские детишки дарили ему в этот день фрукты, один санитар принес теплое яичко, только что из-под курицы, старуха африканка притащила корзину столь дефицитного древесного угля, а растроганный доктор благодарил всех и сказал в заключение: «У меня только одно пожелание – чтоб вы обещали мне в этот день рождения не рубить больше на плантации фруктовых деревьев...»

Тянутся долгие и мирные ламбаренские вечера, когда доктор пишет, попугай Кудеку зевает на жердочке и три антилопы вздрагивают у

старенького пианино в сладком сне. Доктор пишет обширный эпилог для книги Э. Н. Мозли «Теология Альберта Швейцера». Швейцер повторяет в своем эпилоге, что не может быть настоящей веры, которая боялась бы научного исследования.

Жизнь в Ламбарене шла раз и навсегда заведенным порядком, но на исходе был восьмой десяток его жизни, и доктор чаще жаловался на усталость. Он сказал как-то ламбаренским вечером молодой американке, кинорежиссеру Эрике Андерсон:

– Знаете, чего бы мне по-настоящему хотелось, если б у меня было время? Просто встать утром раз или два без чувства усталости или пойти спать, не думая о том, как много еще не сделано. Какая это была бы роскошь! Вы знаете, я ведь в душе лентяй. Именно поэтому я должен работать так упорно...

В тот вечер доктор Швейцер отвечал на письма и, проникшись расположением к энергичной молодой кинематографистке, вдруг подарил ей пухлый конверт с почтовыми марками.

– Поделите их по-братски с вашей подругой, – сказал доктор. – Тут марки со всего света, и очень ценные. Если вы продадите их в Нью-Йорке, то вам хватит денег на юбку.

Потом, кивнув на письма, он пожаловался:

– Вы не представляете себе даже, на какие просьбы приходится отвечать. Вот, например, пишет джентльмен из Америки, которому нужна горилла, и он спрашивает: не мог бы я ему послать гориллу. Еще он пишет, что у меня, по всеобщему мнению, лучшая в мире проволока для загородки. Откуда он это взял? Самое странное, что это чистейшая правда. Я знаю одного прекрасного старичка в Страсбурге, который делает проволочную сетку.

Весной 1951 года Швейцер занимался ремонтом больницы. В мае он поплыл в Европу, которая продолжала осыпать его почестями, Швеция наградила его медалью, Франция сделала кавалером ордена Почетного легиона.

Все чаще пишет теперь о буднях ламбаренской больницы и о трудах Старого Доктора пресса Германской Демократической Республики.

В Гюнсбахе доктор трудился над хоральными прелюдиями Баха, которые американское издательство Ширмера решило, наконец, выпустить в свет. Американская компания «Коламбия Бродкастинг» привезла в Гюнсбах аппаратуру, чтобы записать на гюнсбахском органе его исполнение Баха, Видора, Цезаря Франка. У этого органа, перестроенного по проекту самого доктора, отличный звук. Исполнение на настоящем

органе, по мнению Швейцера, должно быть подобно хорошо приготовленному рису: «Каждое зернышко – твердое и само по себе, а как это достигается – неважно. В противном случае звук как каша-размазня».

В конце года Швейцер возвращается в Африку и строит здесь больницу для прокаженных. Старый добрый плотник Монензали сказал Эрике Андерсон, что Доктор теперь приходит на стройку только один раз в день. И, вздохнув, добавил:

– Но он остается на весь день...

Летом 1952 года Швейцер снова ненадолго приезжает в Европу. Он теперь легче выбирается в подобные путешествия и сам называет себя «перелетной птичкой».

Его избирают членом Французской академии, и осенью он произносит в академии речь на тему «Этические проблемы в развитии человеческой мысли». Он говорит в этой речи о своем принципе уважения к жизни, который, по существу, включает то же, что и моральный принцип любви, но содержит при этом обоснование завета любви, а также требует сочувствия ко всем тварям:

«Мораль уважения к жизни требует милосердного отношения ко всем живым существам, что соответствует естественным чувствам здравомыслящего человека. Гуманным отношением ко всем живым тварям мы проявляем свое духовное отношение ко вселенной...»

В Гюнсбах, где доктор работает над изданием Баха, по-прежнему наезжают журналисты. Швейцеру редко удается наотрез отказать в интервью. Он только отказывается обсуждать, кто прав в том или ином из бесчисленных международных и внутренних конфликтов, чье влияние в той или иной африканской стране является более «традиционным» или «законным». Он предпочел бы иметь дело с более существенными человеческими проблемами бытия и духа, а не с преходящими, зачастую искусственно инспирируемыми «конфликтами». Он просит не задавать ему всех этих политических вопросов, хотя уверен, что понимание между людьми может быть достигнуто и в этой сфере. Понимание должно прийти изнутри, и оно придет, как только мы вернемся к идеалам человечности. Как вернуться к этим идеалам? Очень просто: быть простым и добрым, работать самому и думать самому.

К Швейцеру все чаще обращались теперь с просьбой ответить на письмо или написать статью, которая объяснила бы, как жить по-другому. Людям недостаточно было разработанного им принципа уважения к жизни, его призыва думать, никому не доверять собственного морального суждения. Люди хотели, чтоб он прямо сказал им, что делать. Он говорил

так просто, что люди зачастую оставались не удовлетворенными этой простотой. Некоторые говорили, что эти наивные проповеди они уже слышали. Он не обижался и повторял все снова:

«Я слышал, как люди говорят: „О, вот если бы я был богатым, я смог бы помочь людям!“ Но все мы можем быть богаты любовью и щедростью. Более того: если мы даем с любовью, если мы находим, что именно дать тем, кто больше других нуждается в нашей помощи, мы отдаем этим людям наше собственное нежное внимание, нашу заинтересованность и заботу, которые стоят больше, чем все деньги в мире».

Он отводил аргумент тех, кто свой мыслительный процесс передоверял прессе, а дела доброты – государству:

«Организованная работа помощи, конечно, необходима, но прорехи в ней должны быть залатаны личным служением, выполняемым с любовью и добротой. Благотворительные учреждения – дело сложное; им, как автомобилю, нужна для движения широкая дорога. Они не могут проникать на тропинки; тропинки эти для людей, которые идут по ним с чутким сердцем и открытыми глазами.

Мы не можем никому передоверить нашу совесть. «Разве я сторож брату своему?» Конечно же, да! Я не могу избежать ответственности, сказав, что государство сделает все, что нужно. Трагедия в том, что в наши дни столь многие думают и чувствуют именно так».

Осенью 1952 года Швейцер снова (в десятый раз) уплыл в Африку. В деревне для прокаженных он заложил капитальные помещения на двести пятьдесят человек. Он хотел построить жилье для самых обездоленных, для париев общества. Эти бедняги должны были не только получить здесь физическое исцеление, но и вновь ощутить себя людьми.

Ему исполнилось семьдесят семь, потом семьдесят восемь. Он с прежним рвением работал в Ламбарене и отлично переносил душный габонский климат. Он говорил, что для человека, которому перевалило за шестьдесят, у него есть один рецепт: много работать и – еще больше работать.

Елена приезжала в Ламбарене ненадолго. Болезнь согнула ее совсем. Много лет назад во время катания на лыжах она повредила позвоночник и теперь тяжело переносила последствия этого несчастья.

Во время одной из поездок по Огове Эмма Хаускнехт встретила в деревне Старого Джозефа. Он совсем опустился и обнищал: жены убегали от него, торговля не удалась. Он пробовал заниматься врачеванием, но юридические тяжбы окончательно его разорили. Растроганная встречей Эмма привезла Джозефа к Доктору.

Теперь Джозеф жил в больнице. Он по-прежнему называл себя «Первым помощником доктора Швейцера», до сих пор обозначал части тела кухонными терминами, любил философские высказывания и елейные пасторские изречения. «Боль приходит на самолете, а уходит пешком, – говорил он. – Вы, Доктор, лечите нас милостью божьей». Белые пациенты засыпали его подарками: Джозеф щеголял в великолепных ручных часах и халате с Пятой авеню. Он и в старости сохранил свою бесшабашность и любовь к роскоши. Потому он частенько оставался то без пищи, то без одеяла.

В больнице сложились прочные традиции быта – и среди пациентов, и среди тех, кто лечил и обслуживал их. Врачи менялись, но бессменно оставались Старый Доктор, Матильда, Эмма, плотник Монензали, Молодой Джозеф. Неизменным секретарем Доктора была теперь миловидная голландка Али Сильвер. Оставались не только эти люди, но и традиции больницы, помогавшие при довольно частой смене персонала поддерживать здесь высокий уровень служения страждущим, неизменный, хотя и непривычный для европейца, порядок, рациональную систему обслуживания и лечения. В пятидесятые годы уже окончательно сложились черты этой «клиники джунглей», «лесной больницы», «лесного больничного поселения» или «клинической африканской деревни» – так ее называли в своих описаниях американцы и европейцы, стараясь всячески подчеркнуть ее отличие от немецкого «шпиталь», французского «опиталь», англо-американского «хоспитэл», русской «больницы». Уже тогда многие из авторов этих описаний выражали свое разочарование в резких критических суждениях и в изумленно-брезгливых восклицаниях. Думается, что нет нужды заниматься подробным разбором всех журналистских «но» и «почему» (это сделал, например, в своей толстой книге «Почему доктора Швейцера» американский врач-литератор Джозеф Монтэгю, делали это и многие другие авторы). Отметим только самые существенные, на наш взгляд, черты больницы, оставшиеся непонятными для странствующих посетителей Ламбарене.

Первое, что удивляло в ламбаренской больнице, был именно ее облик африканской деревни, ее быт, все ее обычаи. «Уж строить, так строить современную больницу со всем что ни на есть лучшего», – говорили гости, видя, что в Ламбарене электрический движок обслуживал только операционную, а рентгеновский аппарат был установлен лишь в 1954 году; что уборные здесь были устроены по старинке, да и вообще ничто не напоминало современную больницу из стекла и бетона, какими может похвастать сейчас любая африканская республика и какая стоит в поселке,

в двух милях от больницы Швейцера.

Читатель уже помнит, как складывался тип швейцеровской больницы. Пациенты приходили всей семьей из джунглей, принося на носилках больного. И доктор выделял им место для жилья и ухода за больным. В определенный час он выдавал им продукты, чтобы они готовили пищу на костре.

Все это было очень существенно для здоровья и психики больного. Швейцер, не любивший отвечать критикам, иногда все же говорил с лукавством, что ведь и в здоровом состоянии нелегко менять привычки. В его больнице пациент оставался в окружении близких, он ел свою пищу (что при широчайшем распространении ядов как оружия вражды немаловажно для мнительного больного). Больной получал уход, которого не мог бы ему дать ни один санитар. И кроме того, он лежал в дружественном окружении. Это тоже очень существенно для Габона. Ведь если рядом лежит больной из чужого племени, то это почти всегда недруг. Он не брат тебе. Он даже воды не подаст. А с братом из своего рода не страшна смерть. Комментируя эту вражду двух десятков габонских племен, один из врачей ламбаренской больницы Швейцера, профессор Ганс Ульрих Цельвегер, писал впоследствии, что Швейцер сделал самое лучшее, разделив племена на бараки. «Я работал позднее в других больницах и других странах со сходными условиями, – писал профессор Цельвегер, – там положение это неизбежно вело к различным нелепым столкновениям...»

Дж. Маршалл в своей книге рассказывает о новой роскошной больнице в Леопольдвиле, куда больные приносили с собой из дому свои соломенные маты и, стацив с койки одеяла, ложились на полу. Специальная комиссия ходила по больнице с целью водворить их снова на койки. Впрочем, и там, где не было таких болезненных демонстраций, никто не задавался всерьез вопросом, как действуют на обитателя хижины все эти атрибуты нового больничного быта, каково ему приспособиваться к чужим, малоприятным обычаям, да еще в состоянии болезни. У Швейцера, всегда шедшего своим путем, хватило мужества пренебречь предрассудками и идеалами века в целях осуществления своей главной цели и главного идеала. И если миссионеров критиковали за то, что они навязывают свои обычаи африканцам, то Швейцера критиковали как раз за обратное. Впрочем, у него был счастливый нрав и здравые убеждения на этот счет. «Каждый волен иметь свое мнение... – спокойно говорил он, – никогда не чувствовал себя обязанным отвечать толпе...»

Он не жалел средств на лекарства, в том числе и новейшие лекарства. Он живо интересовался новейшими методами исследования, состоял в

переписке с исследовательскими центрами и фармацевтическими фирмами всего мира. И все-таки он проявлял очень большую осторожность в применении новых средств лечения. Ранние его письма полны восторгов по поводу новых лекарств. Позднее он умерял восторги интуицией, опытом, осторожностью. Тщательным наблюдением отделял он истинную находку от простого увлечения новой медицинской модой. Прав ли он был, старый деревенский врач из джунглей? Интересные сведения сообщает доктор Монтэгю в своей книге о Швейцере. Из тех лекарств, которые употреблялись в середине пятидесятых годов нашего века, к середине шестидесятых употреблялись только 10—24 процента. Из новых же лекарств тогда не существовало 75 процентов. Представляете себе, какой это гигантский поток лекарств, не успевающих себя зарекомендовать (или скомпрометировать)? А у габонцев гемоглобин, содержание красных кровяных телец, составляет только 60 процентов, и врач должен быть особенно осторожен в применении новых средств. В хирургии мода распространяется еще стремительней, чем в фармакологии, и она, наверное, может соперничать в этом со швейным промыслом. Вспомните, например, как энергично удаляли железы благосклонному населению, рвали зубы или удаляли аппендиксы в тот или иной период развития медицины.

В романе молодого африканского врача и писателя Ленри Петерса «Второй раунд» есть такое любопытное высказывание: «Медицина – все еще игра вслепую, и в ней нужны горы удачи, а любой революционный взрыв в ней попросту ведет к ранней могиле».

Еще острее было недоверие Швейцера к новой технике, и это недоверие его подвергалось самой жестокой критике прессы. Действительно, ситуация могла показаться странной: весь мир знает об этой больнице, а там все еще нет электричества, электрокардиографии, электроэнцефалографии и еще бог знает чего. Думается, что тут опять дело было не в одном старческом консерватизме. На глазах Швейцера происходил с таким блеском описанный его другом Цвейгом процесс отчуждения врача и больного. Бездушный аппарат вставал между ними одним из блоков этой стены отчуждения. Аппарат требовал у лечащего внимания, совсем как человек, и тем самым отвлекал его внимание от человека. Разве существуют приспособления (особенно в условиях деревушки, затерянной среди джунглей), сами не требовавшие бы ухода, не отнимавшие бы столь драгоценное время, которое можно посвятить непосредственно человеку – от человека к человеку. Молодые врачи-прогрессисты из автоматизированной Америки приезжали работать к

Швейцеру и впервые, может быть, в жизни начинали задумываться над относительной ценностью вещей, аппаратов, эмоций... «Швейцер отрицает веру современного человека в искупление мира вещами, – с необычайной наблюдательностью отмечал один из них. – При минимальном количестве современных ухищрений триста пятьдесят коек его больницы и лепрозорий работают на полную мощность...» Тот же врач (Фр. Фрэнк) писал: «Я видел многие африканские больницы, лучше оборудованные и обставленные. Обслуживание там было хуже, потому что, как правило, работал там один перегруженный врач, заваленный писаниной и статистикой, а лечение доверявший неквалифицированным сестрам или санитарам. Иногда среди этих сложных приборов и препаратов врача не было и вовсе – одна сестра; машины ржавели, аппараты были разлажены. И консерватизм Швейцера казался мне с практической точки зрения даже обоснованным».

Право, не надо плыть так далеко, чтобы усмотреть в приведенном выше описании черты реальности. Швейцеру для этого тоже не надо было плыть далеко. В двух с половиной милях вниз по течению стояла современная ламбаренская казенная больница, откуда тяжелых больных пересылали, как правило, к Швейцеру.

Мы знаем, что в больнице Швейцера хирургические операции завершались на редкость успешно, как, впрочем, и другие виды лечения. Что это – те «горы удачи», о которых пишет молодой африканский романист-медик? Влияние магической личности Оганги? Или внимательное «вникновение» врача? И то, и другое, и третье. Самые суровые критики признавали, что в больнице Швейцера соблюдались строжайшие правила антисептики и что уровень хирургии здесь был высокий. Известный американский хирург доктор Роберт Голдуин, работавший у Швейцера, писал:

«Множество раз я и другие врачи консультировались у него, и его суждения всегда оказывались правильными. Надо помнить, что большинство своих операций доктор Швейцер проделал во время второй мировой войны (ему было тогда шестьдесят восемь лет), и его дотошные отчеты об операциях можно найти в старых журналах...»

Кроме отчетов самого Швейцера, в специальных журналах печатались также статьи Р. Голдуина и доктора Р. Фридмана. Одна из этих статей появилась в «Нью-Ингленд джорнэл эв медсин» за 18 мая 1961 года. Подсчеты двух хирургов, работавших в Ламбарене, показывают, что смертность при операциях составляла там всего 0,44 процента (то есть практически два случая на четыреста пятьдесят самых разнообразных, в том числе и весьма тяжелых, случаев).

Главным же достижением больницы Швейцера, с точки зрения мировой медицины, были, наверное, даже не успехи его хирургической практики, не ранние успехи в лечении сонной болезни, не деревня прокаженных, а образ врача. Врача, сохраняющего в век массовой, механизированной и сверхорганизованной медицины человечный, гуманистический, не притупленный привычкой к чужим страданиям подход к больному. Как и сорок лет назад, после изнурительного дня в душных джунглях, после своих врачебных, хозяйственных, строительных и писательских трудов доктор Швейцер обходит перед сном тяжелых больных, с беспокойством вполголоса советуется за обедом с кем-нибудь из лечащих врачей, по-прежнему волнуется, вкладывая всю силу своего сострадания в избранный им труд. Любопытно, что тот же африканский романист-медик Ленри Петерс пишет о своем герое-враче, что «он считал необходимым в своей профессии пользоваться тем искусственным, синтетическим видом сочувствия, который в равной степени успокаивал больного и служил защитой для его собственной чувствительности». Швейцер и в девяносто лет не обрел этого «синтетического» сочувствия врача-профессионала, оставшись для медиков всего мира образцом сострадания, «вникновения», любви к людям, символом этого благороднейшего рода служения людям – медицины, ее философом, ее идеологом (хотя и не писал ничего по теории и этике медицины). Недаром отзвуки его философии зазвучали в послевоенной международной клятве врача.

Глава 18

На исходе восьмого десятка его жизни европейская слава Швейцера достигла апогея. Осенним октябрьским днем 1953 года, когда доктор мирно чистил стойла любимых своих антилоп, прибежал один из врачей больницы и сказал, что доктору Альберту Швейцеру присуждена Нобелевская премия мира: об этом только что сообщило радио. Доктор промолчал и продолжал сгребать навоз, столь полезный для его деревьев.

Потом посыпались поздравления. Доктор буркнул как-то, что, на его вкус, слава эта могла бы прийти и посмертно. Он хотел бы ограничиться этим комментарием, но предстояло еще выступать с нобелевским обращением. В больнице в этот момент не было хирурга, одолевали, как всегда, строительные хлопоты, так что Швейцер решил на год отложить поездку в Осло. Узнав об этом, в Ламбарене нахлынули журналисты, о чем он писал с ужасом:

«Корреспонденты прискакали, как кузнечики (и всем, конечно, надо подыскать жилье), и стали вытягивать из меня, бедняги, обращения, интервью, ответы на длинные списки вопросов... Приходилось отправлять по телеграфу газетные статьи размером в 200 и 300 слов, писать их по ночам, оставляя при этом на сон всего три-четыре часа».

Он был переутомлен, но просил друга никому не говорить об этом, потому что могли посыпаться еще письма участия или письма соболезнования. «В этом финале своей жизненной симфонии, – объяснял он, – мне все приходится рассматривать, исходя из того, не повлечет ли это за собой писания новых писем».

На вопросы корреспондентов, что он собирается делать с деньгами (премия составляла около 36 тысяч долларов), он отвечал почти раздраженно:

– Деревню для прокаженных строить, что же еще?

Он по-прежнему не хотел высказываться на политические темы, но много думал и читал сейчас об атомной угрозе. В конце концов он согласился на просьбу «Дейли геральд» написать письмо в эту газету об атомной угрозе. Это было его первое выступление о беде, нависшей над человечеством. «Мир просто должен прислушаться, – писал Швейцер, – к предупреждениям отдельных ученых, которые понимают эту ужасную проблему».

Швейцер обращался и к ученым, которые еще не высказались, хотя и

знали правду о том, что угрожает человечеству:

«Ученые должны высказаться. Только они могут с достаточной авторитетностью заявить, что мы не можем больше брать на себя ответственность за эти эксперименты... Таково мое мнение. Я излагаю вам его с болью в сердце, с болью, которая не отпускает меня никогда».

Весной 1954 года Швейцер наконец выбрался в Европу. Он поехал в гюнсбахский Дом гостей, где работал над своим нобелевским обращением.

В начале ноября Швейцер вместе с женой прибыл в Осло. Празднество угрожало быть помпезным. В отеле ему отвели роскошный номер – везде краны, ванны, умывальные. «Может, они думают, что мне, как форели, нужна проточная вода», – буркнул Швейцер. Он устал за дорогу, но тут же появились посетители. Их не очень-то хотели пускать, но, услышав голоса, Швейцер обычно выходил сам и спрашивал: «Месье ко мне? Пусть пройдет».

Приходили с предложениями помощи. Какая-то бедная женщина принесла двести крон, отложенные ею на похороны; она решила пожертвовать их на Ламбарене, и доктор согласился взять их, потому что это не противоречило принципам человеческого Братства Боли. Рассказывали, что в Америке один миллионер предложил взять на себя все содержание Ламбарене, но Швейцер отказался: это противоречило бы его принципам самопожертвования и помощи.

4 ноября доктор Швейцер прочел свое нобелевское обращение. По мнению комментаторов, это было прежде всего обращение разумного человека, дающего здравые рекомендации. Он сказал, что после войны политиканы постарались скорее воспользоваться плодами победы, чем помочь побежденным и победителям залечить раны. И результаты этого не замедлили сказаться – была рождена новая военная ситуация.

Швейцер напоминает в своем обращении о стремительном развитии техники, главным образом техники военной. Развитие это привело к тому, что «человек стал сверхчеловеком».

Однако, предупреждает Швейцер, не забывайте, что «сверхчеловек этот самым роковым образом страдает духовным несовершенством. Он не обладает сверхчеловеческим разумом, который царил бы над этой сверхчеловеческой силой. Человеку нужен такой разум, если он намерен употребить обретенную им силу для добрых и осмысленных целей, а не для распространения смерти и уничтожения. Знание и мощь дали пока результаты, которые оказались скорее губительны для человека, чем полезны».

Швейцер обращает внимание слушателей на эти страшные результаты

деятельности недомыслящего и всемогущего «сверхчеловека»:

«Став суперменами, мы стали чудовищами. Мы допустили, чтобы массы людей – во вторую мировую войну число их достигло двадцати миллионов – были убиты, чтобы целые города с их обитателями были сметены с лица земли атомными бомбами, чтобы огнеметы превращали человеческие существа в пылающие живые факелы. Мы знаем об этих событиях из газет, но судим о них в зависимости от того, приносят они успех той группе наций, к которой мы принадлежим, или приносят успех нашим врагам. И даже соглашаясь, что подобные действия есть проявление бесчеловечности, мы оправдываемся, что события войны вынудили нас допустить это».

Швейцер утверждает, что, допуская такое развитие событий, мы «разделяем вину в варварстве» с другими. «Сегодня существенно, – пишет Швейцер, – чтобы мы все признали себя виновными в бесчеловечности».

В чем же, по Швейцеру, надежда мира и человека? В том, чтобы при помощи нового духа достичь «той высшей рассудительности, которая помешает безнравственному использованию силы, находящейся в нашем распоряжении».

Швейцер обращается к тем, кто держит в руках судьбу народа, обращается к нациям и индивидам, призывая их дойти «до наивысшей возможной ступени в своем стремлении сохранить мир друг с другом и дать духу человеческому окрепнуть для действия».

Только совесть индивида могла бы, по мнению Швейцера, в какой-то степени влиять на политику. Эта сила духа заключается в сострадании – в нем кроются корни и движущий импульс этики. В душе каждого человека, по мнению Швейцера, есть это горячее, нужна только искра.

Швейцер оптимист – «человеческий дух не мертв», «он живет тайно», он «в наше время способен создать новое умонастроение, основанное на этике».

«Мое глубокое убеждение заключается в том, – заявил Швейцер, – что мы должны отвергнуть войну по этическим мотивам, ибо она возлагает на нас вину в преступлении бесчеловечности». Как единственный оригинальный момент своей речи Швейцер отмечал лежащую в ее основе оптимистическую убежденность в том, что дух в наш век способен создать этическое мышление.

Швейцер зачитал согласно ритуалу свое обращение. Потом в соответствии с тем же ритуалом он поклонился королю Норвегии, но король сказал: «Это я должен вам поклониться». Потом на доктора набросились корреспонденты, которые требовали новых рецептов спасения

мира, и он предложил им «возрождение духа» вместо «успехов науки и техники» или хотя бы в дополнение к ним.

Мадам Швейцер спросили, что она думает о правах женщин. Она подумала мгновение и ответила:

«Мне всегда нравился обычай древних германских племен, согласно которому женщины стояли за линией боя и вручали своим мужьям оружие. Если перевести это на язык нашего времени, то женщина отдает мужчине то, что ему нужно, – хлеб, вино, свои мысли и свою любовь».

Швейцеру никогда не доводилось видеть торжеств, подобных тем, которыми чествовала его самого столица Норвегии. Норвегия видела такие торжества, пожалуй, только во второй раз (в первый раз она чествовала так Нансена). В субботу вечером Швейцера попросили встретиться с молодежью Осло в большом зале городской ратуши. Во время встречи в зале вдруг произошло волнение, и все устремились к окнам: из окон доктор Швейцер и Елена увидели факельное шествие студентов. Супругов попросили выйти на балкон, и многотысячная толпа заполнила площадь приветственными криками. Норвежские студенты 1954 года объявили «знаменосцем своего времени» не воителя, не полководца, а скромного, старомодного философа и врача. Доктор Швейцер был растроган. Назавтра он говорил поэту Максу Тау, что он мечтал о том, чтобы уважение к жизни стало когда-нибудь темой научной диссертации, но никогда не думал, что идея эта сможет взволновать целый народ. И все-таки он, по его признанию, предпочел бы, чтобы люди забыли, кто и когда сформулировал этот принцип, а просто взяли его на вооружение.

Супруги Швейцер вернулись в Гюнсбах в надежде отдохнуть от торжеств. Однако приближалось восьмидесятилетие доктора, и стало известно, что город Страсбург хотел бы достойно отметить этот день. И город Кольмар хотел бы достойно отметить этот день. И Гюнсбах с Гиршбахом не прочь были достойно и торжественно отметить этот день. А доктор был уже едва жив от торжеств.

Он укрылся в своем трудовом Ламбарене, так что Европеи Америке пришлось приветствовать его в этот день по радио. Они осыпали его наградами. Город Париж наградил его Большой золотой медалью. Английская королева удостоила его высшего английского ордена, а президент Хейс – немецкого. Кембридж присудил ему почетную степень доктора права. Что касается американского «Швейцеровского братства», то сюда в пользу Ламбарене поступило от рядовых американцев 20 тысяч долларов. Франкфурт, город Гёте, назвал именем Швейцера одну из своих улиц и собрал в пользу больницы 700 фунтов. Париж прислал 2 тысячи

фунтов. Княжество Монако выпустило швейцеровскую серию марок.

В Америке вышло специальное юбилейное издание со статьями друзей и поклонников Швейцера – Ганди, Эйнштейна и других. «Вряд ли мне доведется еще когда-нибудь встретить человека, – писал Альберт Эйнштейн, – в котором доброта и стремление к красоте так идеально дополняли бы друг друга». Эйнштейн писал, что Швейцер не предугадывал и во сне не видел того, что пример его станет образцом и утешением для людей. Он просто действовал по внутренней необходимости. «Я думаю, – заключал Эйнштейн, – что во многих людях есть неистребимое ядро добра. Иначе бы они никогда не поняли его простого величия».

Впрочем, чествования, которыми тешили себя Европа и Америка, никак не меняли образ жизни юбиляра. Больница Швейцера жила своей обычной трудной и осмысленной жизнью.

Черной африканской ночью на пристани в Ламбарене горит лампа. На свет ее плывут пироги из верховьев и низовьев Огове. Люди выходят из леса с носилками, на которых корчится от боли женщина. Когда случай требует срочного хирургического вмешательства, на пристани начинает работать электрический движок. Это как сигнал тревоги для врачей больницы.

Доктор Маргарет ван дер Крик, молодая красивая голландка, постучала в дверь доктора. Доктор еще не спит: он беседует с приезжим американским редактором о проблеме атомной угрозы. Доктор встает, извиняется:

– Как видите, наряду с общими проблемами есть еще индивидуальные...

У пациентки была внематочная беременность, и ее с трудом удалось спасти от смерти. Не зря спешили ее муж и брат по тропе, протоптанной к больнице через джунгли. Не зря протоптали до них эту тропу. Ралф Уолдо Эмерсон сказал когда-то: «Если человек написал лучшую книжку, прочел лучшую проповедь или изобрел лучшую мышеловку, чем его сосед, то к дверям его дома, даже если он поставит этот дом среди леса, мир непременно протопчет тропинку».

Только под утро Старый Доктор, «ля докторесс», сестра и санитар Жан-Клод уходят спать. Спать осталось немного. В половине восьмого завтрак, так что встать им надо еще раньше. Потом прием, хозяйственные работы, операции. Потом дневной отдых. Потом снова прием, снова хозяйственные работы. И наконец, свободное время: доктор работает у себя за столом. Потом ужин. Ужин начинается, когда все в сборе, кроме тех, кого задерживают неотложные дела. Именно в этот час нам лучше всего

рассмотреть нынешнее Ламбарене – Ламбарене 1956 и 1957 годов. Талантливый молодой дантист Фредерик Фрэнк и гостивший в Ламбарене американский публицист Норман Казинс дали в своих книгах неплохое описание больничной столовой. Здесь за длинным столом стоят две дюжины красивых европейских стульев крестьянского фасона, скопированных старым плотником-африканцем. На столе, накрытом безупречно белой скатертью, среди блюд – серые и синие глиняные кувшины с водой. Пицца простая, питательная и вкусная. Зажигают лампы. Потом собираются врачи. Доктор Швейцер приходит прямо из-за письменного стола, когда все в сборе. Он направляется к своему месту, сидит, сложив руки, и ждет, пока все сядут на свои места. Наконец все уселись, доктор прочел кратенькую молитву, все начали есть и разговаривать. Разговор течет за столом свободно, иногда вспыхивает смех. Доктор делает в начале ужина сообщение:

– Должен известить вас, что цивилизация во всем блеске своей славы пожаловала в Ламбарене. Сегодня всего в километре от больницы произошла первая автомобильная катастрофа. Во всей округе только два автомобиля, но сегодня произошло неизбежное: они столкнулись, и нам пришлось оказывать первую помощь шоферам. Если здесь есть человек, испытывающий уважение к автомобилям, он мог бы заняться и автомобилем.

Доктор ест с аппетитом, часто просит добавки. Однако, прежде чем взять себе еще, осматривает стол из-под густых бровей. Он хочет порадовать того, кто покажется ему особенно голодным. Отрезав полломтика ананаса или кусок рыбы, он пододвигает счастливицу и говорит: «Это для вас». Фрэнк пишет, что это отеческое приказание. Однажды, когда Фрэнк покончил с едой, доктор вспомнил, что его дантист очень любит чечевичный суп. «Я получил из его порции честно отмеренную половину, – пишет Фрэнк. – Я действительно очень люблю чечевичный суп, и я высоко оценил этот знак внимания, но мне, право же, трудно было доесть суп после фруктового салата...»

Пока доктор и его сотрудники увлечены своим незамысловатым ужином, давайте при мерцающем свете керосиновых ламп рассмотрим всех, кто довольно плотно (потому что сегодня здесь еще и гости) сидит вокруг стола. Слева от доктора эльзаска мадемуазель Котман. Она уже три с лишним десятилетия работает в больнице, знает здесь все, ей можно доверить хозяйство. Она беззаветно предана Ламбарене и доктору – точнее, делу Ламбарене и делу доктора. Справа – Али Сильвер, голландка, у которой, по словам того же Фрэнка, «лицо фламандской святой из алтаря

Ван дер Вейдена или герцогини с миниатюры де Лиона», – верный и очень способный секретарь доктора. Она сидит сегодня через два человека от доктора, потому что рядом с доктором – гость, молодой эфиопский дипломат, который возвращается после обучения в Гарварде. На той стороне стола привлекает внимание лик еще одной фламандской мадонны, удивительно тонкое и красивое лицо. Это «ля докторесс», доктор Маргарет ван дер Крик. Норман Казинс посвятил ей, наверно, добрую четверть своей книги о Ламбарене и, наверно, добрую треть отобранных для этой книги фотографий. Красота Маргарет заслуживает этого. Она родилась и выросла в Голландии. Отец у нее – художник, мать – поэтесса. Она еще в детстве мечтала о медицине. Вероятней всего, ею руководило стремление, сходное с тем, какое охватило полстолетия назад молодого Альберта Швейцера, – отплатить за безмятежное счастье своего детства, за здоровье, красоту, за радость своего мирного дома; отдать себя тем, на чью долю выпали горе и страдания. Теперь она работает здесь и пользуется большим авторитетом у пациентов. Рядом с Маргарет высокий черноусый человек. Это доктор Фридман. Говорят, что он очень похож на тридцатилетнего Швейцера. Впрочем, его путь в Ламбарене был куда более трагичным. На руке его выжжен номер нацистского концлагеря, где он потерял всех близких. Выжив чудом, он приехал в Ламбарене. Самые дотошные из журналистов пишут, что он влюблен в Маргарет: что ж, это было бы не удивительно...

Рядом с доктором Фридманом еще одна голландка, сестра психиатрического отделения Альбертина, тоже красивая, высокая, рыжая, зеленоглазая. Она надолго приехала в Ламбарене, в ней очень силен дух подвижничества. Это настоящая интеллигентка и интеллектуалка, знаток литературы, музыки, театра. В джунгли она привезла с собой любимый инструмент – старинную лиру. Рядом с Альбертиной светловолосая, сероглазая, очень живая, неунывающая юная швейцарка – Труды Бохслер. Ее называют «девушка с фонарем», потому что черным габонским вечером Труды идет одна из больничного поселка в деревню прокаженных, и тогда фонарь этой бесстрашной девушки одиноко мерцает в поле и за плантациями. Прокаженные ребятишки поют у нее в хоре, вся деревня разыгрывает пьесы. Фрэнк пишет, что энергичная двадцатипятилетняя Труды «повелевает, усыновляет, лечит, шлепает, утешает, балует». Рядом с Труды еще одна красивая, высокая девушка. Это Ольга, любимая дочь сэра Генри Детердинга, мультимиллионера, нефтяного магната, из-за интересов которого, если верить старым газетам, началась первая, а может, также и вторая мировая война. Даже если верить газетам, Ольга тут ни при чем. Она путешествовала с друзьями по Африке в «джипе». Когда «джип»

поломался, она отстала от друзей и вдруг объявилась в Ламбарене, где ей подыскали какую-то работу на кухне, а потом в прачечной. С тех пор она стала частой гостьей в больнице. Поначалу она не говорила, кто она, но в печать скоро просочилась информация о ней, и Ламбарене засыпали телеграммами. Ольга просила доктора никого не пускать, но в Ламбарене из двух концов света – из Японии и Франции – без всякого разрешения прибыли корреспонденты. Ольга не хотела с ними видеться, и доктору пришлось просто водить их по больнице, причем они обыскали здесь каждый уголок. Ольга чистила рыбу на кухне и даже улыбнулась им, когда они заглянули туда, но они ее не узнали. Доктор был раздражен, что пропал почти целый день, но, рассказывая об этой истории Казинсу, он все же нашел во всем этом юмористическую сторону:

– Они тщательно обошли больницу. А напоследок, чтобы их занять чем-нибудь, я прочел им лекцию по философии. Это была хорошая лекция. Впрочем, я не уверен, что они были в философском настроении.

...Рядом с Ольгой за столом высокий худой англичанин, доктор Кэтчпул. Если верить тому же дотошному корреспонденту (Дж. Макнайту), Кэтчпул и Ольга собирались пожениться и открыть новую больницу, подобную больнице доктора Швейцера. Доктор Кэтчпул прекрасно описан в книге Фр. Фрэнка, и, поскольку он являет собой фигуру, характерную для ламбаренской больницы, хотелось бы привести здесь хотя бы частично это описание:

«Доктору Кэтчпулу тридцать два, но выглядит он на все сорок. Он английский квакер и приехал сюда на шесть месяцев, но проработал уже два года. Он, вероятно, и когда приехал, не был толстым, но с тех пор потерял еще тридцать пять фунтов, и длинные волосы его поседели до времени... В каждом его движении заметен самый глубокий интерес, как профессиональный, так и человеческий, чисто личный, к каждому, самому жалкому существу, принесенному сюда из джунглей. Я думаю, он и худеет оттого, что отдает им не только свое искусство медика, но и всего себя... Несправедливость и просто равнодушие он воспринимает как личное оскорбление. Он, кажется, физически неспособен отличить черный цвет кожи от белого. Он воистину воплощает тот дух братства и уважения к жизни, с которым связывают имя Швейцера. Если он, когда-нибудь, упаси боже, прочтет эти слова, он, без сомнения, стукнет кулаком и буркнет: „Вот уж чушь собачья!“

...Вот какой человек сидит сейчас рядом с Ольгой Детердинг, а по правую руку от него – маленький японец, врач больницы для прокаженных, доктор Такахаси, о котором все говорят, что это ни больше ни меньше, как

святой человек и великий подвижник. Рассказывают, что, когда доктор Такахаси приехал сюда, он знал лишь несколько немецких слов и все время повторял их: «Я хочу служить. Ничего не надо, только служить здесь». Он остался, и самоабвенный труд его в лепрозории не назовешь иначе как служением. Сейчас он совсем неплохо говорит по-немецки.

Разговор за столом течет теперь вольно, перескакивая с предмета на предмет. Доктор погружен в себя – у него переход этот бывает мгновенным. Он барабанит пальцами по скатерти, может быть, проигрывает что-то. Вдруг обрывок разговора долетает до него, и он вставляет деталь, свидетельствующую о его большой компетентности во многих вопросах – в медицине, политике, фармакологии, музыке, металлургии, теологии, архитектуре. Если спросят о кофе, он переспросит, о какой именно разновидности вы спрашивали, назовет вам минимум три ботанические разновидности, сообщит об их происхождении и точных границах их распространения на земле. Фр. Фрэнк пишет, что «память его является усовершенствованной электронносчетной машиной». Он не только помнит дословно лекцию своих студенческих лет, бесчисленные факты из разных областей или исторические анекдоты, он помнит в свои восемьдесят четыре года мелкую подробность, о которой кто-то случайно упомянул в разговоре три недели или двадцать лет тому назад. Фр. Фрэнк рассказывает, как однажды, вскоре после своего приезда в Ламбарене, он сказал доктору Швейцеру, что был одним из его слушателей в Эдинбурге в 1936 году. «Это, кажется, было ему приятно, – пишет Фрэнк, – через три недели он как-то сослался на то, что он говорил в этой лекции.

– Вы помните? – сказал он. – Вы должны помнить, ведь вы были там...

Конечно, я очень смутно помнил все, что он говорил в Эдинбурге, и признался ему в этом.

– По совести, – сказал я, – помню только, что усы у вас тогда были еще очень черные и что на вас был сюртук в стиле а-ля принц Альберт.

– Конечно, – сказал Швейцер, – я всегда надеваю его в торжественных случаях. Это самая практичная одежда на свете. Насколько я знаю, – добавил он педантично, – во Франции его носят незастегнутым, но в Германии не застегиваться – признак дурного тона.

– Сюртуки в стиле принца Альберта больше не носят, – обронил я.

– А жаль, – подхватил Швейцер, – такая практичная одежда. Я заказал свой, когда должен был играть в Барселоне для короля Испании на органе.

– Когда же это было? – спросил я.

Он задумался на мгновение.

– В 1905-м, да, в 1905-м. Или в 1906-м? Очень хорошо помню, как я

сказал своему другу, портному из Гюнсбаха: «Ты должен сшить мне сюртук, потому что мне придется играть перед королем Испании». Он был очень озадачен: «Ты что хочешь сказать, Альберт, что я должен сшить тот самый сюртук, в котором ты будешь играть перед испанским королем? – Но потом добавил с серьезностью: – Хорошо, я постараюсь». И получился действительно замечательный сюртук, очень прочный сюртук. Я всегда надевал его по торжественным дням. Конечно, с собой у меня его нет, так что я вам не смогу его показать, в Африке ведь он ни к чему. Я его держу в Гюнсбахе. Конечно же, я надевал его, когда читал лекции в Эдинбурге, когда получал премию Гёте, когда получал Нобелевскую премию, когда английская королева вручала мне орден.

Тут уж я не выдержал:

– Вы что хотите сказать, что вы все еще носите тот самый сюртук?

– Ну конечно. – Он возмущенно посмотрел на меня. – Да он еще двести лет может носиться».

Впрочем, разговор о сюртуке состоялся в другой раз, за обедом, а во время того ужина, который мы взялись описать, за столом присутствовал гость, молодой эфиопский дипломат, и за десертом Швейцер вежливо спросил у гостя, есть ли у них в Эфиопии какие-либо полезные ископаемые. Дальше излагаем по книге Ф. Фрэнка:

«– Немного, – ответил темнокожий юноша, и я перевел его на немецкий.

– Может, есть золото? – упорствовал Швейцер.

– Нет, сэр, золота нет, – ответил юноша.

– Вам повезло, – сказал Швейцер. – Но, может быть, все-таки есть нефть?

– Насколько я знаю, нет.

– Прекрасно. Поздравляю вас, – сказал Швейцер. – Вас оставят в покое на некоторое время.

В тот же вечер молодой человек пришел попрощаться с шефом, который медленно писал что-то при свете керосиновой лампы. Мне снова пришлось переводить им. Сначала Швейцер с серьезностью надписал фотографию, которую от него неукоснительно требуют. Потом он решил записать для себя имя и фамилию посетителя. Эфиоп протянул ему визитную карточку.

– Простите, – сказал старший из собеседников. – У меня таких нет. Я убедился, что могу без них обходиться.

Он стал искать свою адресную книгу. Как и все его блокноты, она самодельная, из каких-то листочков, сшитых веревочкой. Он листал ее,

бормоча: «Алжир, Чили, Германия», – но Эфиопии найти не мог. Он нахмурился и начал все сначала, пока не отыскал место, где были записаны его эфиопские друзья – в разделе «Абиссиния». Он медленно переписал туда адрес.

– Лучше, чтобы все было правильно, – сказал он, глянув поверх очков. – Никогда не знаешь, где тебе это вдруг однажды понадобится. Например, когда станешь беженцем.

– Из чего вы заключили, что вы можете стать беженцем, герр Швейцер? – спросил я, улыбаясь.

Он взглянул на меня с полной серьезностью, но огонек все же промелькнул в его глазах:

– Кто может знать в наш век, откуда ты будешь бежать и куда?»

Норман Казинс во время своего визита предложил Швейцеру переснять для сохранности рукопись его философского тома о царстве божием. И, увидев эту рукопись, он ахнул: это были листки самых разнообразных типов и размеров – как правило, деловые бумаги, устаревшие бланки колониальной администрации, счета с лесоторговой фирмы, листки старого календаря и даже старые письма, на оборотной стороне которых был справа чернилами написан текст книги, а слева размещались карандашные заметки, которыми Швейцер обычно начинает работу. Казинс не считал эту странную экономию старческим чудачеством: он пишет, что экономия эта была последовательной. Швейцер ведь брился без мыла и шампуня, потому что когда-то мыло и шампунь считались роскошью. Он ездил по железной дороге третьим классом, «потому что не было четвертого». Это не создавало для него особых неудобств, он не видел проку в роскоши. Он был нонконформистом и не считал для себя обязательными предрассудки современной моды, неудобные массовые удобства, а также «удобные», но закабляющие человека усовершенствования быта. Швейцер выдерживал этот принцип и в собственной жизни, и в больничном быту, что вызывало ярость поклонников западного прогресса, а также черную зависть журналистов, которые считали это удачным рекламным трюком, а самого доктора «гением рекламы».

Ф. Фрэнк вспоминает, что, когда он увидел, как Швейцер в 1949 году сходит по трапу «Нев Амстердама» в негнущемся черном костюме, поношенной шляпе и с каким-то деревенским зонтиком под мышкой, он подумал, «что человек этот выработал свой стиль. Он все время играет Альберта Швейцера».

«После того как вы две минуты понаблюдаете за Альбертом

Швейцером, – продолжает Ф. Фрэнк, – вы поймете, что он никого не играет. Он и есть Альберт Швейцер. Негнувшийся черный костюм, вероятно, соорудил его друг в Гюнсбахе в 1910 году. В Африке он носит шлем, старые, но всегда чистые брюки цвета хаки и белую рубаху. Поскольку костюм его не снашивается, зачем же он будет покупать новый? Он совершенно не думает о таких пустяках».

Фрэнк, конечно, прав, и все разговоры о саморекламе порождены завистью журналистов (так же, как и их рассуждения о популярности старого ламбаренского доктора у прекраснейших женщин мира). Мы еще остановимся на этом позднее, а пока вернемся в Ламбарене 1957 года, где гостил в это время популярный американский публицист и редактор Норман Казинс.

У Казинса были свои планы в отношении Швейцера. Он хотел, чтобы доктор высказался по вопросам войны и мира. Швейцер готов был признать, что проблема мира отодвигает сейчас на задний план многие другие проблемы, но снова и снова повторял, что всю жизнь принципом его было – держаться в стороне от политики и как можно реже высказываться по политическим вопросам. Казинс проинформировал Швейцера о новых наблюдениях ученых над действием облучения на человеческий организм. Да, Швейцер присутствовал недавно на встрече лауреатов Нобелевской премии в немецком городке Линдау, где много было разговоров об атомной опасности. Он и сам много думал сейчас об этом, но верность старому принципу до сих пор останавливала его. Он сказал Казинсу:

«Всю мою жизнь я старался воздерживаться от заявлений по общественным вопросам... Не потому вовсе, что я не интересовался международными делами или политикой. Мой интерес к ним и озабоченность ими очень велики. Просто я чувствовал, что мои отношения с внешним миром должны произрастать непосредственно из моей работы и моей мысли в области теологии, философии или музыки. Я пытался скорее искать подход к проблемам всего человечества, чем ввязываться в противоречия между той или иной группировкой. Я хотел быть человеком, который говорит с другим человеком».

Разговоры с Казинсом и собственные размышления над губительными для всякой жизни последствиями атомных испытаний растревожили Швейцера. Он очень ясно представлял себе, как это может произойти и как это произойдет в недалеком будущем, если верх не одержат дух человечности и духовность в людях. Люди легкомысленны, они не хотят думать о завтрашнем дне. Они слышат речь благородного ученого, не доверяют которому у них нет оснований. Но так как то, что он говорит,

раздражает их, заставляет думать, выводит из сферы повседневной суеты, люди стараются забыть то, что он говорит им, отмахнуться от необходимости действовать. «Это все страхи, – говорят они, – это все преувеличения». Так они говорили, слыша об оскудении и упадке их цивилизации; потом они увидели наяву, как из этой бездуховной цивилизации вызревает кровавая фашистская диктатура с массовым оглушением народов и колючей проволокой концлагерей. Швейцер понимал, что теперь людям предстояло увидеть наяву, как у них начнут рождаться уроды-дети и уроды-внуки, чудища без рук, без ног, слюноточивые дебилы и олигофрены всех сортов. И он с горечью отмечал, что, пока люди не увидят их, каждый в своей семье, до тех пор они будут допускать и даже приветствовать испытания самых славных, самых братоубийственных бомб...

В конце концов Швейцер сказал Казинсу, что проблема атомных испытаний выходит за рамки обыкновенной политики. Это касается всех людей, и он не может молчать. Он должен выступить.

«Человеческому разуму просто трудно постигнуть размеры этой опасности, – сказал он Казинсу. – Проходит день, за ним другой, по-прежнему восходит и заходит солнце, и упрямая последовательность Природы словно бы вытесняет подобные мысли. Но мы забываем, что Солнце будет всходить по-прежнему, Луна, как прежде, плыть по небу, но человечество может создать здесь ситуацию, в результате которой Солнце и Луна будут взирать на Землю, лишенную всякой жизни».

Так что же нужно сейчас? Прежде всего, конечно, «не успокаиваться, не лгать себе, не лгать людям, не поступаться страшной правдой ради копеечной политической выгоды». (Он-то знал, что именно так все и происходит в мире, и его не могли обмануть «успокаивающие» заверения продажных «экспертов» из Пентагона.)

«Мы должны найти способ повысить в людях сознание опасности, – сказал Швейцер. – Нет причин для того, чтобы народ не знал, каково его положение. Время от времени правительство успокаивает народ, но и это лишь после того, как он вдруг начинает проявлять беспокойство. Прежде всего необходима настоящая информация. Нет ничего, что знало бы правительство о природе этой новой силы и чего не следовало бы знать народу». Правительство США сразу же отреагировало на это обвинение...

...Швейцер начинает еще внимательней изучать материалы об атомных испытаниях, о последствиях радиации. Ко многим трудам и заботам старого ламбаренского доктора прибавилась еще одна великая забота.

Казинс беседует с мадам Швейцер. Это, наверное, последняя запись о

ней. Елена с трудом передвигается, пользуясь палочкой, или сидит на терраске. Она расстроена тем, что болезнь скрючила ее, сковала ее движения.

«Я бы должна была работать вместе с Доктором, – грустно говорит Елена. – Он удивительный человек. Мне, право, кажется, что сейчас он работает еще больше, чем двадцать лет назад. А двадцать лет назад я все боялась, что он убивает себя работой».

Елена обсуждает с Казинсом международные дела и вздыхает:

– Как ужасно, что едва мир отделается от чудовища вроде Гитлера, как уже другое чудовище тут как тут, ждет, чтобы занять его место... Люди позволяют себе под влиянием таких чудовищ совершенно меняться. Я видела, как это происходило со многими знакомыми в Германии. Я видела, как люди менялись. Как приличные люди превращались в убийц и садистов...

Вечером, после ужина, Казинс снова беседует со Швейцером. Они говорят о теологии, о философии, о боге. Швейцер заявляет Казинсу, что бессмысленно ждать, что бог сам будет предотвращать несправедливости по отношению к человеку. Как можно придерживаться концепции о боге, который вмешивается в человеческие дела на стороне справедливости, после всего, что произошло в последнюю войну, – после всех ее убийств и несправедливостей, после концлагерей, где были газовые камеры, после преследования религиозных меньшинств? Существование зла и его торжество означают, что человек несет ответственность за зло, должен бороться с ним, а не сидеть, сложа руки и ожидая божественного вмешательства.

Вернувшись в Америку, Норман Казинс написал книгу «Альберт Швейцер из Ламбарене». Казинс подчеркивает самое сильное свое впечатление от Швейцера – ощущение, что это человек, который научился реализовать себя полностью.

Книга Казинса, так же как фильм Андерсон, получивший Оскарскую премию, как десяток монографий о Швейцере, как анкеты журналов, письма сторонников Братства Боли и новые почести, свидетельствовала о том, что ламбаренский доктор на девятом десятке жизни стал легендой в мире бездуховной цивилизации буржуазного Запада, стал образом, к которому тянулось все живое, все неудовлетворенное, ищущее, беспокойное.

В этом смысле интересна также история финансового успеха ламбаренской больницы в Америке. Почта «Швейцерского братства» в Америке являла собой трогательную, хотя и пеструю картину. Обитатели

дома престарелых прислали в пользу Ламбарене двадцать пять центов – четверть доллара; в те же дни поступил чек от какого-то незнакомого техасца на 9 тысяч долларов. И еще – чек от нью-йоркского бизнесмена на 27 тысяч долларов, а также чек от какой-то неизвестной женщины из Индианаполиса на 5 тысяч. Впрочем, все эти пожертвования, и большие, и малые, были просто мелочью в сравнении с потоком пожертвований, который вызвало письмо тринадцатилетнего негритянского мальчишки Бобби Хилла. Он решил послать в больницу Швейцера бутылочку аспирина и, движимый мальчишеской фантазией, написал генералу авиации, прося сбросить эту бутылочку, пролетая над Ламбарене, среди джунглей. Корреспондент итальянского радио, которому попалось на глаза это письмо, сделал заметку для радио. Заметка понравилась, ее передали на трех языках. Слушатели включились в действие – каждый посылал свою бутылочку аспирина или ее эквивалент. В конце концов пришлось действительно нанимать итальянские и французские самолеты, которые привезли в Ламбарене четыре с половиной тонны медикаментов и самого Бобби Хилла. Мальчику доверили передать доктору собранные «аспиринные» деньги – 400 тысяч долларов. Однако Америка не успокоилась. Через год транспортный самолет снова сел в Ламбарене, и тот же Бобби Хилл передал доктору еще тонну медикаментов и чек на 100 тысяч долларов.

Швейцер не имел ко всей этой шумихе прямого отношения. «Никогда не думал, что ребенок сможет сделать для нашей больницы так много», – сказал он. И вернулся к своим прокаженным, к своей больнице и нелегким размышлениям над судьбой беспечного мира, который на всех парах мчался в свое прекрасное будущее, накапливая для него ядерные бомбы и смертоносные радиоактивные осадки.

Швейцер приходил к мысли, что он больше не имеет права молчать. Он решился изменить своему принципу уклонения от политических высказываний. Он решил выступить.

Глава 19

24 апреля 1957 года комитет по Нобелевским премиям в Осло раздал для опубликования и передачи по радио обращение Альберта Швейцера, названное «Декларацией совести».

Швейцер знал, на что он идет. Он видел, как резко переменялся тон буржуазных журналистов, писавших о нем. Он больше не был для них безобидным стариком, непонятно почему презиравшим нынешнюю цивилизацию. Это был человек, активно вмешивавшийся в политику гонки вооружений, в махинации западной «обороны». Этот человек требовал немедленно информировать народы о катастрофическом состоянии атмосферы, об угрозе, нависшей над людьми, над их потомством, над внуками и особенно над правнуками. Восемнадцатилетний мальчик, плавающий на подводном атомном «Полярисе», может не думать о своих будущих детях. Зрелому мужчине труднее не думать о внуках, о том, что они могут родиться уродами и уже почти наверняка не смогут сами иметь детей, потому что третье и четвертое поколения уже сейчас находятся под угрозой радиации: это было ясно к концу пятидесятих годов, и об этом не уставал говорить Швейцер.

Врачи ламбаренской больницы рассказывали, что Швейцер, все более критически относившийся к американской политике ядерного вооружения, часто упоминал теперь о шагах Советского Союза в области разоружения. Об этом же с яростью писал английский журналист-международник, отмечая, что Швейцер «подчеркивает более человеческое и вообще более достойное дело Советской России по сравнению с Западом», чью политику он называл то «воинственной», то «опасной».

Новое воззвание Швейцера было обращено и к США, и к Советскому Союзу. Он призвал правительства этих стран немедленно прекратить ядерные испытания.

«Мы не можем взять на себя ответственность за последствия, которые это может иметь для наших потомков, – заявляет Швейцер, – им угрожает величайшая, ужаснейшая опасность. Мы должны остановиться, пока не стало слишком поздно. Мы должны сконцентрировать всю свою дальновидность, всю серьезность и мужество, чтобы... взглянуть в лицо реальности».

В ответ на выступление Швейцера заверещали, заурчали хорошо поставленные баритоны и тенора; «вечные перья» стали изливать на бумагу

однодневные порции лжи и полуправды; ученые среднего ранга, находящиеся на жалованье у государственных учреждений Запада, сели перед камерами телестудий, чтобы успокоить публику и не позволить военным бюджетам прогореть.

У Швейцера была солидная репутация в западном мире (у нас его тогда знали еще совсем мало), ему верили простые люди, к нему могли прислушаться. И те, чей безмятежный сегодняшний труд, чья политическая карьера, годовые прибыли или квартальные премии прямо или косвенно зависели от грядущего уродства и гибели поколений, зашевелились, завозились и издали успокоительное верещание по всем каналам телевидения, радио и прессы. Комиссия по атомной энергии США немедленно откликнулась на предупреждения Швейцера открытым письмом за подписью доктора Уилфреда Ф. Либби. Доктор Либби увещевал «беспокойного» Швейцера. Он вываливал на его голову научные данные и клялся святой Наукой, что последствия радиоактивных осадков будут практически «несущественны». Пусть доктор Швейцер взвесит по достоинству тот «небольшой» риск, какой представляют радиоактивные осадки, и тот огромный риск, какому подвергает себя мир, «если не поддерживать нашу оборону против тоталитарных сил в мире». Лукавый доктор Либби льстил Швейцеру, выражая надежду, что «у него хватит интеллектуальной силы и цельности, чтобы доискаться до правды, где бы она ни была скрыта».

Повторялась старая как мир история. Доктор Либби надеялся, что у него самого родятся в этом отравленном мире нормальные двуногие внуки и даже правнуки. А может, он был вообще бездетен и не хотел заглядывать в будущее. Или хотел успокоить и себя заодно. У Швейцера хватило интеллектуальной цельности не поверить «научным данным» доктора Либби, а разобраться в предупреждениях Лайнуса Полинга и других виднейших ученых мира.

Еще меньше внимания обратил Старый Доктор на американскую прессу, совсем недавно обходившуюся с ним так почтительно. «Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт» заявил, что «Декларация» Швейцера играет на руку коммунистам. И что Швейцер, сам того не ведая, позволил себе поддаться «неточным пропагандистским данным друзей России». Швейцер знал, что среди друзей Москвы поочередно оказывались теперь то Полинг, то Неру, то Бертран Рассел – в общем, все, кто мешал крепить «оборону» и подкармливать разведку.

В английской парламентской говорильне тоже раздались голоса нескольких воинственных подагриков. Старым воякам не терпелось

испытать еще и свою, английскую бомбу, внести посильный вклад в отравление мира. И вот в парламенте выступил виконт Черуэлл. Он ссылаясь на английских и американских специалистов, имеющих, мол, доступ к секретным данным. Как участковый полисмен, почтенный парламентарий намекал, что начальство, мол, все лучше нас знает, и выражал удивление, что «люди, занимающие столь высокое положение, но не имеющие научных знаний и точной информации», отмечают все эти начальственные соображения и позволяют себе высказываться по столь сугубо научным вопросам, как судьба потомства. Швейцер, как всегда, совершенно спокойно перенес нападки прессы. Он даже не обернулся в сторону критиков. Что взять с этого мира Молоха, приготовившегося сожрать внуков и правнуков?

Май 1957 года принес ему печальную весть. В частной больнице в Цюрихе умерла Елена. Он перевез ее прах в Африку и похоронил под окном. Теперь здесь стояло уже два простых деревянных креста. Эмма Хаускнехт умерла год назад в Эльзасе, и прах ее тоже был перевезен в Ламбарене, которому она отдала большую часть жизни...

Елена умерла. Сколько лет прожили они в разлуке?.. Вероятно, она не стояла на первом месте в его жизни. Первой была больница. Потом были еще теология, музыка, философия. Журналисты-критики (их теперь становилось все больше), вторгаясь с гиппопотамьим изяществом в его семейную жизнь, помещали доктора на скамью подсудимых: он был жесток к Елене, холоден к их дочери и внукам. Так ли это? Как знать...

Когда Елена выходила за него замуж, она разделяла его одержимость: они оба хотели отдать себя страдающему человечеству. Ее здоровье не выдержало жестоких условий габонских джунглей. Кто из людей, одержимых идеями, не причинил страданий своим близким? Разве нет жестокости в том, что сказал Ганди врачу у постели умирающей жены: «Я никогда не позволю, чтобы жене давали мясную пищу, даже если бы отказ от нее означал смерть»? Разве нет жестокости в страшных словах, приписываемых Будде: «Место нечистоты есть дом»?

Верный друг и помощник Швейцера, его нежная и мужественная Елена покоилась теперь в сердце джунглей под деревянным крестом. Доктору шел уже девятый десяток, и он решил сам сколотить себе на досуге такой же вот грубый деревянный крест с такой же короткой надписью, как эти две: «Эмма Хаускнехт (1956, Страсбург)» и «Елена (1957, Цюрих)». На третьем кресте будет просто: «Альберт Швейцер». Обретший жизнь должен ее утратить. Счастье умереть тихо, без страданий, как умер любимый его Парсифаль. Швейцер сказал тогда над недвижимым

старым пеликаном: «Смерть без страданий всегда прекрасна».

Глядя в Гюнсбахе на опадающие листья старого сада, доктор проговорил: «Вот так бы должны умирать люди – естественно, спокойно, без боли».

Умерла Елена. А что значит «умерла»? «Этого мы не знаем, – писал Швейцер. – Пока человек живет в нашем сердце, он жив».

Когда доктор поднимал глаза от работы, он видел под окном деревянный крест. Он выходил на террасу. Немой сапожник улыбался ему, склонясь над куском резины. Он резал из автомобильных камер сандалии для пациентов и персонала. Швейцер давно уже уговаривал своих пациентов не ходить босиком и носить сандалии, но габонцы предпочитали модные туфли или традиционное босоножье. И только когда в европейских журналах мод стали появляться роскошные дамы в сандалиях, агитация Швейцера неожиданно возымела успех. «Хоть раз в жизни могу поблагодарить европейских модниц», – говорил он. С той поры на его террасе и появился немой работяга сапожник.

Доктор часто ходил в деревню прокаженных. В деревне всегда не хватало врачей, сестер, санитаров, но те, кто работал здесь, были одержимы своей работой. Журналисты и романисты охотно писали о швейцеровских «лепрофилах», об исступленных женщинах, которые, подобно евангельской героине, скорее готовы отереть ноги волосами, чем прибегнуть к более гигиеническим средствам. Однако, независимо от того, существовала ли «лепрофилия», исступленный труд доктора Такахаси и Труды Бохслер был проникнут высокой любовью к страдающему человеку.

Дорога из лепрозория вела через плантации, где работали выздоравливающие. Возвращаясь, доктор всегда с удовлетворением оглядывал свои Сады Эдема. И африканцы и белые в его больнице получали теперь вдоволь фруктов. Каждое посаженное дерево умножало жизнь, способствовало жизни. Природа щедра, она отзывается на ласку трудолюбивой руки. Если бы только удалось научить африканцев выращивать овощи и фрукты, делать дома и одежду, оберегать себя от голода и холода! Но европейские доброжелатели предпочитали учить их обращению с современным оружием, внушали им националистические лозунги, после чего племена до основания вырезали друг друга новейшим или списанным в других армиях, но еще вполне смертоубийственным оружием.

Швейцер позволил себе всего два или три раза за полстолетия поделиться своими мыслями о будущем Африки. Он бичевал колониализм и тех благожелателей из иностранных парламентов и разведки, которые

хотели одним махом (чаще всего поставкой оружия или политическим переворотом) решить все африканские проблемы. Швейцер пытался обобщить свой опыт: это были здравые, вполне старомодные мысли, так что радикалы с ходу зачисляли его в число колониалистов.

А что, собственно, писал Швейцер в этих статьях? Он говорил, что независимость африканцев «была утеряна в тот самый момент, когда первый корабль белых прибыл сюда с порохом и ромом, солью и тканями. С этого момента социальный, экономический и политический уклад страны идет прахом. Вожди начинают распродавать подданных за товары».

Швейцер подтверждает основные права африканцев. Во-первых, «человек имеет право жить там, где протекала вся его жизнь, и никто не имеет права перемещать его». Для Африки это актуальнейший пункт, а «колонизация все время ставит это право под угрозу». Нельзя вытягивать африканца из деревни: «Африканец теряет свою жизнеспособность и гибкость, как только вы забираете его из деревни. Это самый укорененный человек на свете». Африканцы должны пользоваться полной свободой передвижения, а колониальным властям угодно ограничить это право и держать подданных в рамках государственных границ. Африканцы должны иметь неотъемлемое право на землю и природные богатства, а предприятия захватывают все новые земли. Человек имеет право распоряжаться своим трудом как ему угодно, а в колониях все чаще вводятся разного рода трудовые повинности. Швейцер не верил в воспитующую силу принудительного труда и со всей смелостью заявлял об этом еще в двадцатые годы. К изумлению европейских прогрессистов и миссионеров, Швейцер пишет о «величайших достоинствах» африканского племенного правосудия: суд здесь творят на месте, быстро, на глазах у всей деревни. Несправедливости негибкого и неопытного белого суда, низкие его моральные достоинства гораздо более вредны для дела, чем несовершенства суда местного. В связи с проблемой правосудия Швейцер высказывает одно из своих давних наблюдений об Африке: «Мы имеем здесь дело не с нациями, а с племенами».

Швейцер говорит в своих книгах и статьях о праве африканцев на естественную национальную организацию, об их праве на образование. Африке угрожает выпадение стадии между примитивным состоянием и интеллигентным трудом. Надо научить африканца выращивать продукты питания, строить жилища, говорит Швейцер, нужно возродить сельское хозяйство и ремесла, а не учить африканцев носить белые воротнички и стрелять из пулеметов.

Более поздняя статья Швейцера возвращалась к этой мысли.

Воспитание и образование должны развивать в африканце те же черты, что в белом, а именно – «серьезность, верность, чувство ответственности, честность, надежность, любовь к труду, преданность своему призванию, благоразумие в ведении материальных дел, независимость», то есть те самые черты, «которые и составляют характер в лучшем смысле слова». Условия для воспитания этих черт здесь еще менее благоприятные, чем в Европе. Влияние мировой торговли проникает в джунгли, ведет к упадку ремесел. Труд, который выпадает на долю африканца, безрадостен. Африканец выходит на арену в эпоху борьбы за власть и бурной политики. Индивид втянут в них и не имеет условий для развития. Швейцер считает, что главной проблемой эмансипации должно быть усвоение идеи ближнего, идеи братства. Это нелегко при существующей здесь враждебности к представителям другого племени. Разгораются политические страсти, и старая вражда вспыхивает с новой силой, на новом, оснащенном цивилизацией уровне.

Швейцер с удивительной точностью предсказал все, что произошло потом в соседнем Конго. Он предсказывал распри и братоубийственную резню в других частях Африки. Он воспринимал африканские проблемы во всей их сложности, как человек, любящий этот континент, которому посвятил полвека, как человек, незнакомый с быстротекущей политической терминологией, но знакомый с реальными проблемами африканской жизни. Как философ, исповедующий уважение к человеку и к его жизни.

Швейцер прозорливо предупреждал о том, что свобода, приобретаемая народами Африки, будет свободой, ограниченной до тех пор, пока страны эти не обретут экономической независимости на здоровой экономической основе.

Швейцер понимал, что, наверное, самым дремучим и темным из того, что касалось «темного континента», было невежество белого человека в отношении этого континента. Швейцер призывал к кропотливому и самоотверженному труду этической личности на страждущей земле. Он опасался кровавых потрясений, которые каждый раз отбрасывали его пациентов еще глубже во тьму джунглей, туда, где слоны вытаптывали последние посевы, где тайные общества выходили из зарослей под мраком ночи, где гнили хижины брошенных деревень.

Обо всем этом часто думал Старый Доктор, возвращаясь из деревни прокаженных мимо любовно взлелеянной им плантации. С «верхней» дороги, ведущей от лепрозория, открывалась даль девственных лесов и синие просторы Огове.

Заметив на горизонте облако, Старый Доктор кричал рабочим, чтоб

немедленно уходили домой: все они заражены малярией. Сам он тоже спешил к больнице, сжимая под мышкой старенький зонтик, и озабоченно думал. Откуда это странное облако в сухой сезон? Нет, право, климат Ламбарене меняется. Он не помнил таких дождей в 1915, в 1925, в 1935 и даже в 1945 годах. Может, это связано с ядерными испытаниями? Тогда надо выяснить это немедленно. Да какое они имеют право ставить под угрозу крестьянские посевы?! Впрочем, что им до посевов, если их не смущает, что уже сегодня коровы едят отравленную траву, дети пьют отравленное молоко, рыбаки ловят отравленную рыбу, человечество пьет отравленную воду, женщины все чаще и чаще рожают убудков! Политиканам нужно пугать противника, генералам бряцать ядерными взрывами ценой в миллиарды долларов. Как всегда, с горечью усмехнулся Швейцер, копейки на здравоохранение, копейки на благоустройство деревень – миллиарды на бомбу. Газеты полгода звонят о какой-нибудь новой больнице или школе и походя сообщают о взрыве, который обошелся в десять тысяч больниц и принесет в будущем этой единственной больнице дополнительно сто тысяч пациентов. «Цивилизация» была в зените, и бедные земляне все еще не понимали, что это последняя цивилизация, другой уже не будет, ни лучшей, ни худшей, а будет одна могила для белых, черных, красных...

По инициативе Лайнуса Полинга группа ученых обратилась в ООН. Они требовали немедленно прекратить ядерные испытания в атмосфере. На этот раз доктору Либби, находившемуся на службе в казенной комиссии, пришлось бы туго, если бы он вздумал ответить. Что до виконта Черуэлла, то ему не пришлось бы жаловаться на неосведомленность паникеров. Под петицией стояли подписи более девяти тысяч видных ученых из сорока четырех стран мира. Среди тридцати шести лауреатов Нобелевской премии, подписавших петицию, был и доктор Швейцер.

В том же году русские читатели получили возможность заочно познакомиться с доктором из Ламбарене: московская «Литературная газета» напечатала прекрасный очерк Мариэтты Шагинян о Швейцере. В те времена еще ни один русский не бывал у Швейцера. Что касается журналистов всех прочих стран, то они регулярно смущали покой больницы. Журналист становился привычной фигурой в Ламбарене.

Ф. Фрэнк в книге о своей жизни в Ламбарене дает собирательный образ такого заезжего борзописца и даже пытается «сделать обзор всей той чепухи», которую пишут о Швейцере:

«Реальность словно бы ничего не значит для сотен авторов, которые описывают свои приключения в Ламбарене. Часто я задумывался над тем,

многие ли из этих литераторов вообще бывали там. Персонал больницы утверждает, что значительный процент этих людей все-таки бывал в Ламбарене и провел там не меньше полдня. Если такой литератор приезжал с женой, то он посылал свою половину побродить по больнице, сфотографировать кое-что и кое-что записать; сам он при этом оставался в помещении и тотчас садился за машинку. Жена его... конечно, никогда не видела раньше африканской деревни. Бедная женщина, обильно смазанная мазью против насекомых, немедленно приходила в ужас от убожества, в котором приходится жить бедным пациентам; от огромных тропических язв, которые казались ей особенностью здешних мест, а на самом деле являются проклятьем для всей Африки; от неаппетитного туземца, готовящего пищу возле палаты... или ей, наоборот, нравилась здешняя простота, она в восторге была от туземной жизни... изливала восторги по поводу сестер, которые всех любят и гладят по головке, по поводу доброго доктора, который склоняется у изголовья каждого больного, подперев рукой львиную голову, или философствует под ананасовым деревом. Что за беда, если ананасы не растут на деревьях, а произрастают на грядках, как простые тыквы... За обедом обнаружилось, что доктор – это реакционный тиран, который железной рукой правит своей маленькой империей; дальше – пение гимнов и чтение библии.

Что за дело, если гимнов не поют после обеда, а библию доктор читает после ужина? Ведь авторам статей нужно поспеть на самолет, улетающий после обеда. И разве нельзя слегка преувеличить свой опыт?»

Фрэнк пишет, что рассказы об утреннем купании доктор* в реке, где вообще никто не дерзает купаться, – «видимо, английский вклад в апокриф о Швейцере. Французский поворот темы наилучшим образом может быть проиллюстрирован одним разговором.

Возвращаясь из Ламбарене, я остановился в Париже в своем любимом маленьком отеле и едва успел опустить на пол чемодан, как хозяйка, отирая руки черным передником, стала возбужденно расспрашивать: «А, это вы, доктор! Скажите, правда, что доктор Швейцер живет с молодой американкой, наследницей бензинового короля?» Послеобеденные гимны были изобретены набожным скандинавским пастором, о невероятных трудностях рассказывают, как правило, американские посетители, а портрет этакого чувствительного Бисмарка, чьи сверкающие глаза «поэта и мыслителя» блуждают над ночными просторами Огове, – это уже творение немецкое».

В знаменитом романе Грэма Грина «Ценой потери», где в образе Куэрри художественный вымысел причудливо переплетается с

биографическими гипотезами и фактами биографии Швейцера, есть очень хлесткое описание интервью, которое наглый американский журналист Паркинсон вымогает в джунглях у главного героя:

«Что является для вас основной побудительной силой, мосье Куэрри, – любовь к богу или любовь к человечеству?.. Не под влиянием ли Нагорной проповеди вы решили посвятить свою жизнь прокаженным? Кто ваш любимый святой? Верите ли вы в действенность молитвы?»

«В самом сердце Черного континента один... из известных католиков наших дней открыл душу корреспонденту „Поста“. Монтэгю Паркинсон, который был в Южной Корее в пору самых горячих событий, проявил оперативность и на сей раз. В воскресном номере он откроет нашим читателям основную побудительную силу поступков мосье Куэрри... Куэрри искупает свою бурную молодость служением людям».

Впрочем, это художественное обобщение, а у нас в руках поразительные документы: некоторые из книг о Швейцере, вышедших в последнее десятилетие его жизни, когда доктор, как недовольно отмечали многие, стал легендой и даже пережил свою легенду. Эти книги свидетельствуют, с одной стороны, о последовательности и спокойном величии ламбаренского доктора, а с другой – о недомыслии века, породившего полуграмотную, завербованную журналистику. В этом смысле весьма характерны книги-панегирики, которые, по словам философа Г. Кларка, повторяют затертые восхваления до тех пор, пока не вытопчут все живое на тропе восхваления. Однако еще характернее, пожалуй, книги-разоблачения, среди которых выдающимся в своем роде произведением является «Приговор Швейцеру», принадлежащий перу английского журналиста-международника Джералда Макнайта. С первых страниц книги становится ясно, что «международник» глубоко уязвлен здоровым и спокойным презрением Швейцера к «высшим соображениям» дипломатии ядерного убийства. Известно ведь, что Швейцер приветствовал шаги Советского Союза в сторону разоружения и не верил ни в какую оборонительную ценность оружия, которое может только уничтожить мир.

«При ближайшем рассмотрении, – пишет Макнайт обиженно, – он оказывается скорее страстным политическим агитатором, чем скромным врачом. Он мрачно бормочет советы западным державам, намекая на приближение конца. Он, похоже, с терпимостью относится к русской позиции и враждебен американским оборонительным планам».

Макнайт записал поразительный разговор со Швейцером, вполне, с его точки зрения, «разоблачительный». Когда журналист-международник, вторгаясь в столь слабо знакомую ему сферу этики, стал допытываться, для

чего доктор Швейцер лечит больных, не является ли это экспериментом в рамках христианства и так далее (как видите, полный набор гриновского Паркинсона), Швейцер встал с места и спросил в упор:

«Почему Англия связывает себя с воинственной политикой Соединенных Штатов? Разве не ясно, что сегодня американские намерения более опасны, чем намерения русских, потому что американцы настойчиво отказываются положить конец испытаниям?»

«...Я сказал, – продолжает Макнайт, – что сегодня человек Запада не чувствует себя вправе выбирать собственную судьбу. Швейцер открыл глаза и склонился ко мне. „Тогда он обречен, – сказал он резко. – Спасение в нем самом, и он должен развить в себе большую человечность. Каждый в этих вопросах должен сам стоять на своих ногах“.

«Я сказал, что, рассуждая реально, мы можем сказать, что, поскольку ядерная бомба сократила войну в Японии, она только спасает жизни. Он сказал с большой убежденностью: „Рассказать вам, что случилось на самом деле? Трумэн хотел применить бомбу не для того, чтобы закончить войну в Японии, а для того, чтобы показать, что у него есть бомба. Ученые были против ее применения; они были в ужасе, но ничего не могли поделать. С союзниками не советовались, их просто известили“. На мгновение он заглянул мне в глаза, а потом добавил: „Эйнштейн был моим другом. Я знаю!“

Швейцер, много читавший и думавший о радиации, заявил Макнайту:

«Успокаивающие статистические данные, выпускаемые учеными и государственными органами, сплошная ложь. Воздействие заражения уже сказывается на многих случаях неудачных родов».

«Первый важный шаг для Англии, – сказал Швейцер Макнайту, – порвать военные связи с США».

«Только так вы остановите поток ядерного оружия, которым вас в противном случае завалят. Освободившись, вы, может быть, сумеете восстановить свои индивидуальные человеческие права и вашу обычную человечность».

Однако, заканчивая беседу с журналистом, Швейцер грустно сказал ему: «Напишите вашу книгу, но будьте готовы к тому, что вы попадете в тюрьму. Это я говорю совершенно серьезно. Те, кто верит в этику, как Рассел, которого я хорошо знаю, никогда не бывают в почете. Их всегда преследуют...»

Видя насквозь слабоумную цивилизацию современного западного мира и продажность его прессы, Швейцер все-таки не мог усомниться в порядочности сидевшего перед ним человека. Макнайт не попал в тюрьму.

Он написал все, что нужно было властям и конформистским массам.

Кроме журналистов, Ламбарене посещали просто поклонники ламбаренской больницы (они тоже писали отчеты), богатые странники и даже массовые туристы. Африканские путеводители упоминали теперь Ламбарене среди достопримечательностей континента – вслед за пирамидами и водопадом Виктория. Туристы, приезжавшие сюда, ожидали увидеть гигантскую фигуру Прометея, которого клюет орел или хотя бы «жареный петух». А видели старенького Геракла, который спокойно и с достоинством чистит авгиевы конюшни, повторяя единовременный подвиг юного Геракла ежедневно уже на протяжении полстолетия.

Что касается ритуала приема гостей, то Фрэнк вспоминает, что Швейцер не забывал и о правилах политеса.

«Когда прибыл, например, полный самолет французских генералов, доктор Швейцер даже приоделся. Это была довольно несложная процедура... При звоне колокольчика доктор Швейцер поднялся из-за письменного стола и надел шлем. Однако, выйдя из комнаты, он передумал и вернулся. Он открыл ящик, до отказа набитый веревочками, карандашами и ластиками, с ловкостью, выработанной годами, просунул туда руку и извлек на свет божий малюсенький, закрепленный на булавке, бывший некогда черным галстук-, „бабочку“. Булавка была непохожа на те, что выпускают теперь в массовом количестве. Вероятно, еевыковал какой-нибудь кузнец из Гюнсбаха много лет тому назад. Швейцер торопливо приколот ее и теперь чувствовал себя окончательно подготовленным к приему высоких гостей.

Он спустился навстречу им по трапу. Но поскольку пирога, подвожившая высокопоставленных лиц, еще не подошла к причалу, он вынул захваченный с собою мешочек рису и стал кормить цыплят у тропинки. Потом последовали обычные рукопожатия, и гости были приглашены на завтрак. Один из прибывших, человек в пенсне, по всей вероятности армейский капеллан, сделал то, что здесь делали за столом очень редко; он встал и произнес торжественную речь, в которой просил бога ниспослать доктору Швейцеру здоровья и сил на долгие годы. Швейцер внимательно выслушал и отозвался очень кратко. Он сказал: «Будем надеяться, что господь нас слышит».

«В такие мгновения в глазах Швейцера появляется огонек, который не одобрил бы ни один профессиональный заклинатель, и огонек этот сопровождается особым подмигиванием, которое исчезнет из этого мира вместе со Швейцером».

В книге Казинса описан подобный же ритуал встречи старого

поклонника Швейцера Эдлая Стивенсона. По пути от пристани бывший кандидат в президенты прихлопнул москита на руке Швейцера, и доктор сказал сердито:

– Не нужно было делать это. Он был мой москит. К тому же, чтобы справиться с ним, нет необходимости вызывать Шестой флот США.

Впрочем, о политике Швейцера с этими гостями разговаривать не хотел:

«Когда они спрашивают у меня о политике, я притворяюсь, что я еще более глух, чем на самом деле».

Заражение мира радиоактивными осадками – это, по мнению Швейцера, больше не было «политикой»: это был главный вопрос жизни на земле, проблема Уважения и Неуважения к Жизни. Тем не менее это было активным вмешательством в дела мира, к которому с неизбежностью привела Швейцера его действенная этика.

28 апреля 1957 года, через год после опубликования «Декларации совести», по норвежскому радио было прочитано первое воззвание Швейцера по поводу угрозы радиоактивности, нависшей над жизнью нынешнего и главным образом грядущих поколений людей и животных. Напомнив, что год назад он уже привлекал внимание к опасности радиоактивного отравления воздуха и земли в результате испытаний, Швейцер отмечает, что с тех пор непрерывно раздавались пропагандистские выступления, отрицающие как опасность испытаний, так и необходимость их немедленного прекращения. Швейцер привел несколько примеров из потока «утешающей» пропаганды, наводнившей мир. Прежде всего он процитировал заявление Американского комитета по атомной энергии:

«...Нынешнее и потенциальное воздействие постепенного роста радиоактивности в воздухе на наследственность сохраняется в терпимых пределах».

Всякого неоглупленного и непредубежденного читателя такое заявление должно было бы насторожить. Что означает выражение «в терпимых пределах»?

«Смысл туманного рассуждения о „терпимых пределах“, – говорит Швейцер, – вероятно, заключается в том, что количество детей, которые будут рождаться изуродованными, будет недостаточно велико, чтобы оправдать прекращение испытаний».

И правда: ну родятся несколько сот уродов у счастливых молодоженов, стоит ли из-за этого прекращать испытания столь благородного оружия, как атомная или водородная бомба?

«Результаты всей этой арифметики вовсе не так надежны, как это хотели бы представить», – говорит Швейцер. Он приводит элементарные (для человека думающего) данные. За последние годы так называемый «допустимый предел радиации» приходилось снижать много раз. То есть при более тщательном рассмотрении он оказывался недопустимым. Если в 1934 году это было сто единиц радиации в год, то теперь предел этот официально снижен до пяти, а во многих странах установлен еще ниже. Доктор Лористон Тэйлор (США) и многие другие вообще не берутся сказать, существует ли безвредная доза радиации (а доктор Тэйлор – один из крупнейших американских авторитетов в области защиты от радиации).

«Нам постоянно твердят о „допустимой дозе радиации“! – восклицает Швейцер. – А кто допустил ее? Кто вообще имеет право ее допускать?»

С уточнением научных данных каждый раз выясняется, что «допустимые дозы» были губительными и для людей и для животных.

«Поколение за поколением, – говорит Швейцер, – будут на протяжении веков свидетелями рождения все большего количества людей с физическими недостатками».

Декларация 9235 ученых, врученная доктором Лайнусом Полингом генеральному секретарю ООН 13 января 1958 года, прямо заявляла, что последствием испытаний будет рождение все большего числа детей-уродов.

Для Швейцера воистину «непостижимой чертой пропаганды продолжения испытаний» было «ее полное пренебрежение губительным влиянием, которое, по мнению биологов и врачей, окажет на грядущие поколения радиация». Швейцер приводил слова французского биолога и генетика Ростана, который называл эти испытания «преступлением, продленным в будущее». К тому же, замечал Швейцер, угроза эта касается не одних ядерных держав. Так кто дал им право рисковать здоровьем всего мира?

«Тот факт, что Советский Союз хочет сейчас отказаться от продолжения испытаний, имеет большое значение, – писал Швейцер. – И если бы Великобритания и Соединенные Штаты могли сейчас прийти к такому же разумному решению... человечество освободилось бы от страха...»

29 апреля 1958 года норвежское радио передало второе воззвание Швейцера, которое посвящено было опасности атомной войны. Швейцер повторял здесь то, о чем старались пореже говорить политики:

«Когда люди имеют дело с атомным оружием, никто не может сказать: „А теперь пусть решает оружие“. Можно лишь сказать: „А теперь мы

вместе совершим самоубийство и уничтожим друг друга“.

Швейцер подчеркивал серьезнейшую опасность, которую представляет для мира круглосуточное состояние тревоги на случай военного нападения. Страшную опасность таит в себе возможность ошибки при расшифровке того, что появляется на экране радара. Ведь в этих случаях требуются немедленные действия, то есть развязывание войны. Швейцер рассказывает, как мир недавно оказался на грани гибели, когда радарные станции ВВС США и береговой службы США доложили о вторжении неопознанного бомбардировщика. Получив это предупреждение, генерал, командовавший стратегической бомбардировочной авиацией, должен был отдать приказ об ответной ядерной бомбардировке. Однако он колебался, понимая, какую ответственность берет на себя. Вскоре было обнаружено, что радарные станции допустили какую-то техническую ошибку. «Что случилось бы, если бы на месте этого генерала оказался менее уравновешенный генерал?..»

«Было бы крайне важно, – говорит Швейцер, – если бы Соединенные Штаты в этот решительный миг смогли высказаться за отказ от атомного оружия, чтобы устранить возможность возникновения атомной войны. Концепция достижения мира путем запугивания противника оружием может только увеличить опасность войны».

Третье воззвание, прочитанное в Осло 30 апреля 1958 года, было посвящено переговорам на высшем уровне.

«Дело в том, что испытания атомного оружия и его использование, – говорит здесь Швейцер, – несут в самих себе абсолютные причины для их запрещения», ибо и испытания и пользование этим оружием глубоко нарушают права человечества. Испытания причиняют вред народам, которые живут вдали от ядерных держав, угрожают – причем в мирное время! – их жизни и здоровью. Атомная война и радиация сделают невозможной жизнь на территории стран, не участвующих в войне. Это бессмысленный и жестокий способ подвергнуть опасности самое существование человечества. А потому война эта не смеет стать реальностью.

«Долг трех ядерных держав, – заявляет Швейцер, – достигнуть соглашения по этим совершенно бесспорным вопросам без всяких предварительных условий».

Все лагеря и все страны Европы, предупреждает Швейцер, должны прежде всего согласиться, что они уже связаны друг с другом на веки вечные, на горе и радость. Это, по мнению Швейцера, «новый

исторический факт», и его нельзя обойти в политике: ведь теперь нельзя «победить», не погибнув вместе.

«А между тем честность одних народов другие народы неизменно подвергают сейчас сомнению. Как же может родиться доверие? Только в том случае, если новый дух овладеет народами, они найдут выход из этого поистине отчаянного положения. А чтобы он родился, должно существовать сознание его необходимости... Сознание того, что мы едины как человеческие существа, было потеряно в перипетиях политики. Мы достигли той точки, когда стали рассматривать друг друга только как представителей нации, которая выступает „за“ или „против“ нашей точки зрения... Теперь же мы должны снова открыть тот факт, что все мы человеческие существа и что мы должны уделять друг другу моральные ресурсы, которыми располагаем. Только тогда сможем мы поверить, что в других народах, как и в нас самих, пробудилась потребность в новом духе, а он положит начало чувству взаимного доверия».

«Дух – это могучая сила преобразования мира», – заявлял восьмидесятитрехлетний Швейцер и пытался представить слушателям особенности новой ситуации: «Сейчас можно рискнуть только в двух направлениях: первое – продолжать безумную гонку вооружения, подвергаясь тем самым опасности неизбежной атомной войны в ближайшем же будущем; второе – отказаться от атомного оружия в надежде, что Соединенные Штаты и Советский Союз, а также народы, связанные с ними, могут жить в мире. Первый путь не дает надежды на благополучный исход, второй – дает. Мы должны попробовать второй».

Голос Старого Доктора снова прозвучал из Ламбарене, и, как ни странно, мир, не скупившийся на похвалы ему, не спешил прислушаться к его бескорыстным предупреждениям. Люди «просвещенного» буржуазного Запада шелестели газетами, скептически улыбались, читая рассуждения продажных журналистов, и все-таки незаметно для себя впитывали газетную отраву, толковали о мощных ракетах ПВО, о «чистой» бомбе, о «сдерживающей мощи», об укреплении обороноспособности и фантастических успехах в запуске военных и полувоенных ракет.

Африканский континент сотрясали бури освободительной борьбы. В Габоне теперь было несколько политических партий, и многие из противников коалиционной партии Леона Мба избрали мишенью для своих предвыборных нападок больницу Швейцера.

В 1958 году в Габоне происходил плебисцит. Габонцы с синими опросными листочками выстраивались в очередь у больничной аптеки и спрашивали, что означают эти «Да» и «Нет». Врачи терпеливо объясняли

им, что они могут проголосовать за независимую республику Габон или за французскую колонию. Пациенты кивали и спрашивали, как проголосовать за доктора Швейцера.

Глава 20

В 1958 году Швейцер поклялся однажды, что больше не будет строить. Потом оказалось, что нужны гараж и хранилище для бензина: теперь в больнице был свой грузовичок. Доктор снова руководил строительством, принимал больных, выписывал лекарства, хлопотал по хозяйству.

Пирогии скользили по Огове, привозя больных. Когда-то женщины боялись рожать в больнице, и Швейцер придумал премию для рожениц – чепчик и платице. Теперь авторитет больницы был настолько высок, что премии были не нужны. Молодые матери охотно доверялась Старому Доктору и его «сыновьям».

– Когда я вижу, как девочки, которые родились здесь, приезжают снова в больницу, чтобы рожать, только тогда я чувствую, что становлюсь старым, – говорил Швейцер.

Он ходил по больничному городку и плантациям, как старый фермер, который сам все это построил, сам насадил, знает тут каждую каморку, каждый кустик. Заглянув однажды в комнату доктора Фрэнка, он любовно погладил балки, как бы радуясь их крепости. И молодой дантист понял, что для Швейцера это не просто тесная комнатуха, это творение его рук.

Жизнь его текла давно заведенным порядком. Это соблюдение обычаев и традиций, «ритуал» обедов, именинных празднеств, проводов, встреч помогали Старому Доктору поддерживать в больнице строгий порядок и добрую атмосферу, несмотря на то, что персонал здесь все время менялся.

После ужина, когда в столовой стихали разговоры, Швейцер тяжело поднимался с места и шел к старенькому пианино (хотя в углу давно уже стояло еще одно, новое). Раздавали сборники гимнов, Швейцер называл номер гимна и импровизировал вступление, каждый вечер по-новому – в стиле XVIII века, в классическом или романтическом стиле. Пианино было расстроено, но он был привязан к нему, как был привязан ко всем старым больничным вещам, и предпочитал лучше обойти немые клавиши, чем сесть за новое пианино, на котором бренчали сестры.

После музыкального вступления все вместе пели гимны. В пении этом было просто размышление, тоска по далекой родине или по далеким временам духовных поисков человечества.

Швейцер спокойно и деловито читал главу из библии, а потом комментировал ее, приводя отрывки из раннехристианских произведений, которые делали яснее контекст только что прочитанной главы.

...Швейцер читал отрывки из старинных книг до тех пор, пока часы с кукушкой не прерывали удивительную лекцию ученого-философа. Тогда доктор закрывал книгу и выходил с керосиновой лампой в руке. А через несколько минут в ночных джунглях уже слышались звуки баховской фуги: он упражнялся на своем пианино с органными педалями.

Сохранилось множество описаний и ужина, и песнопений, и проповеди доктора. Характерно, что все авторы отмечают два момента в этой «ритуальной» части ламбаренского ужина: чисто эмоциональный, я бы сказал, ностальгический характер песнопений и недогматический характер трактовки текстов. Председатель Народной палаты ГДР Г. Геттинг, описывая пение гимнов после ужина, восклицает: «На расстоянии нескольких тысяч километров от Европы мы поем „Все леса в покое“, будто в Германии, где шумят дубовые и сосновые леса с их приятной прохладой...» Рассказывая о комментариях Швейцера к прочитанному тексту, тот же Геттинг отмечает, что «его выводы не догматичны». «Прежде всего в глаза бросается то, – записывает Геттинг, – что Швейцер ищет связь с моралью, с поведением человека наших дней».

Традиции Ламбарене складывались на протяжении полстолетия. Конечно, в большинстве из них попросту отражены рационализм и здравый смысл Швейцера (опоздав к завтраку, никто не должен извиняться или расшаркиваться; Швейцер вообще не любил имитаций вежливости и обременительных, бессмысленных церемоний), доброта и сентиментальность ламбаренского патриарха (во всех книгах о Ламбарене описаны трогательные обряды дня рождения – пение гимнов, приношение даров, меню по выбору именинника, именинная речь доктора, – а также торжественные дни отъезда и приезда врачей, сопровождаемые колокольным звоном). Некоторые из традиций по здравому размышлению казались новичку анахронизмом, плодом старческого упрямства и косности основателя Ламбарене. Конечно, Швейцер уже вступил в девятый десяток жизни, и это не могло не наложить отпечатка на весь склад его мысли. Тем не менее, судя ко его беседам с журналистами, до тому, что он писал, доктор сохранял поразительную ясность мысли. И с традициями Ламбарене, с чудачествами и «ритуалами» Швейцера все, видимо, обстоит гораздо сложнее.

Вспомните, как защищались от массового единомыслия другие чудачки, которых сейчас мы почтительно называем великими, – один цеплялся за свое неподкупное презрение к роскоши или к новейшей машинерии; другой настаивал на своей старомодной, неуклюжей манере писать; третий исключал из своей жизни все виды искусства, которые появились недавно,

уже на его памяти.

У Швейцера этих не только объяснимых, но, на наш взгляд, еще и симпатичных, еще и разумных «чудачеств» было более чем достаточно. Прошли времена, когда чудака принимали только с ненавистью. Ныне разумные люди пристально вглядываются и в «мудрость чудака», и в «юродство» чудака, и в его бескорыстие. Впрочем, у лихих журналистов чудака до сих пор вызывает подозрение, а у защитников западного буржуазного прогресса – снисходительную насмешку. Так было и со Швейцером. Число «приговоров Швейцеру» росло год от году.

Не все посетители спокойно или дружелюбно реагировали на швейцеровскую «универсальную этику», на его нежность к животным и растениям. Гантер, например, недовольно бурчит, что антилоп, кажется, Швейцер любит больше, чем людей.

Ч. Джой, гулявший однажды со Швейцером по выжженному полю, заметил, как болезненно переносит доктор старинный африканский обычай – выжигать поле. Швейцер сказал Джою:

«Сам я никогда не выжигаю поле. Подумайте, сколько насекомых погибает в огне!» И прочел на память из «Книги наград и наказаний» Кан Инг Пьена, где говорится о насекомых: «Если мы позволяем им погибнуть, мы восстаем против неба, уничтожая множество его тварей. Это величайшее из преступлений».

Геральд Геттинг, трогательно рассказывая о кишащем животными Ламбарене, цитирует «Культуру и этику» Швейцера: «Те, кто проводит операции на животных, кто испытывает на них лекарства или прививает им болезни, чтобы использовать результаты на благо людей, не должны успокаивать себя той мыслью, что они приносят людям пользу. Каждый раз они должны думать о том, есть ли в данном случае необходимость приносить животное в жертву человеку, и должны стремиться к тому, чтобы по возможности смягчить ему боль».

То есть Швейцер признает необходимость уничтожения или притеснения жизни, но предостерегает против успокоения совести. И дальше: «Как много преступлений совершается в научных институтах, где из-за экономии времени и нежелания утруждать себя вообще не пользуются наркозом. А сколько животных подвергают мучениям, чтобы продемонстрировать студентам общеизвестные явления!»

«Никто не вправе закрывать глаза на их мучения, – продолжает Швейцер, – и делать вид, что ничего не видел. Никто не вправе снимать с себя ответственность. Если на свете царит так много жестокости, если рев животных, страдающих от жажды, остается неслышанным, если на

бойнях безжалостны к ним, если на кухне они принимают мучительную смерть от неопытных рук, если животные терпят так много из-за людского бессердечия и дети терзают их во время игр, то виновны в этом только мы... Мораль уважения к жизни диктует всем нам помогать по возможности животным, которым человек причиняет столько страданий».

Вероятно, и практика самого Швейцера, и его эмоции, и теории его в отношении животных принимали с годами все более законченную и зрелую форму. Подобную эволюцию сам Швейцер считал естественной для этической личности:

«Для человека по-настоящему нравственного любая жизнь священна, даже та, что с человеческой точки зрения находится на очень низком уровне. Под влиянием необъяснимого и жестокого закона человек вынужден жить за счет другого, и, уничтожая другую жизнь или нанося ей ущерб, он принимает на себя все большую вину. Как существо высоконравственное, человек борется за то, чтобы избавиться от старых привычек, от раздвоенности, сохранить человечность и нести всему живому избавление от страданий».

У Швейцера эта особенность его этики стоит в тесной связи с ее универсальным характером. Что же касается этических взаимоотношений человека с животным миром вообще, то они имеют прочную традицию и в восточной и в европейской философии. И потому, когда читаешь многие страницы Швейцера, невольно вспоминается, например, какое впечатление произвели на Ганди жертвоприношения в Бенгалии. «Для меня жизнь ягненка, – писал Ганди, – не менее драгоценна, чем жизнь человеческого существа. И я не согласился бы отнять жизнь у ягненка ради человека. Я считаю, что чем беспомощней существо, тем больше у него прав рассчитывать на защиту со стороны человека от человеческой жестокости».

Если мы сравним с этими словами любое высказывание Швейцера на ту же тему, мы увидим, что в требованиях Швейцера не было максимализма.

«Когда у нас есть выбор, – пишет Швейцер, – мы должны стараться не причинить страдания и не нанести ущерба жизни любого, пусть самого низкого существа; сделать же это значит взять на себя вину, которой нет оправдания, и отринуть свою человечность».

Но как же? Ведь есть обычаи, глубоко угнездившиеся в жизни народов, есть жестокие развлечения, есть игры (вроде прославленной корриды или козлодрания), освященные веками и окруженные ореолом национальной традиции. Ну и что же?

«Мыслящий человек, – пишет Швейцер, – должен противодействовать

всем жестоким обычаям, как бы глубоко они ни гнездились в традиции и каким бы ореолом ни были окружены. Истинная человечность слишком драгоценное духовное благо, чтобы мы уступили какую-нибудь его частицу безрассудству».

Могут возразить, что в самой природе, наконец, все основано на борьбе и жестокости. Да, конечно, соглашается Швейцер и поясняет:

«Призвание наше не в том, чтобы молча мириться с жестокостью природы и поддерживать ее, а скорее в том, чтобы ограничивать ее, насколько позволяет наше влияние. С глубоким состраданием должны мы проявить милосердие и предложить облегчение тем, кто жаждет его. Поскольку мы так часто вынуждены бывали причинять боль и смерть живым существам, тем в большей степени будет нашим долгом содействовать, а не вредить этим существам там, где мы можем выступить как существа свободные».

Многие биографы и исследователи не уставали удивляться, что идеи эти продолжали владеть Швейцером и, напротив, получили столь полное развитие именно в джунглях Африки, кишущих всяческой жизнью, зачастую довольно агрессивной (вспомните слова Швейцера о «милитаризме джунглей»). Видимо, это закономерно: парадоксальность ситуации только укрепляет позиции принципа. Можно напомнить, что у Грэма Грина, охотившегося в джунглях, возникали довольно близкие к швейцеровским, хотя и выраженные по-своему, мысли:

«15 февраля. Воскресенье на реке Момбойо. Я упустил сегодня утром крокодила – конечно, первым побуждением отца Георга было выстрелить в него, как он выстрелил в баклана... Теперь цапля, и – господи боже! – на сей раз капитан попал в цель. Она захлопала крыльями, попыталась взлететь и упала в воду. Мы подогнали лодку. Не мог не вспомнить, как покойный кардинал Грифин на обеде у Дика Стоукса, возражая против законопроекта о кровавых видах спорта, который обсуждался в это время, заявил, что животные были созданы не только для людской пользы, но и для удовольствия людского. (Если это и есть точка зрения моральной теологии, то к черту моральную теологию.)»

Швейцер, как мы видели, в практике своей просто придерживался разумного воздержания от ненужной жестокости, от той, которой можно было избежать. Он не был вегетарианцем, он боролся с нашествием муравьев, с бешеными собаками, с микробами. Но он понимал, что человек, совершая акт необходимой защиты, должен сознавать каждый раз, что он убивает жизнь, должен ощущать при этом если не чувство вины, то чувство ответственности. Это безразлично для будущего самого

человека, для его нравственных критериев, потому что, разрешив себе однажды притеснение и уничтожение чужой жизни с высокомерным сознанием права на это, человек придет раньше или позже к уничтожению себе подобных и самоуничтожению. Ныне, когда и «гуманизм» и «антигуманизм», и прогресс и реакция равно вооружены оружием, способным и почти неизбежно должным уничтожить всякую жизнь на земле, размышления этического порядка вовсе не являются излишними для человечества. Может, именно поэтому марксист Вальтер Ульбрихт считает, что швейцеровский принцип уважения к жизни «служит установлению мира и созданию общества, свободного от войны, социальной несправедливости и колониального угнетения».

Осенью 1959 года Швейцер находился в Европе. Ученики гамбургской школы имени Альберта Швейцера попросили его выступить у них в школе, и он напомнил им о нашествии духа бесчеловечности, которое Германия не может забывать.

Позднее, когда гамбургский издатель послал Швейцеру экземпляр антифашистской пьесы Хоххута «Наместник», Швейцер написал ему:

«Я был активным свидетелем случившегося тогда несчастья и уверен, что мы должны быть глубоко озабочены этой величайшей проблемой истории. Мы в долгу перед самими собой, ибо неудача наша сделала нас всех соучастниками вины тех дней. В конечном итоге, неудачу потерпела не только католическая церковь, но и протестантская тоже. На католической церкви лежит большая вина, потому что она была организованной национальной силой, способной хоть что-либо сделать, а протестантская церковь была неорганизованной, бессильной национальной силой. Но и она тоже взяла на себя вину одним только признанием ужасного, бесчеловечного факта преследования евреев».

Швейцер жил в гюнсбахском Доме гостей, лечил соседей, писал. Журналисты посещали его, по-прежнему хотели, чтоб он говорил о политике, или требовали, чтоб он раскрыл им смысл жизни. Парижский корреспондент Бернар Редмон спросил, чем человек может способствовать уважению к жизни, и Швейцер ответил:

«Делайте то, что в ваших силах. Недостаточно просто существовать. Недостаточно сказать: „Я зарабатываю, чтобы поддерживать семью. Я хорошо выполняю свою работу. Я хороший отец. Я хороший муж. Я добрый прихожанин“. Все это хорошо, но вы должны делать и еще нечто. Всегда ищите возможность сделать доброе дело. Каждый человек должен собственным путем искать возможность стать еще благороднее и реализовать свое истинное человеческое достоинство. Вы должны

некоторое время уделять и своим собратьям. Пусть это немного, но сделайте хоть что-нибудь для тех, кто нуждается в человеческой помощи, нечто такое, за что вы не получите никакой другой платы, кроме самой привилегии выполнить этот труд. Ибо помните, что вы не одни живете в этом мире. Что с вами живут и собратья ваши».

Конечно, советы его, не сулившие быстрых и решительных перемен, называли наивными. Как за полвека до того называли наивными призывы великого русского, объявляя все его «малые дела» каплей в море. «Капля в море!» – язвительно восклицал Толстой и страстно полемизировал со всеми изверившимися или верившими только в чужой разум:

«Есть индийская сказка о том, что человек уронил жемчужину в море и, чтобы достать ее, взял ведро и стал черпать и выливать на берег. Он работал так не переставая, и на седьмой день морской дух испугался того, что человек осушит море, и принес ему жемчужину. Если бы наше общественное зло угнетения человека было море, то и тогда та жемчужина, которую мы потеряли, стоит того, чтобы отдать свою жизнь на вычерпывание моря этого зла. Князь мира сего испугается и покорится скорее морского духа; но общественное зло не море, а вонючая, помойная яма, которую мы старательно наполняем своими нечистотами. Стоит только очнуться и понять, что мы делаем, разлюбить свою нечистоту, чтобы воображаемое море тотчас иссякло и мы овладели той бесценной жемчужиной братской, человеческой жизни».

В декабре Швейцер был в Базеле и собирался в Африку, когда в самый разгар сборов ему попало в руки письмо из Москвы, от редактора «Литературной газеты». Газета просила статью о проблемах разоружения, и Швейцеру в ответном письме пришлось самым подробным образом объяснить, почему он не может сейчас сесть за такую статью. В заключение письма он писал:

«Передайте, пожалуйста, мой привет госпоже Мариэтте Шагинян, которая так тепло писала обо мне в 1957 году.

Я и впредь буду отдавать все силы борьбе за мир. Все мы должны преисполниться решимости вместе добиваться сохранения мира, от которого зависит судьба человечества».

В соседнем с Гюнсбахом Мюнстере состоялась премьера фильма Эрики Андерсон о Швейцере. Приехала сама Эрика Андерсон, и доктор сказал ей, что лучше не тратиться на рекламу: шепнуть почтальону из Гюнсбаха, он скажет другому, другой – третьему...

За несколько лет до этого, когда Эрика Андерсон еще только начинала снимать свой фильм, она спросила однажды за обедом у доктора, сколько

фильмов он видел за свою жизнь.

– Вероятно, шесть. Я ничего не понимаю в этой форме искусства.

– Документальные или художественные фильмы?

– Кажется, художественные. Потому что во всех этих фильмах герой и героиня под конец сходились. Я видел эти фильмы на пароходе, когда плыл из Европы. И должен признаться, что небо, звезды и океан производили на меня большее впечатление. К тому же на экране все скачет так быстро, просто глаза болят.

Чтобы избежать в фильме Андерсон излишних славословий, Швейцер сам написал текст для него. Фильм начинался с кадров, показывающих старый пасторский дом, портреты родителей. За кадром звучал голос Старого Доктора:

«Они воспитали нас для свободы. Мой отец был моим самым дорогим другом...»

Свое восьмидесятипяtilетие Швейцер отмечал в Африке. Московская «Литературная газета» напечатала в этот день письмо Швейцера и отрывок из его норвежских радиовоззваний, вышедших к тому времени в книжке «Мир или атомная война».

Поздравить доктора Швейцера с восьмидесятипяtilетием приехал на этот раз и представитель Германской Демократической Республики, в то время заместитель Председателя Государственного совета республики, а ныне Председатель Народной палаты Геральд Геттинг. В тесном кабинетеспальной делегация из ГДР зачитала доктору Швейцеру торжественное послание, вручила ему медаль немецкого Совета мира.

Геттинг, как и другие посетители Ламбарене до него, описывает скромный тесный кабинет с его семейством муравьев, попугаем, антилопами, собаками.

Доктор Швейцер и Геттинг беседовали о проблемах мира, о жизни ГДР, и Геттинг передает такую фразу Швейцера:

«Ваши слова о том, что мое требование уважения к жизни все чаще находит отклик в социалистическом мире, вселили в меня надежду – придет время, когда самое человеческое из всех требований, какие существуют на земле, станет явью в обновленном обществе».

Судя по этой беседе, Швейцер был в курсе всех последних европейских событий. Он сказал Геттингу:

«Если вы увидите господина Рапацкого, министра иностранных дел Польши, передайте ему от меня сердечный привет. Его план создать безатомную зону в сердце Европы для Германии и для всей Европы – лучшее решение вопроса».

Учение Швейцера об уважении к жизни продолжало тем временем свое шествие по Европе и Американскому континенту. В мае 1960 года в Чикаго состоялся шестидневный конгресс «Швейцеровской школы», организованный за счет «Швейцеровского просветительного фонда». Закончился этот конгресс дискуссией, передававшейся по телевидению. Среди участников ее были четыре лауреата Нобелевской премии мира – лорд Бойд-Орр, сэр Норман Эйнджел, отец Доминик Пир и Филипп Ноэль-Бэйкер. Они обсуждали швейцеровский «план мира». Участники этого «Швейцеровского конгресса» обсудили среди прочих и проблему, как лучше представить неискушенной в философии широкой публике идеи Швейцера. Одним из активных участников конгресса был и молодой дантист Фредерик Фрэнк. Позднее участники этой дискуссии отправились в Ламбарене, чтобы обсудить с самим Швейцером возможности популяризации его идей.

Впрочем, независимо от этих усилий идеи Швейцера распространялись в мире и среди людей науки, и среди простых людей, давая путеводную нить одним и надежду другим.

Девятнадцатилетний студент-эльзасец в экзаменационном сочинении так ответил на вопрос экзаменатора о том, где, по его мнению, скрыта надежда для современной западноевропейской культуры:

«Она в маленькой африканской деревушке, и олицетворяет ее восьмидесятилетний старик».

А в Америке вышла книга талантливой писательницы-биолога Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Эта книга, потрясшая Америку и весь мир, рассказывала о трагедии американских полей и лесов, отравленных ядохимикатами, о гибели насекомых, птиц, рыб. В посвящении к этой книге значилось: «Альберту Швейцеру, который сказал: „Человек утратил способность предвидеть и предсказывать. Он кончит тем, что уничтожит землю“.

«Химикаты, разбрызганные на полях, в лесах или садах, – писала Р. Карсон, – оседают в почве, входят в живые организмы, передаются от одного другому цепью отравлений и смерти... Как сказал Альберт Швейцер, „человек вряд ли даже признает дьяволов, сотворенных им“.

Опытный ученый-биолог, Карсон писала о моде на яды, о грубом химическом оружии, которое применяли в США «люди, которые к своим „высшим соображениям“ не примешали капли смиренного уважения к природе». Она писала о полуграмотном, столь распространенном в современной Америке «покорении природы» и «борьбе с природой»:

«Покорение природы» – фраза, порожденная невежеством в

неандертальский век биологии и философии, когда считалось, что природа существует для удобства человека. Концепции и практика прикладной энтомологии достались нам по большей части от каменного века науки. Это наше несчастье, и очень опасное, что столь примитивная наука вооружила себя самым современным и страшным оружием и что, обратив его против животных, она обратила его против земли».

Р. Карсон, так же как позднее Ж. Дорст¹⁴, непосредственно ссылалась на путеводную нить швейцеровской теории. Но и те ученые, кто не ссылался на Швейцера (подобно энтомологам, выступавшим в Москве на недавнем Международном конгрессе), неизменно опирались в своем призыве к более уважительному изучению многообразного, единого, взаимосвязанного организма жизни на могучую универсальную швейцеровскую этику уважения к жизни.

Когда-то, перед второй поездкой в Африку, доктор Швейцер написал в эпилоге к своей книжке юношеских воспоминаний, что никто из нас не знает, какое влияние может оказать его собственная жизнь на окружающих: «Это сокрыто от нас и должно остаться сокрытым, но зачастую мы видим частичку этого влияния, так чтобы не утратить совсем надежду».

Швейцеру посчастливилось увидеть многих людей, в чьей жизни его пример сыграл решающую роль. Московский индолог А. Н. Кочетов рассказывал автору этой книги о своем отце, земском враче, который в детстве поражал сына рассказами о благородном эльзасце. В Ленинграде живет журналист, которого ответное письмо ламбаренского доктора обратило на стезю философии, Немец, доктор Теодор Биндер, участвовавший в покушении на Гитлера, бежал в Перу и построил на Амазонке больницу по типу Ламбарене. Англичанин Гордон Сигрейв построил больницу в Бирме. Война разорила ее, и, подобно Швейцеру, упорный Сигрейв построил все заново. Доктор Томас Дули тоже построил больницу в Индокитае. «Я думал при этом о Швейцере», – заявил он.

Случаев прямого влияния личности Швейцера немало. Среди них есть трагические, драматические, комически курьезные и все же трогающие до глубины души.

Англичанка Джоун Клент была уже немолода, когда прочла впервые о больнице доктора Швейцера (старшей ее дочери было в то время двадцать три года). Эту женщину не удовлетворяла жизнь только для себя, и она переехала во Францию, где пыталась помочь бедствующим вьетнамцам. Там она и услышала впервые о Швейцере. Друзья купили ей билет в Дакар и (по ее настоятельной просьбе) велосипед. Джоун Клент решила добраться в Ламбарене на велосипеде. Консул в Дакаре запретил миссис Клент

пересекать границу на велосипеде. Добравшись до Берега Слоновой Кости, она двинулась отсюда на своем велосипеде через Гану, Того, Дагомею, Нигерию, Камерун. Это было удивительное путешествие через джунгли, через воюющие племена и деревни.

Измученная, израненная, с забинтованной ногой, добралась эта женщина, одержимая своей идеей, в Ламбарене. Доктору Швейцеру, никогда не слышавшему о ней, ничего не оставалось, как принять ее в штат больницы. Она нашла свое место.

В 1960 году Швейцеру довелось выплатить один из долгов своей юности. Советский Союз отмечал пятидесятилетие со дня смерти Толстого, и Швейцер написал в «Литературную газету»:

«Приблизительно в 1893 году, будучи студентом Страсбургского университета, я впервые познакомился с произведениями Толстого. Это было крупным событием в моей жизни, равно как и в жизни моих товарищей-студентов.

То, что поразило меня прежде всего, была манера письма этого автора. Никогда до тех пор не встречал я такой гениальной простоты повествования... Но то, что в ходе дальнейшего чтения произвело на меня еще большее впечатление, был нравственный и творческий облик самого автора. Он... побуждает задумываться над собственной нашей жизнью и ведет нас к простому и глубокому гуманизму. Чувствуется его стремление раскрыть понятие прекрасного во всем, что касается нас».

Швейцер рассказывал о том, как робость не позволила ему написать Толстому и как он довольствовался выпавшим на его долю счастьем «вспахивать то же поле», что и великий русский, навек сохраняя при этом «благодарность за влияние, которое оказал» на него Толстой.

В больнице доктор снова много строил и приходящих на стройку праздных гостей немедленно приобщал к строительству. В своем экземпляре «Одиссеи» Швейцер подчеркнул слова о том, что гостя надо пригласить работать, тогда он становится домочадцем. Когда студенты-философы пришли к нему на строительную площадку, он дал им для начала дробить камни для фундамента. «Путь философии кремнист, – сказал он, – вам понадобится крепкая спина, и я вам даю лучший способ укрепить ее. Это для начала». А вечером он долго беседовал с ними о философии. Солидному Геттингу пришлось участвовать в закладке фундамента нового здания.

Во второй приезд Геттинга, в 1961 году, в больнице строили железобетонный мост через ручей, потому что иначе машина не могла добраться от шоссе до больницы, а теперь машины привозили из деревень

в больницу до пяти тонн бананов каждую неделю. Мост нужно было закончить до периода дождей, и строители еле справились с этой работой к 30 сентября. Швейцер писал: «Я весь охвачен этой горячкой. До сих пор нервничаю, что не успею вовремя закончить строительство...»

Он очень устает в это последнее пятилетие своей жизни и все-таки, словно зная наверняка, что срок его измерен и уже недолог, продолжает оборудовать и строить больницу. У него богатый строительный опыт; он знает, как трудно строить в джунглях, и он думает о тех днях, когда его не будет, а пироги по-прежнему будут скользить по Огове, привозя в Ламбарене мучеников великого Братства Боли.

«Я строю для того, чтобы потом десять лет не было необходимости строить», – сказал Швейцер одному из посетителей.

Перед рождеством 1961 года Ламбарене посетила не совсем обычная делегация. Это была группа советских туристов, путешествующих по Африке и благодаря счастливой случайности получивших у чиновников в Париже габонскую визу. В группе этой были женщина-экономист, специалист по Африке Ирина Ястребова, узбекский писатель Абдукохаров, женщина-снайпер, героиня минувшей войны Людмила Павличенко, режиссер детских фильмов Александр Роу, два журналиста – Константин Португалов и Владимир Николаев, сотрудница Союза обществ дружбы с зарубежными странами Раиса Кольцова, ленинградский писатель Константин Коницев.

Автору этой книги удалось поговорить почти со всеми счастливцами, побывавшими у Швейцера, и записать их впечатления от Габона, больницы Швейцера и самого доктора:

Р. Кольцова: «Это было в конце декабря, но жара была невыносимая. Было, наверно, не больше сорока градусов, но страдали мы, как от восьмидесяти, потому что очень душно».

И. Ястребова: «Природа здесь отличается от других районов Африки – растительность буйная и даже мрачноватая. Что касается бедности, то это скорее примитивный образ жизни, чем настоящая бедность, такая, какую мне довелось видеть в Индии. Но вообще, это колониальная Африка в чистом виде...»

В. Николаев: «Очень глухие места. Наверное, одна из самых отсталых стран Африки. Молодой моторист на лодке, который нас перевозил, даже не слышал о существовании Советского Союза. Говорят, что в этих джунглях еще есть людоеды, а некоторые тут едят мертвецов, чтобы позаимствовать их личные качества. Летчик, который нас вез, довольно пренебрежительно говорил об африканцах».

К. Коницев: «Экзотика там, конечно. Вода жирная, густая. И в воде какие-то рыбины усатые, какие-то чудища, но, может, и не опасные, раз они там в этих своих шатких пирогах плавают. Народ, конечно, отсталый. Я видел в больнице пигмея: сам голый, тесак у него на поясе. А жена его... Посмотришь и подумаешь: „Боже, как еще люди на свете живут“».

Швейцер встретил делегацию у пристани. Еще утром он получил радиограмму с просьбой принять советских путешественников и ответил им теплой телеграммой. Теперь он помог дамам выйти на берег и приветствовал гостей по-немецки, сказав, что русские у него впервые в Ламбарене.

Николай Португалов уже приготовился произнести небольшую приветственную речь по-немецки, но Швейцер, угадав его намерение, похлопал его по плечу и дружелюбно сказал:

– Оставим это, молодой человек, я не выношу превосходных степеней имен прилагательных.

Он представил гостям верную Матильду Котман, которая повела их по больнице. Больше всего, кажется, поразило гостей обилие животных в городке.

Александр Роу, кинематографист-сказочник, огромный человек с детским пушком на голове, восхищенно рассказывает:

«Это настоящий доктор Айболит. Он лечит этих животных, и они у него остаются жить навсегда. Я уж и Корнею Ивановичу Чуковскому про это рассказывал. А в столовой что творилось – все квакало, тьявало, верещало, пицало, гоготало... Наседки какие-то, однорукие обезьяны...»

И. Ястребова: «Этой однорукой обезьяне Швейцер делал ампутацию руки. Возле операционной мы видели кошку с котятами. Сестра сказала, что никаких случаев привнесения инфекции от этого у них не было. Помню, я как-то лежала в Москве в больнице, так мы тремя палатами кошку прятали от сестер.

Мне все-таки кажется, что это все вчерашний день. Хотя должна признать, что в Аккре, когда я ночевала в студенческом общежитии, я поражена была, какая там жесткая койка. Африканцы же удивлялись, как могут спать белые, когда столько подушек и всяких постельных принадлежностей. Вообще, надо сказать, у Швейцера очень много разумного в подходе к реальным проблемам Африки».

Р. Кольцова: «Когда он вел нас по территории, там была у дерева обезьяна. Швейцер подошел к ней, и видно было, что обезьяна эта его любит. Он тоже с ней очень трогательно обращался».

К. Коницев: «Просто чудеса с этим зверьем, да и только! Обезьяна-

вахтер у входа. Какие-то маргышки верхом на собаках. Швейцер сказал, что это единственная кавалерия в мире, которую он может признать».

Русские гости собирались пробыть только до обеда, но доктор Швейцер пригласил их на обед, а пока повел в свою комнатку, где предложил оставить лишние вещи, чтобы не таскать с собой.

И. Ястребова: «Мы спросили, куда сумки положить. Он сказал: „Прямо на кровать кладите“. Комнатка исключительно проста, никакого намека на комфорт. Стены из оструганных досок. Стол простой, заваленный бумагами. Кровать под белым пологом, табурет, тазик для умывания».

Р. Кольцова: «Совершенно необыкновенная комната. Старый деревянный дом, все так просто, скромно».

К. Коничев: «Я помню кровать под кисейным покрывалом, портрет Дарвина и медное литое распятие».

Р. Кольцова: «Обед – тоже незабываемое зрелище: два длинных стола, накрытых белой бумагой, тарелки с хлебом. Швейцер вошел. Все встали. Он громко прочел молитву, потом – „амен“, все сели. За столом человек тридцать, в основном молодые».

И. Ястребова: «Там был один врач с черными большими усами. Сестры почти все одеты, как сестра Матильда Котман, – длинные платья, башмаки».

К. Коничев: «Сестры все красивые, белые. Рядом со мной сидела сестра, говорят, дочь миллиардера, высокая, красивая».

Николай Португалов рассказывает, что он несколько раз пытался втянуть Швейцера в разговор о проблемах Африки, но Швейцер сказал, что он не знает таких проблем, знает только Габон и «сидит здесь, как мышь в норе».

– Но к вашему голосу прислушиваются во всем мире! – воскликнул молодой журналист-международник.

– Поэтому я и опасаясь наговорить лишнего, – улыбнулся Швейцер.

В то же время доктор не возражал, чтобы русские записали его мнение о ядерном оружии. Он сказал, что атомное оружие является в принципе наиболее страшным современным выражением антигуманизма. Он сказал, что одним дипломатам вряд ли удастся договориться и преодолеть взаимное недоверие народов. Он повторил свою мысль о том, что атомное оружие несовместимо с нравственностью народов, с их совестью.

Принимая первую и последнюю русскую группу у себя в Ламбарене, Швейцер не мог не сказать русским о первом знакомстве с их великим земляком, который был ему так близок в юные годы. Вот как передает эту

реплику Н. Португалов:

«Русские у меня в Ламбарене впервые, – сказал доктор с задумчивой улыбкой. – А ведь вы, молодые люди, наверно, и не представляете, что значили для нас в прошлом веке книги Льва Толстого. Мы тогда вдруг увидели и поняли, что человек может и должен быть Человеком».

Еще была прогулка по саду, и Николай Португалов записал, что Швейцер очень похож был в этот момент на трудолюбивого крестьянина. К. Коничев отметил, что доктор Швейцер интересуется и народной медициной.

Доктор Швейцер, указывая на свои деревья, просил передать в Москве, что он вовсе не идеалист, а истинный материалист, потому что у него нет ни одного дерева, которое не приносило бы плодов. Потом со вздохом добавил, что мальчишки все обрывают, хотя фруктов у них в больнице дают вдоволь.

Автор этой книги попросил членов советской делегации сформулировать свое общее впечатление от визита к доктору Швейцеру, от самого Старого Доктора. Писатель Константин Коничев воскликнул, сильно окая по-северному:

«Ни от кого в жизни такого впечатления не было. Святой человек! Святой старик!»

И. Ястребова: «Да, это правда, вспоминается, как Горький писал о Толстом, когда описывал обед в Ясной Поляне: настоящая простота, истинный аристократизм простоты. И очень сердечный человек Швейцер. Но не без язвительности некоторой, не без юмора. Сразу заметил, что русские склонны к длинным речам. Когда говорил с журналистами, эта ироничность у него сразу появилась».

Р. Кольцова: «Он не любит церемоний, говорит тихо и быстро: мне кажется, он вообще не может повысить голос. Походка у него уверенная, и, хотя возраст чувствуется, он очень прямой...»

Н. Португалов: «Запомнились суровые, аскетического склада губы под густыми нависшими усами, добрый взгляд светло-голубых глаз...»

А. Роу: «Он очень мил, очень любезен и прост. Глазки веселые, живые, блестят. Молодые глазки. И сам пружинистый такой. А вообще, я считаю, что он настоящий подвижник, человек необыкновенных душевных качеств. Ведь вы подумайте: вот так запереть себя, как он! Ему ведь от них ничего не нужно было, если бы он хотел нажиться, он бы в городе открыл больницу. Конечно, африканцы его боготворили. Да и все белые тоже».

Перед отъездом состоялся обмен сувенирами. Гости подарили доктору Швейцеру модель спутника и русских матрешек.

– Ну вот, спутник приземлился в Ламбарене, – любезно сказал доктор.
– Да еще с русскими красавицами, так не похожими на габонских...

Страстный нумизмат К. Коничев подарил доктору Швейцеру брелоки с Пушкиным, Лениным и памятником Петру I, который Швейцер сразу узнал:

– Фальконе?

Доктор подарил гостям мешок бананов, но в суете и треволнениях мешок этот они забыли на аэродроме и потом очень беспокоились, как бы доктор не обиделся...

Но доктор уже вернулся в больницу. Он был небидчив и очень занят. У него было множество хлопот. Пациенты стояли в очереди у аптеки, и сестра следила, чтобы они при ней приняли лекарство. Африканцы по-прежнему выбрасывали самые горькие лекарства, а зачастую надевали таблетку на шею и носили как амулет. Рабочие ждали от доктора задания, а пока дремали в тени. Врачи обсуждали трудный случай.

По-прежнему бродило по больнице излеченное дружелюбное зверье. По-прежнему прыгала через костер поразившая русских гостей общая любимица обитателей Ламбарене, совершенно голая пигмейка Мадам Сан-Ном (Безымянная). Никто не понимал ее речи, пришла она полуживая откуда-то издалека с копьем в руке и ножом на поясе. В больнице существовало на ее счет несколько гипотез. Одни говорили, что она пережила какое-то горе и сошла с ума, другие – что она из совсем дикого племени землеедов. Доктор лечил ее и отмечал, что рассудок возвращается к ней понемножку.

Плыли по Огове пироги с больными. Носильщики спешили по тропе сквозь джунгли, и больной корчился у них на носилках, взывая о помощи. Помощь была в Ламбарене, где жил усатый доктор, который вот так же спасал габонцев и двадцать, и тридцать, и сорок, и пятьдесят лет назад, а может, и всегда – здесь ведь не очень помнили предания старины...

Глава 21

Доктору шел восемьдесят восьмой год. Походка у него была по-прежнему бодрой, глаза смотрели ясно, и, как прежде, загорались в них насмешливые искорки.

Геральд Геттинг, снова посетивший Швейцера в это время, писал: «Он ничуть не изменился. Казалось, время для него остановилось...»

И все же он чаще ощущал в эти годы усталость. Иногда он вдруг заговаривал о смерти. Когда доктор Дана Грили стала приглашать его в Америку для выступлений, он ответил:

«Я старый человек, мне восемьдесят семь, и я не знаю, что приготовил мне завтрашний день. Другие могут поехать и выступить. Я уже не могу. Мое место здесь. Я прожил большую часть жизни в Африке, и мои африканцы не поймут меня, если я уеду от них под конец и не вернусь. Я должен показать, что Африка, которая достаточно хороша для того, чтобы в ней жить, достаточно хороша и для того, чтобы умереть в ней. Нет, я не решаюсь больше уезжать за границу».

Геттинг вспоминает, что Швейцер писал ему об усталости:

«Не могу себе представить, как чувствует себя человек, который выпался. Я не разрешаю себе тратить свободное время на отдых».

Ночью, после тяжелого дня работы, он сам, преодолевая спазмы в руке, отвечал на письма. Письма, письма. Из Голландии, из Америки, из ГДР, из Швейцарии, из Англии и все чаще теперь из России. «Литературная газета» прислала свою анкету, надо ответить, потому что речь идет о разоружении и важно подготовить русское общественное мнение. А вот еще письмо из России, из Ленинграда, это где статуя Фальконе... Пишет журналист по фамилии Петрицкий: не может найти библиографию работ Швейцера и о Швейцере. Может быть, работ этих нет в Ленинграде? И Швейцер пишет подробный ответ ленинградскому журналисту о себе, о своей философии. В душной габонской ночи он исписывает своим ровным почерком две страницы. Рубаха его намочла от пота, под глазами темные круги. Антилопы беспокойно перебирают в стойлах копытцами: может, дикий зверь бродит неподалеку в джунглях. Швейцер прислушивается, потом кончает письмо со старомодной вежливостью. Вспомнив недавний визит русских, делает еще приписку – приветствие господину Коничеву.

Ответ на анкету «Литературной газеты» занимает больше времени...

...В июне 1962 года «Литературная газета» напечатала ответ доктора

Швейцера на свою анкету о возможности всеобщего разоружения. Швейцер писал, что «преимущества» обладания атомным оружием носят характер весьма сомнительный... Это оружие нападения. С его помощью нельзя избежать нападения противника, можно лишь... «расквитаться» налетом за налет».

Швейцер писал в газету и о последствиях бесконечных, непрекращающихся ядерных взрывов, о том, что «люди пьют радиоактивную воду, пьют радиоактивное молоко от коров, которых кормили радиоактивной травой и радиоактивным сеном, едят овощи и фрукты, ставшие радиоактивными»¹⁵. Швейцер писал далее об опасности, которую представляет это продолжение испытаний для потомства, об особой чувствительности к радиации человеческих органов размножения, о страшной опасности, которая непременно выявится (сколько бы ни бодрились политические оптимисты), вероятнее всего, уже начиная с четвертого поколения («В этом и в последующих поколениях можно ожидать рождения большого количества детей с самыми ужасными дефектами»).

Швейцер снова и снова повторял мысль, о которой все время забывало беспечное, легковверное человечество:

«Атомная война бессмысленна. Она ничего не решает. У нее не может быть других результатов, кроме безгранично жестокого уничтожения человеческой жизни. Ни Запад, ни Восток не могут ждать от нее ничего иного».

Швейцер напоминал о бремени разорительной гонки вооружений, которое ложится на плечи трудовых людей мира.

«При нынешнем положении, – писал Швейцер, – нам остается только уповать на то, что потребность нашего времени придаст разумным политикам Запада, а равно и Востока, достаточно мужества, чтобы отнестись друг к другу с капелькой доверия и подписать сообща соглашение о разоружении, несмотря на отсутствие в нем тех или иных гарантий, потому что для них нет теоретической базы».

«Эта решимость оказать друг другу взаимное доверие создаст новую атмосферу в отношениях между Востоком и Западом».

«Что же может придать постоянную силу этому соглашению?» – спрашивал Швейцер и так отвечал на этот вопрос:

«Только упрочение каких-то духовных связей между Востоком и Западом.

Эти духовные связи возникнут тогда, когда на Востоке и на Западе поднимется общественное мнение, осуждающее применение атомного

оружия... Благодаря такому единому общественному мнению взаимное доверие Востока и Запада получит убедительную основу».

В ответе на вопросы «Литературной газеты» Швейцер развивал свою аргументацию об отказе от атомного оружия по этическим соображениям:

«Наше намерение применить это чудовищное, нечеловеческое оружие, хотя мы а не признаем себе в этом, сделало бы нас бесчеловечными. Под властью этого оружия мы перестанем быть цивилизованными людьми. Пора закончить эту ужасную главу в истории человечества!»

Когда летом 1963 года переговоры о заключении договора, запрещающего атомные испытания в воздухе, космическом пространстве и под водой, продвинулись вперед и появился проблеск надежды, восьмидесятивосьмилетний Швейцер написал письмо Кеннеди. Швейцер высоко оценил решимость Советского правительства, оценил роль Московского международного соглашения о запрещении ядерных испытаний в трех средах, оценил также решимость Кеннеди, преодолевшего в это время сопротивление правых кругов. Письмо Швейцера Кеннеди стало известно прессе в самый разгар сенатских дебатов в США и, по мнению многих биографов, сыграло решающую роль в парафировании договора.

«Наконец-то блеснул светлый луч во мгле, в которой бродит человечество, – писал Швейцер, – наконец-то появилась надежда, что свет разгонит тьму. Московский договор между Востоком и Западом о прекращении испытаний в воздухе и под водой – одно из величайших, да, самое крупное событие мировой истории. Теперь мы можем надеяться, что термоядерной войны между Востоком и Западом не будет».

Это были годы, когда укреплялись связи Швейцера с ГДР. Из ГДР шел теперь в Ламбарене непрерывный поток писем. Всё новые школы и производственные бригады ГДР просили у Альберта Швейцера разрешения называться его именем. В ГДР был создан по примеру других стран специальный Комитет Альберта Швейцера. Возглавил его доктор Людвиг, президент Общества Красного Креста ГДР. Комитет начал сбор взносов и подарков для Ламбарене, а также пропаганду философии Швейцера. В 1963 году Швейцер писал доктору Людвигу, что у него, к его сожалению, не будет никакой возможности побывать в ГДР:

«Я, бедолага, в последний раз был в Европе в 1959 году. С тех пор работа... не позволяла мне путешествовать, и я не знаю, когда теперь представится случай. Никто не может заменить меня в больнице и на строительстве... Я должен радоваться, что я в состоянии продолжать эту работу».

Швейцер спокойно ждал смерти. Думал ли он при этом о бессмертии? Как знать. Его кумир Гёте говорил Эккерману:

«Человек должен верить в бессмертие. У него есть права на эту веру. Это соответствует его натуре... Для меня вечное существование души подтверждается моей идеей труда. Если я работаю непрерывно, до смерти, природа вынуждена дать мне другую форму существования, когда нынешняя не сможет больше поддерживать мой дух».

Швейцер не знал, когда подойдет его время. Он еще говорил приятельнице, что в 1968 году придется, наверное, пересадить деревья. Он по-прежнему работал, был спокоен и полон сил.

За эти последние годы он проводил в последний путь многих самых верных своих друзей и помощников – Эмму, Елену, плотника Монензали...

В 1963 году в Ламбарене хоронили Сусанну Авово, «мать Сусанну», которая долгие годы была здесь санитаркой и акушеркой. Как всегда, скрытый за пальмами, пел хор лепрозория. Как всегда, говорил пастор на маленьком кладбище, где надписи на крестах воскрешали память о тружениках Ламбарене:

«Боука, фельдшер, оказывавший столь ценную помощь при операциях. Теперь его имя присвоено зданию операционной».

«М. Бурру. 8.I.60. Он ежедневно переплывал реку, чтобы привезти в Ламбарене почту. Для многих он был доверенным лицом».

«Макайя. Умер в 1963-м. С 1933 года он был верным, опытным поваром. И всюду была по нему большая печаль».

«Монензали, незабвенный работник, с которым Доктор начал строить новую больницу».

Одни из его помощников уже ушли. Другие были еще живы и помнили старые времена. Старый Джозеф, длинный, иссохший старик, жил при больнице. Он подходил к посетителям и предлагал им сфотографироваться вместе. «Я самый старый помощник Доктора, – говорил он. – Я так же стар, как сам Доктор».

А в больнице еще работал Молодой Джозеф. Он проработал здесь больше четверти века, и молод он был только в сравнении со Старым Джозефом. Он занимался микроскопическими исследованиями и, по сообщению Фр. Фрэнка, «знал о яйцах тропических паразитов больше, чем многие ученые доктора». Молодой Джозеф занимался в больнице также дистиллировкой воды, овладел техникой стерилизации, был акушером. А когда в Ламбарене появился дантист, Молодой Джозеф стал таким прилежным его помощником, что через несколько месяцев ему уже можно было доверять неотложные зубоврачебные операции. Благодарный дантист

вставил Джозефу передние зубы, и он, по словам Фрэнка, «сразу приобрел здесь положение человека, который неожиданно вступил во владение загородной виллой и новой моделью „кадиллака“.

«Если Старый Джозеф олицетворяет больницу периода первой мировой войны, а Молодой Джозеф – больницу межвоенного периода, – пишет Фрэнк, – то Жан-Клод – это, вероятно, воплощение новой Африки». Фрэнк с огромной симпатией описывает этого молодого габонца, одного из многих темнокожих помощников доктора. Жан-Клоду около двадцати трех, он стройный, с довольно светлой кожей, с умным, нервным, почти женственным лицом; и может, именно этот элемент женственности делает его таким прекрасным утолителем чужих страданий. Жан-Клод живет с молодой женой в хижине за больницей. Хижина эта до крайности примитивна, с земляным полом. Но юная пара с гордостью демонстрирует свое аккуратное жилье. В поведении молодых исключительная вежливость и достоинство. Жан-Клод пришел из далекой деревушки, где прослышал о существовании Ламбарене. Фрэнк пишет, что «Жан-Клод слишком умен, чтоб быть слишком популярным среди врачей и пациентов. В Африке все еще много белых, которые предпочитают, чтобы негр был чуть-чуть глуповат, тих и послушен. У Жан-Клода ничего этого нет, и в наши дни это не является исключительным... Он испытывает истинное уважение не только к медицинским знаниям, но также, даже в большей степени, к человеческим достоинствам. Однако таким, как он, все еще приходится уступать тем, кто горластей».

Среди сотрудников Швейцера бывали и последние, из тех, кому тяжело давался упорный больничный труд. Упомянув о трудностях, которые пришлось ему испытать при получении визы в Ламбарене, Геральд Геттинг рассказывает, что «Швейцер не без основания уволил» одного сотрудника-африканца, а тот «пытался в этой антикоммунистической атмосфере представить дело так, будто мой (то есть Геттинга) проезд к доктору связан с предвыборной борьбой против президента Мба».

Эпизод этот довольно характерен для атмосферы политических страстей, захвативших и Габон. Хотя здесь все еще было недостаточно своих врачей, каменщиков и строителей, здесь было уже в достатке молодых и пылких политиков. Два из них, противники коалиционной партии Мба, явились однажды в больницу и созвали всех на митинг. Они говорили о том, что доктор получил концессию от колониалистов, а колониалисты изгнаны, так что пусть он отправляется домой, в Европу. Толпа ответила: «Нон! (Нет!)» Политики уехали, и все на время затихло хотя бы потому, что заменить белых в школе или в больнице было некому:

ни один врач-африканец пока не изъявил желания поступить в больницу Швейцера. Во время выборов 1963 года Швейцер снова стал для борющихся партий символом и жупелом. «Доктор из джунглей, убирайся домой!» – кричали самые радикальные из политиков. Партия президента Мба, напротив, выпустила красивую марку с портретом Швейцера и наградила его высшей наградой – Звездой Габона. Конечно, африканцев, которые сознательно хотели бы лишиться врача, было подавляющее меньшинство, однако в угаре политической кампании требования радикалов могли восторжествовать. К счастью, в богатой парадоксами долгой жизни доктора Швейцера не стал реальностью этот последний парадокс. Швейцер говорил одному из своих посетителей:

– Я старый человек, и я прожил большую часть жизни в Африке. Здесь я и останусь.

Дж. Маршалл в книге о Швейцере передает свой разговор с молодым нигерийским парламентарием незадолго до кровавого нигерийского кризиса:

– Эти миссионеры были слишком заняты спасением души, даже если они и занимались медициной или сельским хозяйством. Наши темпы слишком высоки сейчас, У нас нет для них времени. Мы должны двигаться вперед быстрее, чем миссионеры, поэтому человек этот не понимает нас, а мы его.

Дж. Маршалл объяснил, что доктор Швейцер не просто миссионер, что его часто критикуют за это в Америке, и в заключение просто спросил своего собеседника, знает ли он Швейцера, на что молодой парламентарий ответил:

– Его – нет. Но то, что я сказал, – это мнение новой Африки.

Когда-то, полвека назад, перед отъездом в Африку Швейцер должен был дать обет молчания Парижской миссии. Сейчас история повторялась, и он благоразумно молчал, когда речь заходила об африканских делах. Впрочем, когда началась резня в Конго, которую он уже много раз предсказывал, доктор не выдержал и написал в бельгийскую газету «Ле дерньер ор»:

«Вот мой совет, работника из старой Африки, который прожил почти полсотни лет на территории, граничащей с Конго... Эра колониализма больше не существует, колониальной империи в Конго тоже больше нет... Ни одно иностранное государство не имеет права заставить одно из этих независимых государств подчиниться другому... Миссия Объединенных Наций не ведение войн...»

Совет Швейцера заключался в том, что Европа не должна больше

вмешиваться в африканские дела, которые и без того непросты. Как всегда, он остался нонконформистом и был за свой неосторожный совет обстрелян справа, слева и с центра. Больше он по вопросам политики не высказывался почти до самой смерти: в последние дни своей жизни он выступил с осуждением войны во Вьетнаме и даже успел подписать воззвание, клеймящее эту войну. Проблему ядерного разоружения он не считал «политикой». Он считал ее кровным делом всякого честного человека, не желающего человечеству гибели. Швейцер снова и снова говорил о ядерной угрозе, о почине Советской России, о благотворности Московского соглашения, и этим, может быть, объяснялись некоторые из попыток буржуазной западной прессы развенчать Ламбарене и человека, который «пережил собственную легенду».

Бертран Рассел в 1964 году откликнулся письмом на одну из «разоблачительных» статей о Швейцере. Рассел писал:

«Невелико открытие заявить, что средства современной медицины могут вытеснить одинокие и невооруженные усилия доктора Швейцера помочь народу, истребляемому болезнями. Очевидно, однако, и то, что технический прогресс всегда достается ценою появления безликой техники, лишенной той человечности, которой пронизаны действия и пример самоотверженной личности. Я всегда считал более предпочтительным внимательно изучить человека и сам предмет, для того чтобы разобраться в них, а не верить почтительным высказываниям о них. Неприятно, однако, когда начинают рассматривать благородное дело без желания понять его, да еще и хвастая этим недостатком понимания перед теми, кто сам никогда не решился бы на такое дело».

14 января 1965 года Альберту Швейцеру исполнилось девяносто лет. Он был теперь, по выражению одного из габонских министров, самый старый и самый знаменитый габонец. Юбилей этот принес Швейцеру поздравления и почести, однако, как отмечают все биографы, буржуазный Запад на этот раз не был так единодушен в своих поздравлениях. Передовая «Вашингтон пост», посвященная Швейцеру, называлась «Поиски исторического Швейцера». Доктор Монтэгю так объяснял это расхождение оценок:

«Он сделал, насколько я знаю, только одну ошибку – он прожил девяносто лет; он пережил нормальный век легенды».

Впрочем, если Запад проявил в этот юбилей меньше энтузиазма и единодушия, то зато Швейцера дружно приветствовали на этот раз страны социализма. Московская «Литературная газета» поместила поздравление, в прессе ГДР Швейцеру было посвящено много статей. Наконец, от имени

населения Германской Демократической Республики его поздравил Вальтер Ульбрихт, передавший ему сердечные пожелания долгих лет, здоровья и успешной борьбы против атомной угрозы. «В этой борьбе, – подчеркнул Ульбрихт, – мы тесно связаны с Вами». В приветствии Вальтера Ульбрихта говорилось и о швейцеровском принципе уважения к жизни. «В нашем социалистическом государстве, в ГДР, – писал Ульбрихт, – мы стараемся это уважение к жизни воплотить в действительность со всеми его общественными последствиями».

«Мы хотим сделать 1965 год, – продолжал Вальтер Ульбрихт, – годом народного движения против атомного вооружения, за обеспечение и укрепление мира. При этом, я думаю, мы действуем одновременно и по линии Ваших устремлений, а именно, – по линии сохранения и защиты жизни... Поскольку Вы всегда употребляли Ваше моральное влияние на пользу мира, мы благодарим Вас в Ваш юбилей особенно сердечно».

Чехословакия прислала на день рождения доктора медикаменты для больницы. Подарок привез доктор Кальфус, который играл доктору в эти дни чешскую музыку.

– Со Сметаной я познакомился еще в молодости, – сказал почтенный юбиляр, – но теперь я его прочувствовал как следует. А этот ваш Новак для меня настоящее открытие.

Доктор Кальфус отметил, что музыка звучит теперь в Ламбарене еще чаще, чем прежде.

На девяносто первом году жизни доктор был по-прежнему подвижен, бодр и активен. Это отмечал американский врач, доктор Джозеф Монтэгю, посетивший в это время Ламбарене: «У него не было и следа слабости и забывчивости, столь характерных для человека, которому перевалило за шестьдесят. Он энергично ходил, и если походка его не была больше помолодому пружиниста, то в ней было все-таки много силы.

Он еще считал себя молодым, а это почти то же самое, что быть молодым. Помню, как я хотел помочь ему выйти из машины, а он подмигнул мне, улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, оставьте мне эту иллюзию молодости». Он не носил очки и говорил: «Они меня старят».

«Говорят, что человек становится старым, когда оставляет свои идеалы», – пишет Монтэгю. Именно от этой возрастной утраты идеалов всю жизнь предостерегал Швейцер. С ним этого не случилось и в девяносто.

И все же Швейцер чувствовал, что дни его на исходе. Он все чаще думал теперь о преемнике. Швейцарец Вальтер Эмиль Мунц, хирург и акушер, молодой еще человек, пять лет проработавший в Ламбарене,

казался ему наиболее энергичным и увлеченным из врачей. По-прежнему работал в Ламбарене и доктор Ричард Фридман из Венгрии, усатый, высокий, похожий на Швейцера в молодости. Все так же увлеченно трудился в деревне прокаженных доктор Такахаси. Из новых врачей в Ламбарене работали теперь молодой американец-педиатр Фергюс Поуп, хирург-чех Ярослав Седлачек и совсем недавно приехавший Манфред Криер.

Рена была с отцом. Она все больше увлекалась делом доктора и его идеями, трудилась в лаборатории, вникала во все ламбаренские дела. Она с восторгом рассказывала доктору, что его внучка Кристина тоже «заразилась Ламбарене» и теперь изучает медицину в Швейцарии.

В то лето Швейцер снова вел строительные работы. На протяжении всего лета по-прежнему сыпались на Ламбарене посетители – с Запада, с Востока, из самой Африки. Один из них, Пауль Герберт Фрайер из ГДР, напечатал в «Нейес Дейчланд» отчет о своих беседах со Швейцером:

«18 июня – разговор о Вьетнаме, Швейцер осуждал кровопролитие во Вьетнаме и воинственный пыл Пентагона; 21 июня – разговор об участвовавших нападках на Швейцера в прессе; Швейцер, как всегда, сказал, что на это не нужно обращать внимания; 2 июля – разговор о борьбе за мир: позиция Старого Доктора оставалась прежней – народы должны договориться, потому что победы в этой войне быть не может, только смерть для всех живых существ».

В августе Швейцер отвечал на письма, спешил написать всем, кому обещал. Еще в феврале доктор Мунц был назначен главным врачом ламбаренской больницы. 13 августа Швейцер в письме «Швейцеровской ассоциации» объявил о своем желании, чтобы его дочь Рена Эккерт-Швейцер взяла на себя административное руководство больницей. Он чувствовал, что Рена приобретает все больший авторитет в больнице. А может, инстинкт бессмертия требовал от него и такого продления себя во времени, и такого объединения своей крови и своего дела.

Его так же беспокоила судьба мира, на всех парах спешащего к новой войне, на этот раз – последней войне, не потому, что победит правда, а потому, что больше никому будет жить на земле и никому воевать. В эти последние свои дни он снова говорил об атомной угрозе. Он успел подписать воззвание против войны во Вьетнаме.

27 августа Швейцер писал письмо американскому медику доктору Джозефу Монтэгю, работавшему в это время над книгой о Ламбарене и его основателе:

«В своей будущей книге, описывающей мою работу и больницу,

пожалуйста, выразите то глубокое братское уважение, которое я испытываю к медицинской профессии.

Мне кажется, врачи всегда проявляли больший интерес к человечеству, чем многие другие люди.

Есть, однако, возможности для еще большего служения гуманности и в сфере просвещения, и в народных делах. Придавая этому должное значение, мы, вероятно, сможем приблизиться к великой цели достижения мира во всем мире».

Это письмо, так же как и письмо в ГДР, доктор написал 27 августа, а 28-го он сказал дочери, что чувствует себя очень усталым и что она должна подготовиться к неизбежному.

«Когда я умру, – сказал Старый Доктор, – прежде всего извести семью и наших в Страсбурге. Ты знаешь, где хранятся бумаги, и займешься моим завещанием. Прежде всего подумай о пациентах и здешних моих добрых друзьях. Насчет похорон я все тебе рассказал. Они будут такие же, как и все другие похороны в Ламбарене, – простые и немедленные. Я рад, что ты со мной».

Об этих последних днях выразительнее всего рассказано в книге Джорджа Маршалла «Понимание Альберта Швейцера».

После разговора с Реной доктор уснул совсем усталый на своей простой железной койке. Стало сразу видно, что человеку этому не шестьдесят, а девяносто. Он теперь ничего не ел, и пульс его становился все слабее. В четверг он вдруг проснулся и захотел встать, написать письмо. Он встал, и все ждали чуда. Но он рухнул, не дойдя до письменного стола. Американец-кардиолог доктор Дэвид Миллер выслушал его и посоветовался с ламбаренскими коллегами, со старшими сестрами Матильдой Котман и Али Сильвер. Приближался конец...

Доктор умирал спокойно – как умирают африканцы, как опадают листья в гюнсбахском лесу. Он заранее договорился с друзьями, что они не будут суетиться и оживлять его, что ему дадут спокойно уйти из мира, когда придет его срок.

Рена послала телеграмму восьмидесятитрехлетнему отцовскому брату Паулю, кузинам в Эльзас и в Париж, старым друзьям в Гюнсбах:

«Он умирает, это случится скоро и с неизбежностью. Он уходит спокойно, мирно и с достоинством».

Она могла бы добавить, что он уходит почти величественно.

У него было сильное сердце, и он умер не сразу. Доктор Миллер рассказывал, как, все еще сохраняя сознание, но с каждой минутой теряя силы, Швейцер принимал посетителей, прощался с ними за руку. При этом

глубокие серые глаза его были утомленно закрыты, а седая прядь спускалась на лоб. Он прислушивался к любимой музыке, к записям Иоганна Себастьяна Баха.

В последние его мгновения и Рена, и мадемуазель Матильда, и Али Сильвер были вокруг него. А пироги уже скользили по Огове, и в дальних деревнях тамтамы отстукивали грустную весть о том, что Старый Доктор умирает в своей хижине.

Бюллетень о смерти, написанный доктором Миллером, содержит ту же фразу, что и телеграмма Рены:

«Все это время он не испытывал страданий, и, когда в 11 часов вечера наступил конец, он умер спокойно, мирно и с достоинством в своей постели среди джунглей Ламбарене, в больнице, которую он строил и любил».

Рена послала пирогу на почту в Ламбарене – сообщить в Европу. Здесь, в джунглях, людям не нужен был телеграф. Мерцали костры, ритмично, как сердце, стучали тамтамы. Люди заполняли выжженную площадку перед его комнатой. Черные и белые сидели на перилах, на ступеньках, на земле. Потом неожиданно, само собой началось ритмичное африканское пение. Так же, сами по себе, стали подниматься молодые и старые, врачи, священники, больные и лечащие. Они говорили на разных языках, но чаще всего звучали французские слова: «Paparoung pou» («Он нам отец»), И снова тамтам выстукивал горестную весть: «Великий Белый Доктор умер». Человек рождался, чтобы умереть. Это было так же просто, как то, что он дышал и говорил, как то, что дожди приходили в сезон дождей и уходили в сухой сезон.

Прокаженные вырыли ему могилу и сколотили грубый простой гроб без крышки. Грубый, неотесанный крест, такой же, какой стоял над могилой Елены, доктор сколотил себе сам, как монах из какого-нибудь старинного братства. Человек должен уйти, он должен помнить, что он уйдет; и если в сознании этого есть безнадежность, то в нем есть и надежда, что ты. проживешь в человечности отпущенный тебе срок. Могилу ему вырыли там, где он указал, – рядом с Еленой, с Эммой Хаускнехт, с загоном для его любимых антилоп.

И вот подняли с железной койки тело Старого Доктора, положили в сколоченный прокаженными гроб. По габонскому обычаю, накрыли его пальмовыми ветвями. И никто не бежал в тот день от смерти и скверны, потому что это был Отец. А когда целуешь родных во гробе, не боишься касания смерти. Все было, как всегда бывало в Ламбарене, в больнице, этом прибежище горя.

Мерно запели плакальщики-африканцы на диалекте галоа: «Леани инина кенде кенде» («Да успокоишься в мире»).

В головах у него стояли Рена, Али, Матильда и доктор Мунц. Доктор Мунц прочел несколько слов из старого, так хорошо знакомого всем молитвенника. Потом откашлялся и сказал по-французски еще несколько слов – почти то же, что говорили до него на выжженной солнцем площадке по-французски, по-немецки, на галоа, на пахуан... «Великий Доктор был нам как отец. Мне хотелось бы продолжать здесь его труд, следуя его духу». И сестры запели гимн, тот самый старый гимн, который он помнил с детства и принес сюда, в джунгли, наверное, потому, что он помогал ему вспомнить детство и родину, и трудиться для новой своей родины, и для людей, родина которых Земля, а может, и не только Земля, для людей и всего живого, для Жизни, которая стремится к Жизни среди других Жизней, которые стремятся к Жизни, трудиться в священном уважении к чужой Жизни.

«Ah, bleib mit deiner Gnade» («Упокой в милосердии своем»), – пели сестры. Африканцы, не знавшие немецкого, подтягивали им без слов. Черные и белые руки бросали на гроб пальмовые листья: они соединялись над гробом – белые и черные руки, руки эльзасцев, немцев, венгров, голландцев, французов, евреев, швейцарцев, чехов... Они соединялись над этой могилой, словно в последний раз торжествуя победу над распрей и уважение друг к другу. Победу того, чему посвящена была долгая и прекрасная жизнь Альберта Швейцера...

«Он был самый старый и знаменитый габонец», – сказал в своей речи представитель габонского правительства.

И, отдав дань национальному чувству, воздав должное любви Старого Доктора к этой маленькой и несчастной стране, он добавил, как требовала того справедливость:

«Умер наиболее достойный уважения и наиболее уважаемый гражданин мира...»

И он снова сказал о Габоне, поскольку уполномочен был самим президентом и представлял Габон:

«Наша земля примет его, как драгоценный дар. Теперь, Великий Доктор, ты останешься здесь навечно».

Запели детишки-прокаженные из деревни прокаженных, а взрослые опустили гроб, покрытый пальмовыми ветвями, в красную землю Габона. А потом, по обычаю, опустили в могилу еще пальмовых ветвей в знак последнего прощания.

Над могилой поднялся простой деревянный крест с надписью, которая

так много говорит всякому человеку, желающему сохранить человечность: «Альберт Швейцер».

Газеты всего мира печатали некрологи. В них было глубокое почтение к его памяти, а по временам и недоумение тоже, потому что это был человек, непохожий на мир. Зачастую же была здесь настоящая скорбь, больше всего похожая на отчаянье близких, потерявших любимого человека. С таким чувством писали, например, о его смерти индийские и цейлонские газеты. Цейлонская газета «Трибьюн» писала о Швейцере, что для него «зов человечности примитивного человека звучал понятнее, чем изощренность и лицемерие европейского коммерческого мира». Называя Швейцера «единственным Доктором современного мира, который занимался медициной», газета вопрошала:

«Найдется ли еще на Западе человек, который стал бы зарабатывать органными концертами в Европе, чтобы оплатить работу в Африке?.. Найдется ли еще человек, который в убогой больничке, от которой отворачивались многие западные идеалисты, приходя в ужас от всей этой грязи и запахов, от примитивности всего этого, найдется ли человек, который заслужил бы здесь титул колдуна-врачевателя, к которому стекались бы тысячами туземцы, полные любви и обожания, и который бы сорок два года прослужил в стране, принявшей его?»

Мы могли бы кончить здесь историю этой прекрасной жизни, но среди многих дел доктора на земле (может, и не самое долговечное из его дел и заветов) осталась еще ламбаренская больница Швейцера. И о ней нужно сказать хотя бы вкратце.

В сентябре Рена Швейцер, доктор Мунц и представитель «Швейцеровской ассоциации» посетили президента Габона месье Леона Мба. Отчет об этом посещении, опубликованный Маршаллом, интересен не только как документ из истории больницы, но и как еще одно выражение взаимоотношений Швейцера и новой Африки:

«Президент выразил сочувствие и объяснил, что ему очень печально, что он не смог присутствовать на похоронах, но из-за недавней смерти его собственного отца он должен был, но африканскому обычаю, находиться в течение трех месяцев в одиночестве своего дома».

«Госпожа Рена Эккерт-Швейцер поблагодарила президента и известила его, что воля ее отца заключалась в том, чтобы работа больницы была продолжена».

«Доктор Мунц добавил, что больница будет расширяться и здесь будут использованы последние достижения медицинского прогресса».

«В ответном слове президент с большим чувством говорил о своем

покойном друге. Он говорил о потере, которую понесла с этой смертью его страна, и воздал должное беззаветному труду, который доктор Швейцер посвятил его соотечественникам».

«Он обещал всяческую личную помощь и сотрудничество».

«Он особо просил не разрушать старых зданий и сохранить в больнице атмосферу деревни, в которой всякий чувствовал себя как дома. Это, – сказал он, – показывает, что доктор Швейцер понимал габонский народ и сочувствовал народу, именно ему доктор отдал все свои силы. Усовершенствования должны проводиться в духе Великого Доктора и в соответствии с его образом мысли».

«Габон, – продолжал президент, – гордится своим великим приемным сыном; личным желанием президента является то, чтобы больница Альберта Швейцера осталась живым памятником истинного, активного христианского чувства, которое принес сюда его любимый и почитаемый друг покойный доктор Швейцер».

Больница существует и ныне. Конечно, ей придется нелегко без доктора. Друзья Ламбарене во всем мире продолжают собирать деньги, покупать медикаменты...

Недавно автору этой книги пришлось читать письмо Рены Эккерт-Швейцер, адресованное москвичу А. Н. Кочетову, который послал в Ламбарене советскую пластинку с органной записью Швейцера. Рена Эккерт-Швейцер писала о том, что персонал больницы слушал эту запись в столовой и запись всем очень понравилась. Она писала, что ручей журчит у нее под окном в ночи джунглей. Что больница живет трудовой жизнью. Что с утра врачи снова пойдут на прием, а по Огове потянутся пироги...

Даже если ламбаренской больнице не удастся выстоять в трудностях, Ламбарене, как очень точно сказал один из исследователей Швейцера, навсегда останется на духовной карте мира.

Основные даты жизни и деятельности Альберта Швейцера

14 января 1875 года – В городке Кайзерсберге, Верхний Эльзас, в семье пастора Луи Швейцера родился сын, названный в честь дяди-священника Альбертом.

1880—1884 годы – Посещает деревенскую школу в Гюнсбахе, учится играть на органе в деревенской церкви.

1884—1885 годы – «Реальшколе» в Мюнстере.

1885—1893 годы – Учится в гимназии в городе Мюльхаузене, живет у дяди и тети, берет органные уроки у Эугена Мюнха.

Осень 1893 года – Впервые попадает в Париж, гостит у дяди Огюста, знакомится с органистом Шарлем Мари Видором и становится его любимым учеником.

Октябрь 1893 года – Поступает в Страсбургский университет, где изучает одновременно теологию, философию и теорию музыки.

1894—1895 годы – Отбывает солдатскую службу, во, время которой ухитряется посещать лекции по философии и сделать свое главное научное открытие в области теологии (эсхатологии).

Весна 1896 года – Дома на каникулах принимает решение ограничить «жизнь для себя» порогом тридцатилетия, а потом найти форму непосредственного и действенного служения людям.

Осень 1898 – весна 1899 года – Живет в Париже, слушает лекции в Сорбонне, пишет диссертацию о Канте, занимается органом с Ш. М. Видором и фортепьяно с М. Яэйль Траутман и Филиппом.

Апрель – июль 1899 года – Изучает философию и орган в Берлине. Серьезно задумывается над упадком цивилизации.

Июль 1899 года – Двадцати четырех лет получает степень доктора философии.

Декабрь 1899 года – Выпускает в свет объемистую книгу о философии Канта.

1900 год – Печатает статью об упадке философии и современной культуры.

1902 год – Работает над книгой о Бахе, руководит Баховским хором.

1903 год – Знакомится с Еленой Бреслау.

1905 год – Достигнув тридцатилетия, принимает решение посвятить

остаток жизни лечению африканцев в глухих джунглях Габона. Для этого необходимо приобрести медицинскую специальность, открыть больницу, накопить деньги... Вместе с другими видными музыкантами Франции создает в Париже Баховское общество, выступает на его концертах в качестве органиста. Знакомится с Роменом Ролланом.

13 октября 1905 года – Доводит до сведения друзей о своем решении учиться на медика и уехать в Африку. Вступает в переговоры с Парижской миссией.

1906 год – Впервые едет на гастроли в Испанию. Выпускает в свет свое крупнейшее теологическое исследование о поисках «исторического Иисуса» и эссе о немецком и французском органостроении.

Учится на медицинском факультете. Пишет книгу о Бахе по-немецки.

1908 год – Выпускает в свет немецкого «Баха», расширенного по сравнению с французским (с 455 страниц до 844).

1909 год – Помолвлен с Еленой.

Активно участвует в работе органной секции венского конгресса Международного музыкального общества.

1911 год – Сдает экзамены на медицинском факультете. Выпускает в свет книгу о мистицизме апостола Павла.

1912 год – Работает над вторым изданием своего теологического труда о поисках Иисуса.

Женится на Елене Бреслау.

1913 год – Заканчивает диссертацию о психиатрическом исследовании поступков Иисуса.

26 марта 1913 года – Отплывает вместе с женой в Габон, где начинает строить больницу в Ламбарене, на берегу Огове, среди девственных джунглей.

5 августа 1914 года – С началом войны интернирован в миссии как военнопленный. Начинает работать над книгой об упадке культуры, над которой думает еще с 1899 года.

Сентябрь 1915 года – Во время путешествия на борту речного буксира находит формулу своей универсальной этики – Уважение к Жизни.

Сентябрь 1917 года – Доставлен с женой в европейский лагерь военнопленных Гарэсон, в Пиренеях.

Весна 1918 года – Переведен в лагерь Сан-Реми.

Июль 1918 года – По обмену военнопленных вернулся с женой в Эльзас.

1919—1921 годы – Работает в городской больнице в Страсбурге. Переносит две операции.

14 января 1919 года – В день своего рождения стал отцом.

1919 год – Получил приглашение на гастроли в Испанию и на лекции в Швецию.

1920—1924 годы – Читает лекции в Швеции, а потом и других европейских странах. Становится почетным доктором Цюрихского университета. Пишет книгу об Африке. Выплачивает военные долги, собирает средства для новой поездки в Африку.

1923 год – Выпускает «Философию культуры» в двух томах, свое главное философское сочинение.

14 февраля 1924 года – Снова уезжает в Африку. Восстанавливает больницу, борется с эпидемией дизентерии и голодом.

1925—1927 годы – Строит новый больничный комплекс на холме Адолинанонго.

1927—1932 годы – Отдых в Европе, лекции и концерты. Работа в Африке.

22 марта 1932 года – Юбилейная гётевская речь во Франкфурте.

1933—1939 годы – Работа в Африке, прерываемая поездками в Европу для чтения лекций, организованных концертов, работы над третьим томом философской книги. Европейские университеты присуждают в эти годы Швейцеру несколько почетных докторских степеней.

Февраль 1939 года – Услышав на пути в Европу речь Гитлера, решает повернуть назад, потому что предугадывает начало войны.

1939—1948 годы – Без отдыха работает в Африке.

1948—1949 годы – Поездка в Европу и в Америку.

1949—1954 годы – Работа в Африке, прерываемая поездками в Европу.

Октябрь 1953 года – Удостоен Нобелевской премии мира.

Ноябрь 1954 года – Произносит в Осло Нобелевскую речь о проблемах мира в современном мире.

24 апреля 1957 года – Нарушив свой принцип невмешательства в политику, Швейцер выступает по радио с резким осуждением ядерных испытаний и политики гонки вооружений.

Май 1957 года – Смерть Елены Бреслау.

28—30 апреля 1958 года – Три воззвания по норвежскому радио, в которых Швейцер призывает к миру и дает отповедь ученым на службе Пентагона.

1963 год – Швейцер поддерживает Московское международное соглашение о запрещении ядерных испытаний в трех средах и план Рапацкого.

14 января 1965 года – В день его девяностолетия социалистические

страны приветствуют Швейцера.

5 сентября 1965 года – Умер и похоронен под окнами своего рабочего кабинета в Ламбарене. Африка объявляет Швейцера своим приемным сыном.

Краткая библиография

I

- А. Швейцер, Иоганн Себастьян Бах. Москва, „Музыка". 1985 г.
- Albert Schweitzer, Zwischen Wasser und Urwald, Berne, 1921.
- Albert Schweitzer, Kultur und Ethik. Munchen, C. H. Beck, 1923.
- Albert Schweitzer, Aus meiner Kindheit und jugendzeit, Munchen, C. H. Beck, 1924.
- Albert Schweitzer, Deutsche und franzosische Orgelbaukunst und Orgelkunst. Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1927.
- Albert Schweitzer, Goethe. London, A. & C. Black, 1949.
- Albert Schweitzer, Afrikanische Geschichten. Hamburg, 1955.
- Albert Schweitzer, Aus Meinem Leben und Denken. Leipzig.
- Albert Schweitzer, Indian Thought and its Development. Boston, 1957.
- Albert Schweitzer, Peace or Atomic War. New York, Holt, 1958.
- А. Швейцер, История моего пеликана. Альманах «На суше и на море», Москва, «Мысль» 1967.
- Ответ на вопросы «Литературной газеты». Москва, «Литературная газета», 26 июня 1962 года.

II

- Г. Геттинг, Встречи с Альбертом Швейцером. Москва, „Наука“, 1967.
«Альберт Швейцер – великий гуманист XX века». Воспоминания и статьи. Москва, «Наука», 1970.
- Е. В. Завадская, Восток на Западе. Москва, «Наука», 1970.
- Kraus Oscar, Albert Schweitzer, His Work and His Philosophy. London, 1944.
- Seaver George, Albert Schweitzer, The Man and Mind. New York, 1955.
- Franck Frederick, Days with Albert Schweitzer London, 1959.
- Cousins Norman, Doctor Schweitzer of Lambarene. New York, Harper, 1960.
- Albert Schweitzer, Sein Denken und sein Weg, Tübingen, 1962.
- Anderson Erica, Albert Schweitzer's Gift of Friendship. New York, 1964.
- Picht Werner, The Life and Thought of Albert Schweitzer, N. Y., 1964.
- Wondrak Eduard, Albeit Schweitzer. Praha, Orbis, 1968.

notes

Примечания

1

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 32.

Там же, т. 12, стр. 4.

Эти наблюдения над стремительным ростом организаций и бюрократии в конце прошлого и начале нынешнего века читатель без труда найдет в трудах основоположников марксизма. В. И. Ленин писал: «Изменения после 1871 года? Все таковы или общий их характер, их сумма такова, что бюрократизм *ездебешено* вырос...» (Полн. собр. соч., т. 33, стр. 229).

В том числе и столь видных политических деятелей, как Председатель Народной палаты ГДР Геральд Геттинг.

В «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» Маркс в применении к той же Франции писал, что государственная бюрократическая машина так укрепила свое положение, что может иметь у власти «авантюриста, поднятого на щит пьяной солдатней» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 8, стр. 207).

Это несовпадение интересов чиновника с истинно государственными и народными интересами отмечал в свое время Маркс, писавший, что «действительная цель государства представляется, таким образом, бюрократии противогосударственной целью» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 271).

Согласно библейской легенде, бесплодная Сарра была уже стара в это время, да и мужу ее, Аврааму, было 99 лет.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 27, стр. 104.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 317.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, стр. 313.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 33, стр. 89.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 96.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 16, стр. 11.

Его книга «До того, как умрет природа» вышла недавно на русском языке в издательстве «Прогресс».

«См. „Литературную газету“ от 26 июня 1962 года.